

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

ноябрь

---

Максим АМЕЛИН  
На потеху следопытам

Константин ВАНШЕНКИН  
Перкалевый купол

Елена ДОЛГОПЯТ  
Тонкие стекла

Сергей ИЛЬИН  
Конспект романа

Алексей КОМАРОВ  
В двух шагах от байкальского рая

Конференц-зал  
Финал “Двенадцати” –  
взгляд из 2000 года

---

11/2000

ЗНАМЯ

11  
2000



# ЗНАМЯ

Ежемесячный  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал

выходит с января 1931 года

## содержание

Максим АМЕЛИН	3	На потеху следопытам. <i>Стихи</i>
Елена ДОЛГОПЯТ	7	Тонкие стекла. <i>Повесть</i>
Санджар ЯНЫШЕВ	23	Отлучённый. <i>Стихи</i>
Александр ЧУДАКОВ	26	Ложится мгла на старые ступени. <i>Роман-идиллия. Окончание</i>
Константин ВАНШЕНКИН	98	Перкалевый купол. <i>Стихи</i>
Анна КУЗНЕЦОВА	100	Рассказы
Герман ЛУКОМНИКОВ	127	просто ужасно смешно. <i>Стихи</i>

## non fiction

Сергей ИЛЬИН	130	Конспект романа
Павел БАСТРАКОВ	140	Что до меня... <i>Стихи</i>

## мемуары. архивы. свидетельства

Александр ТВАРДОВСКИЙ	144	Рабочие тетради 60-х годов. <i>Продолжение</i>
-----------------------	-----	--

## публицистика

Алексей КОМАРОВ	175	В двух шагах от байкальского рая
-----------------	-----	----------------------------------

ноябрь

11/2000

## конференц-зал

Сергей АВЕРИНЦЕВ	190	Финал «Двенадцати» — взгляд из 2000 года
Константин АЗАДОВСКИЙ		
Владимир АЛЕКСАНДРОВ		
Николай БОГОМОЛОВ		
Николай КОТРЕЛЕВ		
Александр ЛАВРОВ		
Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ		
Александр ЭТКИНД		
Дина МАГОМЕДОВА		
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ		

## критика

Юлия ЛИДЕРМАН	207	Храм после евроремонта, или Как «сделано «высокое» в школе-студии А. Васильева
---------------	-----	--

## наблюдатель

### *Рецензии*

Евгений Ермолин	219	С. Липкин. Семь десятилетий
Елена Иваницкая	224	Александр Мелихов. Нам целый мир чужбина
Александр Касымов	226	Бахыт Кенжеев. В тесноте отступающих лет... Из книги «Невидимые»; Осенний лёд; Свобода печали
Наталья Иванова	229	Яков Гордин. Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники
Александр Уланов	231	Наше положение: образ настоящего / О.А.Седакова, В.В. Биbihин, А.И.Шмаина-Великанова, А.В. Ахутин и др.
Вера Чайковская	234	Мария Галина. Из книжных лавок

### *Незнакомый журнал*

Владимир Шпаков	235	«Интеллектуальный форум»
-----------------	-----	--------------------------

# Максим Амелин

## На потеху следопытам

### Опыт о себе самом, начертанный в начале 2000-го года

*Престань испытывать судьбы Творца вселенной,  
Не может их отнюдь понять твой ум стесненной.  
В познании себя препроводи свой век:  
Наука смертному есть тот же человек.*

«Опыт о человеке господина Поппе»  
в переводе Николая Поповского (1754).

Всё, чем за год сподобил Господь мя  
тыща  
девятьсот девяносто девятый, нища  
и убога, всё, чем возвысил  
над земным, звериным и человеческим,  
хоть на самом деле хвалиться нечем,  
перечислить — не хватит чисел.  
Мне в науке, во-первых, весёлой точку  
удалось поставить, — по коготочку  
не узнаешь ни льва, ни грифа:  
из мифологической и цитатной  
обернулась она никому не внятной  
суматохою возле Склифа.  
Сей кусок слоёного текста с виду  
лабиринт не может и пирамиду  
не напомнить одновременно,  
но, взглянув без шита на коня Медузы,  
умер, умер читатель, —  
рыдайте, Музы! —  
поглотила его Геенна.

Во-вторых, неслышанная доселе  
катавасия на Фоминой неделе  
о бессмертии спета духа  
Тредьяковского складом, напоминая,  
что за всякой вещь сквозит иная, —  
захудалая нескладуха!  
Как ни бился, в-третьих, чтоб Ариадна,  
на Тесея сетя, вдаль безотрадно  
при последнем рыдала часе, —  
на чужом коне — средь пути соскочишь  
и пешочком — хочешь или не хочешь —  
убираешься восвояси.  
Дань отдавши с катульского перевода,  
я, в-четвёртых, одну заказную оду  
мира нового к юбилею

сочинил и конец увязал с началом, —  
уязвлённый раздвоенным дважды  
жалом,  
сомневался: не одолею.  
Благодарен за то старику Хвостову  
(ни на что не взирая, он предан слову  
оставался до смерти самой), —  
избран им и одолжен, я рылся, в-пятых,  
меж творений и проклятых  
и проклятых —  
то сатирой, то эпиграммой.  
«Современней надо быть,  
современней!» —  
Сорок втиснуто в книжку стихотворений  
с прилагающимся центоном  
мною, в-шестых, а в-седьмых,  
в свою продолжая  
дуть дуду, я нового урожая  
дождался вопреки препонам.  
Чередой бессолнечных дней обрыдла,  
образованное надоело быдло,  
захлебнувшееся в мазуте, —  
пропускаю «в-восьмых»  
и «в-девятых» тоже,  
друг на друга слишком они похожи  
и по внешности, и по сути.  
Хоть над чем-то тайны нужна завеса  
сохранения для чистоты и веса,  
но «в-десятих» опять открою:  
из неметчины, в которой, не горе мыкав,  
побывал наконец-то, что мой Языков,  
три стишка приволок с собою.  
На руках все пальцы загнув обеих  
в кулаки,  
кто бы мне ни сказал: «убей!», их

---

Амелин Максим Альбертович родился в 1970 году в Курске. Учился в Литературном институте. Автор книг стихов «Холодные оды» (1996) и «Dubia» (1999). Лауреат премии Антибукер (1998). Живет в Москве.

разжимаю, любя свободу,  
хоть «в-стотретьих»,  
«в-семьсотсорокпервых», «в-тыща-  
девятьсотдевяностодевятых» — пища  
благодатная счетоводу.  
Неудачный год и труды ничтожны!

### Катавасия на Фоминой неделе

Подражание Хвостову  
сочинить ко дню Христову  
не случилось, — на Страстной  
строчки — чаяния паче —  
для решения задачи  
сей не влезло ни одной  
в голову. — Привычка к лаврам  
быстро делает кентавром,  
грозным с виду, косным в шаг, —  
к вящей славе Их Сиятельств  
в нарушение обязательств  
не стоит на ушах,  
на потеху следопытам  
не лгается, копытом  
стройным в воздухе маша:  
раз-два-три, два-три-четыре. —  
Неприкаянная в мире  
дольнем странствует душа,  
тяжкий груз таская тела,  
от известного предела  
неизведанного до, —  
с миром выпренним в разлуке  
не сидит, поджавши руки,  
в ожидании Годо.

*В ожидании чего-то  
эдакого: поворота,  
перемены невзначай,* —  
изменив порядок строчек,  
память вырвала листочек  
с приглашением на чай.

Старое стихотворенье,  
что прокисшее варенье,  
крытый плесенью пирог. —  
Не для всех своих исчадий  
остаётся добрым дядей  
вдохновений светлый бог.

Страх и ужас: вот бы если  
все умершие воскресли  
без разбору, — что тогда? —  
Понесутся целым скопом  
по америкам, европам  
в залу Страшного суда,  
друг отталкивая друга,  
точно вихорь или вьюга,  
всё сметая на пути,  
необузданны и дики,  
оглушительные крики  
сея: «Не развоплоти!» —

«Пощади меня, Всевышний!» —  
«И меня!» — «И я не лишний!» —  
взвоят все до одного. —  
Милосерд Господь и правед, —

Меч тупится —  
только вложенный в ножны,  
а перо, не приконча фразу:  
«Можно дважды в одну окунуться реку,  
ибо имя ей — Лета, но имяреку  
уж не выйти на брег ни разу!».

только избранных восставит  
или — лучше — никого.

Никого! — Какая демократия! — Моя поэма,  
совершая трудный путь,  
чертит странные зигзаги. —  
Хорошо б у тихой влаги  
на припёке отдохнуть:

«Мне ли, жителю вселенной,  
внятен будет современный  
шёпот, ропот или вой?» —  
Ясные бросая взгляды,  
плотоядные Наяды  
плещут вешнею водой. —

*С хороводом Нимф и Граций*  
заявляется Гораций,  
тут как тут, коварный вор,  
потрошитель и громила. —  
Как горбатого могила  
не исправит до сих пор? —

То, что свойственно природе,  
тще не тщись в угоду моде  
изменить, — со *что* и *как*,  
как ни силься, что ни делай:  
*день взлетел, как ангел белый,*  
пал, что чёрный демон, мрак. —

Сутки — прочь, вторые сутки  
помрачение в рассудке. —  
Кто мне толком объяснит? —  
Чёткий на вопрос вопросов  
даст ответ? — Какой философ? —  
Но молчат и Фет, и Ф. И. Т.

(псевдоним, инициалы). —  
Геркулес у ног Омфалы,  
весь в оборках кружевных,  
северянинскому пажу  
подражая, сучит пряжу,  
упорядочен и тих.

Он, от жизни голубиной  
отмахнувшийся дубиной,  
облечётся в шкуру льва  
и взойдёт на склоны неба  
убеждаться в том, что Геба  
девственная, чем вдова

безутешная, не хуже, —  
тоже думает о муже:  
«Я — невеста, ты — жених,  
ты — жених, а я — невеста». —  
Нет ни времени, ни места  
на подробности про них.

Так болтать шутиливым слогом  
можно долго и о многом:

то Ерёма, то Фома, —  
слов — полно, да толку мало, —  
мысль, увы, не ночевала  
в недрах некошна ума. —

«Кто герой моей поэмы? —  
Я ль один? — А может, все мы,  
кто не низок, не высок,  
у кого, хотя негромкий,  
свой, отдельный — там потомки  
разберутся — голосок?» —

В гневе огненной геенны,

ненависть! не лезь на стены,  
укроти свой, зависть! пыл,  
не скрипи зубами, злоба! —  
Да, Державин встал из гроба  
и меня благословил. —

Смерти нет — одна морока:  
классицизм или барокко? —  
Зримый мир и мир иной  
связаны, перетекая; —  
катавасия такая  
на неделе Фоминой.

## Frankfurt-am-Main — [Baden-Baden] — Strasbourg

### I

Пробил девятый час на франкфуртских воротах,  
что местным жителям пора ложиться спать  
и бремя точности до тысячных и сотых,  
сваливши, бережно задвинуть под кровать.

Часы, «глагол времён, металла звон» надгробный  
(так сузил Вяземский Державина, вобрав),  
незаменимы здесь. — С войной междоусобной,  
чумою, перхотью, защитой равных прав,

увы, покончено, — ни шума, ни заразы:  
духовной жажды нет, утих телесный глад.  
А там, в России, смерть секретные приказы  
строчит без отдыха, как триста лет назад.

Здесь тихо и тепло, — там сыплет снег и вьюга  
вершит кружение надрывное своё,  
клянут политики бессовестно друг друга  
и проливают свет на грязное бельё.

Пусть лысые придут на смену волосатым,  
вслед полутьме одной другая полутьма, —  
всё к лучшему, но как не выругаться матом,  
зря здесь без горя ум, там — горе без ума.

Отсюда глядячи, охотникам до пенек  
известна красная и твёрдая цена...  
Хотел бы родину продать, хоть за бесценнок, —  
да кто её возьмёт? кому она нужна?

### II

Воздух пронзая, несётся скорый  
в облике клина:  
слева — покрытые лесом горы,  
справа — равнина,  
дрожью стальная внизу дорога  
зыблется, ловко  
кружат колёса, — ещё немного  
и — остановка.  
О! «Baden-Baden» — на синем белым  
писано фоне...

К небу, подавшись туда всем телом,  
вскину ладони:  
«Зря мне предел бытия земного  
не предугадан  
здесь, где волшебное дважды слово  
вымолвишь *бадэн*, —  
на высотах откроется дверца;  
где по маршруту,  
бой оборвав, остановка сердца —  
ровно минуту!»

### III

Город улиц и город лиц  
сочинителю небылиц,  
то бишь мне, прозрачен и странен,  
как покрытый панцирем рак  
чешуящейся рыбе, как  
православному лютеранин.

Вверх по лестнице винтовой  
всем составом своим на твой  
пустотелый собора улей  
я всходил, исследуя ту  
преднебесную высоту  
между ангелов и горгулий.

Пусть останется у меня  
впечатлений светлого дня,  
современных средневековью,  
отголосок и мыслей смесь:  
«Неужели когда-то здесь  
с потом пыль мешалась и кровью?»

Лба не хмурия, не дую губ,  
пить вино, есть луковый суп, —  
наслаждаться земным не сложно,  
но в невнятице слов чужих  
мною расслышан свободный стих:  
«Здесь Поэзия невозможна!»

\* \* \*

Ношно недреманные и денно  
медные чудовища надменно  
выходы и входы сторожат, —  
каждого, кто внутрь или наружу  
свой ли жар тайком, свою ли стужу  
пронести пытается, назад  
возвращают, чуть расширив око,  
повернув  
голову едва и острый то[ль]ко  
вздёрнув клюв.

Смертный, как бы смел и осторожен  
ни был, избегая всех таможен,  
скреп, охран, затворов и препон  
и во рваную рядясь одежду,  
всё равно однажды встанет между,  
молнией и громом поражён,  
под призором стражи сей премудрой,  
весь покрыт  
пятнами пурпурными, что пудрой,  
и — сгорит

или обернётся ледяною  
глыбой. — Этакую паранойю  
нездоровый воздух неспроста,  
вешний омег и туманный морок,  
испарений полный, оговорок  
и боязни белого листа,  
мне навеял, призрачные страхи  
в ум вселил  
и лишил — при первом полувзмахе —  
душу крил;

но вдвойне сомнение опасней:  
«Для чего на соплетенье басней  
золотое тратишь время ты?  
и зачем таскаешь воду ситом? —  
Выгнутая речь со смыслом скрытым  
не спасёт тебя от немоты!» —  
Прочерни насквозь и снова вымой, —  
я не прочь, —  
смерти же, хоть истинной, хоть мнимой,  
не пророчь!

\* \* \*

Мне хотелось бы собственный дом иметь  
на побережье мёртвом живого моря,  
где над волнами небесная стонет медь,  
ибо Нот и Борей, меж собою споря,  
задевают воздушные колокола,  
где то жар, то хлад, никогда — тепла.

Слабым зеницам закат золотой полезней,  
розовый, бирюзовый, и Млечный путь,  
предостерегающий от болезней,  
разум смиряя, чуткий же мой ничуть  
не ужаснётся рокотом слух созвучий  
бездны, многоглаголивой и певучей.

Сыздетства каждый отзыв её знаком  
мне, носителю редкому двух наречий,  
горним, слегка коверкая, языком  
то, что немощен выразить человеческий,  
нараспев говорящему, слов состав  
вывернув наизнанку и распластав.

Что же мне остаётся? — невнятна долу  
трудная речь и мой в пустоту звучал  
глас, искажаясь, — полуспасаться, полу-  
жить, обитателям смежных служа начал,  
птице текучей или летучей рыбе,  
в собственном доме у времени на отшибе.

Елена Долгопят  
**Тонкие стекла**

ПОВЕСТЬ

Старик вышел купить папиросы. Он жил высоко, на девятом этаже, но пошел пешком, потому что не любил лифты.

На втором этаже разглядел в почтовом ящике что-то белое. Открыл ящик и достал письмо. Тридцать лет не получал писем.

От волнения не сразу смог прочитать адрес.

Писали из городка во Владимирской области. Он не знал, что есть такой городок. Писали не ему, но на его адрес. Видимо, перепутали номер дома или номер квартиры.

Старик спрятал чужое письмо в карман.

Вернулся с папиросами, включил на кухне свет, были уже сумерки, и поставил на огонь чайник. Сел, положил письмо на стол и закурил.

Выкурил папиросу и тогда надорвал конверт.

«Что убил Степан Петрович, я догадалась сразу, из-за «Павлина». Но это еще не доказательство, а доказательство — кольцо...».

Так начиналось это письмо.

«Здравствуй, Сережа», и дальше сразу: «Что убил..., кольцо..., «Павлин»...» И больше ничего про убийство.

«Клубника цветет очень хорошо. Верка работает день в неделю, завод стоит.

А помнишь, она была крошечной, в синей матроске, и украла твой билет. Ты остался на лишний день. Это для тебя он был лишний...»

Ты хочешь, чтобы я так и помнила тебя молодым, боишься, что увижу стариком и не узнаю. А я в который раз зову тебя приехать...»

Старик прочитал письмо и заварил чай. За чаем перечитал еще раз. То ли старуха умела писать, то ли воображение старика разыгралось, но он так и видел клубнику в белом цвету, девочку в синей матроске, Степана Петровича, убийцу.

Старик спрятал письмо в шкатулку с документами, включил радио, послушал новости и лег спать. Телевизор он не любил. Проснулся рано и вновь захотел перечитать письмо.

Он перечитывал его часто, как любимую книгу. Выучил наизусть и все равно перечитывал. Всегда на кухне, поставив чайник и выкулив папиросу.

Прошло больше месяца. Как-то он включил радио и услышал в рекламе, что билеты можно заказывать по телефону по такому-то номеру.

Старик ушел в прихожую и поднял черную трубку. Поднес трубку к уху и услышал далекий тоскливый гудок. Он уже забыл номер и хотел положить трубку, но тут номер повторили.

---

Долгопят Елена Олеговна родилась в Муроме. Окончила МИИТ в 1986 году, сценарный факультет ВГИКа в 1993 году. Рассказы печатались в журнале «Юность» (1995 – 1998 гг.). Живет в Московской области. Работает в Музее кино.  
Дебют в «Знамени».



Старик набрал его и заказал билет в маленький городишко во Владимирской области.

Место было странное.

По правую руку за бетонной стеной молчал завод. Слева, за деревянными домиками (перед каждым окошком — яблоня) — подъездные пути. Оттуда доносился то свисток тепловоза, то разговор диспетчера, то ход поезда.

Воздух был теплый. Дымок от папиросы тянулся вверх в безветрии. Старик курил «Приму». От завода к подъездным путям шли рельсы. Железные ворота, из которых они шли, были заперты. Краска на воротах облупилась.

Старик как будто был турист в далекой экзотической стране, такое у него возникло ощущение. Все знакомо, но знакомо по книгам.

Он с наслаждением вдохнул воздух, пахнувший темной зеленью и мазутом. Вся эта темная трава по пустырям и обочинам напоминала картинку из сборника русских сказок.

Горело окно. Свет из окна как будто углублял неровности ствола яблони и кривизну черных веток. Это была антоновка, как позже узнал старик.

Он взгляделся в темный огород, но клубники не различил. Пахло землей. Старик подошел к дверям. Далеко залаяла собака. Старик поднял бледную руку и постучал.

От стука дверь открылась сама с ржавым скрипом.

Старик осторожно вошел в темноту и — споткнулся о ступеньку. Никто его не окликнул. Он был в терраске. Пахло укропом и чесноком и листом смородины. Глаза привыкли к темноте и разглядели на столе стеклянные банки с огурцами, еще без рассола.

Из терраски старик вошел в коридорчик и увидел приоткрытую дверь. Из двери падал свет. Слышен был плеск воды и звон посуды.

Женщина лет пятидесяти мыла посуду в тазике. Она почувствовала взгляд, повернулась и замерла, уставившись на старика. Он стоял у притолоки в белом легнем костюме с портфелем в руке.

— Здравствуй, Вера.

— Здравствуйте, — сказала она, не отводя изумленных и испуганных глаз.

С мокрых рук капали на половичок светлые капли.

— Мамы нет дома?

— Нет.

— Я присяду?

— Конечно.

Старик присел на низенький диванчик, бывший слева у стены.

— Дождусь ее.

— Что вы, — воскликнула Верка, — это долго.

— Ничего.

— Это месяц целый. Или больше.

Тут уже старик изумленно уставился на Верку.

— Она к брату моему уехала в Томск внуков нянчить.

Старик так огорчился, что некоторое время ничего не мог сказать. Верка вытерла наконец мокрые руки о передник.

— Когда поезд на Москву? — устало спросил старик.

— Завтра, — сказала Верка. — А вы кто?

Вот интересно, как оценить этот поворот? — думал старик ночью, лежа на высокой кровати с металлическими шишечками, отражавшими лунный свет. Он падал из верхней половины высокого окна. Нижняя половина была закрыта простыми белыми занавесками с зелеными васильками по полю. Верка сказала, что синих ниток не нашла.

Она сказала, чтобы старик задержался. Она сказала, что вдвоем веселее.

Верка спала в смежной комнате, где печка и дверь в коридор, где пили

чай. Двери не было между комнатами, и старик слышал дыхание Верки. Он давным-давно не слышал дыхания спящего человека.

Утром старик понял, что Верка стесняется перед ним за весь этот мир. Что нет никаких удобств, что дом такой маленький, что яблони старые, сорок пятого года рождения.

Она не пустила старика за водой на колонку.

— Что вы! Тяжело.

Принесла воду и поставила электрический самовар. Вода пахла ржавчиной.

— Извините, — сказала Верка. — Такой уж у нас район. Низкий и сырой. Для растений плохо. Только если азиатская жара хорошо, но азиатская жара редко. Сейчас еще завод стоит, а то бы шум был днем и ночью. Плюс еще вороны кричат. И парк у нас старый, весь изрос, не то что в городе. Тополя у нас вымахали до облаков, все белые от древности. На них воронье живет в черных гнездах.

Ржавый чай старику не понравился, и он спросил, нет ли где родничка.

— Как же, — сказала Верка. — В городе, в центре, где Ока, где овраги. То место хорошее, солнечное, и магазины там большие, и рынок, и удобства в домах. Жизнь.

Клубника была мелкой и кислой. Ели с сахаром.

Верка не позволила старику убрать посуду после завтрака.

— Что вы!

Свет сквозь листья яблонь был точно как старик представлял.

Старик смотрел в окно, пока Верка мыла в тазике посуду.

— Да, — сказала Верка печально, тоже глядя в окно. Сквозь яблоню видна была зеленая трава у забора и пустая тропинка.

— Что? — спросил старик.

— Не видите? Это потому, что мало видите. Я стекло имею в виду. Я его уже сколько лет вижу, пятьдесят, и оно все, тоньше и тоньше с каждым годом, то есть с каждым взглядом.

— Как это? — поразился старик.

— Видите, в точке, где тропинка, совсем истончало. Как ступеньки стираются от шагов.

Чудная она была, эта Верка.

После завтрака старик собрался в город, и она разволновалась.

— У нас автобусы плохо ходят.

— Я не спешу. Ты мне бидончик дай.

— Ни в коем случае! Я вчера только молоко брала.

— Я воду из родника принесу.

— Что вы! За этой водой в овраг надо. Лестницы крутые, шаткие. В овраге — темень. Солнца не видать.

Чудная.

Центр старику не понравился. В нем были совершенно московские киоски с цветными бутылками в витринах. Магазины — победнее, рынок — дешевле. Старик купил стакан земляники и съел в парке за рынком. Парк обрывался над рекой.

Старик постоял у каменной балюстрады и посмотрел с высоты на Оку, на песчаный и пологий тот берег. На берегу загорали. Бидон нагрелся на солнце.

В городском парке было чисто. Газоны — подстрижены. На клумбах цвели анютины глазки. Атракционы работали.

На чертовом колесе старик медленно поднялся на самую высокую точку в городе. С ним в кабинке была девочка лет двенадцати. Она крепко сжимала билет. Ветер теребил ее волосы. На самой высокой точке девочка воскликнула:

— Мой дом!

Ее дом был девятиэтажка. За девятиэтажками шел пустырь, за пустырем молчал завод, за заводом серебрились макушки древних тополей, за тополями

яблони смотрели в окошки маленьких домиков. И все это далеко, в тени, в низине.

А близко, совсем близко, у реки — овраг...

Верка выпила пять чашек на родниковой воде. Она пила чай крепкий и сладкий. Старик курил «Приму». Дым таял. Звенел комар. Ветка яблони вошла в отворенную форточку.

— А ведь я не верила, что вы есть, — сказала вдруг Верка.

— Почему?

— Хотя как я могла не верить, если я вас даже помню.

— Каким ты меня помнишь?

Верка задумалась, и лицо ее стало беспомощным.

— Я тоже не верил, что все это есть, — сказал старик.

— Что?

— Дом, яблоня у окна, ты, синяя чашка, «Павлин»... Ты знаешь, где здесь «Павлин»?

— Какой «Павлин»? — удивилась Верка.

— Не знаешь? — удивился старик.

Теплым поздним вечером старик сидел в своем белом костюме под яблоней. Комары звенели у лица, но старика не трогали, он уже был для них как корявое дерево, без крови. Соседка развешивала белье на тугой веревке между яблонь. Расправляла, прежде чем повесить, стряхивала. Белье хлопало в воздухе. Вышла Верка с помойным ведром. Крикнула:

— Оль!

— А! — крикнула соседка.

Верка поставила ведро между грядок и подошла к жердяному забору. У забора росли белые флоксы. Она их раздвинула, и они запахли сильнее, от испуга. Соседка бросила в таз уже хлопнувшую в воздухе наволочку и подошла к забору со своей стороны. Их освещал с деревянного столба уличный фонарь.

— Слушай, — сказала Верка, — чего такое павлин?

— Птица.

Они разговаривали тихо, но у старика был тонкий слух, он почему-то обострялся с годами.

— У нас в городе есть? — спросила Верка.

— Нет.

— Точно?

— Точно.

— А почему?

— Потому что он в нашем климате не живет, а зоопарк в нашем городе нет. Почему в нашем городе нет зоопарка, не спрашивай, не знаю.

Старик вспомнил «Краснопресненскую». На лестнице под землю спускаются неподвижные люди и держат в руках павлиньи перья. Перья большие и качаются, на каждом — круглый глаз. Глазастые перья. И тут же старик вспомнил маленькие окошки у самой земли в толстых каменных стенах.

Окошки глядели на рынок. Они были собраны из цветного стекла, синего, черного и голубого. Из каждого окошка глядело черным зрачком павлинье перо.

Старик сошел с автобуса с желтым бидоном.

Каменный дом был в два этажа. На втором этаже — ажурный балкон. На нем, прямо на перилах, сохли синие джинсы. Тополиный пух опускался на них. Вся толпа с автобуса пошла через дорогу на рынок, а старик — к ковanej приоткрытой двери, из нее слышался звук одинокого струнного инструмента.

Старик ступил на каменный влажный пол. Каменный пол, низкие потолки и цветной свет делали человека как будто тише. Плюс струнная музыка. Струна как будто дрожала внутри человека.

Старик подошел к стойке и увидел за стойкой мальчика лет десяти. Мальчик о чем-то думал. Он не видел старика.

— Простите, — сказал старик.

Мальчик встрепелулся, понял, что старик что-то сказал, и переспросил:

— Что вы хотите?

На полках ровно стояли цветные бутылки и яркие жестяные банки, и все стеклянные бутылки и все до единой жестянки были чистые, как камешки на морском берегу. Старик бывал на море после войны.

— Даже не знаю, — сказал старик. — А что бы ты посоветовал?

— Мороженое, — тихо сказал мальчик.

— Мне мороженое нельзя, — сказал старик, — у меня кровь холодная, мне что-нибудь погорячее.

— Кофе?

— А чаю нет?

— Чаю нет.

Мальчик включил кофеварку. Медленно наполнялась чашка. К удивлению старика, она оказалась синей с золотой каймой, совсем домашней. Старик расплатился.

— Музыка у вас интересная звучит. Тебе нравится?

— Отцу.

Старик сел за столик в углу и снял панаму. Мальчик, легко ступая, вышел на улицу, и старик остался один. Пепельница простого стекла отражала и преломляла цветной свет. Старик закурил «Приму». Он никуда не торопился. Один поэт так и сказал: я никуда не тороплюсь — мои часы остановились.

Цветные отражения немного сместились. Мальчик стоял на улице, старик видел его тень из приоткрытых дверей.

Музыка вдруг оборвалась. Из подсобки вышел мужчина.

Он был высок и вышел, пригнув голову, чтобы не задеть притолоку. Взглянул на старика и встал за стойку на место мальчика. Мужчина был чисто выбрит, в свежей рубашке, застегнутой на все пуговицы.

Старик потихоньку пил кофе, а они стояли оба, мужчина и мальчик. Будто поджидали кого-то. Мужчина смотрел на вход, мальчик — на дорогу.

Старик курил «Приму». Он не торопился.

В бар вошли ребята с мокрыми после речки волосами, купили шесть банок пива «Beag». Ушли. Бармен убрал деньги и снова замер за своей стойкой.

Еще сместились цветные блики. Пепельница погасла. Старик тянул кофе из синей чашки медленно, как коньяк. И тут они оба, он и мужчина, услышали тихое «здравствуйте» мальчика. И оба посмотрели на вход.

Вошла женщина с ведром ранних яблок, золотой китайкой. За женщиной — мальчик.

Она поставила ведро на каменный пол и сказала:

— Свари кофе, я не завтракала.

Бармен включил кофеварку. Положил на блюдце два куска сахара. Женщина смотрела на его руки.

— Все забываю спросить, — сказала она вдруг. — Почему ты кольцо обручальное не снимаешь?

— Вросло, — коротко ответил бармен. Старик впервые услышал его голос. Обыкновенный голос.

— И когда же оно вросло, после первой женитьбы или после второй?

Капал в чашку кофе.

— После первой.

— Надо же, — усмехнулась женщина. — Судьба.

Со своей чашкой она ушла в подсобку. Мальчик — следом. Золотая китайка осталась на каменном полу у стены.

Скоро бармен и старик услышали из подсобки голоса: «Давай рассмотрим третий закон Ньютона, действие равно противодействию... Ты не записывай пока...»

Автобус от центра до Казанки — так назывался мертвый район, в котором жила Верка — шел минут двадцать. Старик сидел у окна и думал.

«Сделаем несколько допущений и, исходя из этих допущений, несколько выводов».

Старик разговаривал сам с собой.

«Положим, «Павлин» из письма и есть этот бар с цветными стеклами. Положим, этот бармен и есть Степан Петрович, который убил из-за этого «Павлина». Это можно доказать по кольцу, которое вросло: Вопрос вот в чем: откуда старуха знает этого Степана Петровича? Вряд ли она посещает бары. И знать она его должна хорошо.

Допустим, что знает она его как соседа, что живет он на той же Казанке...»

Пахло бензином. Кондукторша дремала на высоком сиденье. Полупустой автобус дребезжал на неровностях дороги. Солнце клонилось к закату. Бидон стоял у ног старика весь в холодной росе.

К чаю Верка напекла блинов. Выпили по три чашки. Чай оказался очень вкусный на родниковой воде. Блины ели со свежим клубничным вареньем. Старик так наелся, что захмелел. Верка была очень довольна.

Она собрала посуду. Старик хотел выйти в сад, покурить в темном саду «Приму», но она сказала:

— Вы посидите со мной, я люблю дым.

И он сидел и смотрел, как она моет посуду в тазике, подливает из чайника кипяток, и пар вместе с дымом тянется к потолку.

— Сейчас у нас хорошо, — сказала Верка, — зимой — скучно и печку надо топить. А вы, — Верка взглянула на старика, — смогли бы жить в таком месте, как наше?

Старик действительно задумался об этом. Он представил зиму, обледневшую тропинку, голос ветра в трубе, тяжелый топор в холодном сарае, блестящие глаза крысы.

— Старый я уже. Да и печь я никогда не топил.

— Что вы! Я не одному вам имею в виду жить, а с нами.

Старик ничего на это не ответил.

После ужина играли в «дурака», без азарта. Старик молчал, задумавшись, и Верка боялась нарушить его молчание. Она так была занята им, его молчанием, что играла совсем невнимательно, и все время оставалась. Старик же всегда умел и думать и не упускать из виду внешний мир.

Наконец он снял очки. Верка поняла, что он устал играть.

— Я такого старого района, как ваш, еще не видел, — сказал старик, — я даже не реальный возраст имею в виду, а впечатление. Такое впечатление, что дети здесь не живут.

— Что вы! И какие еще хулиганы живут. Антоновы, к примеру, два брата, тринадцать и четырнадцать, я их как вижу, на другую сторону перехожу. Еще девочка одна живет, Гуля, татарочка. Хорошая девочка, маме помогает. Еще Школьниковы. Саша Школьников с отцом живет, совсем рядом.

— А мать? — спросил старик.

— Под машину попала пять лет назад. Шла с мужем из гостей поздним вечером, за мужем, вернее, через дорогу, и машина без фар сбила. Муж на шаг впереди шел.

— Почему не женится еще раз?

— Не знаю, может, из-за ребенка. Вообще-то он видный мужчина, и бар у него в городе есть, я, правда, не видела, я в городе не бываю.

Старик был доволен, что его допущение подтвердилось. Бармен жил на Казанке.

К вечеру следующего дня старик мог нарисовать подробнейший план Казанки.

Кое-что он бы на плане выделил. К примеру, школу напротив заброшен-

ного парка. Она была единственной на район и в древности равнялась тополям. Напротив школы стоял небольшой памятник самолету летчика Гастелло. Из настоящего самолета школа казалась бы пауком с каменным квадратным телом и деревянными лапами. «Тело» было самым древним, «лапы» пристраивались.

Очевидно, и бармен, и сын его учились в этой школе. И Верка, конечно, в ней училась. Сделаем такое допущение, — сказал себе старик.

Он пока не знал, что оно ему давало.

Слева от школы он бы отметил сад с золотой китайкой. Это была единственная золотая китайка на всю Казанку. Сад был глухой и запущенный. Китайка глядела в пыльные немые окна. Но чувствовалось, что дом все-таки жилой.

Старик какое-то время — он не замечал время — простоял с «Примой» у колючего шиповника под школьным окном и дождался-таки хозяйку.

Она вернулась с порожним ведром. Очевидно, продала свою китайку после занятия физикой с Сашей Школьниковым. Александром Степановичем? Допущение, что бармен и есть Степан Петрович, не было еще подтверждено.

Кстати, глядя, как хозяйка достает ключ из-под пыльного половичка на крыльце и отпирает дом, старик подумал, что она, пожалуй, ровесница бармену. Возможно, училась с ним не только в одной школе, но и в одном классе. Сделал такое допущение.

Он даже вот что подумал: она хорошо училась по физике, очень была способная, и не раз, верно, Степан Петрович списывал у нее контрольную или спрашивал смысл закона. Она была в него влюблена, он это знал и пользовался.

Теперь она ездит по утрам к нему в бар заниматься с его сыном. Кстати, почему в бар? Почему она не занимается с его сыном дома?

Старик услышал тяжелое гудение шмеля и посмотрел на него. Это был красивый шмель. Он опустился в цветок шиповника и затих. Старик и в задумчивости был внимателен к внешнему миру.

Тут может быть несколько простых ответов. И, возможно, все они верны:

1. Ей удобно заниматься в баре, потому что автобусы по утрам ходят лучше, а ей с китайкой надо выехать пораньше.

2. Она до сих пор влюблена в Степана Петровича и не может отказаться от возможности его видеть.

3. И наконец, — дело в мальчике.

Старик увидел его робким и даже пугливым. Такие до конца жизни боятся оставаться одни в доме. Отец это, конечно, знает, жалеет, может, чувствует себя виноватым и не оставляет одного.

К сожалению, дом Школьниковых не был виден ни из Веркиных окон, ни из Веркиного сада. Он стоял через дом от Верки, садом на пустырь. За пустырем шла улица краснокирпичных трехэтажных домов. Официального названия улицы никто не помнил, все ее звали — Красная Пресня.

Вечером старик поднялся на третий этаж дома на Красной Пресне и вывернул лампу. Из темноты было лучше видно.

Дом Школьниковых предстал как на ладони.

Старик курил «Приму». В подъезде было душно и пахло масляной краской. Грязное окошко заросло паутиной. Сад у Школьниковых был ухоженный.

В двенадцатом часу вечера мужчина и мальчик сошли с автобуса и направились к своему дому. Вошли и включили свет. Задернули занавески.

Старик вышел из подъезда. Перешел дорогу. Минул дом Школьниковых и почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Из дома никак не могли смотреть. Смотрели справа. Справа цвела фиолетовыми цветами картошка.

Он остановился закурить. Чиркнул спичкой. Бросил спичку, прошел несколько шагов, оглянулся.

Меж двух борозд стояла старуха. Она была совсем древняя, в темном пла-

тье и темном платке. В толстых очках. Она собирала колорадских жуков в жестянку с бензином в свете уличного фонаря. Неподходящий свет для жуков.

Старик почему-то испугался. Он, когда оглянулся, столкнулся глазами со старухой. Из-за толстых очков ее глаза были большие и внимательные.

Старик быстро пошел к дому. Он не оглядывался.

Уже дома он подумал, ну чего я испугался, старуха наверняка знает мою старуху и, значит, обо мне. Может, они подруги. И, конечно, ей интересно меня разглядеть. Такое допущение.

Дома старик спросил Верку, нет ли у них его фотографии в молодости. Верка бросилась доставать альбом...

Он смотрел альбом под настольной лампой, Верка сидела наискосок и, когда он спрашивал, тихо говорила, кто есть кто. Только когда он спрашивал.

Человек, за которого выдавал себя старик, в молодости был высок и красив, но старику не понравился. Он даже сказал разочарованно:

— Мне казалось, я лучше был.

Молодой человек сидел с молодой женщиной на парковой скамейке и держал в пальцах липкий тополиный листок. Молодая женщина была беременна.

— Это я с вами, — сказала Верка.

Уже позже, когда вся эта история действительно стала историей, старик понял, почему ему не понравился молодой человек. Молодой человек не хотел быть там, на скамейке, или с той, на скамейке.

Во вторник у Верки был рабочий день, и старик остался один дома.

Ранним утром он слышал, как Верка встала, сходила за водой, выпила чай. Она все делала тихонечко, но он все равно слышал своим тонким слухом.

На него вдруг нашло ощущение, что он маленький мальчик, что у него каникулы, но это ощущение было секундным. У мальчика впереди было время, а у него вечность. Времени совсем не было.

Верка вымыла посуду и ушла. Он слышал через открытую форточку, как скрипнула за ней калитка. Потом он задремал. Проснулся через час. Верка оставила на столе пространную записку с орфографическими ошибками. Записка была освещена солнцем сквозь листья яблони. Верка писала, что обед в холодильнике, и если старик захочет есть, то пусть ни в коем случае не ждет ее, Верку, а ест. Она же придет на обед в 12.30, придет не одна, с подругой. Подруга тоже живет одиноко, и они всегда обедают вместе. У Верки, потому что подруга готовить не любит и не умеет. «Посуду не мойте!» — восклицала Верка.

Старик выпил пустого чаю из синей чашки с золотой каймой и закурил «Приму». Перед ним было окно, и он смотрел сквозь него на тропинку, ведущую к калитке. Он видел, как соседка прошла с ведрами за водой. И вернулась. В воде качалось яркое солнце. Кошка легла на тропинку. Облако загродило солнце, но ненадолго.

Старик подумал, может, Верка права, может, стекло истончается со временем от взгляда человека. Он даже встал и потрогал стекло. И ему правда показалось, оно тоньше в точке, где тропинка.

На конце указательного пальца появилась почтальонша. Он обрадовался. Ему вдруг захотелось узнать из газеты, что делается в мире. Ему показалось, он слишком давно в этом доме на Казанке...

Но почтальонша с газетами прошла мимо. Верка ничего не выписывала. Старик решил газету купить.

Киоск был на Красной Пресне.

Картошка цвела фиолетовым. Старик шел медленно, потому что вообще не умел ходить быстро. Он несколько шагов прошел вдоль фиолетовой картошки и почувствовал взгляд в спину. Взгляд был не со стороны картошки на этот раз.

Старику казалось, он идет медленнее, чем всегда. Он не мог быстрее.

Старик прошел до участка Школьниковых и решил увидеть, откуда на этот раз смотрит на него старуха. И повернулся вдруг.

Картошка по правую руку, по левую — сад: три яблони, вишня, флоксы у забора. Старухи он нигде не увидел, но догадался, что она за черным окном дома, смотрит сквозь стекло на тропинку, и стекло истончается.

Что-то ухнуло в воздухе, и старик вздрогнул. Потом сообразил, что это завод сегодня работает.

Центральных газет в киоске не было, и старик купил местную. Сложил и спрятал в карман белого пиджака, после уж сообразил, что испачкает пиджак типографской краской.

Он пошел домой кружным путем, мимо школы, не хотел лишний раз попадать под взгляд старухи.

В школе шел ремонт. Рабочие курили на крылечке и пили пиво. Над ними шумели столетние тополя. Был только июль, но листья уже опадали с этих тополей, не пожелтевшие, а просто высохшие. Под ногами шуршали листья и черные грачиные перья.

От школы уже была видна золотая китайка.

Солнце скрылось за серой пеленой, и все стало серое, даже зелень, только маленькие яблочки оставались золотыми. Был бы я художник! — подумал старик. Ему стало страшно жаль, что жизнь прошла, а он ни кем не был: ни художником, ни машинистом. Ничего не пережил. Так страшно.

Старик постоял у калитки перед запущенным садиком. На него смотрели давно не мытые окна. Ничьих взглядов он не чувствовал. Вообще, все было тихо.

Старик не сумел бы объяснить, как он решился на такое, может быть, чтобы пережить еще что-то, пока жив.

Он повернул щеколду и вошел в садик. Прошел мимо золотых яблок в серой траве, поднялся на крыльцо и достал из-под пыльного половика ключ.

Убранством дом был схож с Веркиным, только запущенный. «Декабрист» на подоконнике стоял весь сухой. Старик открыл тумбочку под телевизором и достал альбом с фотографиями. Он устроился с фотографиями за столом, чтобы видеть тропинку.

В отдельном черном конверте он нашел фотографии Степана Петровича. Все они были сложены в хронологическом порядке. На обороте каждой простым карандашом отмечен год, иногда — запечатленное событие.

Она действительно училась со Степаном Петровичем в одном классе. Интуиция не подвела старика. И действительно была в него влюблена, только влюбленная женщина могла собирать эти фотографии.

Старик перекладывал фотографии осторожно, чтобы не нарушить порядок времени.

Впервые Степан Петрович женился в восемнадцать лет, за несколько дней до проводов в армию. После армии прожил с женой полгода. Была фотография «Отмечает развод». Он был пьян и весел за столом. Через пять лет вновь стоял под руку с женщиной в белом платке.

И первой и второй женой Степана Петровича была одна женщина.

Часы ударили. Они висели рядом с буфетом. Маятник качался. Полдень.

Домой старик вошел без четверти час.

Верка с подружкой сидели за столом. Подружкой была хозяйка золотой китайки.

Тут же Верка налила старику горячий суп.

— Где вы были? — спросила и отрезала свежего хлеба.

— Гулял, — сказал старик. — По Казанке.

— Где у нас тут гулять? — вздохнула Верка. — Вот раньше. Помнишь, Галя?

Галя занята была супом. Со стариком она не поздоровалась, может, не узнала, а может, и не заметила тогда в баре.



— Парк был чистый, — мечтательно говорила Верка, — ухоженный, в клубе — кино, танцы. Из города приезжали. Сейчас думаю, не сон ли это?

Не сон, — подумал старик. Полчаса назад он видел фотографию их парка тридцатилетней давности. Тополя подстрижены, решетка вокруг парка новенькая, публика прогуливается...

Они ушли на работу. Старик достал газету и прочитал внимательно.

Об экстрасенсах, о кражах, о пожарах, о ценах на местном рынке. Снимки в газете были скверные, лица не отличались друг от друга.

В рубрике «Объявления» старик прочитал: продается дом, деревянный, печное отопление, без водопровода, колонка рядом, сад, три яблони по десять лет.

На подоконнике в декабре цветет «декабрист», — добавил мысленно старик, — на кухне стоит буфет, в буфете — синие чашки.

За дом просили пять тысяч долларов, дом был на Казанке.

К приходу Верки старик отварил картошки и поджарил окорочка. Верка вошла, увидела накрытый стол и воскликнула:

— Что вы!

За чаем старик спросил:

— Давно ты дружишь с этой Галей?

— Нет.

— Но знаешь ее давно?

— Да. По заводу.

— Почему вдруг подружились?

— Да мы и не подружились. Обедаем вместе. Ей со мной скучно, она умная. Везет.

— Разве ум — везение? — удивился старик.

— Ну вот, к примеру, — сказала Верка, — она физику очень хорошо знала в школе. Все думали, она пойдет после школы в институт, в Москве будет жить, ученой станет. Она и поехала в Москву, только не поступила. Вернулась, на завод устроилась. Зарабатывала хорошо, но последнее время, конечно, очень мало. А тут Школьников к ней приходит в прошлом году и говорит: у меня сын по физике отстает. Она: я все забыла. Он: вспомнишь. Очень ей большие деньги платит за уроки. Я считаю, это везение.

Да, — подумал старик, — каждый улавливает этот фантастический мир в сети своей логики.

— Почему он пришел к ней, а не к учителю? — спросил старик. — Может, он в нее влюблен?

— Нет, — упрямо сказала Верка, — это везение, а он никого никогда не любит.

— И жену?

— Тем более.

— Зачем тогда женился на ней дважды?

— Не знаю. Многие тогда об этом говорили, но никто не знал.

— Может, в деньгах дело?

— Что вы, какие деньги. Они очень скромно жили, и в первый раз и во второй.

— Откуда же у него деньги за физику платить?

— Не знаю, но это уже после жены, после аварии.

— И бар после аварии?

— Конечно.

Старик больше ничего не стал спрашивать, хотя можно было совершенно естественно поставить ряд вопросов, любой бы человек из любопытства их поставил, но старик — нет. Сознательно. Он знал, что делал.

Он развернул газету и как будто углубился в нее, чтобы Верка не отвлеклась от своих мыслей на него.

Верка мыла посуду, он шелестел страницами. Верка взяла полотенце и вдруг сказала:

— Я ведь ее хорошо помню.

— Кого? — старик поднял глаза на Верку.

— Жену Школьникова. Это ведь в каком году было... Саше сейчас одиннадцать, пять лет как авария, женаты они были семь лет второй раз, семь плюс пять — двенадцать, плюс пять лет в разводе, плюс два года первый раз женаты, включая армию. Девятнадцать. В 1978 году было.

Она пришла к нам на завод из деревни. Жила в общежитии. Я помню ее в нашем парке, в самом глухом месте, оно и тогда было глухое, где пруд, на деревянной скамейке. Сидела допоздна, до фонарей. Это был июнь, то есть фонари уже поздно включались. Не хотелось, наверно, в общежитии, вот и сидела.

Вообще она людей сторонилась, а Степан Петрович — нет.

Неделю посидел с ней на скамейке и женился. И ушел в армию.

Она жила эти два года с его матерью, тихая и робкая. Не работала, вела хозяйство. Он захотел, чтобы она не работала.

Вернулся из армии и буквально через месяц развелся. Почему через пять лет опять на ней женился, не представляю.

— А где она жила эти пять лет?

— Как где? В общежитии.

— А он?

— Дома, конечно. Мать умерла, он очень свободно жил, девиц водил, магнитофон у него грохотал на всю Казанку, громче родного завода. С ней вообще, по-моему, не виделся эти пять лет. И вдруг — опять женился.

Решетка была невысокая. Столбики увенчаны львиными головами с пустыми глазницами. Сама решетка между столбиками — простая, без украшений, увитая сорным растением вьюнок с нежными цветами в виде колокольчиков.

Старик шел вдоль дороги. По правую руку за ржавой решеткой — древние тополя с черными гнездами грачей. По левую, через дорогу, — школа. Ремонт в ней закончился. В чисто вымытых стеклах отражались белые тополя. Старик прогуливался, курил «Приму» и размышлял.

Почему Степан Петрович женился в первый раз? Возможно, из жалости. Подумал, мне все равно, мне в армию, пусть девчонка поживет два года в домашней обстановке, вернусь — посмотрим, может быть, и поладим. Не поладили.

Ему с ней скучно стало. И даже страшно — так она сторонилась людей. К нему перестали ходить друзья, и они ни к кому, конечно, не ходили. И он развелся. Но через пять лет вновь взял за себя.

В последнем разговоре старик спросил Верку, — приезжали родные жены на похороны?

— Конечно, — сказала Верка. — Брат. Только похорон никаких не было, он ее увез хоронить на родину.

Старик шел и думал о происхождении денег Степана Петровича. Они явились сразу после смерти его жены. Может быть, кому-то была выгодна смерть его жены, и он заплатил за нее Степану Петровичу? Но старик отверг эту версию. Она не объясняла второй женитьбы. Хорошая версия должна объяснить все события. Объединить все события.

Незаметно старик достиг перекрестка. Здесь все и произошло тем вечером. Они шли вдоль решетки. Было темно, фонари разбиты. Они держались близко к решетке.

— Перейдем? — сказал Степан Петрович и пошел через дорогу. Он не оглядывался. Она шла за ним. На два шага он был впереди.

Ее сбила машина без фар. Ему повезло.

Конечно, все было не совсем так, — решил старик.

Он сказал «перейдем», и тут они услышали эту машину. Пусть она была без фар, но мотор они слышали. Они ждали, когда она проедет. Когда она их

достигла, Степан Петрович толкнул жену. Прямо под колеса. Он сильный, ему ничего не стоило.

Но почему? Они шли из гостей. Что-то было в гостях?

Старуха писала, убил из-за «Павлина». Убить из-за «Павлина» все равно что убить из-за денег, деньги нужны были на «Павлина». Все упирается в деньги. И при чем тут кольцо?

Улочка деревянных домов притаилась в центре города. С этой улочки видны были Ока и железнодорожный мост через Оку. На реке купались. Мальчишки удили рыбу с понтонного моста. Все это было далеко и освещено солнцем. Кривая улочка тонула в холодной тени. Из невидимого еще оврага пахло погребом.

Старик спускался в овраг долго, минут по двадцать отдыхал на площадках скрипучей лестницы.

На третьей площадке, куда солнце уже не достигало, он закурил.

Крапива, шиповник, тысячелистник, шиповник, иван-чай... Пахло погребом, и всей этой травой, и близкой рекой. Гудели насекомые. Старик отбросил окурок и пошел вниз, вглубь.

Верка сокрушалась, что он ходит по этим шатким лестницам, да еще с бидоном. Хотела сама ездить за водой, но он сказал, что дело не в воде. Ему просто все это нравилось: лестница, овраг, звон воды о железное дно.

Набрав воды, он, как правило, заходил в «Павлин» и выпивал синюю чашку кофе. Робкий Саша и Степан Петрович с ним здоровались, а вот Галя почему-то не здоровалась.

Может быть, ей не нравилось, что старик так внимательно и в то же время отстраненно на них всех смотрит.

В четверг бар оказался закрыт. Старик вернулся на Казанку. Верка сделала чай, он выпил чашку и пошел на Красную Пресню кружным путем, в обход старухи с толстыми стеклами.

Он поднялся на третий этаж краснокирпичного дома.

Он увидел сверху, что дверь в доме Степана Петровича открыта настежь.

Саша сидел на скамейке под яблоней и читал. У старика возникло чувство, что в доме никого нет. Мальчик читал медленно — редко переворачивал страницы. На пустыре ребятишки выдирали полынь и строили из полыни шалаш. Саша время от времени поглядывал на ребятишек.

Ему важно, что он не один, — понял старик, — что совсем рядом люди.

Незаметно серой пеленой затянуло небо, и все потемнело: Воздух не двигался. Старик погасил машинально зажженную папиросу. Все тело взмокло от пота, даже пальцы. Темнело. И скоро стало, как вечером. Ребятишки разбежались, одна совсем маленькая девочка спряталась в шалаш.

Ударили первые капли. Саша закрыл книгу и встал. Чтобы видеть девочку в шалаше. От сильного ветра яблони закачались и вся трава на земле. Старик совсем приблизился к стеклу, чтобы лучше видеть в сумраке.

За девочкой прибежал отец, вынул из шалаша и унес на руках.

Ливень обрушился.

Отец и девочка промокли в одну секунду. И Саша промок под своей яблоней. Темноту рассекали молнии. Все это было красиво из-за стекла, но под яблоней, конечно, страшно. Саша рванул в дом. Но не запер дверь, а так и стоял в проеме. Видимо, пустой, безлюдный дом был страшнее сияющих молний.

Гроза прошла быстро.

Выкатилось солнце, и все засверкало, и заискрилось, и заблестало... Сияние — вот как это называется. И меня не будет, — подумал старик, — и солнце выкатится, и будет — сияние.

Мальчик вышел из проема в мокрый сад. Скамейка была мокрая, и он не садился, а просто стоял. И пустой дом был за спиной.

Старик спустился, вышел и вдохнул невозможно свежий после подъезд-

ного воздух. Обогнул дом, пересек дорогу, пустырь, все медленно, потому что не умел быстро, тем более ноги скользили по сырой глине.

Он поравнялся с их калиткой, и мальчик увидел его.

Поздоровались.

— Ты что стоишь весь мокрый? — сказал старик. — Беги в дом, ставь чайник, простынешь.

— Папы нет, — сказал мальчик.

— Ну и что?

Мальчик смутился.

— Пригласи меня в гости, — велел старик.

— Конечно! — мальчик обрадовался и бросился отворять перед стариком калитку.

Скоро они пили чай. Мальчик был переодет во все сухое.

Старик спросил:

— Где Степан Петрович?

— С поставщиками разбирается. К вечеру обещал быть.

Старик потрогал лоб мальчика, лоб был горячий.

— Ляг и усни, — велел старик, — а я рядом посижу.

— Что вы, — сказал мальчик совсем как Верка. Но старику подчинился.

Его разморило от горячего чая. Он уснул на диване.

В этом доме не было «декабриста» на подоконнике, был другой цветок — «невестка». Буфет стоял в углу, у печки. Напротив окна — письменный стол. За ним, конечно, мальчик делал уроки.

Вряд ли документы в буфете или в столе мальчика, — решил старик.

Он вошел в смежную комнату. Тут, разумеется, была кровать с подушками под кружевной накидкой. Шифоньер. Телевизор на тумбочке. Возможно, неплохо показывает, — подумал старик. Телевизор был подключен к стабилизатору напряжения. Старик отворил дверцу тумбочки.

Мальчик дышал ровно.

Документы лежали в незапертой шкатулке. Старик достал сберегательную книжку. Ее завели в 1985 году, в год второй женитьбы. Деньги приходили на счет Степана Петровича ежемесячно. Причем с учетом инфляции. В 1985 году это было триста рублей, а триста рублей в 1985 году — сумма немаленькая.

Старик спрятал книжку, запер тумбочку и вернулся к мальчику. Сел у окна, развернул книгу, которую мальчик читал под яблоней. Листы были влажные по краям и разлипались с трудом. Старик был осторожен.

«Остров сокровищ».

Старик с увлечением прочитал страниц тридцать, и мальчик проснулся. Старик взглянул на часы и сказал, что Верка его заждалась. Мальчик проводил его до калитки.

— Можно, я не буду говорить отцу, что вы у нас были? Не потому, что он против вас, он не поверит, что вы сами зашли, что не я вас зазвал.

— Я был у тебя? — удивился старик.

Его это вполне устраивало.

Мальчик не вернулся в дом, а сел на просохший край скамейки. Лицо у него было розовое ото сна. Ребятишки разбирали свой мокрый шалаш.

Итак, картина прояснилась. Кто-то, возможно, брат этой женщины, встретился с ним через пять лет после развода и сказал:

— Мне это не нравится, но она почему-то в тебя влюбилась и не может разлюбить. Никого больше не хочет, ни одного мужчину, а время идет. Мне это, повторяю, не нравится, но что делать?

Я спросил свою сестру, что ты за человек. Она хоть и влюблена, но тебя видит без искажений. Она сказала, ты привязан к деньгам. Это мне на руку. Ты женишься на ней. И каждый месяц жизни с ней на твой счет будет прихо-

дить триста рублей, с учетом инфляции. Каждый день твоей с ней жизни будет оплачен. Ей ты ничего не скажешь. Думаю, ты согласишься.

Он не ошибся.

Степан Петрович хоть и любил веселую жизнь, был очень хозяйственный человек и копейку уважал. Он думал, поживу с ней, сколько терпения хватит, скоплю на кооперативную квартиру. Потом, когда времена переменялись, он думал, скоплю на ресторан или бар. Любил представлять себя за стойкой, работник и хозяин в одном лице.

Плохо он себя знал. А вот брат бедной женщины все правильно о нем догадался.

Год прошел, и второй, и третий, а Степан Петрович не мог заставить себя разойтись с нелюбимой женой, не мог оборвать поступление денег.

Жили они без друзей, потому что характер жены не переменялся. Степан Петрович боялся вести при ней свою прежнюю веселую жизнь, боялся, что и за это могут прерваться деньги. Так что жили они, со стороны, дружно. Может быть, он даже стал втягиваться в ее жизнь.

Нельзя сказать, чтобы они совсем не бывали в гостях, иногда заходили к тихим людям. И вот летним вечером 1992 года они возвращались от таких тихих людей.

Он много выпил в гостях, но шел ровно, а голова работала яснее ясного.

Автобусов уже не было, и они шли пешком. Шагали из города, долго. Он шел за женой и видел ее перед собой. В этот вечер он сознался себе, что никогда не откажется от нее, то есть от денег. Не сможет остановиться. Он шел за ней, знал это и ненавидел ее вместо себя. Иногда она оборачивалась и улыбалась ему.

Они достигли парка. И пошли вдоль решетки с львиными мордами. Тополя качались высоко в темном небе. Фонари не горели. Она сказала:

— Перейдем?

Конечно, это она сказала!

И тут они услышали шум машины. Машина шла быстро. Они стояли у решетки и ждали, когда она пролетит.

Он толкнул жену, чтобы не было больше соблазна денег.

Вот такое допущение сделал старик. Он был уверен, что так все и было, только доказать не мог. Старуха доказала кольцом.

За окном на черной ветке висел месяц. Старик был доволен. Он почти разгадал загадку.

Во вторник Верка ушла на завод. Старик выпил чаю и, как неделю назад, сел у окна. У него было плохое настроение, он ничего не мог придумать с кольцом. Он сидел и хмуро смотрел на тропинку.

Почтальонша появилась рано. Она задержалась у их калитки и вложила что-то в ящик.

Старик вышел из дома и достал письмо. Погода в этот день была серая и прохладная. Письмо было адресовано Верке. Старик сразу узнал почерк старухи. Он вернулся в дом и у окошка распечатал письмо над дымящимся носиком чайника.

«Жаль, что ты такая ленивая на письма, — писала старуха, — и я от чужих людей узнаю, что у тебя гость. Гость этот чужим людям подозрителен. Лампия пишет, что он не тот, за кого себя выдает. С одной стороны, кому и зачем это надо? Но — с тобой, моя дорогая, всякое может случиться. Будь осторожна. Сходи к Лампии и посоветуйся. Она к тебе не хочет идти, боится этого человека.

Конечно, я ей не очень верю. Из-за ее слов я с ним тогда и рассталась, а потом жалела. Думаю, она была права, но все равно жалею...»

Старик сложил письмо и заклеил конверт канцелярским клеем. И спрятав в свой портфель. Пора было уезжать. Но хотелось доразгадать загадку.

Лампия была, конечно, та старуха с толстыми стеклами.

Старик захотел увидеть ее в молодости. Он достал фотографии. Он вглядывался в лица. Он заметил, что выражения лиц меняются от времени, то есть по выражению лица можно угадать время.

Лампию он увидел в худенькой длинной девочке. Она качалась в парке на качелях-лодочках. Фотографировали не в парке, а перед парком, чтобы было расстояние, так что на переднем плане вышла решетка.

Решетка была какая-то не такая. Старик не сразу понял, в чем дело.

Дело было, конечно, не в ржавчине, то есть не в отсутствии ржавчины. Дело было в львиных мордах. Каждая держала в зубах кольцо. Этим кольцом весело было ударять по черному чугуну.

Сегодня все львы были без колец. Конечно, не все кольца разом исчезли из львиных зубов, и тем летним вечером кое-какие львы держали кольца, а может быть, это был последний лев. У него она тогда остановилась, пережидая машину. За кольцо ухватилась, потому что дорога впрытик шла к решетке, а машина летела близко к обочине.

Он толкнул ее очень сильно, расштанное кольцо выскочило. Когда машина умчалась, он тихо подошел к жене, наклонился, увидел кольцо в руке, испугался, что поймут по кольцу, разжал теплые пальцы.

Он не стал выбрасывать его на дороге, а спрятал в карман. Возможно, старуха видела, как он его потом выбрасывал. Или Лампия. Лампия рассказала старухе, а старуха догадалась, в чем дело.

Загадка была решена.

Лампия на качелях показала старику человеком проницательным. Она делилась своей проницательностью. То есть давала советы, писала письма. Старик свою проницательность держал при себе.

Загадка была решена, и можно и нужно было уезжать, но хотелось все-таки точно знать, что загадка решена верно.

В этот же вторник, до обеда, он составил письмо. В письме он изложил свою версию. Писал как очевидец.

«Зачем я пишу то, что вы и без меня знаете? Хочу наконец забыть то, что знаю. Как? Пять тысяч долларов, думаю, помогут забыть. Надеюсь найти их в газетном свертке в четверг в одиннадцать часов, под скамейкой на платформе».

Он запечатал письмо, напечатал адрес, кружным путем дошел до дома Степана Петровича и опустил письмо в почтовый ящик. Никто его не видел.

Почему он написал именно пять тысяч? — Стоимость дома на Казанке.

Ночь он спал хорошо и во сне чувствовал свет месяца.

В среду он взял бидон и поехал в город. Бар был открыт. Письмо уже прочитано, — подумал старик. Он был возбужден и впервые за последние годы ощутил время. Что до четверга надо прожить время. Больше суток.

Он прошел улочкой над Окой к оврагу. Как всегда, запахло погребом.

Подошел к лестнице и услышал гудение насекомых. Взялся за гладкие перила.

Он спускался медленно. На третьей площадке закурил. Его обогнал мальчишка с пластмассовой флягой. Старик швырнул окурочек в заросли. Поднял бидон и взялся за перила. Он не слышал ничьих шагов за спиной — а у него был тонкий слух! — но кто-то толкнул его в спину, и он вместе с перилами рухнул в заросли.

Даже не закричал. Лежал, как мертвый, и боялся дышать. Звонкий голосок доносился от родника. Наконец он решился и открыл глаза. Никого не увидел. Медленно поднялся.

Руки болели от крапивы. Крышка от бидона потерялась. Он увидел мальчишку, легко поднимавшегося со своей флягой, и окликнул.

Мальчишка помог ему взобраться на лестницу.

— Вы осторожнее, перила гнилые внутри.

Какие тебе еще нужны доказательства? — думал старик.

Он зашел в парк над Окой и просидел на центральной аллее до закрытия, до сумерек, до остановки «чертова колеса».

Бар был закрыт, но в витринах горел дежурный свет. Павлиньи перья глядели черными зрачками. Старик еле переставлял ноги.

Он не успел на последний автобус и до Казанки добрался в два часа после полуночи.

Он шел вдоль решетки, как можно ближе к решетке. У школы хотел перейти и — не смог. Остолбенел от страха. Если бы у льва было кольцо, он бы в него вцепился.

Шло время. Он чувствовал его ход. Он взмолился о прохожем, и Бог сжалился. Пьяная веселая женщина перевела его через дорогу.

Верка встретила радостным воплем. Она уже нарвелась, извелась, его дожидаясь. Старик ничего не стал объяснять, попросил чаю, попросил выключить свет. И сказал, что уезжает завтра.

— Когда первый поезд на Москву?

— В одиннадцать.

— Ты меня не провожай. — Так сказал, что Верка не посмела возразить.

Вечером, пока Верка мыла посуду, он достал старухино письмо из своего портфеля, вышел и тихо опустил в почтовый ящик. Назавтра он вышел из дома рано, чтобы наверняка взять билет. Верке сказал:

— Гляди, письмо в ящике.

Она махала ему вслед рукой с письмом.

Старик взял на станции билет. Времени еще оставалось три часа, и он пошел в клуб железнодорожников, в кино.

Погас в зале свет, и на старика навалилась усталость, организм не выдерживал напряжения. Старик провалился в сон. Очнулся от вопля: «Стой! стой!».

Мальчишка рядом, открыв рот, глядел в экран.

Человек с пистолетом уже не кричал, а тихо говорил: «Стой». Другой человек отступал от пистолета с поднятыми руками.

Стена — некуда отступать.

— Вот и хорошо, — сказал человек с пистолетом и вынул наручники. Бросил наручники к ногам того, у стены.

— Надень сам.

Тот защелкнул браслеты и устало спросил:

— Как догадался?

— По кольцу, Степан Петрович, по кольцу.

— По какому кольцу? — ошарашенно спросил старик.

— По садовому, — сказал мальчишка.

Старик вышел из клуба на платформу и тихо пошел к скамейке. Старик так ослаб, что хотел посидеть десять минут до поезда.

Он издали увидел газетный сверток.

Подошел к скамейке. Сел. Газетный сверток был прямо под ногами.

Старик оглянулся, никого не увидел, ничьих взглядов не почувствовал. Нагнулся, достал сверток, пробил пальцем дыру в газете. В свертке лежали деньги.

Или «кукла»? Быть может, Степан Петрович выяснял, кто прислал ему столь странное письмо?

Объявили прибытие поезда.

Старик положил сверток на место, под скамейку.

Поезд медленно отходил от платформы. Верка шла вровень с окном. Она прибежала, когда поезд уже отправлялся. Лицо у нее было растерянное.

# Санджар Янышев

## Отлучённый

### Званный ужин

Сегодня Иосиф людей собирает.

— Иди уж, я справлюсь! —

Жена, как всегда,

с утра недовольна:

им лишь бы пожрать,

да выпить —

оценщикам мужниных вирш:

— «Ценители!»! Тоже мне —

всякую шваль

назвал и корми их задаром! — Иосиф

устал препираться. Листочки стихов

он снова и снова перебирает:

что стоит показывать, что подождёт...

«Вот это сперва, затем это и это.

А это читал в прошлый раз —

может, вспомнят

и сами попросят...»

— Я новую скатерть

не буду стелить —

обойдутся клеёнкой!..

А свечи зачем?!

— Так ведь...

— Нечего, спрячь.

Достаточно верхнего света! —

*Поэма* —

вот главное, что он сегодня хотел бы

прочсть; там не всё ещё гладко, но это,

пожалуй, удачней всего остального.

И кто его знает, как скоро ещё...

— Родная, возможно,

гостей будет девять...

— Постой, ты же «восемь» сказал!..

— Но Лососев...

Он будет с женой...

— Почему же без тещи,

без брата, без шурина, кума, детей?!

— Полиночка!..

— ?! —

«Нужно сразу сказать,  
что это *отрывки...*»

— Тарелки протри!

Я переоденусь — не в фартуке же...

— Спасибо, голубушка!

— Слышишь? звонят!

.....

Последний ушёл, распинаясь и брызжа

(пред этим в уборной он час просидел),

и выпросил несколько рукописных

листочков:

— Я пе-пере-читаю!

— Конечно,

конечно. И можете не возвращать!

— Спасибо, всё было...

— Пожалуйте снова.

Иосиф, ну что же ты? Проводи.

— Дойду, благодарствуйте!

— Всё же позвольте!..

.....

Ушли. На столе рыбы кости и жилки

хрящей, не подававшихся челюстям;

нет в доме животных —

всё прахом, всё к чёрту...

Комочки пропитанных жиром салфеток

и краешек рюмки — от соуса бел...

Скорее бы лечь — нет ведь:

будет до позднего

часа полночищать, водувлённый...

И где его носит! Всё без толку. Бедный

мой, бедный... Часа полтора как ушли.

...Вот зараза! Пойти, поискать?..

---

Санджар Фаатович Янышев родился в 1972 году в Ташкенте. Закончил филфак Ташкентского государственного университета, с 1995 года работает в Москве. Публиковался в «Звезде Востока», «Новом журнале», «Арионе», «Октябре», альманахе «Окрестности». Автор книг стихотворений «Зоография», «Малый Шёлковый путь» (совместно с В. Муратхаповым и С. Афлатуни) и книги писем «Висячие сады». Живет в Павловском Посаде.



### Речь

«Мы идём в школу с хорошей речью!» —  
Так было написано в моей виньетке.  
И на самом первом выпускном вечере,  
когда дети пели: «До свиданья, детский сад — //  
Все ребята говорят...» — штурмом взятая буква «р»  
горосира чудо как правно;  
и, одарённые ещё одним звуком,  
мы были уверены, что уж теперь  
все-все ночные Ожилы\* сами уснут  
и уж больше не оживут, и уж больше  
мы не будем лишними... А там, глядишь,  
новые звуки подрастут  
в кнопках и клавишах аккордеона,  
в промасленных канифолью связках кеманчи,  
в древесных раковинах комуза и рубаб...  
«Музыкальный инструмент» — ведь это не просто идиома:  
с его помощью люди, жившие в малорослых глиняных домах,  
словно шкатулки, отворялись и начинали звучать,  
и выползали, как крабы,  
на середину улицы (дети крупной высыпали) —  
вот что творили с ними звуки  
истошного карная и высокопарной дойры.  
Гундосый ----- · протрачивался ритмом,  
и страшно подумать, в какие тайны, в какие дымы  
он обещал посвятить, какие просторы  
были предвкушены и почти что зримы:  
просторы, окрашенные в цвет  
сгущённого молока и лимфоузлов,  
кирпичных сердечек и чердачной муки,  
девчачьих лодыжек и дымных лепёшек,  
оставленных марширующими коровами;  
а ещё — саранчи и пнёвой трухи, подождённой  
красными муравьями, жуками-носорогами...  
О, это были — тум-ля-ка-тум — всерайонные  
гульбища, свадьбы,  
и лично мне они сулили гораздо больше,  
чем «молодым» \*\*: свежавание барана,  
чѐ внутреннее устройство тем паче впечатляло,  
чем беспощадней жалость моѐ сердце  
высвобождало, как орѐл печѐнку  
известного по мультику титана, —  
кроме того, возможность долго не ложиться,  
а после — под открытым небом сон...  
И вот теперь, когда нет со мной моего аккордеона,  
нет со мной моего карная,  
нет свадебного шествия, нет дерева, с которого я мог  
его наблюдать, нет зелени —  
такой зелёной, что и не бывает...  
Нет карябаемой солнцем пластинки —  
иссиня-синей, как воронка времени —  
и зрению уже не будет насыщенья  
ни этим цветом, ни многими другими,

---

\* « — А я Ожил!  
Я голову сложил  
(на плахе бытия)...»

\*\* те подчас познакомились едва не  
за свадебным столом...

ведь время, как известно...  
...Теперь, когда чудовища похлеще  
прильнули к стёклам — нет им числа,  
нет имени, — а слух и обоняние как в воду  
погружены... Так вот, теперь хочу спросить:  
что он мне дал, тот, чудом обретённый  
(чья буква, словно пёрышко, парила,  
как головня, дышала), что он дал мне —  
тот откровенный сокровенный ЗВУК?

\* \* \*

Мой слог, мой голос, воспалённый  
язык — последний мой причал!  
Родных наречий отлучённый,  
внимаю собственным речам...

Тот свет, который населён был  
мною, словно шорохом сквозняк, —  
так будто выпавшая пломба,  
теперь отделен от меня.

И боль, что медная кольчуга,  
уже не давит сердце мне,

обвивши тело, словно чудо,  
разлитое по всей земле.

И чем ты дальше, тем разменней  
твои стихийные черты...  
Но застрахована от тленья  
душа, и в той же мере — ты.

...А нить, что связывала прежде  
мой сон с пучком твоей зари,  
теперь на чьей-нибудь одежде,  
как волос в лампочке, горит.

### Анабасис

Из всех щелей в армянских варварских землях  
лезет — прёт! — наших лучших лучников, пращников  
ослепившее напоследок хлопчато-белёсое семя,  
набившееся под сёдла, за ворот, за щеку...  
И только я один, похоже, знаю наверное:  
снег — это та же евксинская сцифомедуза,  
испарённая солнцем аврелия обыкновенная...  
Ни один ещё грека не убежал её заливного укуса;  
ни один водевиль не ограничился водными упрощениями...  
Значит, скоро — Талласса, корабли, итаки, иолки.  
Восхождение к морю займёт по соседству с Плутархом не менее  
девяти локтей прошитой бумаги на чьей-нибудь полке,  
обладатель которой отрастит себе длинные ногти,  
будет грызть заусенцы, лысеть поминутно, пить только зелёный  
чай, спиртовой настой на ежевнике, «Балтику-тройку»...  
и ещё креплённый мускат; отречётся однажды от рифм,  
а затем и вовсе обратится к свободно текущей прозе, иногда называя её  
верлибром и растворяя в ней гранулы памяти; уедет по найму, разделит с  
чужим народом язык, следом и веру, но с годами начнёт прислушиваться по  
ночам к неторопливому течению, постукивающему изнутри перстом, точно  
сельский табиб — в районе запястий и головных полюсов, — различать в  
этом потоке как бы тирольский глас муэдзина, шум высокородных ручьёв,  
запах прибитой из ведра пыли по вечерам над туземной частью родного  
города и ещё — аромат мускусной мечети, если дождь... И наконец,  
возвращаясь (ведь это теперь не кажется столь невозможным), преодолев  
бескрайнюю степь, будет плакать при виде арыков и солончаков,

или этих трижды

три нами проклятых гор, но других, притворившихся облачной  
нерастаявшей массой, обозримой отсюда, особенно там, где цветущий оазис  
уже близок (вот-вот...), он сойдёт без вещей и отправится (ишь ты!)  
налегке — это будет не наш, это будет его, *это будет его — Анабасис.*

Александр Чудаков  
**Ложится мгла на старые ступени**

---

роман-идиллия

**Вдовый угол**

По утрам дед по-прежнему, несмотря на свое полулежачее состояние, брился сам, доверяя Антону только взбивать пену в широкодонном медном стаканчике, именуемом «тазик», и — уже со вздохом — править «Золлингген» на ремне. Подравнивал усы, виски, тщательно выбривал щеки (подперши их изнутри языком, так что в рассуждении гладкости они делались совершеннейший атлас).

Раньше, когда Антон приезжал на каникулы, дед любил за завтраком расспрашивать его, как там в столицах. Антон старался рассказать что-нибудь любопытное, например, про встречу студентов МГУ с Николасом Гильеном, и даже цитировал его стихи, которые на вечере с пафосом читал переводчик прогрессивного поэта: «Он теперь мертвый — американский моряк, тот, что в таверне показал мне кулак». Реакция деда, как всегда, была решительной:

— Наши были бандиты, и эти, кубинские — тоже бандиты.

Вспоминали; их общие с дедом воспоминанья теперь тоже отстояли — не верилось — на тридцать, тридцать пять лет.

— А помнишь, дед, как вы меня с отцом экзаменовали?

— Да-да, когда Петр Иванович выпьет. Ну, это было нечасто — где было взять? Сдавали картошку — за мешок полагалась бутылка, мама твоя иногда принесет чуток спирту из лаборатории. Но она боялась... Сядем с ним, я выпью свою рюмку, Петр Иванович — остальное. Позовем тебя — ты был очень забавный. Развлечений же никаких.

Называлось: экзамен по философии.

— Леонид Львович, сначала — вы, начнем, по хронологии, с богословия.

Дед охотно вступал в игру. Очень серьезным тоном он спрашивал:

— Какие суть три царства в тварном мире?

— Три царства суть, — отбарабанивал Антон, — царство неживое — видимое и ископаемое, царство прозябаемое — растительное и царство животное.

— Относится ли человек к царству животному?

— Не относится, ибо он есть особенное Божественное творение.

— Ну-ну, — говорил отец. — Посмотрим, осталось ли что-нибудь в твоей головке от марксистской философии. Почему учение Маркса всеильно? Не помнишь? Потому что, — он подымал вверх палец, — потому что оно верно.

— Что есть истина? — задумчиво говорил дед.

— Идем дальше. Из чего состоит окружающий, или, как сказал бы твой дедушка, видимый мир?

— Весь окружающий нас мир состоит из материи, — отвечал Антон. Помнил он это, как и все, что ему говорили, хорошо, но всегда удивлялся, что и печь, и стены, и дорога одинаково состоят из мягкой материи, вроде той, из которой мама по вечерам строчила на машинке трусы и бюстгалтеры.

---

Окончание. Начало — «Знамя», № 10, 2000 г.

— А что мы имеем в безвоздушном межпланетном пространстве?

Это было еще непонятнее, но что надо отвечать, Антон также знал твердо и произносил с удовольствием:

— Тоже материю, она вечна и бесконечна.

— А что есть жизнь? — спрашивал отец. — Вы, Леонид Львович, вряд ли ответите на такой вопрос.

— Пожалуй, — говорил дед, подумав. — Я могу сказать только об ее источнике — богоданности.

— А мы знаем! — с торжеством говорил отец, успев за время экзамена выпить еще рюмку-другую. — Жарь, Антон!

— Жизнь есть существование белковых тел, — натренированно выпаливал Антон; это было понятней всего: белок был в яйце, а из яйца вылупливался живой мягонький цыпленок. — Сказал Фридрих Пугачев.

Отец от удивленья поставил рюмку, но потом, поняв, начал хохотать: за улицей Маркса в Чебачинске шла не улица Энгельса, как полагалось, а почему-то улица Пугачева, Энгельса была следующая.

— Я знаю то, что ничего не знаю, — вдруг говорил дед. Это было не совсем ясно, но все же понятней, чем то, что быстроногий Ахилл никогда не догонит черепаху.

Покормив деда, повспоминав и поговорив с ним о конце золотого века в четырнадцатом году, Антон шел в город.

Сегодня он решил сначала навестить свои тополя, которые они сажали в третьем классе на первом своем воскреснике. За тридцать лет деревья вольно разрослись, никто не спиливал, как в Москве, верхние их половины. Антон нашел свой тополь; у него сохранилась фотография: мальчик в большой кепке держит за верхушку прутик. Как в «Пионерской правде»: «Впереди Никитин Ваня, он стоит на первом плане и с сияющим лицом снялся рядом с деревцом». Теперь этот прутик был выше телеграфных столбов. И, кажется, выше своих соседей — Антону хотелось, чтоб выше. «Я с улицы, где тополь удивлен...»

Все пионерские мероприятия в школе носили хозяйственный характер: посадки, перелопачиванье зерна на элеваторе, копка картошки в колхозе. Пионерских сборов, которые, судя по «Пионерской правде», во всех школах страны проходили беспрерывно, в чебачинской устраивать не удавалось: после уроков одного ждал огород, другого — хлев, третьего, опоздай он, не сажали за стол. Сборы, слеты — все это происходило где-то далеко, там, где пионеры ходили на торжественные линейки в Колонный зал и встречались с внуком Маркса Эдгаром Лонге. С удивленьем мы разглядывали снимки в той же газете, из которых яствовало, что московские школьники всегда были при своих красных галстуках — и на уроках, и на экскурсиях, и когда мастерили авиамодели (все столичные школьники мастерили авиамодели). В газете серьезно обсуждался вопрос; допустимо ли галстук носить с цветной рубашкой; после печатания материалов обсуждений и писем пионеров тридцатых годов общее мнение склонялось к тому, что предпочтительнее все же с белой, которую нужно менять через день — над этим помирал со смеху сын Усти Шурка, у коего была только одна неопределенного экономического цвета рубашка, которую мать стирала по утрам в воскресенье и вешала над плитой; Шурка сидел и ждал, когда она высохнет.

В нашей школе всякий, надевший галстук, должен был быть всегда готов за него *ответить*. Увидев галстучника, кто-нибудь (чаще всего Борька Корма) хватал его за галстук под самое горло так, что перехватывало дыхание, и говорил грозно: «Ответь за галстук!». И галстучник сипло выдавливал: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь — она и так пролита в октябрьские дни».

Все главное происходило на Улице. Улицу Антон любил, но она была к нему сурова: дразнила профессором кислых щей, била — за отказ признать, что удавы бывают в сто метров длиной или что камни растут. «Да скажи этим

негодяям, — говорила бабка, примачивая ему очередные фонари под глазами, которые с невероятной точностью умел ставить Генка Меншиков, — что растут их мерзкие камни, растут!» Но в научных вопросах Антон на компромиссы не шел, а уж с такой чепухой не мог согласиться даже под угрозой раскрывания носа.

Приятели постигали законы Улицы с бесштанного младенчества, Антона долго не пускали играть с *этой бандой*, появился он на Улице как чужак, и хотя очень старался показаться своим, это таки не удалось. В выпускное лето Петька Змейко как-то сказал Антону:

— Ты б не матерился при своих уличных.

— Ты находишь, что это оскорбляет их нежные уши? Какого пса! Да они сами...

— Вот именно. А у тебя это выходит ненатурально и натужно.

Улица была не столь проста, как казалась; природу одного ее феномена я так и не смог постичь никогда.

Гоняем мяч. Появляется опоздавший Кемпель. Игра останавливается. Обе команды замирают как бы в безмерном восхищении — и тишина взрывается восторженным «ура», высоко вверх летят шапки. Когда клики затихают, Илья Муромец мощно провозглашает: «Где Кемпель — там победа!» Рев возобновляется с новой силой, Васька пронзительно-сверляще свистит, Корма кричит потарзаньи. Кемпель с достоинством подходит и пожимает всем руки. Начинается спор, в какой команде будет играть Кемпель, спорят долго и ожесточенно, наконец бросают жребий. Команда, которой выпала решка, снова вопит — уже одна.

Кемпель играл средне. Может показаться, что все действие являлось особо утонченным издевательством. Но это было не так. Вопя, мы испытывали искренний, беспримесный восторг — может, потому особо сильный, что ощущали полную его бескорыстность.

Игра начиналась, и о Кемпеле помнили не больше, чем о любом другом среднем игроке — до начала следующей игры, на которую Кемпель опять опаздывал — и все повторялось. Любопытно, что когда в футбол играли в школьном дворе, Кемпель интереса ни у кого не вызывал. Всеобщий восторг был феноменом массового сознания Улицы и принадлежал исключительно ей.

Рядом с тополями было место не менее памятное — парикмахерская. Всем учащимся мужского пола с первого по восьмой класс полагалось стричься в ней нашим. Тупая машинка драла невероятно, вырывая целые пряди; грязная простыня была закапана слезьми. Кресел было всего три, но за третьим стоял Соломон Борисыч, работавший только модельные стрижки.

Соломон Борисыч сорок лет проработал в Москве на Кузнецком Мосту в известном салоне, где начинал еще в мальчиках у Базиля. В Чебачинск он попал за язык.

— А что я такого сказал? Я такого ничего не сказал. Я только сказал... — он замолкал. — Базиль нас учил: клиента не только кругом обстриги, но и кругом обговори. Я не мог этого знать, что тот из салона сразу повернет в переулок, а потом — в те ворота — я не мог такого знать!

Было удивительно, что Соломон Борисыч наговорил только на пять лет и пять по рогам. Молчать он не умел — так прочно засели в его голове уроки парижского парикмахера.

— Можно и под полечку, и под Клеопатру! Но лучше сделаем вам коровий язык — у вас волос с висков, для зачеса, хороший. Теперь наденьте ваши очки — под волос. Видите, какая работа? Освежить — непременно! Айн момент — только сниму пудромантель (Антон уже знал, что так называется серая пятнистая простыня, которую мастер туго, невпродых обвязывал вокруг шеи). Одеколон мускус амбре! Красная Москва. Тэжэ. Сама Жемчужина душитя! Сомневаетесь? И напрасно. Я самого Михаила Ивановича обслуживал! И Андрея Андреевича. И Николая Ивановича...

На скользком разгоне Соломон Борисыч с трудом замолкал. Но ненадолго. Если в гостях у родителей сидел Гройдо, то, взглянув на измученное лицо Антона, он спрашивал светски:

— Как стрижка? Сильно драло? Что Соломон? Про Жемчужину говорил?

Кто такая Жемчужина, Антон знал давно и помнил, как Гройдо сказал: «Фамилия похожа на опереточный псевдоним. Я бы не удивился, если бы она таковым и оказалась. У ее супруга партийная кличка тоже не блещет вкусом — впрочем, как и у всех остальных».

— Он еще говорил, — спешил не растерять запомненное Антон, — что стриг самого Михаил Ивановича.

— Всесоюзного старосту то есть.

— И еще Николай Ивановича.

— Ему не хватило Чебачинска, — повернулся Борис Григорыч к отцу.

— Мало ль Николай Ивановичей, — сказал отец. — Распространенное русское имя-отчество.

— Его счастье, что разговаривает он уже не на Кузнецком Мосту. Там-то все помнят, кому принадлежало это распространенное имя-отчество.

У магазина на лавке, закончив ночное дежурство, курил ночной сторож Казбек Мустафьевич Ерекин. В школьные годы Антона он преподавал казахский язык. Как вихрь, влетал он в класс и на бегу ткнув журналом в кого попадая, выкрикивал: «Счет!» Подвернувшемуся надо было, вскочив, как можно быстрее оттарабанить: «Бі р, екі, уш, торт, бес...» Оценок было две: бес (пять) и кол (Антон с Мятком не раз обсуждали, почему эту оценку он называет по-русски — казалось, что уж в тюркском языке должно быть такое слово). Поставив первую оценку, Казбек Мустафьевич несколько успокаивался и говорил уже тише: «Тегыст». Начиналось чтение и перевод текстов из учебника. Про завод или депо они были понятны: все слова, за вычетом служебных, оказывались русскими. Но попадались тексты и более общего содержания: «Из райкома ВКПб вышел аксакал. Он нес чемодан. Он шел в райком ВЛКСМ. Из райкома ВЛКСМ вышел человек. Это был комсомолец. Он нес только портфель. Человек комсомолец сказал: «Чемодан тяжелый. Я молодой. Я сильный. Дайте, я понесу».

Ноги уже несли его по базарной площади, пустынной и грязной.

Базар собирался по воскресеньям, и в каждое Антон сопровождал туда бабу, считалось — для помощи, хотя она давала нести ему самую мелочь: щавель, ягоды, десяток-другой рыбешек. В хорошие годы привоз был приличный: из ближних сел подвозили и продавали с возов капусту, замороженное огромными кругами молоко, согнутых подковой мерзлых окуней (почему они любили замерзать именно в такой позе, не мог объяснить даже дед), живых гусей и уток, овечью шерсть, плетенные из ивяных прутьев вентера и корзины (во вьючные верблюжьи мог поместиться человек); местные выносили своего изделия деревянные ложки и ковши — плашковые и из торца, табуретки, костыли (товар, пользовавшийся спросом), деревянные лопаты, ухваты, глиняные рукояйники, кувшины, макитры, свистульки; стеклозавод с полуторки продавал графины, стаканы, возле машины всегда толпились и шумели: из кособоких ручного дутья стеклянных изделий что-нибудь подходящее выбрать было непросто.

Пока бабу надолго застревала в мясном амбаре, Антону разрешалось сходить за семечками. Их он покупал у Хромого, семечки у него были крупные, хорошо жаренные, не смешанные с сырыми, и стакан был обычный, а не с толстым дном, как у теток (Василий Илларионович смеялся, что такие на стеклозаводе им делают по спецзаказу). В другие дни Хромой торговал у аптеки или клуба; Антон придумал и сам верил, что у него на огороде растет не картошка, а одни подсолнухи. «Спекулянт твой Хромой, — сказала тетя Лариса. — Обыкновенный спекулянт. Купит в колхозе у кладовщика пять мешков и продает всю зиму».

К семечкам я двигался через барахолку. Сначала шла одежда: дубленые и сырые полушубки, волчьи малахай с глубокой треугольной зашейной, заправлявшейся под воротник и грешшей верх спины до накрыльев, со споротыми погонами шинели, очень ценившиеся за знаменитое русское бесшносное шинельное сукно (Кувычко носил шинель еще с той германской), ватники, валенки — чесаные и катанки. Кроме валенок, новых вещей не предлагалось — даже трофейное егерское белье и немецкие же дамские комбинации были ношенные, детские же вещи — с откровенными заплатами. Ближе к забору стояли женщины с мужскими довоенными костюмами, рубашками, туфлями, называлось: вдовый угол. «Один, что ли, сапог продаешь?» — «В чем вернулся. Может, кому такому же снадобится». И снадобился. Вася-инвалид, ездивший по базару на тележке с крохотными колесиками, прикатился с ковылявшим на костылях обвешанным медалями мужиком. Но мужику не повезло: сапог оказался не на ту ногу. А был сапог хорош: офицерский, малюшеный, австрийского хромю. «Тебе б под снаряд-то другую догадаться подставить, — веселился Вася. И, глядя снизу на тетку, обнадежил: — Приведу еще кого». Но, видно, не привел: сапог стоял все лето.

В следующем ряду можно было увидеть супницу без крышки, блюдо, на которое когда-то, видимо, укладывали целого осетра, таз с облупившейся эмалью, барометр, фарфоровые счеты, ходики с кукушкой, офицерский планшет, нелуженую медную миску. И здесь был свой сапог — он придавался к ведерному самовару, для раздувания углей. Он гляделся еще лучше того, с вдовьего угла — тоже офицерский, щегольской, поражавший всех невиданной шелковистостью кожи, глубиной матовой черноты голенища и сияньем головки; все уже знали, что он на другую ногу и подходит другу Васи-инвалида, но хозяйка продавала обе вещи только в комплекте, видимо надеясь, что отсветы блеска нового сапога скроют помятость боков старого самовара. Интеллигентные дамы с неприступными лицами продавали серебряные ложки, черепаховые гребни, броши, бусы. Здесь толпились молодые казашки в монетах с пробитыми дырочками, нашитых во множестве на бархатные кацавейки. Был и отдел искусства — коврики с лебедьми, замками и грудастыми красавицами, белые слоники, рамки для фотографий и уже окантованные черно-белые репродукции из довоенного «Огонька».

Антону больше всего нравились две вещи — их продавала красивая седая дама: муха-коробочка, у которой подымались крышечки-крылышки, и блестящий, медный, ростом с месячный щенка носорог (к этому зверю у Антона слабость сохранилась надолго — в факультетской газете «Историк-марксист» свои заметки он подписывал «А. Носорогов»). Обе замечательные вещи дама никак не могла продать, Антон успел к ним привыкнуть. Муху потом все-таки кто-то купил, а носорог все стоял, и однажды Антон насмелился. «Мадам, — произнес он тоном виленского вице-губернатора из рассказов бабки, — можно мне, — тут голос его прервался, — подержать... немножко вашего прекрасного носорога?» — «Боже, — сказала дама, — откуда ты здесь такой взялся? Елена Иннокентьевна, вы слышали, что говорит этот кавалер? Подержи, милый, конечно, подержи! Двумя, двумя руками — он тяжелый». После этого Антон каждый раз, отпросившись у бабки купить семечек, бежал к носорогу, трогал его за острый рог, гладил по спине и под пупырчатым брюхом; дама смотрела грустно. «Милое дитя, — сказала она однажды. — Я бы с удовольствием подарила тебе это животное, но — увы, не могу». В одно из воскресений носорога и дамы на месте не оказалось. «А где та тетя?» — спросил Антон у Елены Иннокентьевны, с которой тоже был как бы уже знаком. — «Нету тети. Умерла». И повернувшись к соседке, сказала: «Так и не продала это страшилище... Что же ты стоишь, мальчик? Иди». Антон так расстроился, что когда покупал у какой-то торговки семечки, то забыл взять рубль сдачи, вернулся, но та стала ругаться и рубль не отдала; Антон шел и плакал, и бабка дома рассказывала, какой экономный мальчик — из-за рубля рыдал всю дорогу.

Казахи привозили на базар баранов — ободранные их туши, обросшие белоснежным жиром, с растопыренными ногами, как большие птицы, парили, подвешенные на крюках, под крышей мясного амбара. Султан, огромный казах, невероятной величины топором, как у кровавой собаки Тито из «Крокодила», рубил мясо сколько кому надо: два, три, пять кило — можно было не взвешивать. Продавец, старик-казак, подслеповато вглядываясь в безмен, сказал:

— Султан рубил килограмм один болше.

— Целый килограмм? — рубщик оскалил зубы. — Султан не мог так рубить! Сто грамм — можно. Килограмм — нэт. Смотри, аксакал, на безмен лучше!

Вмешивался покупатель, смотрел, отрубленная баранья нога оказывалась грамм в грамм.

— Вых! Глаз — ватерпас! — восхищался отец, любивший высокий профессионализм.

Казахи только продавали, среди покупателей их было не видеть.

Чеченцы, напротив, группами бродили по базару, правда, ничего не покупали. Считалось: высматривают.

Про них говорили: живут в своем Копай-городе, за Речкой, дружно, одна семья помогает другой, заработанное и уворованное делится на всех. Работают у чеченцев только жены — ходят за валежником в дальний лес, ну и все по хозяйству, вяжут на продажу носки, шьют рукавицы. Мужчины ничего не делают, только сидят на крышах землянок (устроили специальные приступочки) и бродят от одной к другой в тонких сапожках, а овчинные высокие шапки носят даже летом. Один чеченец развелся (у них это без волокиты: сказал что-то жене, она собрала свои манатки и ушла к матери) — так дети остались у него. У некоторых по две жены. Старших почитают — не в пример нашим молодым охломонам. Спорить со старейшинами нельзя — как они решат, так и будет. Сыновья в присутствии отца не разговаривают со своими женами и детьми, считается неприлично. Девушки и парни не гуляют, не провожаются, а встречаются где-нибудь случайно. Какой-то молодой чеченец или ингуш знал, что девушка пойдет к Каменухе за хворостом, и засел в лесу с утра. А она появилась к вечеру, мороз был под тридцать, бурка ихняя — не тулуп, он весь закоченел, заболел и умер. Она и на похороны не пришла — по обычаю, у них хоронят только мужчины. Гостю отдают самое последнее из еды, но хозяйка к нему, как и у казахов, не выходит. Водку не пьют совсем.

Много на базаре было и чеченских мальчишек. Они юрко сновали в толпе — по одному-двое, но когда затевалась драка с местными, что случалось часто, — откуда ни возьмись с визгом налетала целая орава; дрались отчаянно, с разбегу били бритой башкой в живот, кусались, царапались. В конце концов местных сбегалось больше, но на чеченят это никак не действовало — стояли до последнего, не плакали, на кровь внимания не обращали и поле боя первыми не покидали никогда, пока драчунов, матерясь по-русски, не растаскивал батыр Султан, раскидывая тех и других за шиворот, — одного, самого упорного, зашвырнул на крышу амбара. Взрослые чеченцы в драку не вмешивались, стояли молча в своих серых каракулевых папахах, по лицам было не угадать, есть ли среди дерущихся их дети.

После барьеров указа появились амнистированные, ходили по базару по двое, никого не трогали, их опасались, считалось: тоже высматривают. Василий Илларионович возмущался: «Что за провинциальный идиотизм? Все у вас высматривают. Кого, что? Сколько яиц у твоей бабки в корзине?».

Имелся на рынке и грузчик — один. Но стоил он четверых. Ван Ваньч был невысок, но так широкоплеч, что выглядел квадратным; играючи сбрасывал он с телеги мешки с картошкой, пятипудовые тугие канары с шерстью, носил в рогоже в мясной амбар по четыре-пять бараньих туш да еще норовил пробиться сквозь толпу рысцой и кричал: «Пади, пади!».

Иван Иваныч Заузолков был известным в свое время партерным акроба-



том. В партерной акробатике у него была самая ответственная и тяжелая специализация — он был *нижний*, то есть на нем надстраивалась вся пирамида гимнастов. На гастролях в Мурманске он вышел поздно вечером прогуляться в порт: заграничный плащ, кашне в клетку, шляпа, желтые туфли. В какой-то кривой улочке его остановили три здоровенных бича: «Снимай все». — «И туфли?» — «Колесики тоже». — «Что ж я босиком пойду? Глянь, у меня размер маленький, тебе не подойдут». Бич наклонился посмотреть. Гимнаст врезал ему ногой в челюсть. Как потом установила экспертиза, смерть наступила мгновенно — отделилась затылочная кость. Сила в ногах у нижнего страшная — на арене он держит на себе до пяти нехлипких мужчин. Да и в руках не меньшая — их же нужно держать ещё и в партере, то есть стоя на четвереньках. Второму он вмазал наотмашь кулаком, но тот успел отшатнуться, и у него оказались только переломанными ключица и верхние ребра. Третий бежал. Пострадавших Заузолков притащил на себе в портовую милицию. На суде ему хотели дать пять лет — за превышение предела необходимой обороны (зная свою силу, надо было бандитов бить послабже), но Заузолков сказал: «Это не советский суд». Заседание перенесли и судили его уже по политической статье, дали десятку. В Чебачинск он приехал, прослышав о климате, жаловался на здоровье, но сила еще была.

Последним в автобус садился полноватый слепец в черном костюме, ему помогал водитель. Антон помнил этого слепца еще худым юношей, он сидел у базарных ворот перед кепкой с пятаками и пел песни военной тематики, которых Антон больше никогда и нигде не слышал: «Рвутся мины с грохотом и свистом, у реки идет жестокий бой», и про то, как в СМЕРШ привели танкиста, покинувшего горящую машину, стали допрашивать, а он им сказал: «И я вам говорю в следующий раз я обязательно сгорю». Особенный успех имела песня про Таню, которая «распрекрасная была, всех парней она с ума свела». Но однажды в ее деревне «затрещали, как сороки: «Яйки, курки и молоки, дай нам, матка, что-нибудь пожрать». На Таню положил глаз рыжий фриц, который «все чаще к ней ходил, Тане он конфеты приносил, и была Танюша рада за конфеты-шоколада и за то, что фриц ее любил». Но тут «русский витязь объявился и на фрица обрушился». Один из витязей появился в доме Тани и, увидев, что «наша Таня, как конфета, ноги в туфельки одеты и блестит помада на губах», достал пистолет, и — «наша Таня первернулась, об пол ж... на...лась и румянец с щек ее сошел».

В следующем переулке жил Генка Меншиков — о нем все помнили только одно: он очень следил, чтобы его фамилию не написали где-нибудь с мягким знаком. Встречи с Генкой было не миновать — он всегда лежал во дворе под своей машиной, но почему-то при этом видел, кто проходил мимо.

Разговор получился скучный, как две капли воды похожий на тот, что был здесь же четыре года назад и позавчера с другим одноклассником — Вовкой Герасимовым, который снова доказывал, сколь полезна для всех служба в армии и что он, Вовка, сильно там поумнел; Антон этого не заметил. Как мы все похожи, огорчался он. Почему мы цитируем одни и те же строчки из Маяковского и Николая Островского? Неужели дело в системе образования, в том, что в огромной стране все учат одно и то же и читают одно и то же? Но мы были похожи уже до того, как нас выучили. Почему пушкинский Лицей стал питомником таких разных растений, столь пышно расцветших? Не потому, что это учреждение было таким уж из ряда вон по системе образования и воспитания. Но потому, что *те* одиннадцатилетние еще до поступления, уже в семье были индивидуальностями, им было чем, перекрестно опыляясь, умственно обогащать один другого. А сейчас создай любой лицей — и детки только усугубят тупость друг друга.

Антон входил в ворота своей школы. В этот самый день почти тридцать лет назад все ее ученики, с первого по десятый класс, были построены во дворе на линейку. Линейки наш директор, Петр Андреич Немоляк, очень любил и по всякому поводу их собирал. Военрук капитан Корендясов долго равнял

строй, заставляя смотреть на грудь четвертого человека. Мне это было просто, потому что моим четвертым был Валька Сидоров, у которого уже тогда грудь была колесом; к концу школы она приобрела такую обширность, выпуклость и мощь, что наш физрук Гроссман говорил: если б у меня было столько силы, сколько у Сидорова.

Петр Андреич вышел перед строем и долго молчал. Потом сказал, что должен сообщить нам о смерти — он выдержал скорбную паузу, возвысил голос — выдающегося деятеля партии большевиков и советского государства Андрея Александровича Жданова, *злодейски*. Тут директор замолчал. Жданова я знал: в его книжечке приводились очень нравившиеся мне стихи поэта-пошляка Хазина — как бы пародия на «Евгения Онегина»: «Судьба Евгения хранила — ему лишь ногу отдало и только раз, пихнув в живот, ему сказа.ти: «Идиот». Он хотел вызвать обидчика на дуэль, но «кто-то спер уже давно его перчатки; за неимением таковых смолчал Онегин и притих». Мы тоже затихли. Директор еще раз сказал: «злодейски» и сжал кулак. Приглядевшись, мы успокоились: Петр Андреич находился в некоем знакомом нам состоянии. Теперь мы ждали, когда он расскажет про Пашку Тарантикова. В войну директор был штурманом дальней бомбардировочной авиации. Летали с внутренних аэродромов на особо удаленные объекты, и даже однажды бомбили Берлин — немцы меж тем стояли у Сталинграда. Полеты были ночные, туда шли на одной высоте, обратно — на другой. Пашка Тарантиков был хороший пилот, но недисциплинированный: плохо слушал, когда объявлялось задание, в строю болтал и толкался, вот как вы сейчас, Падалко и Ермаков. Что в результате? Он забыл, на какой высоте возвращаться, и врезался во встречную волну своих же бомбардировщиков. Погубил боевые машины, товарищей и погиб сам. Поводов говорить про Пашку Тарантикова было два: когда Петр Андреич выпьет и когда плохая дисциплина; то и другое было перманентно, и историю эту мы слышали часто. Мама рассказывала, что однажды на педсовете в этом же состоянии он говорил речь:

— Учитель в нашем советском государстве находится на такой высоте, на какой он у нас никогда не стоял, не стоит...

По законам риторики с необходимостью следовал третий член; Петр Андреич смутно чувствовал, что говорит не совсем то, что надо, но в таком состоянии сопротивляться не мог и закончил:

— ... и стоять не будет.

Законы риторики еще не раз подводили его. Перед самыми выпускными экзаменами умер учитель географии Василий Иванович Предплужников — охотник, рыболов, веселый выпивоха. На весенней охоте основательно, по обыкновению, с другом выпил; вечером, на обратном пути, в газике, который вел его сын, учителю стало плохо, его начало сильно рвать, сын отчаянно гнал, но в больницу не успел — отец задохнулся. Ехавший с ними собутыльник протрезвел только наутро.

На гражданской панихиде Петр Андреич, по такому случаю принявший уже с утра, произнес речь: покойный брал Берлин, был прекрасный педагог, надежный товарищ, с ним было хорошо работать, хорошо разговаривать, хорошо сидеть за столом.

— И жил красиво, — возвысил голос директор, — и ...

Все замерли. Мне казалось, я слышу, как у всех в голове стучит одна и та же мысль. По всем правилам надо было завершить: «И умер красиво», чего про человека, захлебнувшегося в собственной блевотине, сказать было уж нельзя никак. Петр Андреич замолчал, затравленно огляделся и, пробормотав: «И мня-мня-мня», махнул рукой и отошел от гроба.

На одной из линеек в годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков директор спел нам песню «Ой Днипро, Днипро, ты широк могуч и волна твоя, как слеза». Мы и не знали, что у Петра Андреича такой

хороший голос. Он любил свой предмет — историю — и любил нас, и за это мы любили его. Никто и никогда над директором не смеялся.

Вот мы стоим в строю: Валька Сидоров, его через десять лет завалит в забое карагандинской шахты со всей второй сменой; Эдик Гассельбах, он окончит местный техникум, будет работать на Каменном карьере, потом станет инструктором райкома, потом третьим секретарем, но так и не станет вторым — как немец; Федька Лукашевич — его через пять лет пырнет кортиком, допырнув до позвоночника, любитель всего морского стоящий рядом Борька Корма, и Федька умрет от потери крови в кустах возле танцплощадки, а Борька получит срок и вернется только через десять лет, снова кого-то пырнет и исчезнет в недрах лагерей уже насовсем (Борька был шеголь, часто гляделся в карманное зеркальце и говорил: «Что-то зарос я, как Сталин» — только эта фраза и останется от него); Генка Гежинанов, долго работавший агрономом в Красноярском крае, от которого я услышал самую уничтожающую критику советской системы сельского хозяйства и которого уже теперь увидел по телевидению с портретом Сталина в руках; Вовка Рыбинцев, застреленный во время службы в армии при невыясненных обстоятельствах, Рита Зюзина, груди которой были видны, наверное, и левофланговому и про которую потом никто не говорил ничего, кроме «Ну, Риточка наша...»; Васька Гагин, ставший известным во всей Акмолинской области лектором общества «Знание»; Юрка Гайворовский, отоларинголог, талант, надежда карагандинского мединститута, дошедший до того, что пил розовый от крови спирт, которым промывали инструменты во время вырезания гланд, и умерший в лечебнице для алкоголиков; Петька Змейко, строитель электростанций, вступивший в партию по пьянке и легкомыслию и всю жизнь объяснявший мне, как это получилось.

## ООН

Гурка, как всегда, был во дворе; что он делал, Антон понял не сразу, приглядевшись: Гурка гнул дуги. Он как будто нанялся иллюстрировать чебачинскую патриархальную жизнь: в прошлый приезд Антон, идя к нему, специально захватил дочку, и не ошибся: Гурка вязал веники. Заготавливать березовые ветки было дело детское (хотя надо было знать — не позже чем две недели после Троицы, до образования сережек, которые в бане липнут к телу), но вязать — нужна была опытная рука.

Гурка только мельком взглянул на Антона; момент был ответственный: он медленно-медленно стягивал веревкой концы толстой, уже безкорой палки-заготовки, только что вытащенной из огромного кипящего чана. («А дуги гнут с терпеньем и не вдруг», — подумал Антон.) От белой выструганной заготовки шел пар, видимо, она была очень горячая, потому что, взогнув ее и завязав узел, Гурка долго дул на свои красные руки.

— Как живешь, Гурий?

— Как все.

— А все как?

— Кто так, кто эдак.

— А кто эдак?

— Да тот, кто не так.

— А тот, кто так?

— Ну, уж он не эдак. Он всегда уж так, ох как так!

Антон замолчал.

Гурий умел все. Его ивяные вентера, напоминавшие изяществом конструкции башню Шухова, служили годами, на санках его работы каталось три поколения детей всей Набережной. С соседей и знакомых Гурка денег не брал, за что жена Поля, дочь купца Сапогова, его ругала. Но Гурка считал — неудобно.

Еще в школе Антон пробовал научиться у него плести лапти; Гурка терпеливо разъяснял разницу между русским глубоким и удобным круглым лаптем и мордовским, мелким, об осьми углах. Показал, как драть лыки.

— Лыки драл, куда клал? — сказал Антон.

— Чего? — не понял не знавший напечатанного фольклора Гурка. Учил Антона, как действовать главным орудием лаптежного производства, называвшемся *кочедык*.

— Как? — холодея от восторга, переспросил Антон.

— Кочедык, — повторил Гурка и стал показывать, как низать и накосую затягивать петли. — Правильно затянешь — лапоть будет что твоя галоша. Знаешь, как мою работу отец проверял? Нальет воды в пятку, ежели пропускает — сапожной колодкой по башке, за то, что матерьял спортил. Берешь эту штуковину...

— Какую?

— Кочедык. Заперво заводишь его внутрь...

— Кого?

— Да кочедык, мать твою, — потерял терпенье Гурка.

Не мог же Антон объяснить ему, что больше всех лаптей вместе взятых, настоящих и будущих, ему нравилось само слово и то, как Гурка его произносит, выдвигая на последнем слоге вперед челюсть, при чем обтягивался кожей и заострялся его кадык — тоже хорошее слово, но попросить произнести его совсем уж не было никакого повода. Обучение лаптежному мастерству на этом закончилось.

Всему Чебачинску Гурий был известен как тот, про кого знают в ООН. Работал он на водокачке железнодорожной станции. Дал по мордасам наезжему инспектору-начальнику, тому самому, которому когда-то по этому же месту съездил бедолага Татаев. Никита-кочегар как-то по пьянке намекал, что он, Никита, тоже приложил к этой ряшке руку, но свидетелей не было, и дело продолжения не имело. «Заинтриговали вы: меня вконец, — говорил Гройдо, — что за рожа у него такая, притягивает, нет сил удержаться?»

Гурку уволили. На водокачке он всю жизнь работал на насосах, больше насосов нигде в округе не было. Гройдо говорил, что Гурку уволили незаконно, что за мордобою проезжий ревизор должен был подать на Гурку в суд, а к службе это отношения не имеет.

Никита посоветовал Гурке писать в ООН, недавно организованную. Разговор происходил в котельной. Сначала Никита прошелся насчет начальничка в закон его мать, чтобы его могила х..ми поросла, чтоб его бабушка ежа против шерсти родила, в прабабушку, Богородицу и Бога душу мать, священный синод и матушку Екатерину... Антон подумал, что кочегар начал Загиб Петра Великого, где все упомянутые были уравниены в едином потоке, и что сейчас пойдут святые, всехвальные апостолы и благовенчаннные цари, — но Никита, пожелав напоследок, чтобы Гуркину начальнику шакалы яйца отгрызли, остановился и перешел к делу.

— Прямо в ООН, — горячился он, и его единственный глаз сверкал в отсветах топки. — Приняли Декларацию прав человека? Приняли. Ты что, не человек?

— Человек, — соглашался Гурка.

— Так пусть тебя и защищают! Они должны защищать всех!

— Не смогут, — подумав, возражал Гурка. — Если всех взять... в одном Карлаге тут, у нас, почитай, тысяч тридцать.

— Хорошо, — соглашался Никита. — Но одного-то — смогут?

— Одного, пожалуй, потянут, — соглашался Гурка. — Да разве до их добересси? Как послать?

— Ты давай, что послать. Его отец, — Никита мотнул головой в сторону Антона, — напишет. А дальше — не твоя забота.

Никита слов на ветер не бросал. У него был канал в свободный мир —

сын его друга, кочегара с того же броненосца «Ослябя», моряк, жил в Одессе и ходил в заграничку.

— Ермолай мне не откажет. Вместе в Цусиме полоскались. Уговорит сынка.

Письмо было написано, но адрес? Бывалого матроса Никиту и это не смущало.

— Да просто: Нью-Йорк, ООН — по-английски. Пусть Антон у своей англичанки спросит. Один раз, давно, когда ножей не знали, х... мясо рубили, одним словом, при Николашке еще, ждали мы прохода через Суэц, было дело с одним нашим матросом. По пьянке. Ну, не отпускают его из полиции — и все. К командиру корабля — нельзя. Мы сами, матросы, попросили мичмана написать на бумажке: дескать, где резиденция английского генерал-губернатора. И с этой бумажкой — по городу. Отыскали! Генерал-губернатор-то один. А ООН — одна на весь мир. Найдут.

И нашли. Из ООН обратились к Председателю Президиума Верховного Совета Швернику, в обком пришла телега за подписью Горкина — секретаря Президиума. На месте сначала не разобрались и на всякий случай Гурку арестовали — Поля, его жена, вся зареванная, прибежала к Стремоуховым ночью.

В НКВД у Гурки спрашивали две вещи: кто написал письмо и как его отправили в Нью-Йорк. Но Гурка был к обоим вопросам готов и отвечал, что сам написал, а письмо опустил в почтовый вагон поезда «Караганда — Москва». Ему не поверили, но он стоял на своем, как партизан. А когда отпустили, то в это тоже никто не поверил — уже дома. Соседи, все отбывавшие по пятьдесят восьмой и пять или десять «по рогам», квалифицированно разъяснили, что собрать в узелок, он потом с месяц висел у печки в Гуркиной избе. На работе Гурия восстановили — в это тоже никто не верил. Ходил даже слух, что начальника, кому врезал по замордку, уволили, но профессор Резенкампф, у которого как теплотехника были большие связи в депо, утверждал, что это неправда.

— Зайдешь в избу, Антон? — сказал Гурий. — Выпьем.

— С утра?

— А что? С утра выпил — весь день свободен.

— Спасибо, Гурий, в другой раз. Тороплюсь к Агисту Крышевичу.

— А, к дипломату, Артисту Крысовичу! Сходи, сходи. Отчетливый мужик. Кофеем напоит. В Европах бывал, кофе делает хороший, крепкий, как рельс.

## Гимн Советского Союза

Агист Крышевич не был учителем — он был атташе культурель посольства Латвии в Англии. Когда Латвию добровольно присоединили, посольство разделилось: большая часть осталась в Лондоне, меньшая поехала строить социалистическую Латвию. Через Ригу они проследовали транзитом — кто в Потьму, кто на Колыму.

Агист Крышевич попал под Караганду, в Карлаг, а через десять лет, получив еще пять по рогам, — сначала в Степняк, а потом в Чебачинск. С молодости он был на дипломатической работе, больше ничего не умел. Правда, вскоре выяснилось, что нужны его языки. Он их и преподавал в местных школах — где какой требовался: английский, немецкий. Преподавать, впрочем, он тоже не умел: никак не мог взять в толк, как человек, учивший язык с пятого класса, к десятому не может составить самой простой немецкой фразы; его это приводило в страшное недоумение — с чего начинать, чему учить; к тому ж он не знал, как учить, в чем простодушно и признавался, говоря, что не имеет представления ни о каких методиках.

— А и никто не имеет, — не менее простодушно говорила ему историчка. — Вы поступайте как я: как меня учили, так и я учу. Вас как учили языкам?

— Мы разговаривали с гувернанткой. Или с родителями за обедом. По дням: сегодня по-английски, завтра по-немецки...

Он переводил на латышский Гейне, был знаком с Балтрушайтисом. У Антона он не преподавал; уже в десятом классе Антон принес ему свой перевод из Гете со словами, вспоминая которые, до сих пор покрывался краской стыда:

— Может, вы помните, еще Лермонтов переводил это стихотворение: «Горные вершины».

— Помню, — улыбался в роскошную седую бороду Атист Крышевич, — переводил...

— Понимаете, — горячился Антон, — у Лермонтова — сразу метафора: «спят». У Гете ничего этого нет. «Über allen Gipfeln ist ruhe» — и я так и перевожу: «На вершинах горных — тишина».

Я очень гордился точностью своего перевода — соблюдением метра подлинника, отсутствием перифраз. У Лермонтова был не тот размер, были и перифразы. Но почему-то и «спят во тьме ночной», и «полны свежей мглой» — все это мне безумно нравилось, завораживало и заставляло повторять. Свой перевод повторять не хотелось. Может, поэтому я горячился все больше.

— Надо просто, безо всего, понимаете?

— Понимаю, — еще ласковей улыбался Атист Крышевич. — Это стихотворение Гете — великое искушение. Я тоже... Ты не понимаешь по-латышски... Но я все же прочту. Тринадцать лет я не читал никому своих переводов.

Он закрыл глаза и начал читать. «Печаль на его лице сменилась тихим вдохновением», — определил Антон.

На прощанье он подарил Антону рукописный листок с русским переводом самого знаменитого стихотворения Гейне; писано было еще по старой орфографии: «Фраки, белые жилеты, Тальи, стянутые мило, Compliments, поцелуй, Если б в вас да сердце было». На листке не было имени переводчика, но этот перевод Антону потом никогда не попадался, ни Копелев, ни Ратгауз, ни Львов тоже его не знали.

В классе Антона немецкий язык преподавал не Атист Крышевич, а Роберт Васильич, суровый с виду немец; суровость ему придавала наглухо застегнутая темно-серая сталинка. Про него говорили, что в Энгельсе у него осталась жена или невеста, русская, которая не захотела ехать с ним в ссылку.

Как-то он сказал, что мы будем разучивать Гимн Советского Союза по-немецки, что спрашивать он будет каждого, потому что это не обычное стихотворение, а Гимн, мы должны его знать так же, как знаем по-русски. Гимн мы выучили — даже великовозрастный богатырь Илья Падалко, по прозвищу Муромец, не запоминавший вообще ничего.

Однажды Роберт Васильич вошел в класс с видом таинственно-торжественным; не раскрывая журнала, подошел к первой парте и объявил, что сегодня мы будем хором петь Гимн — по-немецки. Петь будем стоя, потому что при исполнении Государственного Гимна встают во всех странах, тем более в нашей стране — при последних словах Роберт Васильич оглянулся на дверь.

Хлопая крышками, мы встали. Роберт Васильич поднял руки и стал очень похож на немца из фильма «Падение Берлина», но Антону стало стыдно, что он это подумал, он замотал головою, чтобы прогнать такие картины. Учитель плавно взмахнул руками и запел. Со второго куплета мы запели тоже:

O Sonne der Freiheit  
Durch Wetter und Volke...\*

Когда закончили, наш дирижер сказал, что кто-то забегает, а кто-то отста-

\* Сквозь грозы сияло  
Нам солнце свободы.

ет, нужно спеть еще раз. Мы спели, Роберт Васильич отметил, что лучше, но недостаточно воодушевления, необходимого в данном случае. В конце урока мы исполнили Гимн в третий раз, видимо, с воодушевлением, так как Роберт Васильич сказал, что все хорошо.

На следующем уроке, когда он, отметив в журнале отсутствующих, уже взял мел и подошел к доске, мы закричали: «Гимн, гимн!» Роберт Васильич смотрел, не понимая. Илья Муромец, главный организатор всех несанкционированных мероприятий, с трудом выпростав из недр парты руки и ноги, поднялся и заявил, что мы хотим петь Гимн. Немец кивнул, мы встали и дружно запели. За десять минут до конца урока Рита Зюзина, владелица наручных часов, сделала знак Илье, который снова встал и сказал, что закончить урок мы тоже желаем Гимном, что мы и сделали.

Гимн мы слышали по радио каждое утро перед занятиями, в девять ноль-ноль — в Москве это было шесть утра. Грязно-серый колокол динамика в школьном коридоре включался на полную мощность. Бегать в это время не позволялось, поэтому мы подпевали репродуктору несколько другим текстом: «Однажды в студеную зимнюю пору сплотилась навеки великая Русь. Гляжу, подымается медленно в гору великий, могучий Советский Союз». Но это можно было делать только тихонько. Теперь же мы могли петь в полный голос.

На очередном уроке мы, встав при входе учителя, уже не сели, и когда он удивленно на нас посмотрел, завопили: «Гимн!» Роберт Васильич затравленно оглядел класс и поднял руки вверх.

Мы стали петь гимн на каждом уроке немецкого, в начале и в конце, а разохотившись, и по два-три раза. Однажды дверь отворилась и в класс вошел директор, Петр Андреич. Заканчивался первый куплет. Директор встал по стойке смирно и дослушал гимн до конца. Потом удовлетворенно кивнул головой и двинулся было к двери, но тут Илья Муромец мощно затянул: «O Sonne der Freiheit...», а мы дружно подхватили. Директор снова замер в стойке смирно. За эти недели мы славно спелись, а в этот раз пели с каким-то диким вдохновением. Роберт Васильич не дирижировал, а понуро стоял у стола и глядел в левый угол, называвшийся «дойчланд» — там сидели Фрида Шмидт, Эдик Гассельбах и Володя Федерату. Что чувствовал он, слушая гимн той власти, которая забросила его в далекий край, гимн на родном языке, исполняемый русскими, немецкими и казахскими детьми? Или он просто думал, что попал в западню, уроки срывались и что не мог же он, ссыльный немец, запретить этим жестоким детям петь Гимн Советского Союза.

Спевки продолжались.

Роберт Васильич покончил самоубийством, совсем немного не дожив до того времени, когда немцам разрешили возвращаться в свое Поволжье.

O Sonne der Freiheit  
Durch Wetter und Volke...

## Два горных инженера

Пришла телеграмма — приезжал Николай Леонидович, старший сын деда. Это он вывез всю дедову семью во время голода с Украины, завербовавшись на рудник треста Сибзолото Сумак, на границе с Северным Казахстаном.

Ему дали большую квартиру с мебелью. Дед тоже устроился — явившись в шахтуправление, сказал директору: нехорошо, что на таком знаменитом и богатом руднике нет парка. И предложил этот парк разбить, беря на себя в качестве ученого агронома руководство мероприятием. Директор устыдился, ассигновал деньги, работа закипела. Дед объявил, что парк будет точной копией — в миниатюре — Люксембургского сада в Париже. Это про-

извело впечатление, смету увеличили. «Но ты же не был в Париже!» — говорила бабка. «А, чего там!» — отвечал дед своим любимым присловьем, к которому иногда добавлял: «Не боги горшки обжигают». Благодаря этой затее он приобрел на руднике большую популярность, ибо образовалось некоторое число рабочих мест, что было очень кстати для безработных жен ИТР и ссыльных. То ли эпоха была такая, то ли дед был таков, но он без 'малейшей робости брался за все новые и новые дела. После духовной семинарии учительствовал; окончив экстерном сельхозинститут, стал преподавать в нем же практическую агрономию и пчеловодство; работал заведующим метеостанцией, преподавал литературу на курсах усовершенствования учителей.

Но долго в Сумаке семья не задержалась.

По службе дядя Коля был связан со старателями; в его лице они видели руку государства и находились с ним в постоянных контрах. Однажды он возвращался вечером с прииска. Дойдя до середины мостика через горную речку Сумку, увидел, что на той стороне дорогу загораживает старатель Васька Каторжнов. Дядя Коля оглянулся — там, где он только что взшел на мостик, уже стоял другой Васька, тоже с каторжной фамилией — Непомнящий, не меньше первого. С предшественником дяди говорил как раз Каторжнов, после чего инженер перевелся на другой рудник. С новичком тоже хотели что-то обсудить, но он разговаривать с ними не стал. Дело выходило дрянь, старатели были мужики лихие.

Васька неторопливо двигался навстречу. Дядя был силен — в отца, кроме того, здесь, на руднике, он свел знакомство с отставным поручиком Семеновским, участником японской войны, командиром роты манчжурских стрелков-пластунов, который утверждал, что приемы русского рукопашного боя с оружием и без, восходящие к фельдмаршалу Салтыкову и генералиссимусу Суворову, превосходят по эффективности все эти джиу-джитсу, карате и ушу. Прием Суворова — Семеновского, который состоял в неожиданном глубоком приседании и ухватывании противника за подколенки, дядя Коля перекинул первого Ваську через перила в речку. И не оглядываясь, пошел дальше.

Второй Васька догонять его не стал; встретив на другой день у драги, сказал: «Каторжнов шмякнулся головой, отдал концы. Теперь берегись, начальник».

Это была чистейшая туфта, Каторжнов, живой и здоровый, где-то отсиживался; дядя потом долго не мог простить себе, что клонул на такую простенькую наживку. Но он клонул и решил уехать. Тем более что подоспели другие неприятности: он взял на работу бывшего колчаковца, которого, как заявил чин из НКВД, давно разыскивали (что было неправда — тот спокойно жил в поселке). Дядя Коля перевелся на такую же должность на золотой рудник Степняк в Северном Казахстане, а семью перевез в Чебачинск, от него в сорока километрах. Задача на этот раз была гораздо проще, чем когда ехали с Украины, семья значительно уменьшилась: тетя Таня вышла замуж за беднягу Татаева, тетя Лариса — за горного инженера, тетя Галя уехала учиться в Харьков и там тоже вышла замуж. Дед с бабой и оставшимися при них Тамарой, Анастасией и Леней погрузились на две телеги, запряженные быками, и через трое суток были на месте.

Так семья оказалась в Чебачинске. Городок лежал на берегу огромного чистейшего Озера (чебак — местное название плотвы), с десятков озер поменьше блестело среди гор и сосен Казахской Складчатой Гряды.

Войну дядя Коля закончил капитаном. Рассказывал про нее всегда что-то совсем другое, чем Антону приходилось читать (он читал все книги о войне) и даже слышать. Много — про дороги, точнее, — что их не было. Как при отступлении где-то в районе Пинских болот орудия бесследно проваливались в трясины вместе с расчетом; пушки, по его рассказам, почему-то тащили всегда сами, без всякой техники, до тех пор, пока не стали поступать американ-



ские тягачи-студебеккеры. Одно время он был командиром батареи «Катюш». Каждая из установок гвардейского реактивного миномета возила ящик с толлом, и он, командир, имел приказ: оказавшись в непосредственной близости от противника и предполагая вероятность попадания установки в руки врага, взорвать ее вместе с орудийным расчетом. «Почему вместе?» — «Чтобы не раскрыли врагу секрет нового оружия». — «А они его знали?» — «Нет, конечно. Что мог знать простой боец?» Но именно так, рассказывал дядя, погиб расчет одной из первых действующих установок «Катюш» вместе со своим командиром капитаном Флеровым. От дяди же Антон в первый раз услышал, что маршала Жукова солдаты не то чтоб не любили, но говорили: «Приехал Жуков. Теперь живым навряд останешься». Потом Кувычко-средний рассказал, что когда надо было сделать для танков проход в минных полях, Жуков приказывал по этому полю пустить пехоту; проход образовывался, техника оставалась в целости. (Через много лет Антон будет писать — и как почти все, не допишет — работу о том, что такой социум, такая странная эпоха, как советская, выдвигала и создавала таланты, соответствующие только ей: Марр, Шолохов, Бурденко, Пырьев, Жуков — или лишенные морали, или сама талантливость которых была особой, не соответствующей общечеловеческим меркам.)

Говорил еще дядя Коля о тех, кто выживал на фронте. Кто не ленился отрыть окоп в полный профиль, сделать лишний накат на землянке. Кто не пил перед боем наркомовские сто грамм — притупляется осторожность. Кто не шарил в Германии по домам. Дядя один раз попробовал — сержант сказал, что рядом в брошенном замке целая комната костюмов, а маркграф, судя по фотографиям на стенах, был мужчина крупный, как вы, товарищ капитан. Действительно, в гардеробной висело костюмов пятьдесят. Когда дядя Коля стал один примерять, откуда-то сверху, видимо со шкафа, на плечи ему прыгнул здоровенный рыжий немец. Дядю и на этот раз спасли приемы русского рукопашного боя. Но из Германии он не привез ничего, кроме двух пар подметок, которые ему подарил приятель — командир батальонной разведки, сын чебачинского сапожника дяди Демы, по всей Германии собиравший для отца кожаный товар.

Перед войной дядя оказался в Саратове, где золота не добывали. Но он быстро переквалифицировался и стал специалистом по нефтегазу. В Саратове первое время снимал комнату в доме у местного немца, которую превратил в пристройку с отдельным входом, построил сарай. От платы отказался и попросил хозяина заниматься с ним немецким языком — через год уже прилично говорил по-немецки, что ему очень пригодились еще через три года.

К старикам из Саратова он приезжал на золотую свадьбу; я хорошо помню это торжество, когда съехались все; дед то и дело говорил: «лет шестьдесят тому назад», дядя Коля: «сорок лет тому назад», тетки: «тридцать лет тому назад».

До нынешнего его приезда надо было навестить двоюродную сестру Иру, она передала, что хотела бы поговорить. Идти не хотелось; к удивлению, о наследственных делах не было сказано ни слова, Ира просто хотела поговорить о своей покойной матери — «ты так хорошо все помнишь».

Ее мать тетю Ларису и своих сестер Иру и Лялю Антон увидел, когда бабка выписала ее с рудника после того, как только что разбронировали и отправили на фронт ее мужа, в чем виновата была она сама.

Когда выпускник Петербургского горного института (он никогда не говорил: Ленинградского) Василий Илларионович Жихарев приехал на рудник Сумак, у Ларисы, третьей дочери деда, уже был жених, бухгалтер шахтуправления Энгельгардт — собственно, экономист, но работавший не по специальности за ненадобностью таковой на советском золотодобывающем руднике. И все бы ничего, но он был ссыльный и только начал отбывать свой пятилетний срок. «Это, к сожалению, не партия для нашей семьи», — говорила бабка, намекая на то, что он хотя и дворянин, что вообще-то является несомненным достоинством, но репрессированных и сомнительных в семье и так достаточ-

но. Отец деда, священник, остался за границей, в Литве, и о переписке с ним знали где надо; незадолго до отъезда семьи в харьковской тюрьме умер младший брат деда, Иосиф, тоже священник (его предсмертное письмо, где он прощал своих мучителей, ибо не ведают, что творят, бабка часто перечитывала и всегда плакала); другой брат, о. Михаил, был расстрелян в восемнадцатом году в Иркутске; судьба третьего, полкового священника в армии Врангеля, была неизвестна (последние сведения о нем исходили от случайно встреченного дедом в Екатеринославе вольноопределяющегося Норова: о. Георгий осенял крестным знаменем роты, входящие в воды Сиваша); младший брат, Павел, не дожидаясь неприятностей, бросил, воспользовавшись женитьбой, священство, переселился в Москву и работал фельдшером. Положение его, впрочем, было тоже сомнительно: жена была дочерью тверского вице-губернатора, расстрелянного в восемнадцатом году по спискам в дни красного террора после покушения на Ленина. Дочери начинали в этом плане тоже не очень хорошо: у Галины, первой вышедшей замуж как будто удачно, оказался не в порядке свекор — отбывал срок не то в Соловках, но то на Беломорканале.

Дядя Коля пригласил новоприбывшего инженера домой. Увидев Ларису, тот уже в конце вечера объявил, что сражен, что таких русалочьих глаз и как водоросли волос он не видел никогда, и стал бывать у Саввиных ежедневно. Новый претендент, уступая Энгельгардту в происхождении (его отец был из казаков и хоть считался дворянином, но бабка в казацкое дворянство не верила), был зато перспективен, блестящ, всех очаровал. В первый же визит объявил: «товарищей» он не любит, а в партию вступил потому, что не хочет давать им форы, деду читал наизусть Пушкина, а тете Ларисе — Есенина. Играл на гитаре, пел приятным тенором «К чему скрывать, что страсть остыть успела, что стали мы друг другу изменять»; с тетей Ларисой они пели на два голоса «Оля любила цветы. Низко головку наклонит, милый, смотри, василек — твой все плывет, а мой тонет»; потом этот романс Антон нашел у Апухтина — конечно, без кровавого конца, которым заканчивался песенный вариант.

— Это — партия, — говорила бабка. — Дворянич. Конечно, казацкое дворянство... Но зато он состоит в РКП — у нас в семье еще никого не было из РКП.

— Ты бы, мама, хоть название запомнила, — нервничала тетя Лариса. — Уже давно они — ВКП(б).

— И совершенно напрасно. РКП гораздо благозвучнее.

С этим Антон был совершенно согласен. Про РКП была песня: «РКП — мамаша наша, РКП — папаша наш», а про ВКП(б) песни не было. (Позже уже Антон поправлял бабку — когда она вместо «Маленков» упорно говорила «Милюков».)

Лариса колебалась...

Когда у нее спрашивали — почему, говорила какую-то чепуху: что все песни и романсы, которые поет жених, — про измену. Над ней смеялись; дед говорил, что такова тематика двух третей любовных романсов. «Но не всех же», — возражала дочь.

Вскоре молодожены уехали на другой рудник треста Каззолото, куда Василий Илларионович получил назначение на должность главного геолога. Оклады в Каззолоте, недавно перешедшем в подчинение НКВД, со всеми надбавками были сказочные: главный инженер получал в месяц несколько тысяч (зарплата матери Антона, учительницы, была двести пятьдесят рублей). Кроме того, Василий Илларионович большие деньги получал за свои выезды на рудники, где разведанные месторождения оказались выработанными и на-суточно необходимо было определить район дальнейших разработок — найти золотую жилу. Молва гласила, что у Жихарева нюх.

Действительно, ему всегда сопутствовала удача: жилу он находил. Обставлял это театрально: водил за собою комиссию по колючим зарослям и

косогорам, держал на ребре ладони на весу ивовый прут, наполовину очищенный от коры (так делали старики-рудознатцы), велел выкапывать из земли какие-то корешки и нюхал их; закрыв глаз, ложился ухом со стороны этого глаза на землю. Потом топал ногою: здесь. Пригнали технику, забуривали шурф, промывали вынутую породу, работали день и ночь; где было топнуто, оказывалось золото.

— А как на самом деле вы определяете? — осторожно спрашивала бабка, когда в застолье зять в красках все это изображал.

Источник знаменитого чутья геолога Жихарева был прост: «Горный журнал», комплект которого с 1888 года он купил еще студентом и с которым никогда не расставался, возя его в двух чемоданах по всем рудникам и читая ежедневно на ночь.

— Ну, а зачем ивовый прут, лечиться на землю...

— А иначе с ними нельзя! Если сказать, что еще в 1889 году маркшейдер Лисицын в своей статье писал, что в Сибирском Поясе, в его складчатой структуре золотым россыпям соответствует концентрация таких пород, как — ну, я не буду, вы все равно не поймете — если это сказать, не поверят. Слишком просто! В чертовщину всегда верят охотнее. Тут меня приглашают в Бодайбо, так я им собираюсь сказать, что Хозяйка Медной горы... — от смеха он не мог продолжать.

Начальство плакало от счастья: руднику грозило закрыться, куда было девать людей многотысячного поселка? Василию Илларионовичу выписывали деньги каким-то левым образом — будто бы он работал здесь по совместительству, хотя от места его постоянной работы этот рудник отстоял на тысячу километров. Дополнительно ему привозили из Торгсина ящик шампанского — все знали, что Жихарев пьет только шампанское и бывший шустовский, а ныне армянский коньяк.

При всем том его жена, тетя Лариса, ходила в таком старом пальто, что перед женами других ИТР было стыдно. Из всех талантов Василия Илларионовича самый большой был — тратить деньги.

Каждый год, все восемь лет до войны, он ездил на курорт — всегда в Кисловодск. Деньги с собою забирал все — и отпускные, и левые. И каждый раз перед окончанием срока присылал телеграмму (не прислал, кажется, только раз) с просьбой выслать на билет. Не только привыкшая считать копейки бабка, но и дядя Коля, и все знакомые, зная, на кого это шло, все же поражались, каким образом за три недели можно истратить такие сумасшедшие (всегда был только этот эпитет) деньги. Завесу с тайны снял Антон — уже будучи студентом.

В деканате Антону сказали, что ему звонили из приемной замминистра геологии. Звонил, конечно, Василий Илларионович, который ехал через Москву в Кисловодск на бархатный сезон.

— Что делаешь вечером? — спросил дядя по пути в гостиницу «Москва». — Кстати, уже пять часов. Распакуюсь — и не рвануть ли нам в Большой?

— А билеты?

— Чудачок, кто ж туда по билетам ходит. У тебя случайно нет конверта?

Конверт случайно оказался, Антон поспешно стал выдирать лист из обшей тетради. Но бумагу Василий Илларионович не взял.

В Большом давали «Сусанина». Миновав толпу искателей лишнего билета, мы с дядей подошли к билетерше.

— Мы тут с этим симпатичным студентом хотели бы послушать Максима Дормидонтыча. Кстати, Перерепенко просил передать этот конверт. Через десять минут мы подойдем.

Я поинтересовался, кто таков Перерепенко.

— Никто. Какая разница. Ну Перебийнос. Или — как там звучала фамилия у казаха в твоём классе?

— Зайбашин.

— Лучше всех! Заebaшин. Перерепенко — пароль. Она поняла, не волнуйся.

Когда мы вернулись, понятливая билетерша уже издали лучезарно улыбалась нам, как всегда и везде улыбались главному геологу шахты «Первомайская» официанты, таксисты, продавщицы, контролеры, железнодорожные проводники, парикмахеры. Рядом с ней оказалась вторая, еще улыбчивее, она проводила нас в одну из лож первого яруса.

В антракте Василий Илларионович говорил, что валенки Сусанину можно было найти и не столь фабричного вида, что Дормидонтыч считался любимым протодьяконом патриарха Тихона (это не удивило — Михайлов до дрожи нравился мне в роли протодьякона в первых сценах эйзенштейновского «Ивана Грозного»), но был еще один великий бас — Лебедев, его расстреляли, он был лучше Михайлова.

В антракте гуляла в партере; Антон процитировал классика: «Пожилые дамы были одеты как молодые и было много генералов».

— Скорее, молодые, как пожилые — все в панбархате, чернубурках, пещах. А вообще эта вереница юных красавиц напоминает эшелон фрицевых жен, с которым я ехал в Казахстан. И оккупанты, и наш генералитет отбирали, конечно, лучший женский материал.

Дядя вдруг видимо поскутнел. Отправились в буфет. Официантки не было видно, за соседним столиком уже нервничала какая-то пара. Но стоило Василию Илларионовичу сесть, как к ним тут же подлетела симпатичная девица в белой наколке, и через несколько минут уже несла мельхиоровое ведро, из которого в разные стороны смотрели два шампанских горлышка: одно — золотое, другое — серебряное, поставила тарелку бутербродов с черной икрой — на столе были только с красной. Бутерброды и пирожные Антон с трудом доел, запивая шампанским, налитым из серебряной бутылки; вторую даже не открыли, Антон хотел ее прихватить — заплачено! но Василий Илларионович огорчился лицом, и златоглавую красавицу оставили симпатичной девице.

Вечером следующего дня мы уже сидели в известном «Поплавке», который тогда стоял на якоре на Москва-реке недалеко от кинотеатра «Ударник». Вскоре столик был уставлен тарелками с икрой, осетриной и бутылками с шампанским; Василий Илларионович выглядел довольным, что наконец-то племянник вырос и с ним можно как следует посидеть и выпить и поговорить на мужские темы.

— Меня твой родственники за Ларису осуждают. Они в чем-то правы... Тетка твоя хорошая женщина. Но она инфантильна. А я люблю, чтобы женщина у меня в руках пицала и билась!

Декламировал стихи: «Целовал я у Ортрудочки нежно-трепетные грудочки, как котенок, часто голенькой на ковре резвилась Оленька».

Читал и что-то более знакомое: «Люблю как-то странно, туманно, нежданно, гипнозно-полночно, блудливо-порочно, так нежно-мимозно, так тайно-наркозно...»

— Северянин?

— Какое имеет значение! Ты послушай: тайно-наркозно...

Пили шампанское — любимое вино сэра Уинстона Черчилля. Я уже не раз слышал от дяди такую квалификацию советского напитка. Василий Илларионович с удовольствием рассказал ее историю.

Когда во время войны Черчилль прилетел в Мурманск, за ужином адмирал, кажется, Кузнецов, угостил его советским шампанским; то же было и в Москве. Черчилль вино похвалил. Потом он вернулся и возглавляет себе спокойно вооруженные силы Великобритании. Однажды его будят глубокой ночью: пришла шифровка, через час должен приземлиться, если не собьют, советский самолет. Премьер-министр, не любивший, чтобы ему прерывали еду и сон, чертыхаясь, одевается и едет на военный аэродром. Самолет благополучно приземляется; майор советской армии передает пакет лично сэру Уинсто-

ну Черчиллю от маршала Сталина. В нарушение всех протоколов Черчилль вскрывает пакет тут же, читает, читает еще раз. Наши солдаты меж тем сносят по трапу какой-то груз. Груз оказывается ящиком с советским шампанским. Черчилль благодарит за сопроводительный подарок и спрашивает, где же основной пакет, ради которого был затеян столь опасный перелет. Вежливо, но твердо майор говорит, что ничего более вручить или сообщить господину премьер-министру сэру Уинстону Черчиллю не имеет. Премьер отдалился позже кинофильмом «Багдадский вор», за что Антон ему был очень благодарен.

В конце рассказчик сделал знак, официант подошел и открыл вторую бутылку любимого вина великого человека, за здоровье которого дядя и предложил, когда официант отошел, выпить. Вкусы главы британского правительства и главного инженера сибирского рудника вообще совпадали: оба предпочитали сигары (в ту, докубинскую эпоху дядя доставал их за большие деньги у швейцаров «Националя» в Москве и «Европейской» в Ленинграде) и бифштексы, любимой лентой и того и другого была «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье. Дядя расковался: говорил «наши союзники по соцлагерю», «госкапитализм».

— Но что нам сегодня играют? — он повернулся к оркестру. — Врут кларнеты, как кадеты, врет тенор. Палкой машет, точно шашкой, дирижер. Это я так, к слову, оркестр как будто ничего.

Оркестр действительно был на удивление профессионален, певец — для ресторана — тоже неплох. Репертуар сначала ориентировался на тридцатые годы: «Дымок от папиросы, дымок голубоватый» Агнивцева — Дунаевского, «Вдыхая розы аромат». Но потом пошло что-то новое. Василий Илларионович вручил мне пять рублей и послал в оркестр заказать танго «Брызги шампанского». Не успели музыканты закончить, как я был снова командирован, уже с десятью рублями, потом с пятнадцатью, затем с двадцатью. Заказывать следовало все то же — «Брызги шампанского». Дядя слушал, тихо напевая: «Новый год пришел, законы новые, колючей проволокой наш лагерь обнесен. И сквозь решеточки глаза голодные, и каждый знает, что на смерть он обречен». После четвертого или пятого раза цель заказчика стала ясна: оркестр весь вечер должен играть только для него. Гонорар музыкантам стал расти уже в геометрической прогрессии. Раза два кто-то подходил к оркестру, но после разговора с маэстро уходил на свое место; оркестр продолжал играть «Брызги». За столиками стали улыбаться, подымали рюмки и кивали в нашу сторону. Вскоре Василий Илларионович оказался главным лицом в зале; стали подходить чокаться.

— Твое здоровье! Летчик?

— Нет.

— Подводник?

— Почти.

— Ну, все равно. Наш человек. Выпьем!

Со своей бутылкой подсел хирург из Первой градской; через пять минут мы уже пели с ним «Gaudeamus» и он умолял меня лечь только к нему, клянясь, что разрежет меня всего по высшему классу.

Где-то в середине вечера дядя сходил в оркестр уже сам, о чем-то поговорил с маэстро и меня больше не посылал, очевидно, щадя юную впечатлительность: до закрытия оркестр играл «Брызги шампанского». Стало понятно, как за один вечер можно истратить несколько месячных зарплат.

Деньги Василий Илларионович тратил не только на оркестр. Во время войны на руднике у него было сразу две любовницы. Мужу одной кто-то стукнул. Муж-смершевец прислал письмо своим тыловым коллегам, где писал, что пока он защищает родину, некоторые другие и т.п. Коллеги дали сигнал в шахтуправление и партком, дядю сняли с должности главного геолога и отправили рядовым геологом в шахту; говорили, что он легко отделался.

Второй его любовницей была цыганка Настя, украденная каким-то старателем в таборе; старателя вскоре зарезали товарищи при дележе намытого золота; Настя временно работала в подсобке магазина. Тетя Лариса, узнав про нее, явилась в магазин и при стечении народа устроила скандал, расцарапав распутнице всю рожу, а потом нажаловалась в тот же партком. Возбудили персональное дело, Жихарева за моральное разложение исключили из партии и рекомендовали разбронировать. Это означало — послать на фронт. Резко возражал новый главный геолог, говоривший, что с т. Жихаревым они только-только начали разведку нового месторождения, что талант т. Жихарева всем известен и что здесь он принесет пользы гораздо больше, ибо сейчас стране особенно нужно золото. Но секретарь парткома сказал, что золото надо мыть чистыми руками, бронь сняли и Василий Илларионовича отправили на фронт. Кто как туда попадал, говорил кочегар Никита, ваш Василий — за блядство.

Бабка немедленно выписала тетю Ларису; та, бросив квартиру, мебель, огород, продав случайным людям корову (деньги они так и не прислали), приехала с двумя детьми в Чебачинск. В поезде вышла покурить в тамбур, оставив сторожить вещи шестилетнюю Лялю и четырехлетнюю Веру; пришел какой-то мужик и сказал, что мама велела перенести чемоданы в другой вагон, где лучшие места, — и был таков; приехали они в чем были, девочки потом долго ходили в мальчиковых — моих — рубашках. Поселились они в той же комнате, где жили мои родители и мы с сестрою.

Специальность у тети Ларисы для сельской местности была как будто нужная — зоотехник. Но и ферма колхоза «XII годовщина Октября», и конные дворы техникума, педучилища и стеклозавода обходились без зоотехнического надзора — местные коровы красной казахской породы никогда не болели, а лошадей в случае любого заболевания немедленно пускали на махан — конина пользовалась большим спросом у казахов.

Мама устроила сестру к себе в химическую лабораторию горно-металлургического техникума. Первое, что она там сделала, — уронила себе в туфлю кусок едкого натра — очень сильную щелочь, и почему-то не сразу его вытащила, натр прожег ногу до кости. Ее деятельность закончилась, когда в техникуме появился эвакуированный преподаватель, жена которого имела химическое образование; тетю Ларису уволили.

Она устроилась в собес, но вскоре потеряла папку учетных карточек инвалидов, и две улицы перестали получать пенсии, инвалиды вламывались в собес, стучали костылями. Одного, без рук, без ног (таких на жаргоне называли самоварами), в детской коляске привозила жена. Бабка сказала: уходи, пришьют вредительство, пойдешь под суд. Тетя уволилась и больше уже нигде и никогда не работала. Нежеланьем работать вообще дядя Коля объяснял ее неудачи на всех службах. Вместе с работой она лишилась и хлебных карточек, что ее тоже, видимо, мало смущало; она считала, что жизнь ее загублена и все должны ей помогать.

У нее была подруга — Маруся Карась, такая же неудачница, приехавшая хотя с КВЖД, но тоже без всяких вещей и почему-то, рассказывали, без юбки под пальто. Подала заявление, в техникуме ей выписали материю, но был только белый мадеполам, и она долго еще ходила, как невеста, зимой и летом в белоснежных платьях. Как сейчас помню: подруги сидят на кухне вечером, не зажигая огня, курят и не говорят ни слова. («Курят и молчат!» — поражалась наша словоохотливая бабка.) Курение, которому обучил тетю Ларису Василий Илларионович, вообще сыграло в ее жизни роковую роль: из-за него ее обокрали, вторая ее дочь из-за этого родилась семимесячной и всегда болела; умерла тетя от рака легких — в пятьдесят лет.

В июне сорок пятого возвратился Василий Илларионович. Его байки о войне совсем не походили на рассказы дяди Коли. Все было как-то легче и почти весело, хотя на фронте он находился почти до конца и вернулся после

госпиталя, с медалями и даже с орденом Красной Звезды. Правда, от него осталась только орденская книжка — саму звезду дядя в Торгау, на Эльбе, сменял у какого-то американца на бутылку виски — тому очень хотелось, а никто не соглашался отдать «Звездочку». Жалел дядя, впрочем, не очень — орден он, по его словам, получил дуриком: какой-то автоматчик вел шестерых пленных и уступил их за пачку трофейных сигарет; дядя привел немцев в штаб и был представлен к ордену. А за то, что наводили переправы под огнем и гибли один за другим, — за это не давали ничего или скупое — по одной-две медальки на весь саперный взвод и никогда — орден. Даже возвращался с фронта он интересно: устроился при конвое, сопровождавшем в Карлаг эшелон фрицевых жен, или немецких овчарок — женщин, осужденных за сожительство с немцами. Но про это путешествие он почему-то помалкивал, говоря только, что никогда в жизни не видел столько красивых разном.

В доме стало веселее — дядя все время рассказывал эпизоды из своей военной и невоенной жизни. Ему, он считал, везло — даже в госпиталь он попал в столь любимый им Кисловодск, где сразу нашлась знакомая врачиха, которая устроила его в отдельную генеральскую палату, пока не было очередного генерала или полковника, — «ну, она, конечно, больше заботилась о себе». Но эта лафа продолжалась недолго — в палату врачиха вынуждена была подселить выздоравливающего корреспондента «Красной Звезды», любимца ее редактора Ортенберга, известного еще до войны писателя, человека хорошего, компанейского, но в этой ситуации совершенно лишнего. Василий Илларионович как-то приметил, что в больничном саду нянечка всегда сливает судна под кипарис. Проходя со своим соседом мимо этого кипариса, он обронил: «Вы заметили, чем пахнет от этого дерева?» Писатель принюхался: «Странно. Как будто мочой». — «А вы не знали? Сразу видно, что на югах бывали редко. От кипарисов всегда так пахнет — как писателю вам это не мешает запомнить». Потом дядя хохотал, найдя эту выразительную деталь в очерке писателя, написанном после излечения.

Отменили военный запрет на хранение охотничьего оружия. Василий Илларионович немедленно продал свою еще до войны купленную немецкую двухстволку «три кольца», выдал ее за трофейную, и стал устраивать застолья — надо ж было отметить как подобает благополучное возвращенье с театра войны.

Выпив бутылку любимого вина Уинстона Черчилля, он сильно веселел. Или начинал петь «Без тебя, моя Глафира, без тебя, как без души, никакие царства мира для меня не хороши», или — спорить по любому поводу.

— В человеке, как писал Чехов, — говорил дед, любивший классические цитаты, — все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

— И обувь, — быстро вставлял Жихарев.

— У него нет про обувь.

— Есть, я читал!

— Где же это вы читали, милейший Василий Илларионович? В центральной публичной библиотеке рудника Сумак?

— Мало ли где. Вон моего земляка Шолохова спрашивали — было в какой-то газете — вы работали в архивах? Да, отвечает, работал. А в каких? А он: в архивах. Вообще, значит. Но — к Чехову. Вы были в его музее в Ялте? Если б вы там были, как я, то увидели б, какую он носил прекрасную обувь, какие изящные остроносые башмаки!

В такие моменты Василий Илларионович подшучивал и над тещей, чего обычно себе не позволял.

— Ольга Петровна, я понимаю, предложение вам Леонид Львович долго не мог сделать — был без места. Но пока он у вас обедал — вам-то он нравился?

— Конечно. Он был очень представительный. Рост, фигура. Усы! Но были некоторые сложности. Недели две у нас обедал гвардейский офицер из Петербурга, в Вильне он занимался ремонтом.

— Что же он починал?

— Зачем ему было что-то починать? Он был ремонтёр.

Выяснилось, чего никто не знал: ремонт — это покупка полковых лошадей.

— Понятно. Он был конногвардеец. Рост, фигура, усы. И что же?

— Через неделю он подарил мне гелиотроп и адонис весенний. И я их приняла.

— Ну и что?

— А вы разве не знаете, что это значит на языке цветов?

— Ммм... Приблизительно.

— Сейчас этот язык, к сожалению, забыт. Между тем на нем можно было выразить все. Бересклет — твой образ запечатлен в моем сердце, лисохвост — тщетное стремление, божье дерево — желанье переписки, ландыш — тайная любовь, крокус — размышление, колокольчик — постоянство... И так далее — целая наука.

— А что означали те цветы, что ремонтер преподнес вам?

— Всепоглощающую любовь и просьбу о сближении. Намек на серьезные намерения. А что, сейчас разве барышням не дарят цветов?

— Дарят, — мрачно сказала тетя Лариса. — Корзинами. Розы. По сто рублей за корзину.

— Серьезность намерений это означает и сейчас. — Василий Илларионович совсем развеселился. — А признайтесь, Леонид Львович, пока вы больше года ждали, у вас с Ольгой Петровной что-нибудь было? Я вижу, было.

— Было, — несколько смущенно говорил дед. — Я сколько хотел, мог целовать ей ручку, и не только при матушке. Ну, конечно, приобнимешь слегка, как бы случайно, где-нибудь на лестнице... Времена были уже не такие строгие.

— Он был легкомыслен до неприличия, — вступала бабка. — Приезжал на обеды на велосипеде!

— С разновысокими колесами? — встрепенывался Антон.

— Нет, к этому времени, — уточнял дед, — колеса были уже одинакие. У меня был прекрасный английский велосипед.

Особенно возбуждала дядю частая гостья, соседка-учительница, грудастая кормящая мать. Он любил при ней спрашивать, правда ли, что женское молоко содержит десять элементов таблицы Менделеева — вы, Настасья Леонидовна, должны как химик-органик это знать. Или с серьезным видом интересовался, не расстраивается ли у нашего милого младенца иногда животик?

— И очень часто, — озабоченно отвечала мамаша, которая хоть и была настороже, всякий раз покупалась.

— Антон, — строгим голосом говорил Василий Илларионович, и Антону уже было ясно, что будет востребована его способность дословно запоминать самые разнообразные прозаические тексты (стихи он запоминал несколько хуже). — Антон, не мог бы ты напомнить нам, что писал по этому поводу лет семьдесят тому назад врач Троицкий в своем известном курсе лекций о болезнях детского возраста?

— «У кормящих грудью матерей и кормилиц, — быстро начинал Антон, — умеренные половые отправления не оказывают вредного влияния, чрезмерные же могут производить пока неизвестные нам изменения в составе молока, благодаря которым последнее начинает вызывать у детей временные расстройства кишечника».

Мужчины хохотали, кормящая учительница становилась пунцовой:

— Пощадил бы ребенка, Василий Илларионович. Это непедагогично.

— Он не понимает, — говорил дядя, и в данном случае это была правда, потому что Антон действительно очень смутно представлял, что такое половые отправления. Чувствуя, что надо разрядить обстановку, он проявлял инициативу, возвращая разговор к прежней теме.

— Дед, а за что ты влюбился в бабу?



— Она очень изящно разливала чай, — дед ласково поглядел на потупившую взор жену.

— Ну конечно, — подхватывал Василий Илларионович, — локотки, шейка... Бабка удивленно вскидывала глаза.

— Оголенные руки и плечи — это могло быть исключительно на балу. За обедом — только закрытое платье с рукавами до запястья; возможны кружева — простые вологодские, выпущенные на четверть ладони.

Остановиться главный геолог уже не мог. Тамару посылали еще за шампанским. Пока она ходила, Василий Илларионович в нетерпении мерил шагами комнату, подходя к окну, к книжному шкафу.

— Леонид Львович, ну что у вас за книги? «Сорные травы на полях и их истребление». Санкт-Петербург, 1899 год. Ну кто сейчас будет истреблять на полях сорные травы? Наши колхознички? «Учебная книга свиначки». Какая нынешняя свиначка... Впрочем, тут еще одно пособие на эту тему: «Учебная книга свиначки». Это уже любопытно! Значит, свиначка должен откармливать свинок как-то иначе? Очень интересный поворот темы! Полистаем. Так... Подсвинки... Запаривание отрубей... Да нет, что-то все одно и то же и у свиначки, и у свиначки... А это что? Заставлено, но часть заглавия прочесть можно: «Конституция...» Неужто читаете про самую демократическую в мире? «...и экстерьер сельскохозяйственных животных». Даже по обложке видно: с конституцией и экстерьером у этих хряков и быков-производителей порядок полный. Ба, да тут вот что есть! «Женский половой аппарат...»

— Это не то, что вы думаете.

— «...живородящих мух». Н-да, действительно... Почему у вас нет настоящих книг?

— Я предполагаю, какие книги вы имеете в виду. Таких не держу-с.

— Понимаю, на что вы намекаете! А я имею в виду совсем другое. Zum Beispiel, то есть например, как сказали бы в Восточной Пруссии, где, кстати, Гретхен были весьма недурны. Читали ли вы книгу «Продажа девушек в дома разврата и меры к ее прекращению», вышедшую в Москве в конце века? Или другую, изданную изданием Императорской Академии Наук в конце позапрошлого века: «О благородстве и преимуществе женского пола»?

— И подобных книг я не держатель.

— Ну, уж если хотите ближе к любимой вашей биологии, то знакома ли вам такая брошюра: «О возможности разведения кенгуру в Новороссийских степях»? Издана в Харькове в 1880 году. Прожектерство? Здоровое прожектерство необходимо для развития общества. А известна ли вам книга «Гоноррея у горилл»? И напрасно! Там подробно обосновывается, почему венерические заболевания бывают только у приматов.

Это было прекрасное название. Даже лучше, чем «Жизнь жужелиц». «Гоноррея у горилл, — бормотал в тот вечер Антон, засыпая. — Гоноррея у горилл».

На пенсию Василий Илларионович как горняк мог уйти пятидесяти лет; перед этим он уехал, без семьи, куда-то на Север, чтобы пенсию получить максимальной. Там, разумеется, завел молодую любовницу, но, видимо, всегдашнее везенье кончилось: заболел тяжелым воспалением легких и долго лежал в больнице; любовница сразу его бросила; когда наконец он вызвал жену, воспаление успело перейти в скоротечную чахотку; в Чебачинск она привезла его уже в отчаянно плохом состоянии. Его поместили в тубдиспансер на горе. Тетя Лариса ходила к нему каждый день, дочек не брала, боясь заразы. Василий Илларионович лежал тихий, на себя не похожий. Просил у жены прощенья, говорил, что испортил ей жизнь.

На ноябрьские праздники мои отец и мать пошли его навестить. Через соседку-медсестру он передал, чтобы принесли шампанское. Знал ли он, когда по старой врачебной традиции туберкулезным больным дают шампанское? Мог

знать — от персонала, работавшего еще с профессором Халло, от старых больных. Мои родители посидели у его постели, выпили с ним. К ночи он умер.

Тетя Лариса пережила его всего на два года. Мужа она не простила: завещала похоронить себя отдельно, а не рядом с ним.

### Отважный пилот Гастелло

Все настоящее о войне Антон узнал *на бревнах* перед домом лесника Шелепова. Дом стоял над плотиной, и все, кто возвращался вечером с приречных или зареченских огородов, не могли его миновать; увидев знакомых, присаживались покурить, а то и выпить. Шелепов, сам человек трезвый и положительный, не возражал, и в нужный момент говорил негромко: «Мать!» — и жена, каким-то образом услышав его за двойными рамами, выносила миску картошки в мундире, всегда теплой, и соленых огурцов. Был он кавалеристом — в гражданскую во второй конной Миронова, а в эту — у Доватора. Низкорослый, кривоногий, он обладал невероятной силой, и когда на бревнах доходило до грудков, начинал покашливать, как бы прочищая горло, и спорщики поутихали. Разговор шел военный-откровенный — все были фронтовики.

Первым, по-соседски, приходил Сумбаев, капитан (и нам, и взрослым он велел называть себя не по имени-отчеству, а именно так), еще когда на бревнах после лапты сидели мы. С нами он любил разговаривать, кажется, больше — мы не смеялись, когда он рассказывал: «Слышим — мотор. Броневики белых! Я загибаю левый фланг, шашки наголо, в атаку — рысью — марш!!!»

Себя Сумбаев именвал ветераном пяти войн. По возрасту не сходилось, и Генка Меншиков, помнивший наизусть все, относившееся к войне, как-то отважился:

— Товарищ капитан, а какая пятая?

— Какая? Считай: русско-японская — Цусима, оборона Порт-Артура, слышал? Загибаем второй палец: та германская, третий: гражданская, потом — финская и — вторая японская. Ну?

Антон только что прочел замечательный роман «Порт-Артур» и тоже помнил дату. Как же Сумбаев мог успеть?..

— Вижу, сомневаешься, — капитан устал указательный палец в сторону Антона. — Бухгалтеришь: сколько годков мне было. А хоть бы и пять! Мой отец, штабс-капитан Сумбаев — участник обороны, Георгиевский кавалер. Я в Порт-Артуре и родился. Японцы били не слабее, чем в эту войну. Знаешь, какие калибры были на их крейсерах? То-то, не знаешь. А шестнадцатидюймовый снаряд не разбирает, солдат ты или титьку сосеешь.

Сумбаев преподавал военное дело в техникуме. На первом месте у него стояла строевая подготовка, гонял студентов по двору часами, до изнеможенья; группы менялись, со всеми он маршировал сам, но был всегда подтянут и свеж. Директор, если ему нужно было выйти в сортир, старался поймать момент, когда капитан уводил своих питомцев на пятачок за здание маминой химлаборатории, где, я не раз видел из ее окон, отрабатывал с ними ползание по-пластунски. Но старый солдат ориентировался мгновенно:

— По направлению — к одинокой фигуре — товарища директора — бегом — марш! Смирна! Равнение на середину. Товарищ директор Чебачинского горно-металлургического техникума! Студенты первой группы второго курса вверенного вам учебного заведения отрабатывают строевую подготовку на плацу. В списочном составе группы значится...

Директор с тоскою поглядывал на дощатый домик в углу двора, но преврать военрука не решался.

— Из них участников Великой Отечественной войны пять. По состоянию здоровья как инвалиды войны третьей группы военную подготовку не прохо-

дят трое. На занятии отрабатывается прием «на пле-чо!» , а также передвижение по-пластунски.

Это была вторая любовь капитана: студенты ползали в любую погоду, вставали грязные, отказники наказывались строго. Третьей любовью было рытье окопов. Рыли лежа, саперными лопатками, комплект которых из восьми штук принадлежал лично капитану и которые он, зачехлив и обвязав шпагатом, после занятий уносил домой. Копали ячейки и полупрофиль, и капитан очень сожалел, что нет времени на окопы полного профиля. Рытье окопов вообще не входило в программу, но Сумбаев смириться с этим не мог.

— Что за солдат без окопа! Вон в педучилище (там работал его конкурент капитан Шарпатый) все в аудитории сидят да схемы чертят. А мои орлы — хоть сейчас под огонь, в бой, в атаку!

Похоже, что это было действительно так.

Долго усидеть на бревнах он не мог, вскакивал и тыкал пальцем — в Антона как самого внимательного или в Генку Меншикова как наиболее подкованного по военной части:

— Марш-бросок. Шинели в скатках. Вдруг — дождь. Какую команду дает ротный?

— Накройсь! — Генка тоже вскакивает, так как к нему обращается старший по званию.

— Ошибка! Это — про головной убор. Ты хотел сказать: скатки раскатать!

— Хотел.

— А шинель намокнет? Чем ночью укрыться? Она — одна на все про все.

— Тогда не раскатывать.

— Гимнастерка вымокнет. Что лучше: сухому спать под мокрой шинелью или мокрому — под сухой?

Генка оторопело смотрит на Антона, Антон на Генку.

— Раскатать! — с торжеством говорит капитан. — Русское шинельное сукуно чтобы промочить, полдня проливному дождю идти надо.

— Вопрос другой: как располагаются солдаты второй линии в двухшереножном строю? — Сумбаев вглядывается в каждого из нас своими пронзительными серыми глазами и сам же отвечает: — Строго в затылок. А какая дистанция между линиями в многошереножном строю? Один шаг! Вопрос последний и главный: как надо равняться в шеренге?

Это знал и я:

— Видеть грудь четвертого человека.

— Точно. А что было записано в армейском уставе сто лет назад? Видеть грудь третьего человека. Смекаете, в чем разница?

Генка, может, и смекал, я — нет, не знаю до сих пор. Остальные сведения оченьгодились (сведения все когда-нибудь пригождаются, ненужных не бывает): на занятиях по спецподготовке в университете подполковник Бицоев однажды задавал точь-в-точь те же вопросы, и я поразил его своей строевой эрудицией.

Подходил егерь Оглотков, бывший минер, танкист Крысчат, сапер-шофер, или шофер-сапер («и так и так верно!») Кувычко. Антон знал: опять начнется спор, солдату какого рода войск опаснее всего. Когда зацвели огурцы, сошлись на том, что связисту, таскавшему катушку. Поражались, что Антонов дядя остался жив и даже не был ранен. «Небось в штабах ручку крутил». Антон в тот же вечер передал это дяде Лене. «Их бы. В мои штабы». Антон воспользовался случаем и спросил, знает ли дядя про героя-связиста Титаева, о котором есть в очень интересной книге о комсомольцах — «Идущие впереди», автор Гуторович. Дядя не знал, и Антон прочел ему наизусть: «Порвалась связь. Линейный надсмотрщик Титаев был послан исправить повреждение. Ночь. Мороз. Вьюга. (Это место особенно нравилось.) Нужно проползти в глубоком снегу вдоль окопов жестокого врага. Когда комсомолец нашел

обрыв, его трижды ранило. Умирая, он последним усилием схватил оба конца оборванного провода и зажал их в зубах. Связь возобновилась». Дядя Леня покачал головою: «Вряд ли. Контакты. Сместятся». Антон очень огорчился.

Приходил на бревна и Петя-партизан. Его все уважали: из брянских лесов он привез ящик гранат (ими глушил на озере рыбу) и — шел слух — много чего еще; Генка клялся, что партизанский сын Мишка показывал ему трофейный «Вальтер». Нас, говорил Петя, в деревнях недолюбливали. После немцев кое-какие продукты еще оставались, партизанам же надо было отдавать все, подчистую — свои, защитники, и не спрячешь, знают, где искать. У нас один был, большой спец. Я, говорит, продотрядовец, еще во время продразверстки изымал, знаю, куда ховают... Постоят в деревне партизаны, немцы придут — сожгут за это деревню. А там бабы, дети, с собой в лес их не брали. Почему? Чтоб не обременяться, не терять мобильность. Раз отбили группу евреев — тоже больше старики, женщины — так тоже с собой не взяли. Потом их всех постреляли, свои же.

— Как свои?..

— А очень просто. У карателей только офицеры были немцы. Остальные — наши: русские, хохлы, литва... Те, кого мы разбили, потом вернулись и наткнулись на евреев, которых мы бросили. И тоже не взяли — расстреляли тут же и даже не закопали.

— Чего ж все шли в партизаны? — интересовался Крысчат.

— Сам мало кто шел. Мобилизовывали — все равно как в Красную Армию... Много вранья про партизан.

— А про армию мало? — вмешивался Кувычко, навсегда обиженный на власть за то, что сначала уволили из вооруженных сил, а потом посадили его отца, кавалера трех георгиевских крестов, полученных в царской армии, каковой факт он преступно скрыл. — Ты много читал про заградотряды, про приказ 227?

Крысчат считал: приказ правильный, военная необходимость.

— Военная-о.енная! Потому что тебя не касалось! Сидел в своей железной дуре, сам черт не брат, куда хочу — туда ворочу! пэтээрами заградников не комплектовали. А пехота или наш брат, шофер? Только увидят — хохотальником в ихнюю сторону повернулся, тут же очередями, из пулеметов, сначала настильно, поверх, а не развернулся обратно — пеняй на себя... Хохотальник — радиатор, — пояснял Кувычко, видя, что Антон открыл рот, и догадывался верно; фронтовики сразу после войны вообще отличались большой сообразительностью; потом стали как все.

Петя-партизан рассказывал много такого, чего из фронтовиков не знал никто, и рассказывать не боялся. Как-то между прочим обмолвился, что на оккупированных территориях открылось много храмов. На другой день на бревна единственный раз пришел дед — узнать поподробнее.

В Смоленске при немцах снова открылся кафедральный собор, в котором до этого был антирелигиозный музей; в Клинцовском округе на Брянщине до войны не было уже ни одной действующей церкви, а за два года открыли около трех десятков. По воскресеньям по радио транслировали богослужения, выступали священники.

— Мы считали, все это — нацистское заигрыванье и пропаганда, а когда один поп выразил благодарность новой власти за восстановление своего храма, мы его повесили в церковной сторожке на потолочной балке... Я не вешал -- у нас этим занимался один — то ли чоновец, то ли продотрядовец, его учитель из нашего отряда называл Самсон-палач. Он настаивал, чтоб повесить в алтаре, но наш командир, хоть и партийный, не разрешил.

Сын Пети Мишка тоже рассказывал кое-что, пока не появлялись мужики. Когда отец партизанил, он оставался в деревне. Возле школы стоит кучка немцев. На улице появляется красноармеец. В форме, со скаткой, за плечом винтовка. Идет, по сторонам не смотрит. Немецкие солдаты — ноль внимания. Из школы выходит офицер. Кричит что-то красноармейцу. Тот подхо-

дит, становится по стойке «смирно». Офицер что-то говорит своим, один солдат подходит, вешает на забор шмайссер, берет у красноармейца винтовку за ствол и — хрясь прикладом...

— По голове?

— ...об камень. Открывает подсумок, вываливает оттуда на землю патроны. Офицер машет рукой — иди, мол, куда шел. Он и пошел себе. Немецкий солдат берет свой шмайссер и...

— Та-та-та-та-та-та! — показывает Генка Меншиков, и мы съезживаемся.

— Да нет. Уходит к другим, в кучку.

— А наш?

— Пошел дальше. И не оглянулся.

— Куда ж он шел?

— Кто его знает. Можя, к другим, что в риге сидели. Сидели и сидели. А как немцы появились, стали выходить с полотенцами, с нижними рубашками на палках, а кто просто руки вверх.

О войне я читал все. Во время войны — газету «Правда» (вслух деду) и журнал «Крокодил», позже — все попавшие в Чебачинск книги, художественные и нет. Одно из первых воспоминаний — карикатура в «Крокодиле» после сталинградского разгрома. На фоне карты с кольцом окружения пригорюнившийся Гитлер поет: «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». Фюрера было даже немножко жалко, хоть он был и гад. А в конце войны инвалид, собиравший в шапку медяки на базаре, пел еще более жалостную песню: «Печальный Гитлер в телефоне тихонько плачет и поет: «Я вам расскажу про фронт по блату. Русские на Запад к нам идут. Чувствую я близкую расплату — скоро шкуру с нас они сдерут». Очень нравилось кино: девушка-свинарка разоблачает шпиона и одновременно лечит большую и симпатичную свиноматку.

Уже в школе отец подсовывал статьи о пионерах-героях, но их читать Антон не любил: он сомневался, что никого не выдаст, если ему, как пионеру Смирнову, станут отпиливать ножовкой правую руку, и очень от этого мучился.

...Американский психоаналитик, пытаясь выяснить детские комплексы Антона, страшно удивился, узнав, что больше всего ребенок страдал от подобной мысли. И сказал, что теперь понимает разницу между своим и русским народом — по крайней мере, в середине двадцатого века.

На всякий случай Антон учился писать и строгать левой. Начал он было и ходить босиком по снегу, чтобы натренироваться, если его будут гонять, как Зою Космодемьянскую, но бабка, увидев за сараем следы босых ног, пришла в ужас, как Робинзон, и, хотя Антон пытался отрицать принадлежность следов ему, нажаловалась родителям. А тут еще отец принес очерк о пионере-герое, который, чтобы не упустить на снежном поле немецкого генерала, разулся и генерала догнал. Мама попросила приносить очерки о взрослых героях.

Больше всех Антону понравился один летчик, настоящий герой, с необыкновенной фамилией: Гастелло. Другие герои носили фамилии какие-то слишком простые: Матросов, Клочков. Последняя была совсем никуда, хотя этот герой сказал слова, которые очень нравились отцу: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». Про летчика хотелось написать стихи с такими же красивыми словами. До этого Антон уже сочинял кое-что воинственное: «Раз полуношной порой, Проходя тропинкой, Парень вынул пистолет и взмахнул дубинкой». Но сейчас, чувствовал он, надо что-то другое. После заглавия «Отважный пилот Гастелло» дело пошло:

Что же там гудит в тумане?  
Там пилот на эроплане  
По фамилии Гастелло  
Самолет ведет свой смело  
Прямо к немцам, прямо к гадам,  
Угостить своим снарядом.

После нескольких стихов, живописующих картину боя, сообщалось, что летчик направил «горящую машину прямо к вражьему бензину». Продолжение не получалось, и остаться бы стихотворению среди незавершенных Антоновых сочинений в папке «Школьное», но Васька Гагин проболтался Клавдии Петровне. Она попросила Антона стихотворение прочесть и сказала, что оно вполне патриотическое, но нет концовки, и что Антон должен ее досочинить и выступить на вечере в день Красной Армии.

Концовка не давалась; завтра было уже выступать. Дед помочь отказался, сказав, что тема ему неблизка и вообще он сочинял только акафисты, да и то шестьдесят лет назад. Выручил отец. Достав свой «Паркер», он присел к подоконнику Антона, и через десять минут стихотворение было завершено:

Запылали языками пожаров цистерны врагов.  
Храбрый из храбрых Гастелло  
Погиб смертью верных родине сынов.

Антону особенно понравилось «языками пожаров». Клавдия Петровна сказала, что конец несколько в другом стиле и размере, но годится.

Много, много позже Антон прочтет, что на самом деле с Гастелло все обстояло не так: были гибель, самопожертвование, но не было «вражьего бензина» и огненного тарана в немецкую колонну.

Так, впрочем, получилось в конце концов почти со всеми героями, но об этом Антон узнал еще на бревнах. Как-то, в годовщину Победы, вечером, как следует выпив, все вышли посидеть-прохладиться. Оглотков рассказал, что Матросов вовсе не первым закрыл амбразуру: в ихнем полку сержант Семенко сделал это на два месяца раньше; Крысчат слышал, что амбразурщиков вообще было больше сотни. Гурий, воевавший в дивизии Панфилова, говорил, что из двадцати восьми героев несколько осталось в живых. Домой Антон бежал бегом — не потому, что опаздывал к ужину.

На столе стояли рюмки и кособокая бутылка, заткнутая кочерыжкой; сидели гости: Гройдо, шахматист-огородник Егорычев, это было хорошо — Антону не терпелось поделиться потрясающими сведениями со всеми.

— Когда мне начинает казаться, — выслушав, дед повернулся к Егорычеву, — что эта власть уже ничем не сможет нас удивить, она всякий раз подбрасывает такое, что в нормальную голову не придет никогда. Какой будет вред, если опубликовать то, о чем рассказали эти солдаты? Народ бы только порадовался, что погибли не все двадцать восемь. Чему вы улыбаетесь?

— Вашей неистребимой неспорченности, Леонид Львович. Народу, с точки зрения власти, нужна не истина — нужен миф. А какой миф построишь на живых — хоть с «Варяга», хоть с разьезда... с того, где эти панфиловцы...

— Дубосеково, — быстро сказал Антон, уже не удивлявшийся, что дедовы друзья, все на свете знавшие, путают, где город Молотов, а где Киров, куда летала Раскова, не помнят имен папанинцев и челюскинцев.

— Да. Вы, зная историю христианства, его святых и мучеников, должны понимать это лучше меня.

— Народу надо, — засмеялся уже хорошо выпивший Гройдо, — заливать за шкуру сало, как говаривал на обсуждении проспекта «Истории гражданской войны» Климент Ефремович.

— «Климу Ворошилову письмо я написал, — забормотал Антон, но бормотом тихим: дед не любил советских стихов. — Товарищ Ворошилов, народный комиссар!..»

Дочитывая стихи до конца, он не уследил, как дошло до ворошиловских стрелков. Выяснилось, что Егорычев думает: это те, кто охраняет Ворошилова, как латышские стрелки — Ленина.

— Вы шутите! — кричал отец, тоже уже выпивший. — Это невероятно,

чтобы мимо вас прошли все эти плакаты, огромные фанерные значки, лозунги, призывы, коллективные походы на стрельбища! Может, вы не слышали и благозвучного слова *Осоавиахим*?

Егорычев разводил руками.

На минутку заглянул еще один гость, майор в отставке, на фронте — сотрудник политотдела дивизии и переводчик, комиссованный по ранению еще в сорок третьем году. Он что-то писал о войне, но его не печатали; только раз в областной газете появился его материал о боях на Волоколамском шоссе, после чего республиканская газета опубликовала письмо какого-то подполковника, который, ссылаясь на Александра Бека и Баурджана Момыш Улы, именовал автора фальсификатором в майорских погонах. За общим столом майор не пил, хотя вообще был очень не прочь, однако предпочитал это делать с глазу на глаз с отцом (они в разное время учились на истфаке МГУ). Отец, очень интересуясь рассказами о войне, на бревна не ходил — Антон только потом понял: ему было бы неловко среди фронтовиков; его не взяли из-за глаз, испорченных на сварочных работах — без щитков — на строительстве московского метро. (Даже мама чувствовала какую-то вину и сказала как-то: тем, кто воевал, можно простить все.)

Антон, вычислив, когда майор с отцом выпьют по второй, приносил огурцов, пучок редиски с грядки и незаметно оставался. Майор не рассказывал про разные боевые эпизоды, как Кувычко или Крысчат, а говорил, что Гудериан использовал тактику Ганнибала, который сосредоточивал тяжелых боевых слонов для прорыва на одном участке. И о нашей армии говорил обо всей. Самым слабым местом была ее прославленная пехота. Трехлинейки образца девяносто третьего дробь тридцатого года очень надежны, но обладают низкой скорострельностью. Пехотинцев бросали в бой, не научив окапываться (про это говорил и Сумбаев), строить дерево-земляные точки. Даже саперы не умели возводить нормальные доты: в сорок первом году их делали с непомерно широкими амбразурами; если бы у немцев появился Матросов — провалился бы как в яму.

— Понастроили, как витрины в Амстердаме, в которых сидят проститутки! — вдруг закричал майор. — И это после финской войны, когда... — лицо майора задергалось.

— Воды! — бросил отец. — Холодной, из кадки.

Антон опротямьки кинулся в сени. Так он узнал, почему майор не пьет на людях. Стукая зубами о край, майор опорожнил полковша. Потом глубоко вздохнул и продолжал с того самого места:

— ...когда на линии Маннергейма положили несколько дивизий. А почему? Потому, что была доктрина наступательной войны, в обороне — считалось — не будем.

Окруженный Берлин, полагал майор, штурмовать не следовало. Отец спорил, говорил что-то про политику и безоговорочную капитуляцию.

— Без боя бы капитулировали, и безоговорочно. Политика политикой, а полмиллиона жизней не вернешь.

За одно сведение Антон обиделся. Он обожал Покрышкина и Кожедуба, складывал вместе число сбитых ими самолетов. Оказалось, что какой-то немецкий ас один сбил вдвое больше, чем оба трижды героя вместе!

Студентом Антон уже сам задавал ему вопросы. Почему продолжают подымать на щит Зою Космодемьянскую, которая пыталась поджечь какую-то конюшню? А о партизанах Игнатовых, изобретших не обнаруживаемые миноискателем деревяннокорпусные мины и подорвавших десятки поездов, не пишет никто? Конечно, Зоя погибла мученической смертью, но ведь и Игнатовы погибли.

— Ты мне напомнил своего деда с его вопросами тогда, у вас в доме, на годовщине Победы. Тот же тип мышления. Помнишь, что ответил тогда Егорычев?

— Помню.

— Вот и тебе ответ. Система построена на мифе. А миф требует единичности: один, как Бог, над всеми, ниже — идолы поменьше, но в каждой области — тоже по одному: Чапаев, Джамбуд, Стаханов, Чкалов, Маяковский, Мичурин, умрет — заменим Лысенкой... А к Егорычеву надо прислушиваться — он очень давно выпал из системы и все это время думает.

— А Гройдо?

— И Гройдо. Так же давно. Но более редкий случай.

— Редкий — что давно или — что занимал высокое место в иерархии?

— И то и другое. Он говорил мне, что благословляет судьбу, вытолкнувшую оттуда его столь рано: давно лежал бы в лагерной яме или был советским вельможей, что еще отвратительней. Я не встречал никого — даже здесь, кто бы их так ненавидел. Иногда мне кажется, что подсознательно он жалеет, что не наверху.

Антон спрашивал про его книгу о войне, собирается ли публиковать.

— Хотел. У меня большой материал по матросовцам до Матросова. Один случай даже в финскую войну. Но солдатам-свидетелям замполит, справившись, где полагалось, велел молчать, чтоб не подумали, что у нас плохо с боевой техникой, раз ложимся на амбразуры. В эту войну было уже другое указание... А тараны были и до Талалихина — у меня тоже много данных. Правда, большинство моих материалов основано на устных свидетельствах солдат, которых я опрашивал в Алма-Ате, Омске, в Карлаге, а после него уже здесь — Оглоткова, Крысцата, Гурия, да почти всех... До архивов мне уж не добраться.

— Вы сидели?

— Недолго. Меня взяли в ту же кампанию, что и вашу учительницу математики. Тебе не стали говорить, — лицо его омрачилось. — То, что я записал в лагере, удалось вынести — нас отпускали уже пачками — это из моих записей самое ценное, там говорили все.

Вскоре он умер. Его бумаги квартирная хозяйка отдала за банку соленых огурцов торговке Мане Делец на кульки.

На бревенных посиделках Антон запомнил его только один раз: сначала он расспрашивал Оглоткова все про тех же матросовцев, а потом сцепился с Кувычкой, который любил повторять, что всю войну, от Бреста до Берлина, провел на передовой. Майор говорил: все, кто заявляют, что воевали в боевых порядках три месяца в Сталинграде или месяц на Курской дуге, — врут. И прекрасно знают, что в части, ведущей непрерывные бои, можно находиться неделю, максимум — две. Потом ты или в госпитале, или — известно где. Если остался цел с месяц или больше — значит был во втором эшелоне. Да и часть через две-три недели отводят на переформирование.

Бывали на бревнах и одноразовые гости — заглянул ленинградец Гольдберг. Ему, хотя он и через два года после блокады доходил, дали срок, но из Карлага вскоре комиссовали, и он лечился в чебачинском тубсанатории. Срок он получил за язык: сказал, что в Смольном в блокаду ели ветчину и икру. Ему не поверили; когда он ушел, Петя-партизан сказал, что к евреям относится хорошо, а с одним даже дружил в отряде, но это — типичные еврейские штучки.

Когда я потом вспоминал рассказ ленинградца, он тоже не вызывал у меня особого доверия. Но в институте истории меня по распоряжению дирекции подключили к коллективному труду в честь одного из юбилеев великой победы, хотя я был специалистом по XIX веку: книга шла на границу и требовалась в кратчайшие сроки. Я попросился в ленинградскую группу — прошел слух, что допустят к закрытым архивам. Допустили; мы читали документы с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно»: отчеты о работе всех двадцати двух ленинградских кладбищ с цифрами — приблизительными — ежедневных захоронений, протоколы отделений милиции о случаях каннибализма. И — накладные на продукты, доставляемые в Смольный: шпроты,



крабы, икра зернистая, икра лососевая, осетрина горячего копчения. Ни один из этих документов даже в пересказе включить в книгу не удалось. Впрочем, на Западе, видимо, кое-что знали. В музее обороны Ленинграда в спецфонде мы нашли вырезку из неуказанной газеты, где один американский писатель, единственный из западных литераторов побывавший в осажденном городе, рассказал о своих впечатлениях от обеда у первого секретаря ленинградского обкома. «Я не увидел отличий от обеда, которым меня угощали здесь два года тому назад. Та же икра в тарелках, та же желто-розовая лососина, отличная водка. Изменился только сам господин Жданов: он еще больше пополнил, хотя, как я узнал, каждый день играл в бункере в теннис».

На бревнах и пели: «На позиции девушка», «Бьется в тесной печурке огонь», «Синенький скромный платочек». Их любили все — и фронтовики, и Гройдо, и Егорычев. Правда, они не очень понятно спорили: Гройдо удивлялся, как «Землянку» мог написать *такой* поэт. Но Егорычев говорил, что в подобные годы народные песни пишут именно *такие* поэты. Но пели и песни, каких по радио Антон не слышал. Старшие братья Кувычки, воевавшие на Северном флоте, исполняли дуэтом: «Англичанин затынется русской махоркой, а русский матрос сигарету возьмет». Отец, услышав, как Антон, шкура мутовку, это мурлычет, заставил пропеть до конца: «И над рейдом протянутся дымки голубые: русский дымок, русский дымок и британский дымок». После чего сказал, чтобы Антон не вздумал спеть это в школе. На что тот находчиво ответил, что есть даже газета «Британский союзник», которую ты сам привез из Москвы. Была, сказал отец, а тот давний номер пора сжечь.

Анюта Кувычко, фронтовая медсестра по прозвищу Анка-пулеметчица, пела частушки. Начинала с понятных:

Обещался милый мой  
Сшить полусапожки,  
Обманул, подлец такой —  
Только смерил ножки.

Но в других вместо некоторых слов мычала «м-м-м», и все смеялись, а Антону было обидно.

С японской войны вернулся самый младший, пятый Кувычко, всем было интересно про косоглазых, на Востоке никто не воевал, тем более что он служил шофером при дивизионной газете и многое знал *в масштабе*. Антон как раз был в пионерлагере и приставал к Ваське Гагину, чтоб тот хоть что-нибудь передал из рассказов Кувычки. Но Васька запомнил только стихи дивизионного поэта, которые, став в позу, и прочел очень выразительно. Кончались они так:

И вырвав нож из рук японца,  
Его добил ножом его.

При последнем слове Васька щелкал языком и делал движение, которое военрук Корендясов рекомендовал в драмкружке старшеклассников при ремарке «Закаляется».

### Приобретенные признаки наследуются

На огороде и в саду дитятей Антон проводил с дедом целые дни. Высекали семена, сажали рассаду, вносили органические удобрения, по ходу дела дед осуждал увлечение неорганическими и предсказывал, что мир вернется к навозу — так и оказалось. Много лет спустя Антон прочел — уже некому было об этом рассказать, что в Англии возникло целое движение «натуралистов», отрицающих минеральные удобрения. Еще позже в какой-то газете он увидел

идущего за плугом с симпатичной лошадкой пахаря, напомнивших ему левую часть картинки «Прежде и теперь» из «Календаря колхозника» (на правой был трактор). Подпись гласила: «В Англии создаются курсы для фермеров, которые отказываются от использования тракторов в сельском хозяйстве и возвращаются к «лошадиной силе» в прямом смысле слова. На снимке: практические занятия на курсах фермеров». Деда это тоже бы не удивило, он всегда говорил: трактор слишком тяжел, нарушает структуру почвы, вот если б плуг один ходил по пашне.

О структуре дед говорил часто, это красивое и полезное слово Антону очень нравилось, еще лучше было *структурирование*, которому помогали прекрасные животные — дождевые черви, в хорошей почве их может быть несколько сот пудов на гектар, дед объяснял, почему они выползают после дождя на дорожки. Трудно было потом удержаться, чтобы не написать про это стихи. «Дождь прошел, струи его косые затопили дышащую слизь. Мраморные черви дождевые по дорожкам сада расползлись. Персть его безжизненно-нелепа, вялая покинутость чехла. Где Земли частицы слиплись слепо, там его дорога пролегла. Кольцевые мышцы совершенны, безупречен, как Линнеев лист, дух структуры господинно-пленный...».

Идеи Костычева и Докучаева дед излагал девяти-десятилетнему, верил, что тот запомнит.

Формировали кроны деревьев и кустов, делали прививки, посыпали смородину табачной пылью (ядохимикатов дед, разумеется, не признавал).

Отдыхали под старой яблоней на сделанных из старых пней и узловатых ветвей креслах, очень удобных, дающих развязку членам, и разговаривали. Это Антон любил больше всего, это была компенсация рассказов на ночь, которые летом прекращались, ибо дед дотемна копался на огороде, а ребенка по швейцарской системе укладывали спать рано. Антон рос, разговоры продолжались. Темы задавал он сам.

— Расскажи про семинарию.

Дед рассказывал про Виленскую духовную семинарию.

— Учителя у нас были хорошие. Отец Панкратий Добронравов, впоследствии он стал епископом, Евфимий Федорович Карский, будущий академик, — он, собственно, был преподавателем русского языка и словесности второй виленской гимназии, а у нас совмещательствовал, вел церковнославянский язык.

Старшие семинаристы назывались философами, средние — риторамы.

— Как у Помяловского? — Антон уже прочел только что полученные в приложениях к «Огоньку» «Очерки бурсы».

— Что описывает Помяловский — ничего такого не было. У него бандиты какие-то, а не бурсаки!

Диспуты у нас на темы догматические (дед косился на Антона, но слова не объяснял) вели философы и, пожалуй, риторы. Как преобразится мир после Страшного суда? Что есть вера? Бог создал мир сразу или по частям? Мы, синтаксисты, младшие, больше любили разговоры.

— Болтать между собой?

— Нет, так называлось нечто вроде театральных представлений, на которые приходила и посторонняя публика — актовая зала иногда не могла вместить всех. Какие разговоры? Между частями речи: каждая утверждает, что она в языке самая важная. Или дьячок Филогел защищает новое время, а Харофил — старое, когда все семинаристы знали, что около земли стоит «иже», буква, а не какая-то атмосфера, или умели не думая сказать, в каком псалме ни разу не встречается литера «буки».

— Дед, а зачем это знать, про «буки»?

— Знание, кроме прикладного, существует не для чего, а для самого себя.

— А какие вопросы были на экзаменах?

— Разные... Например: в чем состояла ересь Ария? Или: каковы разли-

чительные черты каждого из четырех Евангелий? Или попроще: изложить любое из Посланий Павловых. Но это для нас было просто, а какого-нибудь гимназиста спроси — станет в тупик. Разве он знал Евангелие? — дед начал кому-то возражать, волноваться, этот вопрос и сейчас, через полвека, трогал его. — Гимназист знал не Евангелие, а священную историю Нового Завета сочинения священника Рудакова. Да и то нетвердо. Наговорит законоучителю всякой чепухи, а тот только: «Усвоили невразумительно», и ставит удовлетворительный балл.

Но это мне было уже неинтересно, я спешил сменить тему, спрашивал, как развлекались семинаристы.

— Как все отроки. Играли в чехарду, в карты, хотя они строго запрещались. Пели что? Светское не одобрялось. Но мы находили способ. Пели, — дед начинал на церковный распев, — такое: «Отец благочинный купил нож перочинный... А хор: «У-ди-ви-тель-но!» ...и тулуп овчинный... Хор: «Во-схи-ти-те-льно!»... Пели вечерами, но внизу сидел сторож, он все доносил по начальству. А тут — чисто: разучиваем литургию на глас шестый или седьмой... Ну а паче чаяния, коли все ж, слышим, подымается по лестнице наш Аргус, начинаем: «Et tonat, et donat» — старый бурсацкий перевод малороссийской песни: «И шуме, и греме, дрибен дощик иде, а кто мени молодую тай до дому доведе...» Сторож послушает-послушает: латынь! значит, все в порядке...

Но разговоры незаметно — видимо, влиял сад-огород — опять перетекали в естественнонаучную сферу.

В шестом классе Антон объявил, что будет агрономом, как дед, или биологом. Ему очень нравились яблоки и груши, нарисованные на цветных вкладках учебника ботаники. Особенно аппетитно выглядела Бере зимняя Мичурина; при всяком удобном случае Антон спрашивал про этот сорт, но хотя население Чебачинска раньше жили почти во всех городах страны, никто такой фрукт почему-то не едал и в магазинах, на рынках не видал — как, впрочем, и другие мичуринские сорта.

Раз, придя из школы, Антон застал у деда какого-то старичка. Он приехал к дочери из Тамбова, когда после сессии ВАСХНИЛ был сначала лишен в институте кафедры как пригревшийся вейсманистов-морганистов, а затем вообще уволен. Узнав, что тамбовец не раз бывал в Мичуринске, Антон, не положив портфеля, вцепился в него насчет Бере зимней Мичурина. Профессор серьезно ответил, что, возможно, раньше Бере и была хорошим сортом, но когда он после войны приехал в те края, есть ее было невозможно: твердая, несладкая, вяжет язык — видимо, к ней вернулись признаки ее дикого предка. Это произошло и с другими сортами Мичурина.

Антон как раз одолел пятьдесят страниц первого тома зеленого собрания сочинений Мичурина, которым деда премировали за хорошую работу в Батмашинском лесотехникуме, и параллельно читал брошюру общества «Знание» «И.В. Мичурин — великий преобразователь природы». Захлебываясь, Антон процитировал наизусть приведенную там цитату из какой-то довоенной газеты: «С юношеским задором работает старик Мичурин. Он вывел красящие сорта вишни и смородины, крыжовник, больше похожий на виноград. Новые мысли вспыхивают в мозгу великого садовода. Он спит и видит вишню без косточек, которую нужно создать по заказу советской промышленности». Великий селекционер вывел 300 сортов!

Эту цифру Антон уже раньше, тоже с захлебом, называл деду (сам дед советскую научно-популярную литературу читать не любил: пока доберешься до чего-нибудь осмысленного, занозишь всю душу, продираясь сквозь дурное цитат из вождей). Но тот воспринял ее скептически.

— Дед, ты опять ничему не веришь! — огорчился Антон (огорчение усиливалось оттого, что дед в своей древней шляпе очень походил на брошюрский портрет Мичурина). — Ведь это же напечатано в брошюре!

— А отчего я должен верить именно в данном случае? Чем он отличается, например, от полной липы об урожаях зерновых?

— А Шыганак Берсиев?

Антон хватал учебник казахского языка и, старательно, как учил Казбек Мустафьевич, выговаривая заднебные и фрикативные, читал, а потом переводил текст, где сообщалось, что казахский рисовод вырастил урожай в 200 центнеров с гектара.

— Ну? — с торжеством орал он. — Уж тут-то — правда! Это же здесь, в Казахстане!

— 1200 пудов... — задумчиво говорил дед. — Ни одна зерновая культура в мире до сих пор не давала такой массы на гектар... Смахивает на рекорд Стаханова. Хорошо б проверить, да где уж.

— Ему же героя дали!

Дед только поднял брови.

— И не только 300 сортов! — продолжал волноваться Антон. — Он создал материалистическое учение!

— Чтобы создать учение, — серьезно сказал профессор, — нужны такие, как Вавилов, не знаю, знакомо ли тебе это великое имя, — он почему-то опустил голову. — Нужен дар систематизатора, сплавленный с другим, редчайшим даром — обобщения. А собрание сочинений Мичурина — это что? Не сведенные воедино многолетние наблюдения. Я думаю, он был талантливый и честный садовод-селекционер и в том, что лысенковцы после его смерти сделали из него знамя, неповинен. Хотя... Один из сортов его яблок назывался — пасхальное. Натыкаюсь случайно на фото в брошюре вроде твоей — именуется уже: антипасхальное... Мне кажется, в подыпании его на щит Лысенкой важную роль сыграло то, что Мичурин тоже был самоучка — мы университетов не кончали. Как и Лепешинская: фельдшер по образованию, а опровергла основные положения клеточной теории!

Потом они заговорили про кок-сагыз, и я ушел: растение это я ненавидел. На кок-сагыз нас гоняли с третьего класса. Считалось, что этот маленький кустик-каучуконос изменит нашу экономику, дав стране отечественный каучук. Мы сламывали стебель, разглядывая и пробуя на язык выступившую каплю горького молока, которой предстояло выполнить такую задачу. Наша же была проще: ручной сбор каучуконоса. Кок-сагыз был низкоросл, плантации густо зарастали подорожником, осотом, одуванчиками, его трудно было отыскать, корень у него был трематодный, длинный, сочные кустики ломались в руках, белый клейкий сок, смешиваясь с землей, образовывал липкую холодную грязь. Горы облепленных этой черной с беловатыми пятнами грязью каучуконосов гнили потом возле силосных ям в колхозе; представить, что такое может куда-то сгодиться, было невозможно. Но так обстояло дело у нас — у нас вообще все, что касалось сельского хозяйства, было плохо. Но где-то колосилась замечательная лысенковская ветвистая пшеница, шумели молодые леса, посаженные гнездовым способом.

В девятом классе Антон начал проходить «Основы дарвинизма». Эти основы преподавала Елена Дмитриевна Гулько. Она только что окончила биофак Свердловского университета, хотя было ей уже под тридцать: ее исключили перед самой защитой диплома по генетике; восстановиться удалось только через пять лет; второй диплом она писала на другую тему: «Идеалистические основы и антинаучный характер вейсманизма-морганизма». На уроках она подробно рассказывала, как мичуринская биология отбросила реакционную выдумку — хромосомную теорию с ее мистическими генами, мифическими носителями наследственности, и еще более подробно, пол-урока, об опытах с горохом Менделя. В конце этого урока она вдруг замолчала, а потом стала говорить громко:

— Которые ничего не доказывают! Он был монах! Все это — идеализм и поповщина! В выдающихся работах академика Трофима Денисовича Лысен-

ко, — заговорила она еще громче, — было показано! Главное — запомните: приобретенные — признаки — наследуются! — почти в крик повторяла она, стуча в такт указкой по столу. — На-сле-дуются!

Когда проходили Лысенко, голос Елены Дмитриевны вообще становился другим, менялась даже осанка, лицо шло красными пятнами; звонок заставлял ее посреди фразы, чего никогда не бывало раньше. Мы не понимали причин ее волнения, но сидели тихо.

На одном уроке она продемонстрировала фотографию монумента, недавно установленного в городе Остроге: Лысенко сидит рядом со Сталиным, который смотрит на зажатый в своей руке снопок ветвистой пшеницы. Когда вождь умер и мы всей школой, без строя стояли в коридоре у репродуктора и слушали музыку, время от времени прерываемую голосом Левитана, Елена Дмитриевна вдруг захохотала, зарыдала, стала что-то выкрикивать, ее увели. Но это было позже, а пока мы изучали теорию и практику Лысенко. Изучали подробней, чем в учебнике, — и яровизацию, и внутрисортное скрещивание, и летние посевы люцерны, и превращение ольхи в березу, ржи — в василек.

Дед высказывался о Лысенке, но всегда очень кратко: невежда, шарлатан. Может, он плохо знал его теорию и не представлял успехов его практики? Я пересказал одну из лекций нашей учительницы. Что дед не со всем согласится, я предполагал. Но я не знал деда! Он впал в бешенство — это был тот единственный случай, который я потом мог вспомнить за всю жизнь. «Бред сивой кобылы», «безграмотная чушь», «мура собачья» — я и не представлял, что дед знает такие современные слова, как «мура».

— Про превращение сосны в ель или граба в лещину я как агроном, да и просто нормальный человек не буду и говорить. Но все другие его идеи, — дед постепенно успокаивался, — это обычное советское очковитительство, только более наглое. Но хорошо: возьмем едва ли не единственную более или менее здравую — собственно, после нее он и пошел вверх — яровизацию. В нашем известном тебе колхозе ее применили. Прибавка была — четыре килограмма на га. А у Лысенки — центнер, шесть пудов! Конечно, «Двенадцатая годовщина октября» — ужасный колхоз, но зато у него какие черноземы. Нет, в прибавке не может быть такой огромной разницы.

Говорили о Лысенке до вечера, а на другой день Антон, отвечая на уроке, привел один из дедовых антилысенковских аргументов. Дулько его ответ — чего никогда не делала — тут же прервала.

— Это ты откуда взял? — спросила она нервно.

Антон замялся, но сказал про деда.

— А кто твой дедушка?

— Агроном.

— Я тебе пока не ставлю оценки. После урока подойди ко мне.

Елена Дмитриевна сказала, что хотела бы поговорить с дедушкой, а узнав, что ему семьдесят семь лет, добавила, что готова прийти сама, если дедушке трудно. Дед еще этим летом ходил пешком за двадцать верст в Котуркуль и в тот же день к ночи возвращался, но Антон промолчал, не помня, чтоб он хоть раз к кому-нибудь пошел в гости — не стал даже смотреть дом, который после войны купили тетя Лариса и Василий Илларионович.

В субботу после уроков Елена Дмитриевна в сопровождении Антона появилась в доме. Дед встретил ее в своем знаменитом, сшитом еще до первой мировой войны бостоновом костюме, усы его были тщательной подстрижены.

— Рад познакомиться с коллегой, тем более с такой очаровательной дамой, — дед пожал учительнице руку, при этом низко наклонившись; она руку испуганно отдернула.

— Я пришла поговорить о вашем внуке, — сказала она тоном, показывающим, что тут не до светских любезностей. — Точнее, о его судьбе, его будущем. Которое меня беспокоит.

— Чем же оно беспокоит Вас, глубокочтимая Елена Дмитриевна?

— Вы, Леонид Львович, получили агрономическое образование давно. В последние годы как в теории, так и в практике сельского хозяйства произошли большие перемены.

— Не могу компетентно судить о теории, но в практике — пожалуй. Урожайность по сравнению с довоенной упала на 18–25 пудов... на 3–4 центнера с га.

— Не знаю, откуда у вас такие цифры, — га лице учительницы появилось первое красное пятно, — в печати их не было. Но я не об этом. Антон, слыша в школе одно, а дома другое...

— Антон, — сказала появившаяся на пороге мама. — Дай дедушке поговорить с педагогом.

Антон со вздохом поднялся. Когда через полчаса мама куда-то ушла, он шагом Чингачука подкрался к закрытой двери. За ней бушевали страсти. Говорили не о нем.

— Овсюг порождается пшеницей и овсом и сам порождает овес! — гремел дед. — Сосна превращается в ель, малиновка в кукушку! Неужели вы можете верить в эту чушь? Ведь вы биолог, Елена Дмитриевна, а не какой-нибудь пишущий о Лысенке Фиш («Фиша прочел!» — поразился Антон) и понимающий — простите за плохой каламбур — не больше рыбы в сухопутных растениях и животных. Кукушка не откладывает яиц. Что за детский лепет! В учебники вошло — еще знаменитый Дженнер наблюдал ее кладки.

— Но вы не можете отрицать, — нервно говорила Дулько, — теоретическую ценность учения о наследовании благоприобретенных признаков.

— Могу. Чистейшей воды ламаркизм — вы не хуже меня знаете, что все это давно опровергнуто.

— А новое учение о клетке Ольги Борисовны Лепешинской? А идеи Вильямса? Или вы с трудами этих ученых не знакомы?

— О Лепешинской квалифицированно как не цитолог судить не берусь, хотя чтоб клетка возникала не из клетки, а неизвестно из чего... Что же касается Вильямса — его я читал, а «Травополную систему земледелия» даже преподавал. Там есть здравые идеи, но из нее тоже сделали панацею на все случаи жизни. Да и самое систему лысенковцы извратили. А что Вильямс пишет об урожайности? «Земля будет работать на социализм», средний урожай социалистических полей будет 100 центнеров с га — это же 600 пудов! А реально по Союзу до войны, когда он все это писал в «Правде», было 60 пудов с га — тогда еще публиковали цифры. А сейчас во многих районах — 30. Столько собирали, наверное, при Владимире Красное Солнышко, да, я думаю, и поболее!

Дед был прав. Для местного колхоза «Двенадцатая годовщина октября», где мы проработали все школьные годы, 50 пудов считалось — потолок. Антон однажды рассказал деду, как в романе «Кавалер золотой звезды» на собрании главный герой взял обязательство собрать 250 пудов с га, а какая-то председательша — 180, и ей никто не хлопал; дед очень смеялся.

Заскрипела калитка — вернулась мама. Антон с сожаленьем открался от двери. А когда минут через двадцать кто-то ее распахнул, дед говорил о летних посевах люцерны — видимо, и эта директива Лысенко не годилась, а про люцерну дед все знал: роясь как-то в его тумбочке, Антон нашел пожелтевшую газету с дедовой статьей: «Сейте люцерну!» Жалко, он не прочитал статью, а попросить у деда было неудобно, потому что сам он про нее ничего не говорил, как и про свою статью «Пчелиное молочко» — продукт, видимо, потрясного вкуса. Учительница была уже в пальто, когда дед перешел к гнездовым посадкам деревьев — работники лесополос, не зная, что это высокая теория, отсутствие внутривидовой борьбы и просто видя, что одни саженцы угнетают другие, самостийно такие посадки разреживали.

От внутривидовой борьбы было рукой подать до Дарвина, стало ясно, что теперь все пропало совсем. Дело в том, что у деда было особое отношение к

Дарвину, которого не разделял даже тамбовский профессор, ставший приятелем деда и во всем остальном проявлявший с ним удивительное единодушие. В подробностях дедову позицию Антон не знал — после одного спора друзей, при котором случайно присутствовал отец, он сказал деду: «Оставьте мальчику хоть Дарвина. Ему экзамены сдавать — и в школе и в институте».

— Я антилысенковец, но я дарвинист-эволюционист, — говорил профессор во время того спора. — Как можно не признавать заслуг такого великого ученого.

— Я признаю, — смиренно соглашался дед (Антон знал этот его тон — он был сигналом к высказыванию самых твердых убеждений деда). — Дарвин — крупная величина. Но абсолютно все сводить к естественному отбору и полному господству хаотических случайностей, из которых вдруг возникает изумительное по стройности замысла здание Природы (при этом слове дед должен был поднять руку над головою — и поднял), — извините.

— В вас говорит семинарист, с детства уверовавший в чудо и гармонию творения.

— Возможно, хотя и из семинаристов выходили Добролюбовы и Чернышевские. Главный наш гонитель Бога тоже учился в семинарии.

Но Елена Дмитриевна, было заметно, хотела поскорее уйти и тему о видах не поддержала. Когда Антон провожал учительницу до калитки, уже все ее лицо было в красных пятнах.

— На следующей неделе в школе, — сказала она, — комиссия роно. На уроке будет Энгельсина Савельевна, биолог из железнодорожной школы. Она всегда просит вызывать тех, у кого пятерки. У меня к тебе просьба: отвечай строго по учебнику. Договорились? — она скомкала косынку и быстро пошла по улице.

Дед тоже выглядел взволнованным — такое приходилось видеть нечасто.

— Я и так высказал ей, — возражал он на что-то маме, — половину того, что думаю про этого мракобеса, умолчал о главном: падение урожаев из-за все новых и новых его фокусов даже на десять пудов на га — а на самом деле больше — дает по стране не менее миллиарда пудов! Мерзавец не мелочится! До войны везде искали вредителей. Вот он, настоящий, не липовый!

Советскую прессу дед почти не читал, но сведения о состоянии сельского хозяйства и биологической науки как-то стекались к нему: писали бывшие слушатели его лекций в агрономическом институте в Екатеринославе, то с оказией присылал письмо в тридцать страниц на ремингтоне знакомый по Киевскому съезду зоологов 1930 года, то что-то целыми днями рассказывал проживший неделю за печкой хромой-старик, которого только что выперли со знаменитой Харьковской опытной станции, той самой, куда, с удивленьем узнал Антон, приглашали когда-то и деда после нескольких его статей о люцерне; недели две ходил обедать другой старик, беззубый, отбывший срок то ли в Карлаге, то ли на Балхаше, ученик зоопсихолога Вагнера, поразивший Антона заявлением, что самое великое произведение русской классической литературы — рассказ «Каштанка».

Антон запомнил много непонятных и звучных слов: номогенез, инцухт, гетерозиготный, полиалельное. Фамилии упоминались тоже красивые: Шмальгаузен, Эмме, Бей-Биенко. Старики много спорили, но в одном сходились все: в ненависти к Лысенко. Антон тоже стал его ненавидеть, и все больше. Потом, в Москве, когда он узнал про судьбу Вавилова и всей генетики и когда на выступлении Лысенко в МГУ увидел его безумные глаза и услышал скрипучий голос, ненависть выросла до отвращения, зубовного скрежета. Через много лет, когда все подписывали письма в высшие инстанции, а Антон считал, что толку с этого не будет никакого, единственное исключение он сделал, подписав письмо против народного академика, хотя по-прежнему не верил, что выйдет толк. Не было никого и никогда, кого Антон ненавидел бы сильнее.

## Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Унгерн и прочие

Отец был человеком благодарным и часто вспоминал своих благодетелей: Ивана Порфирьича Охлыстышева, учившего его слесарному делу, директоршу семипалатинской средней школы Екатерину Федоровну Салову, взявшую его на работу, несмотря на то, что он только что был исключен из комсомола (за разглашение на политинформации цифры пособия американского безработного, которая оказалась в несколько раз выше зарплаты токаря седьмого разряда), бывшего ученика деда сотрудника чебачинского НКВД Шаповалова, предупредившего, что у деда, если он не перестанет болтать, будут большие неприятности. Запомнил эти имена Антон именно от частого их упоминания. Такое же благодарное отношение отец предполагал и у других. Уезжавшего учиться в МГУ Антона он снабдил рекомендательными письмами к своим довоенным друзьям.

Первым, к кому поехал Антон, был некто Ратинов, в свое время два месяца проживший у Стремоуховых на Пироговке, где он отсиживался от НКВД. Впрочем, даром времени он не терял и к концу второго месяца женился на соседке по коридору. Взяв ее фамилию (своя была — Драпов, и Антон, недавно узнавший, что ратин — тоже ткань, думал, что отец шутит), вышел из подполья, явился на швейную фабрику «Большевичка», назвал свою новую фамилию и сказал, что хочет в пошивочный цех, где как раз начали шить входящие в моду у аппарата ратиновые пальто. Это тоже походило на среднего качества юмор, однако Ратинова-Драпова тут же зачислили, и он сделал большую карьеру: в войну был замом главного интенданта 2-го Украинского фронта, одевал маршала Конева, а ныне занимал какой-то большой пост в Министерстве легкой промышленности. Жил он в высотном доме на Котельнической набережной.

Прочитав письмо, Ратинов с некоторым недоумением посмотрел на визитера.

— Тут Петруша пишет, чтобы я со своими связями в министерстве помог тебе купить зимнее пальто. Он хочет — что? чтоб я сходил в наш закрытый магазин с тобою? Но зачем? То, что там висит, тебе не по карману. Тебе сколько денег дали? Я так и предполагал. Вообще, или я что-то не понимаю, или твой отец. На дворе не тридцатые годы, про которые он в письме вспоминает... Пальто на тебя можно купить в любом универмаге. Где ГУМ, ЦУМ, ты, наверно, уже знаешь.

Из прочих рекомендательных писем Антон решил отнести только одно — к графу Шереметьеву.

В начале тридцатых граф уцелел потому, что при смене документов паспортистка вставила мягкий знак в его фамилию, и он везде говорил: «Полтаву» читали? Откройте том Пушкина: «И Шереметев благородный...» А я — Шереметьев, из жителей подмосковной деревни Шереметьево, где собираются строить аэродром». Однако он все ж таки загремел, глупо, уже в тридцать девятом, когда, наоборот, некоторых выпускали. Впрочем, получил скромно — пятилетнюю ссылку, которую отбывал в Чебачинске. После истечения срока ему каким-то образом удалось — редкий случай — не получить минус десять (городов), а вернуться в Москву.

Бормоча «И Шереметев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин», Антон отыскал старый дом в Богословском переулке.

Когда Шереметьев представлялся, перед фамилией он делал паузу и издавал некоторое небольшое как бы мычанье, будто пропуская какое-то слово. Многие догадывались и, как в «Подростке», спрашивали: «Граф?» — на что граф снова неопределенно мычал.

По телефону отвечал его дядька. Он тоже делал паузу: «У аппарата Федор», и после маленького молчания: «Нильч». Дядьке перевалило за восемьдесят, это был крепкий, свежий старик с длинными пушистыми седыми



висками, очень похожими на баки. Он был сыном другого дядьки Шереметьевых, родившегося еще при крепостном праве и состоявшего при отце графа. Граф-сын называл своего дядьку Федор и на «ты». Будучи старше графа Григория Александровича лет на двадцать и находясь при нем с младенчества, Федор поехал за ним и в ссылку, хотя его как социально близкого никто ссылать не собирался. В Чебачинске граф бедствовал, существуя только огородом, который они обрабатывали вместе с Федором, да небольшими денежными переводами, посылаемыми ему из Омска другом отца, бывшим белым офицером, сумевшим это скрыть и в новой жизни хорошо устроившимся — завскладами при гортопе.

В Москве Григорий Александрович существовал, как он острил, тоже переводами, переводя на язык родных осин со всех основных европейских языков, с каких требовалось в данный момент. «Я не брезглив, — говорил он, заворачивая, однако, нижнюю губу, — перевожу даже с польского». Жил он вполне безбедно; за столом неизменно подымал тост: за кормильца и поильца; таковыми оказывались то прогрессивный писатель Алан Силлитоу, то Луи Арагон, то Анна Зегерс. Подписывал он свои переводы так: «Гр. Шереметьев».

Антон привез ему приветы от своих родителей вместе с трехлитровой банкой соленых груздей — граф очень уважал их под водочку и говорил, что таких груздей нет больше нигде в мире. Пригласил бывать, и несколько раз Антон присутствовал у графа на приемах.

Федор надевал белые перчатки и расставлял потемневший старый сервиз с сеткой мелких трещин, устраивал на колесиках вилки и ножи — это был второй после бабкина стол, где Антон увидел такие колесики.

Антон Федор зауважал по чистой случайности. В первый свой визит опоздавший Антон попросил передать ему вон ту тройную менажницу. Как потом выяснилось, этот предмет только что был объектом обсуждения — никто не мог вспомнить, как он называется (Федор, несомненно, знал, но вмешиваться в барский застольный разговор не смел). Самый старший из гостей, бывший приват-доцент Санкт-Петербургского университета, уже успел выстроить целую теорию. Он заявил, что в последний раз видел эту деталь сервировки в ресторане Палкина в тринадцатом... нет, на год раньше, когда погиб «Титаник». А от долгого неупотребления атрофируются не только внешние органы, но и мозг. Так считал Ламарк, который, кстати, не так давно снова вошел в большую моду.

Гости были — какие-то старики, глухие и молчаливые. Справа от Антона оказалась седая дама с трясущейся головой в наколке со стеклярусом, ей время от времени сосед переводил на французский кое-что из разговоров — прожив сорок лет в Париже, она по-русски говорила плохо, и с годами все хуже. Съев свой пудинг, она быстро отрезала кусок пудинга на Антоновой тарелке и ловким движеньем при помощи ножа и вилки перенесла на свою. Антон подумал, что здесь так принято, и сделал вид, что ничего не произошло. Про визави Антона, с бородою сильно впрозелень (до того вечера Антон считал, что эпитет «зеленобородый» — метафорический), Шереметьев сказал, что он — писатель, правда, последняя его книга вышла у Сабашниковых в двадцать пятом году.

Однажды Антон увидел здесь знакомое лицо: князя Голенищева-Кутузова, который недавно вернулся из эмиграции, — однокашника графа то ли по кадетскому корпусу, то ли по какому-то пансиону. Рассказывали, что из-за редкости таких возвращений или уважения к фамилии князя сразу по приезде пригласили к зампреда Моссовета Суворову. Заместитель встал и, протянув руку, представился: «Суворов». Голенищев протянул свою и сказал: «Кутузов». Суворов побагровел, но референт что-то шепнул ему на ухо, тот успокоился и заулыбался. Голенищев-Кутузов читал на филфаке спецкурс по Данте, на который ходили и историки, и философы. На первой лекции произошло небольшое недоразумение. Седой, красивый князь, выложив на

кафедру огромный с золотым обрезом том in folio, оглядел битком набитую аудиторию и сказал что-то по-итальянски. Во фразе было имя Данте, студенты приветливо заулыбались. Он сказал еще несколько фраз по-итальянски. Через несколько минут у аудитории закралось подозрение: не собирается ли парижский профессор весь курс читать на языке «Божественной комедии»? Прошло еще несколько минут, он что-то спросил; сидевшие в первом ряду студенты и аспиранты-итальянисты закивали головами, лекция продолжалась. Аудитория зашумела. К кафедре, ступая, как по раскаленным углям, и взмахивая попеременно руками, чтобы показать, что он идет необыкновенно тихо, подкрался завкафедрой романо-германской филологии и что-то зашептал князю в большое ухо. Голенищев замолчал, посмотрел на зава, на слушателей и сказал по-русски, приятно грассируя: «Дамы и господа! Пгошу пгощения! Видимо, я невегню понял свою задачу. Я полагаю, что буду выступать пред теми, кто в подтиннике читает великого флорентийца. И даже несколько удивился, — он изящно-округлым манием руки обвел многочисленную аудиторию. — Но если будет угодно, я готов читать на родном языке».

И стал; но прочитав одну-две терцины, еще несколько фраз, видимо, разогнавшись, произносил по-итальянски.

О языках у Шереметьева говорили часто: многие из присутствующих преподавали — кто французский, кто английский, кто немецкий. Об уровне знания языков в новейшее время мненья граф Шереметьев был невысокого; позже, в 60-е годы, он говорил Антону, что за ощущение живой плоти даже самого распространенного, английского языка ценит только: среди писателей — Набокова, среди переводчиков — Суходрева, а среди филологов — профессора Аничкова.

До войны Шереметьев преподавал в какой-то шпионской школе под Москвой.

— Любопытно узнать, каковы были эти ваши ученички? — поинтересовался один из гостей, бывший (здесь бывшие были все) старший инспектор Второй московской гимназии Акакий Акакиевич — при его имени Антон всякий раз вздрагивал. — Усердные или не очень? Вы их встречали потом?

— Где ж я их мог встречать, милый Акакий Акакиевич, — развел руками граф. — На Унтер-ден-Линден?

Все вежливо заулыбались, а старуха со стеклярусом сказала восхищенно: «О, это прекрасная улица! C'est la belle rue!»

— Впрочем, об одном все наверняка слышали. Это — знаменитый Кузнецов, Герой Советского Союза, застреливший — кажется, в 43-м году — имперского министра финансов генерала Геля, главного судью генерала Функа и кого-то еще из гитлеровских бонз, раскрывший, что ставка Гитлера — Вольфшанце находится под Винницей.

— Пауль Зиберт? — встрепенулся Антон, читавший все о партизанах и разведчиках; Кузнецов был его кумиром. Было непостижимо, как в уральском городе обычный инженер смог так изучить язык, бытовую культуру, немецкий военный обиход, что свободно вращался в кругу офицеров третьего рейха и не попался. — Но как же?.. Ведь он, как известно, работал инженером на Уралмаше, был призван в армию, ушел в партизаны...

— Не знаю, кому это известно, но он учился у меня в разведшколе — первый год. А потом — абшид, перешел, как все, в Hohgrupp, повышенную, это уже в другом месте, которую вел туземец. Потом, сколько я знаю, его заслали лет на пять в Германию.

— А туземец — это кто?

— Наш жаргон. Означает: носитель языка. Этот преподаватель был немецкий коммунист, потом его, понятно, расстреляли. Меня, собственно, из-за него и выслали — за связь с иностранцем. Правда, у меня еще до этого была провинность, но тогда обошлось.

Про ту провинность Антон уже знал: во время пушкинского юбилея 37-го

года в речи на каких-то торжествах в институте иностранных языков Шеремтьев сказал, что Пушкин испытал влияние Байрона.

— Но вы же с этим немцем всего лишь преподавали вместе, одна кафедра, да ведь...

— От жителя Чебачинска, Антон Петрович, не ожидал, извините, голубчик, таких наивных вопросов.

Антон замолчал. Вслед за капитаном Гастелло, героями-панфиловцами, рядовым Матросовым рухнула последняя красивая легенда — простой уральский инженер оказался профессиональным разведчиком, стажировавшимся в Германии.

Гораздо больше, чем по отцовским друзьям, Антон любил ходить по отцовским местам, о которых слышал столько раз, что, казалось, он уже здесь бывал: по Усачевке, скверу на Пироговке, вдоль стены Новодевичьего монастыря. На Новодевичьем кладбище были похоронены дед с бабкой по отцовской линии. Но когда перед войной дядья как-то собрались посетить могилы, на их месте они увидели ровную заасфальтированную площадку. В конторе возмущенным сыновьям показали затертый номер «Вечерней Москвы», где в уголке было несколько петитных строчек о реконструкции кладбища, в связи с чем родственников таких-то участков просят в месячный срок и т.д. Но дядьям газета на глаза не попала: Василий Иванович был уже в лагере под Магаданом, Иван Иванович, отовсюду уволенный, обивал пороги в поисках работы, Алексей Иванович, специалист по горным машинам, уехал от греха подальше куда-то на шахты, а отец Антона — в Казахстан.

Перекусить Антон заходил в закусочную на углу Дзержинской, где бутерброды по-прежнему за жетоны выдавали автоматы. За хлебом он как-то специально пошел на Тверскую, про которую отец забыл сказать, что она теперь именуется улицей Горького, но булочная Филиппова, видимо, называлась по-старому, ее сразу показали. Антон робко спросил французскую булку.

— Опоздали, молодой человек, — сказал седой приказчик, — лет на пять! Французских булок больше нет.

— Вообще?

— Вообще где-то, — махнул рукой куда-то очень вдаль продавец, — конечно, есть. Но у нас они теперь — *городские*. Пожалуйста, 70 копеек в кассу!

По-старому назывался и гастроном Елисеева, там тоже до сих пор работал старый приказчик, еще хозяйский, очень не любивший нынешних дамочек. Одна из них попросила его нарезать рокфор.

— Рокфор в жизни не резал, мадам! — презрительно сказал он, сначала с низким поклоном, а потом гордо вздернув голову, протягивая сыр, туго запеленутый в пергаментную бумагу так, как это умели делать только приказчики Елисеева.

Когда вышло послабление и в Москву стали приезжать эмигранты, приехал и старик Елисеев. Зашел в свой магазин, увидел своего приказчика, они долго обнимались и плакали. Собрался народ, стали спрашивать, как Елисееву показался магазин. Бывший хозяин хвалил все:

— Икра хорошая, как и раньше. Баранина тоже. Правда, мы мясо продавали только парное, но и теперешнее ничего, ледники сейчас морозят хорошо.

Ветчину он даже попробовал и нашел пристойной. Правда, удивился, что почему-то мало сортов; в *его* магазине было не три сорта, а тринадцать — присутствующие затихли, пытаясь представить себе остальные десять, но гастрономщик охотно назвал их. К сожалению, до рассказчика история прошла через много рук, и из названий дошло только три: окорок лифляндский, ветчина краковская и фаршированная фисташками; Елисеев особенно подчеркивал красоту фисташковых орешков на срезе, но магазинные и последующие слушатели, орешков этих в жизни не видевши, вряд ли эту красоту оценили.

Отцовским Антон считал и немое кино, с детства зная содержание и «Зак-

ройщика из Торжка», и «Праздника святого Иоргена», и «Папиросницы от Моссельпрома»; в Кинотеатре повторного фильма он вскоре все эти ленты и пересмотрел. Несмотря на блистательную игру Ильинского, разочарование было сильным, хотя Антон и боялся себе в этом признаться. Это разочарование сопровождало его и когда он увидел классические фильмы Чаплина — трюки напоминали цирк, а ожидалось что-то совсем другое.

Бывал в доме Фалька на Кропоткинской, куда вдова пускала по воскресеньям; три раза ходил на выставку Павла Кузнецова, потрясенный, написал о нем статью в курсовую газету.

Выстаивали огромные очереди на выставку только что вернувшегося из Южной Америки Эрзы, который казался гениальным. Рассказывали, что когда его водили по Москве и спросили, в частности, как он оценивает недавно водруженный памятник Юрию Долгорукому, Эрзя сказал: «Как сумели, так и сделали».

Чуть не через день Антон бегал в консерваторию, благо она находилась в полуверсте от истфака. Во МХАТе успел посмотреть знаменитые «Три сестры» в постановке Немировича-Данченко сорокового года и почти в том же, хоть и постаревшем, составе; был от этого спектакля странный, больше не повторившийся эффект: его мизансцены стояли потом перед глазами всю жизнь. Приезжала «Комеди Франсез», Лоуренс Оливье играл в «Гамлете». От всего этого Антон находился в постоянной эйфории — впрочем, и коренные москвичи тоже: и Оливье, и Питера Брука они видели впервые.

Все было новым, все начиналось, во все верилось.

Деньги родители присылали — немного, но регулярно; по расчетам отца, на жизнь должно было хватать. Но львиная доля уходила на консерваторию, театр, книги. Конечно, в отчетах отцу славно было небрежно отметить: купил рубашку, ботинки, но ложь бы обнаружилась, поэтому приходилось писать про покупку ваксы, мыла, зубной пасты. Как всякое мелкое вранье, это забывалось, и в следующем письме Антон снова писал про гуталин и пасту. «Письмо, где ты упоминаешь, что в третий раз за месяц купил пасту, — отвечал отец, — получили. И сколько же ее уходит на зубы твои лошадиные?»

Надо было изыскивать дополнительные источники дохода. Ночная разгрузка вагонов не подошла. После нее бывший морячок Коля Сядристый на лекциях сидел как ни в чем не бывало, Антон же засыпал. Помог Сэмэн Копыто. Не поступив, он родителям написал, что в МГУ учится, продолжал нелегально жить в общежитии и про приработки знал все. Сэмэнкопыто устроил Антона в институт психологии в качестве подопытного. Это была редкая удача: институт находился на задах университета, за час платили десять рублей (стипендия составляла двести девяносто), и вместо лекции по истории КПСС можно было получить двадцать рублей.

Интересны были и сами опыты: запомнить, что сможешь, из комбинации зажженных лампочек, а потом воспроизводить это через день, через три, через две недели, через месяц. Можно было заодно узнать свойства своей памяти. У Антона значительно лучше оказалась краткосрочная память. Это ему сильно помогало, когда он по вечерам стал записывать свои случайные или постоянные разговоры с Тарле, Лосевым, Арсением Тарковским, Крученыхом, Зайончковским.

Проводились и другие опыты — сенсорные. В темной комнате надо было полчаса адаптироваться, а потом реагировать на появляющуюся на экране светящуюся точку. Васька Весовщиков, которого Антон тоже привлек к опытам, рассказывал в общежитии:

— Сидим в коридоре. Подходит красивая аспирантка, радостно улыбается, берет Антона за ручку и уводит в комнату. Закрывается железная дверь, лязгают засовы. Слышно, как запирают и вторую дверь. Зажигается красное табло: не входить! 70%, 80%, 100% — абсолютная темнота, значит. Проходит

час. Табло гаснет. Лязгают засовы, обе двери открываются. Антон и аспирантка выходят — очень довольные.

Васька делал многозначительную паузу:

— А диван, на котором вы... адаптируетесь, черный? Для лучшего светопоглощения?

Аспирантку звали Виктория, было ей под тридцать, и она, как Антонова учительница биологии Гулько, писала уже вторую диссертацию — первую, почти законченную, пришлось бросить: при обсуждении представленного на кафедре варианта там нашли влияние бихевиоризма, фрейдизма и элементы мистики. Антон не знал, избавилась ли она от этих элементов в той диссертации, которую писала сейчас, экспериментируя на нем, но всем тем, что вскоре стали именовать парапсихологией, Виктория интересовалась пристально — это Антон установил во время первой же, еще тонной, адаптации на черном диване (он действительно был, как антрацит), когда она обмолвилась о Вольфе Мессинге.

Об этом гипнотизере, без труда читающем мысли, Антон все детство слышал от отца, который бывал на его сеансах в Москве, и от Василия Илларионовича, видевшего его психологические опыты в Кисловодске. Рассказы были фантастичны. Поэтому, когда появилась афиша, что Вольф Мессинг будет выступать в клубе МГУ, Антон с утра стоял у кассы.

На сеансе все было так, как рассказывали, еще и похлеще. Мессинг вынул из внутреннего кармана добровольца колоду карт, которую по мысленному желанию того разложил на столе в сложном порядке: верхний ряд — все валеты, второй и третий ряды — карты с шестерки по десятку треф и пик, четвертый ряд — дама, король, туз бубен; продиктовал расположение фигур на каждой из половинок картонной шахматной доски, спрятанной студентами под креслами в разных концах зрительного зала, и сделал несколько ходов староиндийской защиты (ассистентка сказала, что в шахматы играть он не умеет). Когда не мог с ходу угадать мысль, сердито покрикивал на испытуемого: «Думайте о вашем предмете! А я вам говорю — вы не думаете! Думайте!» Глаза артиста лихорадочно блестили, пот крупными градинами катился со лба, воротничок сорочки намок.

Виктория видела Вольфа Мессинга не только на эстраде, поэтому Антон так и прилип к ней с просьбами про него рассказать, и она обещала, если Антон будет во время опытов вести себя хорошо, и Виктория рассказала ему все, что знала о великом гипнотизере, факты и легенды. Как он, когда еще были разрешены публичные сеансы гипноза, внушал пяти-шести рядам, что началось наводнение, дамы подбирали юбки и вскакивали на кресла; как, вызванный на Лубянку, он прошел туда без пропуска, потрясавшего вызвавшего, и так же вышел обратно, хотя тот специально предупредил охрану; как у какого-то контуженного немого майора прочитал мысли о том, где он, попав в окружение, зарыл ценности и деньги смоленского банка; как увидев свою знакомую, сопровождавшую из загса новобрачных, сказал ей потом, что те проживут вместе только пять месяцев, — так и оказалось.

Но самым большим достижением великого экстрасенса она считала знаменитое заседание в том же институте психологии во время борьбы с космополитизмом. Вольф Мессинг для кампании подходил лучше не придумаешь: полунемец или полуполяк, но уж точно полуеврей, пропагандист мистики и идеализма. Институт получил задание: ознакомиться с эстрадными программами т. Мессинга и дать заключение об их соответствии установкам советской материалистической психологии и физиологии.

Точно в назначенный час члены ученых советов институтов психологии и философии АН СССР, а также приглашенные из МГУ и соседствующего с МГУ мединститута собрались в роскошном беломраморном институтском зале. В торце длинного, во всю комнату, стола, покрытого тяжелой зеленой скатер-

тью, сидел патриарх отечественной психологии академик Н. Ты, Антон, сказала Виктория, несомненно слышал его имя, но я не хочу его называть.

Старинные часы пробили четверть; Вольф Мессинг опаздывал; председательствующий с беспокойством поглядывал на дверь. Но вот ее массивные створки стали медленно приоткрываться, и в притвор просунулось мясистое, вытянутое вперед лицо. «Какой неприятный, — подумал председатель. — Он похож на крысу». — «Почему на крысу?» — сказал вошедший, протянув руку к председателю. Это был Вольф Мессинг; и то были его первые слова. Председатель открыл рот, но тут же закрыл. Ученый секретарь института повернулся к вошедшему, привстал и тоже хотел что-то сказать, но Мессинг, не опуская указующей руки, а только поведя ею в его сторону, упредил: «Не беспокойтесь. Вы подумали, что заняли мое место. Но я не в обиде». Ученый секретарь сначала застыл, а потом суетливо кинулся собирать бумаги. Мессинг сел на освободившееся место, и никто не успел еще промолвить слова, как он снова поднял руку и, указывая на основного докладчика (как узнал, что тот — основной?), сказал:

— Вы хотите начать с того, что материалистическая нейрофизиология и психология не признает передачи мыслей на расстоянии, что еще великий Павлов говорил...

Воцарилась мертвая тишина, был слышен только хрипловатый голос Мессинга, излагавшего инвективы докладчика.

— А вы желаете возразить, — указал Мессинг, не поворачиваясь, большим пальцем через плечо на психолога из Академии педнаук, ученика Выготского, после смерти учителя вот уже четверть века его разоблачавшего, — вы хотите возразить, что если мы примем постулат возможности существования подобной субстанции — носителя этой психической энергии, и что хотя некоторые философии, например, индийская... Нет, я так не думаю, вы не правы, — перебил он себя сам, повернувшись в другую сторону и протянув руку к креслу, в котором еле виден был сухонький старичок, ученик Ухтомского. — Я хочу только уточнить...

Осталось незамеченным, когда Вольф Мессинг встал и отошел от стола, оказавшись в пустом пространстве у стены, как бы на эстраде. Но все вдруг увидели, что он в черном дивном смокинге (сшитом по Львове Мовшовичем, одевавшем самого Пилсудского), кипенно-белой сорочке, галстук-бабочке и глянцево сверкающих туфлях. Никто не произнес ни слова, все как завороженные только поворачивали головы к очередному немому оппоненту Мессинга, речь которого, будто читая лежащий перед глазами текст, пересказывал артист.

Никто не заметил и того, как пробило полчаса, — все слушали только энергичный, но одновременно какой-то странно-усыпляющий голос гипнотизера. Председатель опомнился, только когда пробило без четверти.

— Кто из членов ученого совета или из присутствующих еще хотел бы выступить? — вяло промычал он.

И почему-то никого не удивила эта обычная процедурная формулировка, хотя в данном случае была совершенно неуместна, ибо ни из членов ученого совета, ни из вообще присутствующих никто не сказал ни единого слова. И все только молча закивали, когда председатель сказал, что нужно принять резолюцию.

И резолюция была вынесена! Это был, видимо, единственный в те годы случай, когда собравшийся по поводу некоего лица ареопаг вынес положительную относительно этого лица резолюцию. Она была краткой и гласила, что выступления «Психологические опыты» артиста мосэстрады такого-то могут быть продолжены, ибо не противоречат материалистической психологии, необходимо только, чтобы перед началом ведущий или ассистент делал вступительное слово, текст которого будет составлен специалистами. (Антон застал такие выступления артиста: перед каждым какая-то дама минут десять что-то жевала про материалистическую советскую науку, Сеченова и Павлова). Вик-

тория сама по просьбе ученого секретаря бегала в машбюро, а потом организовывала гербовую печать. Позже она не раз присутствовала на сеансах Мессинга и говорила, что ни после какого не видела его таким измученным — видимо, слишком многое было поставлено на карту.

Второй случай неэстрадного общения с парапсихологом у Виктории был совсем недавно, год или два назад. Она возвращалась от своих друзей в Комарово, под Ленинградом. Был уже белый день, в вагоне электрички у окна сидел только один пассажир, не узнать которого было невозможно. Виктория вошла и, сев в противоположный конец вагона, сконцентрировалась на затылке артиста и стала посылать ему сигналы: «Поверните голову к окну. Поверните голову к окну». Или: «Оглянитесь. Вы меня видели в институте психологии. Оглянитесь». Мессинг не оглянулся и головы не повернул. Приехали. Мессинг вышел в тамбур. Виктория прошла через вагон и встала за его спиной. По-прежнему не оглядываясь, Вольф Мессинг сказал ровным голосом: «Вы напрасно напомнили мне про институт психологии. Это был самый тяжелый день и самый трудный сеанс в моей жизни. А вам, девушка, я бы советовал бросить эти игры. Это тяжелый крест — так считал и Фрейд, о котором вы только что думали, — я разговаривал с ним два года. Вы молодая и красивая. Все это не принесет вам счастья». И, не оглянувшись, сошел на платформу.

Рассказывая, Виктория стремительно расхаживала по комнате за двумя железными дверьми, показывая, кто, где и куда подошел; с копной волос а la Бабетта, в черной короткой юбке и сером тонком свитере под горло она была чудо как хороша.

Антону страшно хотелось взволновать Викторию — чтобы она так же красиво-нервно ходила по комнате — какой-нибудь подобной историей.

У него возник комплекс. Уже окончив университет, он все еще мечтал найти историю, достойную рассказа Виктории. Историй он за это время узнал много. Но у всех был один недостаток: они были не документированы. Где зафиксировано, что экстрасенс Х предсказал появление пенициллина, а парапсихолог У угадал дату запуска первого спутника? Таких апокрифов, объяснял Антон доброхотам, исправно поставлявшим ему подобные сообщения, можно сочинить сколько угодно.

Но наконец удача улыбнулась ему. В одном из двух польских журналов, «Пшекруй» или «Кобета и жиче», которые Антон постоянно читал и даже попеременно выписывал и которые ощущались как окна в Европу, он прочел статью об удивительном предсказании.

Во время гражданской войны в соединение под командованием прибалтийского барона Унгерна, которое действовало близ монгольской границы и в самой Монголии, прибыл с целью написать о сибирской Белой армии известный польский журналист, которого Антон, почему-то тут же забыв его имя, стал называть Сяндовским. Вскоре журналист узнал, что совсем недалеко, всего в полтора днях верхоконного хода, в небольшом монгольском буддийском монастыре находится в эти дни лама Джелубу. Упустить такую возможность было б непростительно, и Сяндовский предложил барону Унгерну к ламе съездить.

В монастыре, когда они представились, их без проволочек провели к ламе. По дороге служитель, буддийский монах, спросил по-английски, на каком языке господа желают говорить с ламой.

— А какие языки знает лама?

— Лама знает все языки людей.

Решили, что говорить будут по-немецки. Лама несколько медленно, но правильно заговорил на берлинском диалекте. Побеседовав с прибывшими о ситуации в России и проявив необычайную осведомленность, лама спросил, отчего gnadigen Herr не говорят ничего о цели своего визита — не просят предсказать их будущее. Но почему, сказал Сяндовский, великий учитель решил, что мы хотим знать свое будущее? Все хотят его знать, промолвил задум-

чиво лама и добавил, что если угодно, он может сказать, сколько им осталось жить. Сяндовский в ужасе отказался. Барон же сказал, что ему, как человеку войны, это было бы бесполезно.

Служитель принес жаровню и овечьи лопатки. Слегка подзакоптив кости над огнем, лама разложил их на коврике и погрузился в созерцание черных пятен-узоров, приборматывая что-то вроде: «Девяносто... Сто пять ступеней... Сто десять... Сто двадцать. Сто двадцать две ступени».

— Моему уважаемому гостю, — подвел итог лама, осталось жить ровно 122 дня.

— Я на войне, — сказал, криво улыбнувшись барон Унгерн. — Я могу погибнуть в любой день.

— Почему же в любой-всякий? — вдруг по-русски сказал лама. — В сто двадцать второй. Эта война, — добавил он, — ничто по сравнению с той, которая, — он, как и Мессинг, назвал дату, — ожидает Россию через двадцать один год, и тем голодом, который постигнет мир через шестьдесят больших ступеней после ее окончания.

На прощанье лама сказал, что, уважая волю другого гостя, он не назовет дату его смерти, но огонь коснулся священных овечьих лопаток, и лама заметит только — что не будет нарушением воли, — что незадолго до своей смерти Сяндовский услышит имя барона Унгерна.

Путешественники вернулись в отряд; барон вместе с откатывающейся армией медленно двигался к океану, а Сяндовский с первым же надежным поездом уехал сначала в Харбин, а оттуда — в Гонконг. Там он в местной английской газете сразу же опубликовал корреспонденцию о своем посещении ламы Джелубу. Автор статьи в журнале «Пшекруй» сопроводил ее снимком из этой газеты. Копия была неважная, но кое-что прочесть было можно — во всяком случае цифра 122 виделась явственно. Факт публикации был особенно важен: статья с предсказаньем появилась до того, как стало известно, сбылось оно или нет.

Пророчество исполнилось в точности. «По странному совпадению, — писал автор журнала, — решением Сибирского реввоенсовета попавший в плен генерал Унгерн был расстрелян на 122-й день после своего визита к ламе Джелубу».

— По странному совпадению! — взволнованно-язвительно ораторствовал Антон перед Юриком Ганецким — главным скептиком, на котором Антон опробовывал материал. — Не на 121-й, не на 123-й, а — заметь — именно на тот, который назвал лама Джелубу! Дорого б я дал, чтобы узнать, что думал в этот день барон Унгерн.

Сбылась и другая часть пророчества. Во время войны (начавшейся в указанное время) Сяндовский скрывался от гестапо в варшавском гетто. Когда он явился на одну из своих квартир, хозяйка предупредила, что его разыскивал какой-то немец. «На гестаповца не похож, в армейской форме, интеллигентный, — сказала хозяйка обеспокоенному журналисту. — Уходя, представился: барон Унгерн».

Если б она знала, какое впечатление произведет это имя на Сяндовского. К вечеру он слег, его старая болезнь осложнилась новой, какой-то непонятной. Через несколько дней он умер. Уже после подавления варшавского восстания воскресший барон Унгерн разыскал хозяйку в шалаше среди развалин ее дома. Все объяснилось просто. Немец оказался сыном покойного белогвардейца, он знал гонконгскую публикацию и хотел поговорить с человеком, который последним, не считая, разумеется, красноармейцев, видел его отца. Но варшавский эпизод, полагал Антон, нарушает чистоту пророчества: здесь мог действовать второй Эдипов комплекс — предсказание исполняется по причине его воздействия на психику объекта.

Теперь была возможность избыть наконец комплекс свой (единственный, который смог наблюсти у себя Антон, когда с одним американским историком



России, а по совместительству психоаналитиком целый день обшаривал свое подсознание). С трудом узнал он адрес Виктории. Едя к ней, он вдруг понял, что комплекс за годы трансформировался. На самом деле его мучило желание обсудить научную основу как малых предсказаний, так и глобальных пророчеств, которая несомненно существовала, обсудить с той, которая так была увлечена всем этим еще тогда, когда почти никто ничем подобным не интересовался. Свои мысли Антон собрался сжато изложить так. Время, вопреки обыденным представлениям, не движется однонаправленно от прошлого через настоящее к будущему — все эти три потока текут одновременно и параллельно. Мы находимся внутри одного — настоящего времени, язык которого нам доступен. Но есть гадалки, кудесники, ясновидцы, прорицатели, оракулы, пророки, а также великие поэты, которые способны считывать информацию и с двух других временных потоков, поэтому им доступно знание и о прошлом, и о будущем.

Обсудить ничего не удалось. Виктория, едва дослушав его взволнованное повествование, сказала: неудивительно, что эта история всплыла, сейчас все ударились в мистику, экстрасенсов как собак нерезаных, и вообще теперь она считает, что все это не нужно и малоинтересно.

Но больше, чем такое предательство, поразило Антона другое — когда открылась дверь и он увидел Викторину, немолодую, полную женщину, в лице которой чуть брезжили черты красавицы из комнаты за железной дверью. Это был первый случай, потом они пошли косяком — знакомые женщины почему-то вдруг начали дурнеть, толстеть, меняться, Антона это ранило, все в нем протестовало, после каждой такой встречи он заболел.

— Тебе надо было жить на Олимпе, среди бессмертных богов, где нет ни увяданья, ни старости, царит одна вечная молодость, — острил Юрик Ганецкий.

Но и жизнь олимпийцев была непроста — нити и их судеб тянули мойры, и судьбы эти тоже предсказывали оракулы, и даже бессмертные боги не могли изменить ни направление нитей, ни скрещение их.

### Прекрасное есть революция

У графа Шереметьева можно было встретить людей самых неожиданных. Именно там Антон познакомился с философом Григорием Васютиным. В его облике внимание привлекали университетский значок, хотя, судя по виду его носителя, свой философский факультет он окончил лет пятнадцать назад, и нахмуренно-мучительно-вдумчивый взгляд. В доме он был впервые; граф, всегда щедро аттестовавший своих гостей, рассказал, что когда несколько лет назад в Москву после долгого перерыва снова приехал известный философ Георг, или Дьердь, Лукач (с ним Шереметьев сблизился, редактируя немецкую версию его знаменитой работы о реализме), то, почитав и послушав, сказал: в столице есть два настоящих философа — Михаил Лифшиц и Григорий Васютин.

В этот раз за столом ругали социализм, и когда стали рассуждать о принудительном труде, особенно напирая на субботники и воскресники, Антон оказался всеобщим оппонентом — стал горячо говорить, что никогда не воспринимал их так, но как общее дело, *res publica*, что кадры с «Потянем дружнее» в «Волге-Волге», которые так заругал Акакий Акакиевич, на него производят совсем другое впечатление, хочется включиться в бодрый труд над вечною рекою. (Лет через десять Антон будет спорить с автором известной тогда книги «До свидания, мальчики», которому не нравилось, как вдруг увлекся кладкой кирпича лагерник Иван Денисович — Антону же эта сцена казалась одной из лучших в великом произведении; спорил он на эту тему и потом.) Если всякий коллективный труд считать социалистическим, то я — истинное дитя социализма!

Это был недолгий в жизни Антона период увлечения Сен-Симоном, Фурье, ранними работами Маркса. Да, у нас все извращено, но возможен, а где-то (в Польше? Венгрии?), может, уже и зарождается истинный социализм, как

где-то бродят настоящие пионеры в красных галстуках. Это был период, когда Антон изо всех сил пытался найти в строе что-нибудь положительное. После двадцатого съезда сильно помягчел к строю отец, надеялся, писал, что историю партии излагает по учебнику Емельяна Ярославского, а там, глядишь, дойдет и до других имен; Антон спрашивал, что обо всем этом думает дед; отец написал, запрятав сообщение в середину фразы: «Баба жива-здорова, гадает на картах, Леонид Львович, как всегда, не верит в возможность чего-либо положительного, Тамара по-прежнему поет в хоре (следовало понимать: в церковном), Колька копит на машину». Антон считал очень полезным изучение «Капитала» в вечерних институтах марксизма-ленинизма и технических вузах: без его обязательного конспектирования сотни тысяч людей никогда бы не прочли научный труд столь сурьезного содержания.

Когда расходились, к Антону подошел Васютин.

— Мне очень близко то, что вы говорили о радостном коллективном труде. Люди коммунистической эры, в отличие от нас, людей предыстории, будут трудиться с наслаждением, с полной отдачей сил, не думая об оплате — как это предсказал Ленин в работе «Великий почин». Вы читали «Святое семейство» молодого Маркса? Прекрасно! Мне почему-то так и показалось. Приходите, поговорим о коммунистической революции. А вам никто не говорил, что вы похожи на «Брута» Микельанджело?

Через неделю, стоя перед дверью коммунальной квартиры, Антон отыскивал среди разнопочерковых ярлычков фамилию философа; звонить надо было семь раз.

— А, Брут! — встретил его Григорий, и морщины на его лбу на секунду разбежались, но тут же снова вернулись на лицо, и он добавил, понизив голос: — В коридоре ничего не говорите: услышат контрреволюционеры.

Философ обитал в бывшем ватер-клозете; подобные службы в начале века еще не догадались делать без окон и невоворот — в комнатке было метров семь. Осталась и маленькая раковина, так что философ, не выходя в коридор, мог умываться, стирать белье, наливать воду в чайник, который он здесь же на электроплитке и кипятил, — все это позволяло свести к минимуму общение с контрреволюционерами, каковыми были все насельники квартиры, включая и его мать с отчимом.

Показав, где пройти между стопками книг на полу, Григорий усадил Антона на стоявший на четырех кирпичях продавленный пружинный матрас, для чего пришлось убрать прислоненный к изголовью топор. «Орудие Раскольникова», — нахмуренно улыбнувшись, сказал Григорий. Потом закурил и без всяких предисловий (у революционеров нет времени на этикетный мусор) начал излагать свою теорию прекрасного, главный тезис которой звучал так: «Прекрасное — это жизнь в ее революционном развитии», или — короче — «Прекрасное есть революция». Это было неожиданно, ново и непонятно.

— Революция оздоравливает общество, — сказал Антон. — Она выдвигает такие фигуры, как Наполеон. Она свергает замшелые авторитеты, которым больше не надо кланяться. Улучшает даже семейные отношения — после переворота семнадцатого года у всех погибли сбережения и не надо было лицемерить перед своими и прочими старыми идиотами.

— Именно! — обрадовался Григорий. — Наша революция освежила общество, как летняя гроза! Я сразу почувствовал, что мы единомышленники. Человек с лицом Брута не может мыслить иначе!

Антон смутился. В спорах он следовал совету Гройдо: старайтесь отыскать в своей душе аргументы — а они есть всегда — в пользу вашего оппонента. Как хороший адвокат, который мысленно становится даже на сторону убийцы. Про авторитеты и семейные отношения — это было почти все, что наскреб в голове Антон в защиту убийцы.

— Гроза, конечно... Но при чем тут прекрасное? Категория, мне кажется

ся, — из другой оперы. Я привык думать, что прекрасное — это совершенство, гармония в искусстве, человеке...

— Абсолютно верно. Но это только начальная стадия прекрасного, его первое определение. Необходимо второе, которое является развитием и дополнением первого. Все великие произведения искусства — детища революции. Революционер с головы до пят — так называл Шелли Маркс. Байрон — лорд-карбонарий — погиб за свободу Греции. А помните, что сказал Шуман о музыке Шопена? «Это пушки, спрятанные в цветах!» В статье «Искусство и революция» Рихард Вагнер высказал великую мысль, что искусство и революция имеют общую цель.

Антон пытался возражать, приводя другие примеры, но каким-то образом выходило, что и Пушкин, и Мусоргский, и Достоевский — продукты или декабризма, или шестидесятиничества, и кем бы был Достоевский без петрашевцев? Антон был странно заворочен подобным подходом к искусству — значит, можно и так? — при котором не существовало ни историзма, ни иерархии, ни художественного уровня: в один ряд попадали «Спартак», «Овод» и «Былое и думы», революционные стихи Пушкина и Огарева, «Что делать?» и «Преступление и наказание», «Дни Турбиных» и «Любовь Яровая». Назывались имена Фурманова, Говарда Фаста, Анны Зегерс, «Генерал» Симонова и «Шумел сурово Брянский лес» Софронова. Все эти произведения служили единой цели.

— Подлинная поэзия — не результат вымысла, а продукт наиболее глубоких законов революционного развития реальной действительности. Эти законы есть также и законы красоты.

Важнейшим доказательством этого тезиса Григорий считал поразительное сходство даже внешнего облика борцов за свободу с великими образцами классического искусства.

— «Мадонна Бартоломео Питти» Микельанджело — буквальный физический прообраз Зои Космодемьянской.

Точной копией мадонны то ли Тициана, то ли Мурильо — Антон позабыл — была внешность революционерки Люси Люсиновой.

Говорил Григорий хорошо, даже блестяще, не затрудняясь ни выбором слов, ни примеров из искусства всех времен. Но с лица его почему-то не сходило мучительно-напряженное выражение. Один из зеленородых шереметьевских друзей (про него было известно, что на шестом заседании Религиозно-философского общества Мережковский пожал ему руку и произнес: «В вас есть мистическое чувство, молодой человек!») сказал как-то: «Почему у него всегда такое лицо, будто он велосипед выдумывает? Я видел философов — Трубецкого, Лосского, Розанова — обычные спокойные лица. А у Канта? Простецкая физиономия!». Это страдательное выражение напряженной работы мысли парализовало у Антона всякую способность и охоту к возражениям: не может быть неправ тот, кто так страстно и мучительно над всем этим размышляет.

Григорий вдруг остановился и сказал, что понимает, его теория непривычна, и вы, Брут, должны ее обдумать, а сейчас пора обедать.

Обед состоял из чая с хлебом и соевыми конфетами «Кавказские» — 1 руб. 40 коп. сто грамм. Это была, видимо, основная еда философа: ничего другого Антон в этой комнате не едал. Жил Григорий на пенсию по инвалидности (что-то по психической линии), едва превышающую стипендию второкурсника (этим объяснялись и тазы с бельем), да еще ухитрялся покупать книги. Книги он, впрочем, покупал только дешевые, более ценные же целиком переписывал от руки — Антон с оторопью листал нумерованные общие тетради с переписанной четким почерком «Историей первобытного общества» и алпатовской «Историей искусств».

К следующим визитам Антон готовился, даже записывал на бумажку возражения. Но однонаправленный, неотклоняемый ум философа проходил сквозь них, как нож сквозь масло.

— Разумеется, глубоко неверно ограничивать объем лучших произведений мирового искусства вещами с явно выраженной революционной тематикой. Он ими далеко не исчерпывается. «Страшный» суд Сикстинской капеллы — апофеоз уничтожения и творчества, грандиозная революция на том свете. Но не противоречит ли положение, что прекрасное — это революция, тому, что революционность — критерий художественности? Не противоречит. Дело в том, что прекрасное революционно в своей первичной коренной сущности. Аполлон Бельведерский или Афродита Книдская не менее революционны, чем Гармодий и Аристокитон или микельанджеловский Брут. Революционны по своему содержанию «Афродита Милосская» и «Сикстинская мадонна», «Весна» Боттичелли и «Спящая Венера» Джорджоне — ибо всякая подлинная красота всегда революционна. Все без исключения законы художественной выразительности и законы красоты есть законы диалектики революционного развития. Следовательно, высокие эстетические идеалы вообще и все подлинные художественные творения революционны в своей основе!

Зная отрицательное отношение Григория к модернизму, Антон хотел подловить его на футуризме, кубизме, супрематизме — течениях несомненно в искусстве революционных, но, закаленный в дискуссиях не такого уровня, философ клал его на лопатки одной левой:

— Все эти направления основаны на эквилибристике геометрических форм, их симметрия рассматривается как самоцель, а не как средство отображения социальной гармонии человека, долженствующее быть подчиненным последней. Геометрическое порабощает человеческое!

Чтобы человеческое порабощалось чем-нибудь, Антон не любил. В эти годы он всегда хотел есть — львиная доля денег уходила на книги, консерваторию, театры; бассейн тоже ощущения сытости не прибавлял. Однажды, опоздав на заседание возобновленных после тридцатилетнего перерыва Никитинских субботников, Антон оказался далеко от стола с закусками, с которого сидевшие поближе время от времени брали бутерброды с икрой и ветчиной и меланхолично жевали; наблюдая это в течение двух часов, он под конец чуть не упал в обморок. Особенно аппетит развивался почему-то во время разговоров с Григорием; с какого-то времени Антон уже плохо соображал, ожидая чая с соевыми конфетами. Григорий при видимой хлипкости обладал невероятной выносливостью в умственных занятиях и спорах; как-то вечером после трехчасового разговора он обмолвился, что всю первую половину дня у него просидел руководитель гегелевского семинара философского факультета Миша Овсянников, а уже при Антоне ушел Эвальд Ильенков — его вечный оппонент в толковании Маркса, в спор с которым Антон даже рискнул вмешаться, на что Ильенков, удивленно повернувшись к Григорию, сказал: «Есть философская жилка у мальчика!» — «Ты говоришь, как Мережковский про мистическое чувство у друга Шереметьева!» — засмеялся Григорий. Антону же это напомнило другое — слова лучшего спортсмена Чебачинска десятиклассника Юрки Зорина, пришедшего посмотреть встречу седьмого «А» и седьмого «Б» и сказавшего после того, как Антон пробил пенальти: «Есть ударчик у мальчика!».

Иногда спасала соседка Григория — приносила кусок домашнего пирога и чай в коллекционных чашках на тусклом серебряном подносе.

— Диалектическое противоречие, — после первого ее посещения сказал Григорий. — Контрреволюционеры хранят высокое — то есть революционное — искусство. Но эти чашки впервые покидают стан врага — для вас. Ведь я с соседями давно почти не разговариваю. Сначала мы дружили, вместе рассматривали их коллекцию фарфора, одну из лучших в Москве. Но потом, когда я узнал их взгляды, мы навсегда разошлись.

— А какие у них взгляды?

— Они не верят в грядущую коммунистическую революцию. Про вас они

говорят, что вы единственный нормальный человек из моих знакомых. Чем вы их так расположили?

Однажды, не застав Григория (у того были свои отношения со временем: он мог опоздать на два, на три часа, позвонить не через день, а через месяц, встретиться с человеком через пять лет и считать, что они виделись недавно), Антон на кухне разговорился с коллекционерами. По своему обыкновению говорить с каждым человеком об его интересах и благодаря другому обыкновению — запоминать что ни попадя, Антон рассказал им о нескольких самых знаменитых подделках: фальшивкой оказалась знаменитая статуя греческого дискобола, один монах еще в середине прошлого века наводнил библиотеки поддельными средневековыми пергаменами; самый известный и талантливый фальсификатор Ян ван Мехерен уже в наше время написал около десяти картин под Вермеера Дельфтского, за которые получил полмиллиона гульденов, а две из них — «Дама и кавалер» и «Христос и грешница» — специалисты провозгласили вершиной творчества великого голландца. В конце прошлого века антикварные лавки Старого и Нового света заполнили роскошные сервизы японского фарфора. Вскоре выяснилось, что это — европейские подделки. К сожалению, определить подлинность можно было, лишь разбив чашку и сделав химический анализ; крупнейшая антикварная фирма назначила огромную премию тому, кто найдет способ установить подлинность, не разбивая. Премия досталась сыну рязанского полицмейстера Грязнову, студенту-математику из Сорбонны. Способ, как все гениальное, был прост. Окружности чашек и тарелок, сделанных в Стране восходящего солнца вручную на гончарном кругу, были не совсем правильной геометрической формы, периметр же посуды, произведенной на станках подпольной европейской фабрики, всегда представлял идеальную окружность. Последней историей Антон попал в самую точку: соседей Григория в это самое время чрезвычайно волновал вопрос о недавно купленных нескольких предметах из японского сервиза как раз конца века.

Приходя за чашками, носить которые по квартире соседка не доверяла никому, она не могла удержаться, чтобы не спросить невинным тоном: все ли при коммунизме будут пить из таких чашечек? На это Григорий очень серьезно отвечал: вне всякого сомнения.

— Люди не понимают, — говорил он, закрыв за соседкой дверь на ключ, — что коммунизм такая же реальность, как сиюминутная эмпирическая действительность, в которой они пребывают. Революции прошлого — действительно прообраз коммунизма, а красота классического искусства — его идеальный прообраз.

Юрик Ганецкий, остривший, что Антон своими периферийными рассказами завершил его антисоветское образование, послушав один раз Григория, недоумевал: «Как ты можешь целыми вечерами выслушивать эту официальную фразеологию?» Антон защищал философа, говорил, что под привычной терминологической оболочкой у него — совсем другое и что недаром его нигде не печатают, хотя в заглавии каждой его статьи стоят слова «революция» или «коммунизм». И напоминал историю с летним письмом Григория ему в Чебачинск, в котором тот излагал содержание своей статьи о коммунистическом идеале. Письмо почтальон случайно занес к соседу — инструктору райкома партии, который, случайно же его прочитав, провел серьезную беседу с Петром Ивановичем: как старший партийный товарищ он настоятельно советовал не поощрять такие знакомства сына; Антон имел неприятный разговор с отцом. Григорий говорил: «Я их бью собственным оружием и на их же территории». Похоже, они это чувствовали.

С трудом освобождался потом Антон от гипноза васютинской теории, где все было так логично, пригнано и красиво. А пока он ходил к Григорию каждую неделю, брал у него книги, слушал и не возражал.

На день рождения, приходившийся на седьмое ноября, в чем, разумеется,

был провиденциальный революционный смысл, Антон подарил Григорию пластинку с «Интернационалом». Радиола была старая и плохая, но динамик у нее оказался мощный. Когда сосед (не коллекционер, а другой, но тоже контрреволюционер) постучал в дверь и испуганно поинтересовался, не сделали ли партийный гимн снова государственным, раз передают по радио, Григорий радовался, как ребенок.

— Пусть содрогаются перед коммунистической революцией! Коммунистическая революция — последний страшный суд истории!

У Григория был приятель, лингвист Игорь Грибов, красавец и сердцеед, который уговаривал его не игнорировать вопрос любви и даже приводил раза два каких-то своих приятельниц, интересующихся проблемой прекрасного. Но кончилось это тем, что он забросил диссертацию и целыми днями сидел подле Григория с блокнотом и, как Эккерман, записывал все, что тот говорил, так что вскоре мог развивать идеи о прекрасном и революции не хуже их автора, а некоторые слушательницы находили, что даже лучше. В близком окружении стали поговаривать, что если Васютин — Маркс, то Грибов — по крайней мере Энгельс. Прошел слух, что он заканчивает большой труд с изложением идей мэтра.

Однажды рано утром в воскресенье Антон получил от Григория срочную телеграмму с просьбой немедленно приехать по важному делу; отправлена она была в два часа ночи.

Через час взволнованный Антон уже сидел в комнатухе еще больше взволнованного Григория.

— Брут, вы можете сейчас поехать со мной за город, в лес? Нужно сжечь одну рукопись, — он нервно шерстил стопу исписанных мелким почерком листов, по виду страниц в триста.

Узнав, что важное дело заключается в этом, Антон успокоился.

— А зачем в лес, да жечь? Раздерем ее, как говорил Кувычко, на шмаття — и в мусорный контейнер. Или в два-три, если нужно, чтоб никто не собрал.

— В данном случае это никак не подходит! Она должна быть предана огню!

Выяснилось, что сожжению подлежало сочинение Грибова, в котором он, изложив идеи Васютина, их исказил, упростил и выхолостил так, что из них полностью исчезло революционное содержание.

— Очистительный огонь! Аутодафе!

Рукопись сожгли в лесу возле Опалихи.

Чаще всего Антон вспоминал одну встречу с Григорием во дворике старого здания университета на Моховой, куда философ иногда приходил посидеть, покурить, поглядеть на памятники Герцену и Огареву. Сказал, что ни с кем не видается и очень занят проблемой: имеет ли революционер право на робинзонаду? Когда Антон уже зашагал в сторону «Националя», он вдруг услышал:

— Брут! — Григорий стоял и смотрел ему вслед; Антон остановился. — Храните революционные традиции!

Был час окончанья лекций, из университета косяком валил народ. Антон мог бы поручиться, что головы повернули все, а многие и призамедлились. Во всяком случае комсорг курса Геныч, считавший Антона тайной контрой, остановился как вкопанный.

— Не забывайте! — еще громче прокричал Григорий, вытянув вперед руку. — Храните!

## Псы

Одинокий путник на пустынной, далекой от жилья дороге странен. Калик перехожих, пеших паломников, странников уже нет, они давно ездят и летают. Почему он идет по дороге, зачем один? Какое-то чувство, воспоминание чего-то, быть может, не в вашей жизни, волнует и заставляет смотреть ему вслед — может, и мне надо так, одному, по обочине, неведомо куда?

По шоссе от Судака на Новый Свет бежал пес. Я был один, я шел медленно, отдыхая после долгого бега, никто не отвлекал меня, я мог смотреть на него сколько угодно. Это был не холеный городской, но и не бродячий, а хозяйский хороший пес; бежал он ровной иноходью, под шкурой за загревком мерно ходили его лопатки. И раздавался какой-то странный звук, я нескоро понял: в вечерней тишине явственно слышался сухой костяной стук — когтей по асфальту.

Вы замечали, что сущность животного вернее всего выявляется в беге? Я не говорю уж о профессиональных бегунах — о борзых, гепарде, неправдоподобный бег которого просится в замедленную киносъемку, о совершенном ходе ахалтекинца — не на ипподроме, а в степи. Речь идет о тех, для кого бег — нечастая необходимость. Тяжелый бег коровы, оторванной от своего мирного занятия, мощный топот склонившего до земли рога рассерженного бугая, бестолковый бег овец, пыхтящая трусца служащего с портфелем, скачки невесомых козлят на сухих копытцах, хитроватая, поросычья, косая побегжка ежа.

Но никто не бежит так осмысленно, как бежит пес. Не возле своего дома, вперебежку через проулок, а где-нибудь далеко, на загородном шоссе. Он не рыскает, как тротуарная собака, туда-сюда, он движется сосредоточенно, по прямой — к знаемой цели. На Киевском шоссе за Москвой я видел бегущего пса, держащего в зубах упакованный в несколько слоев целлофана батон. До ближайшего поселка было не меньше трех километров. Пес обогнул меня по дуге, ни на йоту не сбив свою иноходь. Он бежал по делу.

В глазах Антона этот целеполагающий песий бег был недостижимым образцом своего пути, дела, жизни. В детстве у него было одно желание, о котором он один раз сказал маме, но она положила ему теплую руку знакомым движеньем на лоб и сказала: спи, спи. Второй раз он поведал об этом желании в минуту бесконечного ночного доверия одной женщине. Она немного помолчала, потом засмеялась и сказала: «Ты и есть такой». И выражение лица у нее было как у мамы тогда. А сказал он им обеим, что хочет быть псом: маме — что толстым щенком, как Буян, с висячими замшевыми мягкими ушами и холодным носом, любовнице — что большим псом с широкой грудью и длинными мощными лапами. И когда ему удавалось что-то долго и успешно преодолеть, он чувствовал себя таким псом. Пес бежал по шоссе, равномерно, долго, далеко, летом, в жару, осенью, когда фонтанчики пара отрываются от черной морды, как от вскипающего на костре закопченного чайника, это он, Антон, это я бежал по шоссе — я много бегал тогда, по десять, пятнадцать километров. И когда он вбегал в придорожный поселок, собаки, повинувшись древнему инстинкту, с лаем бросались вдогонку, становясь его врагами, он огрызался на ходу, и ему хотелось крикнуть: я ваш, я такой же, как вы, я тоже бегу по шоссе и слышу, как стучат по асфальту мои когти.

Там, на Судаком шоссе, на другой день перед закатом я снова увидел его. В тот день у меня был вечерний бег и я мог составить ему компанию. Искоса посмотрев на меня, пес перебежал через шоссе и, немного прибавив, побежал по другой обочине. Но оторваться ему не удалось, я в то лето был в хорошей форме и не отстал, когда он прибавил еще. Так мы долго бежали параллельно, разделенные лентой шоссе, пес на скок не переходил — было еще далеко, и иноходь оставлять не стоило. Когда мы вбежали в Новый Свет, у цистерны с выбракованным шампанским, продававшимся в розлив, стояла очередь. Бегущих людей не любят псы, а псов — люди. Очередь вмиг ожесточилась: «Сапогом ему в морду!..» «Сук плачет по этой сук!» Пес решил, что пора идти в отрыв, длинными стелющимися скачками срехал перекресток и исчез в переулке.

Куда он бежал и зачем? Навестить друга-пса? Нет, он бежал к ней, своей песьей подруге, а теперь возвращался домой — так Антон рассказывал про него еще одной женщине. Когда в своих прогулках они доходили до железной дороги, то всякий раз видели одинокий тепловоз. Утром он ехал веселый и яркий, вечером возвращался тусклый и ехал медленно и неохотно. Антон

объяснял: машинист ехал к своей возлюбленной, она живет в конце перегона, и что ж ему делать — не такси же брать, начальство идет ему навстречу, он хороший машинист, и он катается так уже давно. Она верила, а потом Антон рассказал ей про бегущего пса, и они вместе пытались проникнуть в песью душу, но скоро выяснилось, что мы не можем проникнуть в песью душу, и она смеялась, говоря, что Антон теперь начнет работать над большой монографией «Жизнь псов». Антон не смеялся и говорил, что все свои научные работы, напечатанные и неоконченные, отдал бы за авторство брошюры, которая называлась бы «Псы» или, по крайности, «Верблюды». Хорошо б при этом еще иметь фамилию «Псарев». Или «Песов» — за эту вообще все отдай и будет мало. Или жить на берегу реки Псоу. Но потом, чтоб не выглядеть слишком занудным, стал вспоминать что-нибудь забавное, например, как в девятом классе он сделал доклад на тему «Верблюдоводство», а учительнице географии показалось, что это насмешка, она почему-то считала, что и само слово придумал Антон. Но это была не насмешка, к верблюдам Антон относился слишком серьезно, и еще в четвертом классе сочинил стихи: «Небо сине. Солнце жжет. По пустыне знойной караван идет. Тощие верблюды головы склонили». И вообще не до смеха, когда верблюдоводство падает. Меж тем один верблюд дает в год до двух с половиной тысяч литров молока, и это не несчастное коровье молоко — в верблюжьем очень высокое содержание казеина, глобулина и альбумина, а альбумин играет важную роль в синтезе тканевого белка и содержит такие жизненно необходимые аминокислоты, как лизин и триптофан, которые способствуют образованию красных кровяных шариков. А шерсть? Из которой делают лучшие одеяла, кошму, идущую на юрты, — она не намокает, ее боятся скорпионы! Чтобы привезти сумку почты и мешок продуктов, сейчас гоняют по пустыне вездеход, губят ее слабый верхний почвенный слой. А верблюд-дромадер со своими широкими копытами и нежными губами его несколько не нарушает. И ест он в полупустынях Казахстана то, чего не едят овцы и лошади: полынь, солянку, сапаргус, камфарос. И люди давно все это поняли, и количество верблюдов в мире увеличилось с восьми миллионов в 39-м году до пятнадцати в 72-м. И даже Австралия присоединилась к держателям дромадеров и одногорбых бактрианов, хотя и тех и других там сроду не было. И только у нас верблюжье поголовье сокращается.

Антон очень удивился, когда в конце этой речи женщина сказала, как когда-то учительница, что это уже издевательство, что затынувшаяся шутка — уже не шутка, и что она пойдет домой. Антон не очень огорчился, потому что гораздо больше был расстроен уменьшением поголовья верблюдов. И жалел в тот вечер только о том, что не успел прочитать стихи Кедрина: «Стон верблюдов горбоносых у ворот восточных где-то». И дальше — про войлочных верблюдов. «Войлочные» — это хорошо.

Мы с Васькой Гагиным любили верблюдов. Нельзя сказать, чтобы зверья вокруг было мало: у всех коровы, телята, поросята; у насельников Набережной — обязательные гуси, утки; за своих считали скворцов, скворешни висели в каждом палисаднике, Васька клялся, что в его скворечник пять лет прилетает одна и та же семья и будто скворчинная мамаша откликается на кличку «Вера»; летали вороны, грачи, снегири, коршуны, от которых надо было охранять цыплят. Но верблюды были как бы из другого мира — высоченные красавцы со строгими бровями и огромными горбами, верхушки которых весной свешивались вбок, а после лета торчали, как горные пики за Озером. Они появлялись на нашей улице редко, это было событие, но мне казалось оскорбительным для *них* бежать по улице за *ними* и кричать: «Ваня-Ваня — соль-соль!». Я повлиял на Ваську, и он хоть и бежал, но не кричал. Весной за верблюдицей трусил маленький верблюжонок, но горбик у него уже был, а если верблюжонок был уже большеенький, второгодок, то у него в перемычке между ноздрями торчала перпендикулярно морде палочка — джида, чтобы не



зарастала проколотая там дырка. Джиду делали из саксаула, который не гниет от слюны и соплей, через год ее вынимали.

Конечно, странно расставаться с женщиной из-за верблюдоводства, но у Антона такое случилось уже не в первый раз. Предыдущий был со Стеллеровой коровой. Это замечательное морское животное, напоминающее тюленя, водилось только у Командорских островов. Была она большая — до десяти метров и около трех тонн весом. Ее молоко превосходило по жирности коровье и даже верблюжье. Необычайно вкусное, напоминающее телятину мясо не портилось на самой жаре несколько недель, топленый жир напоминал пахучее сладкое миндальное масло. Питались морские коровы водорослями, паслись у самого берега, были мирные и доверчивые, с любопытством смотрели они на людей своими кроткими круглыми глазами на усатых мордках и как будто просились, чтобы их одомашнили и доили, как коров сухопутных. Но люди их убивали и убивали, пока не перебили совсем. Тогдашняя подруга Антона, преподавательница хинди Алина не вынесла постоянного Антонова огорчения от их гибели. Когда она думала, что трагедия эта произошла недавно, она терпела; каплей, переполнившей чашу, стало, когда она узнала, что последняя Стеллерова корова была убита в 1768 году.

Но все верблюды жили далеко, и ни с одним не удалось тесно сойтись, что огорчало Антона все годы жизни в Чебачинске и долго после. По наущению Антона Васька через своего друга Карбека пытался воздействовать на его отца — чтоб Карбек намекнул ему, как удобно будет ездить в лесничество, покачиваясь между горами верблюдицы. А молоко, а шерсть! Но отец почему-то продолжал ездить на низкорослой лохматой кобылке степной породы.

Зато с собаками был полный порядок — жили в каждом дворе. Породистых не было, а единственная — огромный кобель Индус, названный в честь знаменитого пса героя-пограничника с замечательной фамилией Карацупа, жил в милиции. Пес был сначала немецкой овчаркой, но в один прекрасный день в милицейском коридоре был вывешен приказ майора Березы — с такого-то числа служебно-розыскную собаку Индуса именовать: овчарка восточно-европейская. Третью чебачинского собачества, по подсчетам Антона, который с таковою целью неделю бродил по городу, была цепной, остальные пользовались свободой неограниченной — бегали к столовой, к магазинам, друг другу в гости, просто так по улицам. Антон почти всех знал в лицо, подзывал и гладил, в школу выходил сильно заранее, чтоб пообщаться со знакомыми, которым приносил по косточке и которые ждали его в своих подворотнях; некоторые норовили выбежать сразу, положить лапы на грудь и облизать физиономию; другие сдерживали свои чувства, и только по шевелению травы в области нахождения хвоста можно было об них догадаться.

По воскресеньям всех своих знакомцев Антон видел на базаре, были и псы незнакомые. Однажды, когда Антон с бабкой уже выходили с рынка, они увидели, что небольшая черная собачка убегает, держа в зубах только что купленную ими на холодец коровью ногу с шерстью и копытом. «Держи!» — закричала бабка, народ кинулся держать, перепуганный песик бросил кость и скрылся под телегами. Дома при разборке корзины обнаружилось, что на ее дне лежит вторая нога с копытом. Бабка ошиблась! Та коровья нога была собачкина! Антон долго не мог успокоиться, что у собачки отобрали кость, которую ей подарили, и даже собрался плакать, но тетя Лариса сказала, что собачка скорее всего эту кость все же стащила, и это будет ей наука. Антона правовая постановка вопроса не убедила, и, засыпая, он представлял, как ночью идет с ногой на базар, а собачка ждет у ворот, он отдает ей ее собственность, и она грызет ее потом где-нибудь на травке или куче сена. И название у кости было хорошее: малая берцовая. Лучшими были только два — грудино-ключично-сосковая (это было вообще лучшее в мире) и тазобедренный, потому что про него были стихи: дева, встав, изогнула свой изящный тазобедренный сустав.

Собаки были у всех. У Вальки Шелепова — Дик, небольшой муругий пес, сидевший на цепи с огромными звеньями — эту цепь, ограждавшую некогда могилу купца Сапогова, Шелеповым за бутылку уступил взрывник Сила, когда после взрыва чебачинской церкви ликвидировали заодно и прицерковное кладбище. Таскать эту цепь, видимо, было очень трудно, потому что Дик обычно лежал. У Петьки Змейко был одноглазый пес Полкан. У Васьки Гагина — сука Пульма. Она всегда была ценная — большой живот на худых кривых ногах. Дядька Васьки — директор конторы «Заготзживсырье» (Антон был уверен, что она называется «Заготзживсырье») каждое очередное Пульмино потомство заставлял ликвидировать Ваську. Я как верный друг не мог оставить его наедине с этим ужасным делом. Ничего в жизни не было тяжелее — смотреть, как Васька швыряет щенков в речку. (С возрастом такое не легче, думал Антон, принеся в ветлечебницу прожившую в доме пятнадцать лет свою кошку Феню, у которой образовалась опухоль на животе и которая целыми днями кричала страшным мявом. Перед ними пожилой санитар стал записывать в тетрадь невероятно исхудавшую большую овчарку; она положила на стол голову и смотрела, как будто знала, что это за тетрадь и что пишет санитар.) Одного щенка разрешалось оставить, и как мучительно было выбирать: у кого отнять, а кому даровать жизнь. Мне хотелось оставить самого убогого, Васька считал — самого здорового, крупного. Говорили за верное: если рот у щенка внутри не розовый, а черный, то пес вырастет злой, что было важно, и мы старательно раздирали пальцами щенячьи пастички.

У нас был Буян, огромный сильный черный пес, на котором я сначала ездил верхом, а когда подросток — впрягал его в детские санки, ехал и кричал «хо!» как настоящий каюр.

Буян пропал. Сосед, вернувшийся из магаданских лагерей подкулачник Куркун, который не мог работать и целый день грелся на солнышке на завалинке или сидел на лавочке у забора, сказал, что видел нашего кобеля с Егоркой-пьяницей. Я похолодел. Егорку я ненавидел. Проходя мимо нашего двора, где Буян играл с васкигагинской Пульмой, он говорил громко: «Сучонку на ремешки, кобеля на мыло» или: «Хвост от суки сгодится для науки». Егорка был тот, кто привел к Кузьме Ивановичу, дяде Кузику, туберкулезнику, собаку, которую сам же и зарезал; считалось, что жир черной собаки помогает от чахотки. Жена дяди Кузика, Броня, вытапливала собачий жир, ее тошнило, весь дом провонял псиной, зашедшую беременную соседку вырвало прямо на пороге. Отец любил Кузика, но про все это слышать не мог. Выпив, он всегда подымал эту тему, приводя литературные примеры.

— Что, Белинский ел собак? Разве Надсон пил этот мерзкий жир? А Чехов? Как врач он понимал, что это реникса, чепуха. Он поехал в Баденвейлер и умер, но и там не ел собачины!

Кузик преподавал в техникуме электротехнику — он окончил мореходное училище, до войны бывал в Италии, Гонконге, Индии. Василию Илларионовичу рассказывал про сингапурские бордели (Антону разъяснили, что это такие театры). Войну он начал на Севере, но заболел чахоткой, с флота его списали и направили в туберкулезный кумысолечебный санаторий «Чебачье», ему стало лучше, и он переехал в эти места насовсем. Здоровье поправилось, родилась дочка; Броня принимала все меры предосторожности, отцу не разрешалось брать ее на руки, а целовать — только в пяtku.

Кузик профессионально рисовал, помогал маме оформлять стенгазету «Горняк-металлург», изображая перед заголовками линкоры и подводные лодки, за что маму ругал парторг Гонюков (его фамилию я слышал всегда только со вставленной буквой «в» и думал, что так и есть, это меня смущало, но вопросов я, по обыкновению, не задавал); парторг предпочитал бы видеть в газете терриконы и доменные печи; но Кузик говорил, что печь может нарисовать лишь русскую, с горшками и ухватами. Мама велела консультироваться у только что

вернувшегося с фронта Василия Илларионовича; после беседы с ним Кузик нарисовал штрек, по которому тащила вагонетку выбивающаяся из сил лошадь. Я тоже знал про этих лошадей: спустив в шахту, их уже никогда не подымали обратно на поверхность, они работали, слепли, умирали, и их закапывали в каком-нибудь заброшенном забое (рассказ про них стоил долгих слез под одеялом). Был большой скандал: где вы видели, кричал парторг, конную тягу в наших социалистических забоях! До слова «вредительство» оставалось рукой подать, дядя Кузик был отставлен и стал рисовать — пароходы, лошадей и все, что хотел, — исключительно в мой альбом, который сам же мне и подарил. Он вообще был добрый, я его очень любил, и когда прошел слух, что Буяна съел именно дядя Кузик, я не спал почти всю ночь — было жалко и того, и другого, но Буяна как-то больше, я понимал, что это нехорошо, и терзался еще сильнее. Тетя Лариса, спавшая со мною в одной комнате, под утро сказала, что, может, Буяна съел не Кузик, а ссыльные корейцы, которые, по слухам, ели собак. Но медсестра Галка Кувычко, жена корейца Пака, не ссыльного, а, наоборот, даже заместителя директора райпотребсоюза, с которой проблема была обсуждена, авторитетно заявила, что корейцы едят собак особых, которых специально выращивали на своем полуострове еще каким-то там императорам и которые больше похожи на свиней, чем на собак, а наши дворняги им даром не нужны. Я опять огорчился, но когда про собак-свиней рассказал Ваське, тот заявил, что он знает точно: лопают самых обыкновенных, не императорских, натуральную собачину. Я немного успокоился — может, Буяна съел все же не дядя Кузик. Но потом увидел на нем меховую шапку буянской масти и расстроился опять. «Мне собаку есть не нравится, но беда — туберкулез. Неужели не поправиться, и погибну я, как пес? Съел собаку и поправился, и прошел туберкулез». Но Кузик не поправился — простудился на весенней рыбалке несмотря на гонконгский комбинезон, открылись каверны. Он очень хотел дожить до победы, но не дотянул неделю. Еще он хотел перед смертью обнять и поцеловать свою дочку, но Броня не разрешила — боялась инфицирования.

После него осталось несколько картин. Это были странные полотна: человек лежит на дне моря, а над ним идет пароход. И еще: северное сияние, льды, огромный белый медведь стоит над трупом человека, а сбоку — ярко-зеленая тропическая пальма. Или: на дне моря взорванная, покореженная подводная лодка с как бы прозрачным корпусом, сквозь который видны страшные тела задохнувшихся людей — один руками разорвал себе грудь, и видно, как бьется лиловое сердце. На борту лодки можно прочесть: «Комсом...» Это была его последняя картина. Я вспомнил о ней, когда в семьдесят каком-то году пошли слухи о гибели атомной субмарины «Комсомолец». Плавала ли в войну лодка с таким названием или тогда они были под номерами, как знаменитая Ш-138 великого подводника Маринеско? Или это была странная угадка? Прозрение перед смертью? Броня показала потом картины в надежде на продажу заезжему лектору из общества «Знание», но он сказал, что все это не созвучно эпохе и вообще — сюрреализм. Картины долго валялись на худом чердаке. Их заливало, они сгнили. Броня умерла.

Судьба Буяна II была несчастлива.

У Кемпелей, соседей, тоже была собака — Блонди, никто еще не знал, что это имя будет всемирно знаменито. Ее ночью прямо возле дома загрызли волки и утащили в темный лес — кровавые следы вели через речку прямо туда. Тетя Лариса говорила, что запрет нашего пса на ночь в сарай, но как-то не собралась; Буяна II разорвали прямо на огороде. «На шмаття!» — сказал Тарас Кувычко; утром ветер шевелил лишь клочья рыжей шерсти, втопанной в снег тяжелыми лапами. По этому поводу вспомнили старые истории: как волки заели быка Черномора, как загнали лесника на сосну и сидели внизу до утра, и он отморозил ноги, которые пришлось ампутировать, как напали в батмашинском лесу на учительницу, оставив от нее одни только туфельки (потом

Антон прочтет у Пришвина, что это бродячий волчий сюжет, в котором всегда фигурируют туфельки). И как будто накликали. Серые хищники не унялись; однажды утром Тамара обнаружила начало подкопа под сарай, где жила Зорька, однако решили, что в мерзлой земле волкам лаз не прорыть. Но ночью Зорька стала стучать рогом в стену. Дед взял топор и вышел. Было жутко: открывает дверь и уходит в темноту, *туда*. Я такого не смог бы сделать никогда; было ясно: я — трус. По этому поводу я долго расстраивался, пока одна бабкина прихлебательница не сказала: какой смелый мальчик! А сказала она это вот по какому поводу. Придя с санками с речки, Антон с восторгом рассказывал, как под вечер, когда все ребята уже ушли, на горку прибежала огромная серая собака с тремя щенками, небольшими, но вот с такими башками, и они стали съезжать с горки на лапах, а собака смотрела. «Так это же была волчица!» — ахнула бабка и побледнела. Тут-то тетя и сказала эту фразу, а у Антона не хватило духу признаться, что он не догадался, что катался с волчихой и ее волчятами. А горка с тех пор получила прозвание Волчьей. Правда, кроме бабки и Антона, никто больше этого не знал.

## Отец

Главное воспоминание об отце: ночь, стол, бумаги, желтый круг от керосиновой лампы-молнии. Иногда с другой стороны стола, близко к лампе, Антон видел соседку Полину, жену Гурки — она вязала по ночам, днем не давали ее пятеро мал мала меньше, просилась посидеть: «Вы ж все равно керосин жжете».

Проснувшись, Антон любил разглядывать его лицо, может, потому, что днем это было невозможно, его всегда, как ветром, куда-то несло, дом был, как станция пересадки, где получалось только наскоро перекусить, чтобы лететь дальше. Он преподавал в техникуме, педучилище, в школе (историю как дисциплину идеологическую ссыльным не доверяли), вечерами читал лекции о международном положении, и когда не получалось с транспортом, ходил за четырьмя километра в депо и за пять в Батмашку, в туберкулезные санатории, и своим же ходом возвращался. Уже в темноте, не заходя в дом, не мог удержаться, чтоб не поотбрасывать во дворе снег или понакидывать завалинку.

Подросши, Антон любил его куда-нибудь поблизости сопровождать — бежал рядом впопрыжку, а отец рассказывал что-нибудь из истории; так и называлось: история впопрыжку. Хронологические рамки были широки: от первобытного общества до современности. Правда, не присутствовал древний Восток, где, в отличие от Греции и Рима, не просматривались исторические анекдоты — главное в истории. Одну из самых частых тем представляли политики, но только великие — Талейран, Бисмарк, Рузвельт, Черчилль, — те, по поводу которых можно было произнести восхищенное «Выхх!»

— Уинстону Черчиллю шел шестьдесят шестой год. Другие в этом возрасте в своих поместях пишут мемуары. Но страна находилась в опасности. Англия вспомнила о нем и призвала его, вручив ему власть 10 мая 1940 года — за пять лет до победы. И первое, что он сказал, — о победе. Но ты послушай, что он сказал!

Отец сунул мне тяжелый портфель, выхватил из кармана свою толстую записную книжку с медными уголками и перед воротами педучилища стал читать взволнованным голосом:

— «Вы спросите у меня: какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа! Победа любой ценой, несмотря ни на что, победа, каким бы долгим и тяжким ни был путь к ней. Я могу предложить вам только кровь, труд, пот и слезы».

Подходивший к воротам преподаватель, тот самый, перед приходом которого дед снимал иконы, остановился за спиной отца и прослушал все до конца.

— Кто это так красиво высказывался, Петр Иванович? Стиль словно как бы не наш.

Отец быстро повернулся.

— Добрый день, Роман Елисеевич! Вы как-то незаметно... Кто? Молотов, Вячеслав Михайлович!

Когда Роман Елисеевич, поулыбавшись, ушел, отец сказал:

— Увидишь его поблизости — тут же говори мне.

Черчилль вошел в мой пантеон героев, я вписал его в тетрадку про все необыкновенное и вклеил картинку из старого «Британского союзника» — его отец сильно изрезал, но снимок стремительно идущего с тростью премьеря не пострадал.

Уже в университете мне сильно повезло: один старый профессор в детстве видел сэра Уинстона, когда тот еще не назывался сэром и был почти молодым.

Младший брат профессора, когда они с другими детьми играли в поезд, упал с веранды, у него стал расти горб. На юге Франции жил врач, изобретший какие-то корсеты, спины выправляющие. Деньги на поездку дал Нобель, у коего отец братьев служил на бакинских нефтяных промыслах. На пароходе, который Средиземным морем шел в Марсель, мальчики играли в войну и кричали: «Vive le boug!» Этим был очень недоволен толстый господин с сигарой, всегда стоявший на верхней палубе. Помощник капитана сказал отцу, что дети своими выкриками раздражают господина Черчилля, который возвращается с войны с бурами, где попал в плен, был едва не расстрелян, бежал.

Часто повторял отец еще слова Черчилля: «Никогда не сдавайся. Никогда. Никогда. Никогда». Их он применял к другому своему любимцу — Рузвельту, преодолевшему непреодолимое. В сорок лет, на взлете политической карьеры, он заболел полиомиелитом, ему отказали ноги. Изнурительная гимнастика дала лишь тот результат, что он смог ходить на костылях. Во время своей первой предвыборной кампании он, зажав ноги в ортопедические приспособления, стоя ездил в открытой машине и произносил блестящие речи. Никто не догадывался, чего это ему стоило. Америка поверила Франклину Делано Рузвельту. Когда он баллотировался на второй срок, за него проголосовало наибольшее количество избирателей за всю историю США.

Но почти так же отец восхищался параличным Лениным, диктующим свои предсмертные статьи. Нотки восхищенья звучали — к удивлению Гройде — даже в его высказываниях о Сталине, сумевшем благодаря железной воле победить превосходящих его по всем статьям противников и создать небывалую по мощи государственную машину — ту самую, из-под колес которой отец трижды чудом выбрался.

Любовь к иностранным президентам чуть не стоила отцу партбилета; могло выйти и похуже. (Это и был третий и последний эпизод попадания в жернова системы.) Произошло это уже в сорок восьмом, когда он в лекции мельком упомянул в положительном контексте Рузвельта.

Когда открыли второй фронт, Петр Иванович Стремоухов по поручению обкома сделал доклад об Америке, где остановился и на биографии ее тогдашнего президента — по закрытым материалам ТАСС, которые обком же ему и предоставил.

Теперь тот доклад ему припомнили. Фигурировали записанные кем-то (мама подозревала, что Гонюковым) формулировки: «американская демократия», «забота о беднейших слоях населения», «выдающийся государственный деятель». Упоминалось и высказывание об увеличении Рузвельтом пособия по безработице (тебе было мало, говорила мама, что уже один раз из-за этого проклятого пособия ты из Семипалатинска еле унес ноги). Дело становилось нешуточным — и за более невинные высказывания (о достоинствах царской гимназии) учительницу математики только что отправили в Карлаг. Но Петр Иваныч хорошо усвоил девиз первого своего любимца не сдаваться никогда, никогда (говорил: он больше подходит *нам*).

Немедля, вскочив в товарняк, он выехал в область и явился в обком. За

четыре года ничего не переменялось, в отделе пропаганды сидел тот самый инструктор, который заказывал лекцию об Америке и давал материалы. Не пришлось даже произносить заготовленную фразу: «Если меня собираются исключать за то, что я во время тяжелых испытаний советского народа выполнял задание партии, — пусть исключают». Похожую фразу по телефону произнес сам инструктор: «Доклад делался в другой политической ситуации и по заданию обкома». Дело замяли.

Из исторических событий отец предпочитал эпизоды характера романтического: как Пизарро выхватил меч и провел на высоте своего роста черту на стене дворцовой комнаты — досюда инки должны были нанести золота в качестве выкупа за своего плененного императора Атовальпо. По ходу дела сообщалось, что солдаты Пизарро победили не благодаря ружьям (их прицельность не шла ни в какое сравнение с луками аборигенов), а лошадям. Инки так боялись этих странных животных, позволявших сидеть воинам у себя на спине, что их многотысячные войска в панике бежали от небольшого отряда кавалеристов.

Любил повторять рассказ про единоборство инок Пересвета с татаринном Челубеем перед началом Куликовской битвы: ни кольчуги, ни лат не было на Пересвете — только колыхался на его могучей груди большой медный крест.

И даже в старших классах рассказывал мне, как умилялась лондонская буржуазия, глядя, как Маркс, ползая на четвереньках по лужайке, катает на спине своих детей. Она не знала, что это ползает тот, кто роет ей могилу.

Раз-два в зиму ездил за дровами, давали билет на три сосны. Лет с четырнадцати отец начал припрягать к этому делу меня к сильному моему неудовольствию: сучковать по зад в снегу было тяжело и скучно; зимний лес, который так хорошо гляделся с лыжни, был противен, а поэтические снеговые шапки, стряхиваемые подрубаемыми соснами за шиворот, даже и бесили. Летом отец косил сено, вместе с дедом вскапывал огород — деду одному пятнадцать соток было не поднять.

Отца отдыхающего я помнил только в первые месяцы после приезда Василия Илларионовича, когда тот еще не служил, а после выигранной Второй мировой, она же Великая Отечественная, набирался сил, т.е. на выручаемые от продажи кое-какого трофейного барахла деньги пил шампанское и коньяк.

По вечерам они сидели с отцом под яблоней в подаренных Гуркой креслах из причудливо изогнувшихся сучьев (похожие, стоимостью в большие тысячи, я потом видел в отделах авторских работ московских магазинов). Я вызывался, чтобы находиться поблизости, на работу, коей в иное время был большой ненавидец, — полоть грядки.

Разговор свояков вертелся чаще всего вокруг московских ресторанов, дядей знаемых всегда, а его младшим родственником освоенных в год прокучивания наследства, которое образовалось из-за продажи дома в деревне: братья единодушно решили деньги отдать самому младшему — Петру. Слышалось: «Метрополь» (или «метрдотель» — Антон плохо представлял разницу), «Савой», «Националь». Один раз, когда обсуждался бывший ресторан Палкина, вмешался дед, обнаружив неожиданную осведомленность: рядом со столиком стоял еще один, поменьше, чтобы принесший блюда официант не мешал гостям.

— Но вы, Леонид Львович, кажется, не обедали в этом ресторане?

— В Вильне, когда я после окончания семинарии ждал места, открылся ресторан, где каждый зал, как печаталось в рекламе, был точной копией ресторанов Палкина в Петербурге или Тестова в Москве.

Как-то, когда из-за темноты уже невозможно стало полоть, Антон, чтоб не прогнали спать, пересказал слышанную от бабки кулинарную историю про повара одного из Людовиков, который закололся, увидев, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу.

— Какие там Людовики, — сказал Василий Илларионович. — У нас, вблизи родных осин, был такой же случай.

Шеф-повару «Националя» поручили обслуживание по поводу премьеры «Анны Карениной» грандиозного банкета в Кремле — с участием вождя. Когда запыхавшийся метрдотель (главный над официантами, сообразил Антон) сообщил, что пора подавать горячее, над огромным противнем с котлетами деволяй лопнула двухсотсвечовая лампочка, висевшая в нарушение технологии без стеклянного колпака, и мельчайшими осколками осыпала все двадцать рядов котлет. Шеф-повар побледнел и выбежал в туалет; больше его не видел никто; ночной патруль нашел белоснежный халат с монограммой ресторана у Москвы-реки.

Если для техникума надо было что-нибудь выбить, посылали отца. В последний год войны стояла очень суровая зима, угольную норму к марту прижгли, студенты сидели в аудиториях в пальто и телогрейках. Отцу выдали огромный рулон ватмана, упаковали в рогожу, пришили в виде лямок подпругу от старого череседельника и отправили в Караганду. Когда, рассказывал отец, он в шахтуправлении раскатал по ковру свои ватманские рулоны, главный инженер заплакал. Впрочем, в рассказах отца так вели себя многие: «Сказал директор и сам заплакал», «сказал Макаренко и сам заплакал». Плакали Николай Островский и Калинин, бас Пирогов и бегуны братья Знаменские. Пересказывая Гройдо одну из отцовских историй о строительстве метро, Антон закончил привычным: «Сказал Каганович и сам заплакал». Гройдо тоже заплакал — от смеха, сквозь который можно было разобрать: «Лазарь... заплакал... этот сапожник...»

Поплакав, главный инженер выписал платформу антрацита. На этой же платформе пришлось возвращаться и отцу. В дом он вошел со словами «Черен я!» Осторожно снял дедов дождевик и повесил у двери; все подходили, скребли рукав ногтем и давали советы. Плащ неотмываемо покрылся угольной пылью, намертво въевшейся в самые поры ткани.

— Если бы мы жили на Севере, — внес свой вклад Антон, — можно было бы его положить в то место, куда падает вода в водопаде Кивач.

— В сливное зеркало, — уточнил дед и добавил задумчиво: — Устами младенца...

Когда в паводок на мельнице спускали воду, жерновщик Федул подвязал дедов плащ под край корыта слива; через сутки он стал как только что пошитый.

Но ватман тоже не доставался просто. Его в золотоснабе выписывали бесперечь, но далеко, в Свердловске (по какому-то договору с Сибзолотом). За ним, конечно, посылали отца. Большой, как чемодан, тяжелый тюк он тащил на себе на вокзал, по всем поездам и пересадкам, сторожил в залах ожидания — камеры хранения или не работали, или были забиты, а тюк выглядел заманчиво; телеграмму в Чебачинск давать было бесполезно — поезда ходили без всякого расписания.

В Свердловске отец жил в гостинице «Урал»; ему сказали, что в ее ресторан приходит один из тех, кто расстреливал царскую семью в подвале дома Ипатьева, и если его угостить котлетой, которую давали по талонам, да еще в компот налить самогона, который можно купить после двенадцати ночи у дежурной, то он расскажет подробности.

Расстрельщик, еще нестарый крепкий мужик, рассказал, как добивали штыками царевен, и это видел еще живой царь, как стаскивали потом с него френч, как все шла и шла кровь из царевича Алексея — у него была какая-то болезнь, и она не сворачивалась.

Разрешали осмотреть и подвал с брызгами крови на стенах и пулевыми отверстиями, которые все трогали пальцем.

Когда отец все это рассказывал, бабка плакала и крестилась. На внутренней стороне крышки ее сундука был приклеен снимок царской семьи и отдельно — царевича Алексея в матроске, точно такой же, как у Антона.

В сентябре в техникуме не учились — студентов отправляли на убороч-

ную в колхоз; в годовых отчетах писали: КПП — колхозная производственная практика, чтоб не спутать с настоящей ПП, проходившей в шахтах.

Петра Иваныча всегда назначали руководителем КПП. Он учил скирдовать (сам вершил стога), увязывать воз, строить шалаш, ходить за плугом (колхоз славился большой зяблевой вспашкой), управляться с быками — пахали на быках, что было не так плохо: четверка тянула трехлемешный плуг. Работал с азартом (как на себя, иронизировал дед), не признавая перекуров. Единственная привилегия, которую он себе присвоил, — раз в неделю бывать дома. Выходил он в субботу в сумерки; в полночь приходил в Чебачинск; возвращался в воскресенье, отмахав те же двадцать километров, — тоже к полуночи. Однажды отца подвез на тачанке секретарь райкома, направлявшийся в тот же колхоз. Он отказывался верить, что его пассажир вчера уже проделал этот путь, однако включил эпизод в отчет на обкоме как пример трудового героизма; потому что отец нес на плече — по пути, чего там — еще сверток с металлическими зубьями для конных граблей.

Василий Илларионович, посмеиваясь, говорил, что Ленин, придумывая свой социализм, рассчитывал именно на таких простаков-энтузиастов, но ошибся на несколько порядков, их хватило только на бревно, которое они тащили вместе с вождем на коммунистическом субботнике.

Но едва ли не больше времени у Петра Иваныча отымало чтение лекций. Некоторые считались платными (гонорар выдавали мукой, горохом, наволочками, гвоздями, повидлом). За лекцию о Ломоносове на стекольном заводе вместо обещанной соли вручили четыре кособоких графина. Бабка в преддверии сезона засола этот гонорар уже мысленно растворившая в банках и бочонках, сильно расстроилась; зять ее утешал: «Неправо о вещах те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов». Один из этих графинов сыграл роковую роль при попытке распить водку, полученную за сданную картошку: у него, как помним, отвалилось дно. За лекцию о десяти сталинских ударах расплатились чечевичей. «Все правильно, — сказал отец, брякнув на стол мешочек с крупой. — За Ломоносова — стекло, за вождя — чечевичную похлебку».

Но основной массив лекций проходил как общественное поручение. Узкой специализации не предполагалось: приходилось читать о сталинском плане преобразования природы, великом баснописце Крылове в связи с его юбилеем, восстановлении фабрично-заводского производства в послевоенный период, о флотоводце адмирале Ушакове и полководце генералиссимусе Суворове, об успехах советских спортсменов на Олимпийских играх — первых, в которых они участвовали. Серия докладов — Петра Иваныча даже по распоряжению райкома сняли с занятий — была посвящена труду товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Прочитав один такой доклад перед местными милиционерами, лектор спросил, все ли понятно. Старшина-казах ответил: «Атдэльные слова понимаем».

Всего больше хлопот доставляли лекции по международному положению; долгое время Стремоухов был единственным в районе (по территории равном, как подчеркивал секретарь райкома, половине Бельгии) лектором-международником. Из-за этого его заставили вступить в партию, от чего он долго уклонялся. «Неудобно, знаете, — говорил Гонюков, работавший уже в райкоме, где тоже приходилось читать лекции, — вас слушают наши товарищи, а вы — беспартийный».

Ночной образ отца был — пишущего, вырезающего и слушающего. Вырезающего — преимущественно; под шорох газетных листов Антон засыпал, под сочный звук стригущих ножниц просыпался на горшок. Газетные вырезки помогала делать мама, деда приспособить к этому делу не удалось, он заявил, что его тошнит от одних заголовков. Вырезки раскладывались по папкам: «Американские военные базы» (во время лекции вешалась карта полушарий, черными точками этих баз засиженных), «Братские компартии», «План



Маршалла», «Руководящие документы». Последняя папка была самой тощей, но самой важной: с перечисления того, что в ней лежало, рекомендовалось начинать лекцию: «На сегодняшний день мы имеем главный руководящий документ: ответы товарища Сталина корреспонденту французской газеты «Юманите» и два дополнительных: речь главы советской делегации товарища Вышинского на шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и доклад председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Шверника на сессии Верховного Совета четвертого созыва».

Слушал отец радиостанции «Свободная Европа» и «Голос Америки», которые для простоты называл «Мировое господство». На самый высокий тополь в палисаднике была водружена десятиметровая жердь-антенна. Из Москвы — привезен приемник с круглой шкалой производства рижского завода ВЭФ, поступившего из Германии по репарациям. «Выхх! — говорил отец. — Качество. Одно слово — „Телефункен“!»

— Известная компания, — подтверждал дед. — Еще Гинденбург...

Но качество аппаратов любимой компании Гинденбурга помогало мало: «Мировое господство» беспощадно глушили. Правда, почему-то начинали не сразу (Егорычев даже построил теорию: сами любят послушать), и до того, как *запускали жернова*, удавалось услышать часть новостей. Утром приходил Гройдо, тоже имевший приемник; слушатели обменивались расслышанным сквозь рев и скрежет и его обсуждали. Отец особенно был недоволен отказом СССР получать помощь по плану Маршалла.

— Страна в развалинах!

— Идея изоляционизма, — говорил Гройдо. — То, в чем наш вождь всегда расходился и со своими противниками, и со сторонниками.

Антон, на своем подоконнике решая задачи по алгебре, записывал на промокашке шифром: «изоляциялизм». Там уже находились, записанные другим секретным шифром, еще «инфляция» и «демпинг», значение которых, чтоб никого не волновать, следовало не спрашивать, а найти в словаре иностранных слов.

Читая в санаториях, отец иногда захватывал Антона, чтобы ребенок прокатился по морозцу и погулял в сосновом целебном лесу. Замерзнув, Антон заходил в столовую, где шла лекция. О плане Маршалла тут отец говорил совсем другое: Европа, принимая его, подпадает под пяту американского империализма, а СССР — нет. Антон не удивлялся, знал: так надо, как знала четырехлетняя дочка Кемпелей, что с мамой и папой надо говорить на одном языке, а с соседями на другом, ихнем. Удивляло Антона — много позже — иное.

На лекции о Китае отец говорил с искренним восторгом:

— Китайская Народная Республика при тотальной мобилизации, которая, как известно, дает двадцать пять процентов от общей цифры населения, может выставить сто миллионов здоровых мужчин!

И подымал вверх палец; Антон чувствовал, что ему очень хочется сказать «Выхх!», но на лекции неудобно.

Память услужливо подбрасывала другие похожие случаи: как восхищался отец — не на лекции, дома — мощью Красной Армии, когда она, победоносно завершив войну, стояла в центре Европы. Имея 15 миллионов под ружьем и опыт такой войны, она свободно могла железной лавой прокатиться до Атлантического океана! В этот момент, было видно, он не думает о последствиях для всего мира такой прогулки, не помнит того, что говорил о странах народной демократии — всегда с прибавкой: «так называемой».

Отвечая через двадцать лет на Антоновы вопросы, он подтверждал, что радовался искренне, но сознательно как бы заставлял себя не пропускать в эту радость сомнений, и это удавалось. «Иначе было бы невозможно жить — нервная система не выдержала бы». Но дело объяснялось, похоже, не только боязнью раздвоения и стремлением к психическому самосохранению; Антон узнавал противвольное действие той же магии, которая окрашивала его вы-

сказывания о железной воле вождя. Прочитав в «Мастере и Маргарите» восхищенное описание грозного профессионализма людей с браунингами и бессонную работу огромного здания в центре Москвы, Антон уловил что-то знакомое. Магия силы. Даже автор «Собачьего сердца»...

Такого, впрочем, у отца было много. Сыздетства Антон слышал от него, что революция погубила русское крестьянство, а в год ее 50-летия он вдруг написал, что моя внучка Даша, а может, и ты доживете до столетия Октября! Уже не понять, по убеждению он писал или на всякий случай. Любимая поговорка его была: «Не красное солнышко — всех не обогреешь». А сам терпел бабьих прихлебателей, живших у нас месяцами, принял в войну не имевшую даже продовольственной карточки тетю Ларису с двумя малолетними детьми, вытаскивал после окончания срока ссылки Татаевых из их дыры и устроил всех учиться и на работу, организовал бесплатный юридический консультпункт, где сам же и писал за посетителей заявления и письма Сталину, все время хлопотал о каких-то ссыльных преподавателях, профессорах, кондитерах, музыкантах...

Вспоминать годы войны и послевоенную чебачинскую жизнь отец не любил, Антоновы ностальгические восторги по поводу натурального хозяйства не разделял.

— Работали как проклятые день и ночь. Сельскохозяйственный вековой цикл. У тебя экзамены или надо готовить новый для тебя предмет — помнишь, мне поручили преподавать психологию, было некому? Или завтра лекция по международному положению. А тут надо посадить или выкопать картошку — уйдет под снег, будем зимой зубами щелкать. Приехали заочники, сессия — а тебе позарез нужно на покос, трава переставляется, не дай Бог, начнутся дожди... А зимой? Развести и наточить пилу (это я помнил: не вынося звука, бабка заматывала голову шалью, но замечанья зятю считала делать неудобным, теща-монстр — это у простонародья), переставить шпильки-баклуши, растягивающие телячью шкуру, сдирать мездру с той же шкуры, подвинтить ослабнувший пресс для свеклы... Рабство! И все равно было голодно.

— А мне помнится...

— Ты забыл, был мал, да и для детей мы, конечно, старались.

— А как все умели, знали, что капусту надо засаливать не в дубовом, а в березовом бочонке, как варить мыло, как приклеивать ткань яичным белком, как...

— И что из этого тебе пригодилось? Где ты найдешь теперь бочонок — любой? Зачем белок — есть клей «Момент». По своей привычке забивать голову всяким мусором ты небось помнишь и рецепт изготовления мыла? Я так и думал. Ну и? Варишь его в свободное от писания научных трудов время?

— Но это же было своеобразное творчество, как у средневековых цеховых мастеров.

— Творчество было у Гурки — дуги, санки, корзины. Ты его кресла плетеные помнишь? Секретарю райкома подхалимы решили к юбилею подарить мебель для веранды. Гурий плетеных кресел никогда не работал. Пришел к нам. Мама нашла в книге дореволюционную фотографию: Бунин где-то на юге в летнем ресторане сидит в ажурном кресле. И Гурка сделал такую мебель, что весь райком смотреть ходил. А у нас что было? Жестокая необходимость, категорический императив...

## И все они умерли

Дед умер накануне Пасхи. В последний раз придя в сознание, он спросил, какой сегодня день. Была Страстная Пятница. Проговорил: «Как хорошо... умереть...» И силился сказать что-то еще.

Антон знал, что. С детства у Антона всегда было какое-нибудь желанье: иметь настоящие фабричные лыжи, щенка, переныривать 50-метровый бас-

сейн туда и сюда, увидеть океан, иметь большую библиотеку. О каждом очередном он привык сообщать деду. И всякий раз интересовался: дед, а чего бы хотел ты? Дед говорил: чтоб ты не мешал мне спать после обеда или: чтобы в «Правде» был хоть один процент правды. В последний приезд Антона сказал: умереть под Пасху, в Великую неделю.

На похороны Антон опоздал. В то лето он жил в маленьком забайкальском таежном селе, недалеко от которого хотел основать новый Тарбагатай, как в поэме Некрасова. Теток он предупредил, что телеграмму, если что, следует давать срочную, тогда из райцентра пригонят с нею моторку, на которой могут увезти и адресата. Но на почту послали Кольку, и хотя все ему объяснили, он сэкономил, дал обычную, на которой еще раз сэкономил, не написав про смерть; почтальон не стал торопиться.

Добирался он четверо суток; впервые в поезде, самолете ничего не писал и не читал. Но думал не о дедке — о смерти вообще. Само понятие о ней вошло в него с дедом. Он всегда был старше всех, и когда в Антоновом сознании возраст связался с нею и он вдруг понял, что она больше всего угрожает деду, он плакал полночи, закутав голову одеялом.

Но годы шли, умирали соседи, учителя, все были моложе дедки, а он все жил и жил, здоровей и сильнее молодых, и идея смерти померкла в сознании Антона.

Вернулась уже в университете, в связи с Моцартом и — особенно остро — с Пушкиным. С какого-то времени он начал переживать смерть Пушкина как личное горе, свой день рождения, совпадающий с датой его смерти, праздновать перестал, потому что почти заболел в этот день и несколько не удивлялся явлению стигматов — когда в день распятия Христа у некоторых людей появляются кровоточащие раны на запястьях и ступнях.

— Ты когда-нибудь думал, — говорил он в волнении Юрику, — что было бы, проживи Пушкин еще лет десять! Если б он завершил «Историю Петра», воплотил замысел о войне двенадцатого года, написал том стихов и несколько поэм вроде «Медного всадника»! Непредставимо! А Моцарт? — вопрошал он, наслушавшись его и начитавшись о нем в год 200-летнего юбилея. — Умер в тридцать пять автором не только гениальных вещей — это я вывожу за скобки, — но и количественно одним из самых плодовитых композиторов. Он написал больше великого Верди, пережившего его на пятьдесят лет! А если бы прожил столько же? Ведь он уже и так начал колебать мировые струны. И было решено, что допустить этого нельзя.

— Кем?

— Тем, кто решает все. Если б Моцарт прожил еще даже не пятьдесят лет, а половину этого срока, он стал бы равен Ему. И он умер. «Тут ему Бог позавидовал — жизнь оборвалась». Безвременная смерть только этих двух никогда полностью не примирит меня с Ним. А она — правило. Гете, Толстой — редкие исключения.

Вылечил тот же Юрик. Он сказал, что несмотря на свой атеизм, не одобряет такую теорию за богохульство и предлагает свою — менее богохульственную.

— Умереть вовремя — благо. Представляешь, что случилось бы с Гагариным через несколько лет, не разбейся он недавно? Толстый, лысый чиновник, профессия которого — заседать в президиумах... А так — на века осталась улыбка космонавта! Рылеев — ты сам говорил — средний поэт. Повесили в молодости — национальный герой. А Шолохов? Умри он сразу после «Тихого Дона», не заголившись перед всем миром своей глупостью и махровостью, — все бы рыдали по безвременно ушедшему гению и диссиденты не трудились бы над брошюрами о настоящем авторе великого романа!

— Как будто писатель живет для того, чтобы нам легче было составлять его биографию. Так ты скажешь, что и Иисус Христос умер вовремя.

— Ну, это чистый случай. Не распни они его — не было б христианства, тебе как историку стыдно...

Но лекарство оказалось действия узконаправленного и недолговечного. По новой все началось со смерти графа Шереметьева и нескольких любимых профессоров.

Какие-то африканцы ощущают в своей жизни постоянное присутствие *поменявших миры*. Ставят им еду, разговаривают друг с другом так, чтобы тем было понятно. И получают от этого радость. Антон чувствовал, что его покойные учителя и друзья-старика — всегда с ним, видел их во сне, беседовал с ними. Но испытывал только боль.

Вирус проникал в сердце и мозг все глубже. Жаль было уже умерших всех.

Как-то, листая в библиотеке подшивку «Нового времени» 1890-х годов и в очередной раз поражаясь информативности суворинской газеты, он вдруг осознал: все авторы этих статей по переселенческому вопросу, богословским проблемам, очеркисты и прозаики, диспутанты о теории Дарвина и возможностях радио, составители отчетов о дебатах во французском парламенте, давшие объявления зубные врачи, кухарки, гувернантки, хиромантки, портные — все они покойники!

Но самым тяжелым переживанием была хлынувшая после оттепели на экраны кинохроника девяностых годов: эти резво, в ритме старого кинематографадвигающиеся люди умрут, и почти все уже умерли; душа торопилась отдохнуть на редких младенцах — они-то уж наверняка живы! С надеждою вглядывался он в самые молодые лица — может, кто из этих солдатиков или студентов еще здравствует?.. Но представив все революции, войны, тифы, испанки, голод, лагерь, говорил себе: навряд.

Он стал скрывать, что не может смотреть фильмы с недавно умершими актерами, нечто противостественное ощущая в том, что комедийные трюки выполняет человек, которого уже нет, как можно смеяться? Странно, но пластинки он воспринимал спокойно; голос — то было что-то другое, иная, бестелесная субстанция, им говорит душа.

Однако от этих остались кинокадры, голос, фотографии, хотя бы газетные объявления. Но как быть с теми, от кого не осталось *ничего*?

В первый же день по приезде Антон пошел в пятиэтажку к столяру Борису — уговорить поставить крест и оградку. Это было непросто, даже с добавлением бутылки-другой «Столичной». Выпить Борис любил, но еще больше — стоять у заборчика или курить на ступеньках своего подвала-мастерской, или в сотый раз соструживать граффити с ее дверей, которые на другой день аккуратно возобновляли мальчишки.

Перед подвалом стояла дворничиха — толстая Валя.

— Борис? Утонул.

— Как?..

— Очень просто. Пошел в воскресенье купаться к плотине и ... Схоронили уже. Гурка гроб сколотил, мы с ним только и провожали. Мать давно померла, женой не обзавелся. Комната — жэковская, фотки были — отнесла в котельную, Никите — куда их?

Антон подошел к столярке. На свежеструганном верхнем карнизе уже чернели детский почерком написанные буквы. Постоял у заборчика с тремя новыми штaketинами. «Устроен сложно этот свет: Чтобы являться в ЖЭК, Чинить забор, сбивать багет Родился человек. И лишь исписанный карниз Ребяческой рукой: «Борис, Борис, погонщик крыс» — Над дверью мастерской». Надо бы добавить что-нибудь вроде: «Состружат завтра и карниз Небрежно, впопыхах. Останется лишь бледный стих Средь брошенных бумаг».

Однажды Юрий пришел печальный: умер академик Фокин.

— Как? И он?

— И он. Покойный извинит меня за неуместную улыбку... Ты напомнил мне случай, когда, кажется Хрущев спросил у президента Финляндии, как у них со смертностью. Тот ответил: «Пока стопроцентная». А эти твои возгласы на

семидесятилетия нашего скульптора: «Я не хочу, чтобы все умерли!» Правда, тогда мы все уже хорошо выпили, но кто-то все же спросил: твой друг не того? А как у него с отношением к другим естественным законам? Прости за интимный вопрос: ты все еще не спишь по ночам из-за покойников? Да, да, Лиля рассказала. Хотела посоветоваться, не пора ли вести тебя к психиатру, когда узнала, что тот профессор, из-за которого ты не спал, умер десять лет назад.

Однако очередной сеанс психотерапии Юрик опять решил провести сам.

— Тебе жаль не их, а себя, — жестко сказал он. — Кому из твоих друзей, кроме меня, меньше семидесяти? Ты, в сущности, тоскуешь о том, что скоро не останется никого, с кем ты бы мог говорить о своих любимых девятисотых, о золотом веке. Тебе ведь на самом деле современный мир неинтересен — только ты это хорошо скрываешь. Когда еще ты писал: «И нет уже следов былого, о мире том с кем молвить слово». Для тебя главная трагедия века — гибель «Титаника» — как для них. Но они-то еще не видели двух таких войн! Выбравшая твоим языком, не скажи в бане, шайками закидают...

Нет, Юрик неправ — не уходящих собеседников мне жалко и даже не нашего бытия, которое будет другим, когда уйдут носители *той* жизни и его станут определять дети пятилеток. Мне жалко всех. Может, прав Егорычев? «Тебе не подходит быть историком. У историка должно быть холодное сердце». Он сказал это, когда Антон пытался передать, что ощущает, листая старые газеты.

Университетский профессор, отец которого был знаком с Кожевниковым и Петерсоном-старшим, дал Антону первый том Николая Федоровича Федорова. Антон читал всю ночь. Утром без звонка прибежал к Юрику.

— Ты знаком с философией Федорова?

— В общих чертах.

— Это же великое учение!

Выслушав сбивчивое и подробное изложение идей философа о воскрешении отцов, Юрик, подумав, сказал:

— Или ты неясно излагаешь, или я плохо понял. Тут какая-то несоединимая смесь религии и позитивизма. Духовное воскресение в церковном смысле — это я понимаю. Но он, кажется, хочет воскрешать и материальную оболочку, самые тела? Извини, но мне это напоминает гоголевскую Коробочку: «Ты что, будешь их из земли выкапывать?». Я принимаю идею, что можно достигнуть бессмертия, переписывая информацию из старого мозга, который должен умереть, в молодой или в созданный искусственно, а когда и он составится, износится — еще раз, и так до бесконечности, то есть передавать человека по телеграфу, как говорил Норберт Винер. Но это не коснется уже умерших. Интеллектуальную и психическую информацию с каждого из них не списали, и он ушел навсегда — как целостность, а осколки ее в его текстах — именно всего лишь жалкие осколки.

— А великий поэт? Он сам потрудился себя записать, да как! Внутренний мир Пушкина я знаю лучше, чем твой, хотя слушаю твоё глаголение чуть не ежедневно уже пятнадцать лет!

— Вот и начинайте свою деятельность по воскрешению с него, мы вам в ножки поклонимся.

В первый день по приезде Антон на кладбище не пошел, на его глинистый косогор после дождя было не взобраться. Он решил разобрать дедовы бумаги — заживаться здесь не хотелось: дом уже принадлежал Кольке. Два месяца назад он за взятку стремительно оформил справки о невменяемости стариков, потом опекунство, а затем и право на владение собственностью.

Бумаг почти не оказалось — на другой день после похорон Кольки, перебрав их в поисках облигаций, сжег почти все, только кое-что Тамара успела вытащить уже из растопочной корзины: несколько писем сыновей с фронта, бесплатный билет Управления Виленской железной дороги на 1894 год, «Пионерскую правду» с кроссвордом, составленным учеником 4-го класса Анто-

ном Стремоуховым, газетную вырезку со статьей деда «Сейте люцерну» и его брошюру под тем же названием, о существовании которой дед никогда не упоминал. Антон открыл ее и зачитался: это был тот исчезнувший милый его душе язык, которым писали Докучаев, Костычев, Тулайков, не боявшиеся в научном изложении живого словечка, просторечия и метафоры. На десятой странице против абзаца о беспочвенности мнения о преимуществах летних посадок люцерны авторской рукой было написано: «Аргументацию выкинули страха ради иудейска пред Лысенкой».

Жальче всего было дедовой толстой записной книжки, куда он вперемежку заносил и выписки из книг, и свои мысли. От нее случайно остался в тумбочке выпавший листок — неясно, с дедовским текстом или выпиской. По почерку время не определялось: рука деда и в последний месяц жизни была тверда, как тридцать, сорок лет назад, и глаза, как и тогда, не знали очков.

«...душа моя будет смотреть на вас оттуда, а вы, кого я любил, будете пить чай на нашей веранде, разговаривать, передавать чашку или хлеб простыми, земными движениями; вы станете уже иными — взрослее, старше, старее. У вас будет другая жизнь, жизнь без меня; я буду глядеть и думать: помните ли вы меня, самые дорогие мои?..»

Разобрали вещи: костюм и пальто деми («английский драп!»), купленные на прадедовское валютное наследство, присланное из Литвы в 29-м году, старые шелковые галстуки, знаменитую водонепроницаемую крылатку. В любимом бостоновом костюме, сшитом еще до Первой мировой войны, трижды лицованном, деда положили в гроб.

На его мощной и стройной фигуре все это выглядело старомодно-изящно, сейчас же показалось ужасающе древним и ветхим.

— Складывай в мешок вместе с рубашками, — сказала тетя Таня. — Вечером отнесешь к Усте, отдаст своему пьянице. Только чтобы баба не увидала.

— И это вся его одежда? — потрогала мешок Ира. — Кабы все носили вещи так долго, не надо было бы создавать новые текстильные фабрики. (Она только что закончила в своей библиотеке устройство стенда про текстильную промышленность.)

— Дед говорил: вещи живут долго, дольше человека. Но у него есть вечная душа.

На другой день к вечеру, как подсохло, отправились с Тamarой на кладбище.

— Надо обходить. С этого боку недавно двух свиней сбросили дохлых.

Могилу долго искали, Тамара не запомнила: «Плакала, плохо видела». Кресты, многие полусгнившие и поваленные («повапленные», сказала Тамара), сварные пирамидки со звездочками на штырях, редкие каменные надгробия. «Федора Терентьевна Пальчак. Мартемьян Ксаверьевич Пальчак». Ей было 95 лет, ему 97. Умерли они в один день.

По странному совпадению рядом оказалась могила, где двое тоже умерли в один день.

— Жених и невеста. Разбились на мотоцикле. В пятницу собирались уже записаться, а в четверг он ее повез покататься — и оба насмерть. Выпивши был.

«Бойко Петр Афанасьевич. Лауреат Сталинской премии III степени». Единственный лауреат, гордость Чебачинска, богатырь, боровшийся с приезжим цирковым атлетом Дмитрием Бедилой. На лауреатские деньги купил «Победу» и, пьяный, врезался в столб на следующий день. Дорогов. Гудзикович. Корма. Родители однокашников. Вьюшков Юрий. По датам мог быть его одноклассником. Как того звали? Знакомых фамилий было больше, чем в городе.

Подошли к дедовой могиле. Тетка перекрестилась.

— Ну, что скажешь нам?

Антон, не понимая, смотрел на глинистый, начавший подсыхать могильный холм, на расплывшуюся надпись на ленте. Цветов не было — видимо, сразу украли.

Здесь лежит тот, кого он помнит с тех пор, как помнит себя, у кого он, слушая его рассказы, часами сидел на коленях, кто учил читать, копать, пилить, видеть растение, облако, слышать птицу и слово; любой день детства невоспринимаем без него. И без него я был бы не я. Почему я, хотя думал так всегда, никогда это ему не сказал? Казалось глупым произнести «Благодарю тебя за то, что...» Но гораздо глупее было не произносить ничего. Зачем я спорил с ним, когда уже понимал все? Из ложного чувства самостоятельности? Чтобы в чем-то убедить себя? Как, наверно, огорчился дед, что *его* внук поддался советской пропаганде. Дед, я не поддался! Ты слышишь меня? Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был прав во всем!

В памяти всплывали какие-то мелочи. Его словечки, фразы: духовник деда был человек *богозванный*, а не сделавший карьеры старик-дьякон — *дерзословный*; в семинарии все учили *вдолбляжку*; лысенковцы назывались не поддонки, а *поддонки*, что было, конечно, не в пример обиднее. Свойство отца Антона всегда чем-нибудь восхищаться (американскими президентами, бесчисленностью китайской армии, мощью штангиста Новака, мастерством шпионов и силой НКВД, энергией Ломоносова) дед именовал словом *адмирация*, видимо, семинарским — его не оказалось ни в одном словаре. Любил выразиться изысканно (*разменяться письмами*) или возвышенно: «В прошлую ночь не свел века с веком». Самые сильные его ругательства были: *чернь безмозглая* (про советскую номенклатуру) и *животное* (бабка ругалась — *собачье мясо*).

Как человек, не способный сказать кому-либо гадость, Антон любил остроты великих людей, которые, похоже, умели это делать очень хорошо, и собирал их по газетам, журналам, отрывным календарям. Поклонница сказала Гейне, что отдает ему все свои мысли, душу и сердце. «От маленьких подарков, — поклонился поэт, — стыдно отказываться». Актриса, которую похвалил Оскар Уайльд, воскликнула с притворной скромностью, что эту роль следовало бы играть женщине молодой и красивой. «Вы доказали обратное», — сказал писатель. «Второго не читал, — заметил дед, — но, кажется, он был джентльмен. А судя по историям из твоих газет, и он, и германский поэт были обыкновенными хамами на советский манер».

Приносил Антон советские исторические романы, но успеха не имел.

— Прежние исторические писатели — Данилевский, Дмитриев, Кондратьев, написавшие целую библиотеку, может, и не обладали особыми талантами, но были образованные люди, знали источники, древние языки... А этот ваш исторический романист пишет «олеворучь», видимо, не подозревая, что его герои говорили «ошую» и «одесную». А какая-то дама в своей повести, уже про современность, удивляется, как могли появиться такие неприличные фамилии, как Срачица, не ведая, что это указывает только на то, что фамилия очень старая: срачица — древнерусский сосуд для питья.

Современной литературы дед вообще не любил — ни отечественной, ни зарубежной. Приезжая на каникулы, Антон пытался подсовывать ему «Иностранную литературу». Прочтя повесть, где какой-то японец, выйдя из дому в пижаме, уселся в лужу, ему было мокро и мерзко, но он все сидел, дед сказал, что это стремление омерзить и в конечном счете унижить человека в литературе пройдет, как болезнь, она перестанет изображать дегенератов и превращение в насекомых и вернется к обычным и вечным чувствам и ситуациям. Предсказание, в отличие от дедовых других, не подтвердилось.

По всякому поводу любил уколоть кого-нибудь из советских классиков. Антон прочел ему из собрания сочинений Маяковского рекламные стихи про папиросы «Ира».

— В мое время такое уже было, фирма Шапошникова рекламировала свой товар: «Взгляни справа, взгляни слева — всюду папиросы «Ева». Правда, никому не пришло бы в голову перепечатывать это в книгах стихов.

В связи с современной литературой вспомнился эпизод почти комический.

Антон процитировал строки, как «мальчики иных веков, наверно будут плакать ночью о времени большевиков». Дед понял так, что мальчики будут плакать, жалея тех, кто жил в это время, но ни о чем не спрашивал, полагая, что стихи — из тех листков на папиросной бумаге, которые привозил из Москвы внук.

Все всплывало в виде какого-то калейдоскопа, настриженного из кусков быта. Великим постом в райпотребсоюз завезли ливерную колбасу; Тамара полдня стояла в очереди. За ужином ели эту колбасу, намазывая на хлеб; дед по просьбе Антона объяснял, что такое «ливер».

— А как же пост, Леонид Львович? — подколот отец. — Не соблюдать, помню с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим.

— Мы приравниваемся к путешествующим. По стране дикой.

— Почему ж дикой?

— Вы правы, виноват. Одичавшей. Как вы иначе назовете страну, где колбасу, коей раньше и кошка брезговала, дают по карточкам раз в полгода?

— Что ж вы не уехали из этой дикой страны в восемнадцатом, с тестем?

— И бысть с нею и в горе, и в нищете, и в болести.

Но вспоминался и другой их разговор, во время которого отец так поставил чашку, что расколот блюдец, которое бабка вывезла из Вильны и которым очень дорожила. Дед оправдывал коллаборационистов из бывших кулаков и прочих репрессированных.

— Советская власть отняла у них все. Возьмите нашего Осьминина. В ссылке погибла вся семья. Обманом вернулся — не на свою Орловщину, а в Курскую губернию. Узнали, посадили. При немцах вышел из тюрьмы. Куда податься?

О вере дед высказывался редко, но не сомневался, что она в Россию вернется.

— Я не увижу, ты — возможно, дочь твоя увидит наверно. Но какова она будет, эта вера? Ведь вера — не лоб перекрестить в храме на Пасху или Рождество. Это исповедь, молитва, пост, жизнь по нашему православному календарю. Воцерковление идет веками и годами, начинается с младенчества, с семьи.

За все последние чебачинские месяцы больше всего дед удивил Антона одним своим признанием — как раз год назад, тоже в Великую неделю.

— Ты знаешь, какие греховные мысли посещали меня в последний год, когда я еще ходил? — дед притянул его голову к себе и громким шепотом проговорил: — Блуд-ны-е!

Юрик сказал, что в девяносто пять этого не бывает. Но за три года перед тем дед еще больше поразил неожиданным интересом к статье из привезенного Антоном польского журнала о самых известных топ-моделях с их фотографиями. Правда, под конец дед сказал, что в его время такие женщины были не хуже: «Только их иначе называли».

— В мое время женщин уже допускали в церковный хор. Раньше? Были дисканты. Но иереи и жульничали: поставят стриженую девицу — издали как бы отрок... Больше всего мне нравилось постное пение, неторжественное. А из торжественного — здравица царствующему дому. Как ее провозглашали архидиаконы Розов или Лебедев!

— Когда я поступил в семинарию, не было никаких аэропланов, авто, телефон и электричество только начинались... А теперь? Как вместить это в сознание?

Кажется, он так и не вместил. До конца воспринимал радио как чудо: безо всяких проводов — через тысячи километров! И часто оговаривался, называя это чудо беспроволочным телеграфом. Заразил удивленьем и Антона, а тот пробовал передать его друзьям, но они, хотя и не знали, как передаются радиоволны, почему-то не удивлялись.

Дед знал два мира. Первый — его молодости и зрелости. Он был устроен просто и понятно: человек работал, соответственно получал за свой труд и мог купить себе жилье, вещь, еду без списков, талонов, карточек, очередей. Этот предметный мир исчез, но дед научился воссоздавать его подобие знанием, изобре-



тательностью и невероятным напряжением сил своих и семьи, потому что законов рождения и жизни вещей и растений не в состоянии изменить никакая революция. Но она может переделать нематериальный человеческий мир, и она это сделала. Рухнула система предустановленной иерархии ценностей, страна многовековой истории начала жить по нормам, недавно изобретенным; законом стало то, что раньше называли беззаконием. Но старый мир сохранился в его душе, и новый не затронул ее. Старый мир ощущался им как более реальный, дед продолжал каждодневный диалог с его духовными и светскими писателями, со своими семинарскими наставниками, с друзьями, отцом, братьями, хотя никого из них не видел больше никогда. Ирреальным для него был мир новый — он не мог постичь ни разумом, ни чувством, каким образом все это могло родиться и столь быстро укрепиться, и не сомневался: царство фантомов исчезнет в одночасье, как и возникло, только час этот наступит нескоро, и они вместе прикидывали, доживет ли Антон.

Вечером с бабушкой, Тамарой, тетей Таней, дядей Леной, Ирой посидели, помянули, выпили. Помянули и отца Антона. Дед его любил, сказала Тамара, говорил: «Какая энергия!» А еще говорил про него, добавила тетя Таня, — семнадцать лет прожить с тестем и ни разу не поссориться! «А спорили часто, — сказала Ира, — ты помнишь». Антон помнил.

Спели «Вечерний звон» — в первый раз без дедовского «Дон! дон! дон!» Бабушка сидела, закрыв глаза, дядя Леня молчал, тетки плакали. Через несколько лет Антон будет петь его дуэтом — только с мамой. Когда пропоют «И крепок их могильный сон, Не слышен им вечерний звон», она скажет: «Было нас девятеро. И все они умерли. Осталась я, последняя из дедовой фамилии. А потом, — повела она своим чистым высоким голосом, — «И уж не я, а будет он В раздумье петь «Вечерний звон»! Ты будешь петь. Один».

К ночи зашел Гройдо, вернувшийся тоже с поминок — сороковин по Егорычеву.

— Умерли все. Там я узнал о кончине профессора Резенкампа. Из друзей вашего дедушки остался только я.

(Он умер через три недели.)

Стал говорить, как дед повлиял на него.

— Я был убежденным атеистом. И впервые колебнулся в разговоре с Леонидом Львовичем о Багрицком.

— О поэте? С дедом?

— Собственно, говорила жена, она была с Багрицким знакома, стала читать вашему деду «Смерть пионерки». Сначала, разумеется, «нас водила молодость в сабельный поход», а потом и не только. Леонид Львович, человек вежливый, слушал. В том месте, где умирающая девочка отталкивает крест, говорится, что он упадет на пол. И знаете, что он сказал? Даже у атеиста-одессита, революционного поэта, в стихотворении, безбожном по заданию, — даже у него именно так, только так сказались о кресте. Не падает, а *упадает!*

Вспомнил Борис Григорьевич еще одно, прозвучавшее как последний дедов привет. Он сказал, что в свои предсмертные дни хотел бы повидаться с о. Иосифом, которого любил больше других братьев и который скончался в харьковской тюрьме в двадцать девятом году. Потом помолчал и прибавил: «За восемьдесят лет сознательной жизни полностью меня понимал только один человек, на шестьдесят лет меня моложе. Жаль, что он далеко». Кто это был, Гройдо не знал или лукавил. Ровно на шестьдесят лет моложе деда был Антон. Я был плохим сыном, мужем, неверным любовником, средним отцом. Но больше всего меня бы огорчило, если б дед считал меня плохим внуком.

Антону все хотелось узнать, что делал и говорил дед в последние дни.

— Что делал? — тетя Таня подумала. — Лежал у себя в боковушке. Только раз, за неделю до смерти, захотел в сад. Мы с Лентей вынесли его на кресле. Он посадил тут каждое дерево. Березку свою любимую тихонько погладил.

— Про тебя говорил, — сказала Тамара. — Что когда в позапрошлом году он написал всем внукам письма с просьбой прислать по пятьдесят рублей, прислал ты один.

Вспоминать было мучительно стыдно: посылая деньги, он думал — другим они нужнее, зачем они деду в его возрасте?

В эти дни у бабки был последний в ее жизни проблеск сознания, как будто кто-то хотел дать ей попрощаться с тем, с кем она прожила семьдесят лет. За два дня до кончины он ее позвал и просил у нее прощения.

— За что? — рыдала баба. — За что я должна простить тебя?

— Я обещал тебе счастье, покой, довольство, а дал бедность, беспокойство и изнурительный труд. Я думал, что могу предложить тебе хорошую жизнь, потому что был молод, потому что многое умел, потому что был силен.

— В этом месте, — вмешалась в рассказ Тамара, — он выпростал из-под одеяла руку и согнул в локте.

И живо представил Антон, как покатился под засученный рукав круглый шар, и впервые заплакал.

— Но ты же не виноват, — говорила сквозь слезы баба, — что они отобрали у нас все.

— Они отобрали сад, дом, отца, братьев. Бога они отнять не смогли, ибо царство Божие внутри нас. Но они отняли Россию. И в мои последние дни нет у меня к ним христианского чувства. Неизбывный грех. Не могу в душе моей найти им прощения. Грех мой великий.

В предсмертные часы молчал, хотя был в уме и памяти. Дочери упрашивали: «Скажи что-нибудь». Но он лишь тихо улыбался. «Сказал только что-то про немоту перед кончиною. Это стихи, Антоша?»

Это было их любимое с дедом издавна стихотворение Некрасова. Антону больше всего нравилось: «На избушку эту бревнышки Он один таскал сосновые», казалось, что это про деда — он сам видел, как тот нес на плече пятивершковое бревно.

«Немота перед кончиною подобает христианину».

1987, 1997–2000

*Константин Ваншенкин*  
**Перкалевый купол**

**Укладка парашюта**

Тогда для десанта Ещё не придумали, нет, Такого дизайна, Как нынче: тельняшка, берет.	Но вот ты пощупал, — И твёрдой осталась рука, — Перкалевый купол, Густые его вороха.
Одна лишь новинка Была, отличавшая нас: Отличная финка, Способная радовать глаз.	Косишься украдкой На небо, где дыма следы, И занят укладкой Своей неизбежной судьбы.

**Свадьба. 1954**

Не шумел барак. В окнах гасла зорька. Лишь один дурак Добивался: — Горько!	Видно, впрямь одни На просторном свете. Никакой родни — Только гости эти
Человека два — Кто знаком с невестой, Да и то едва. И жених — не местный.	Засчитали, как Первую попытку Им законный брак На живую нитку.

**Временная жизнь**

Временная жизнь — В печали, во мраке (Иногда и в семье).	Временная жизнь — В землянке, в бараке, На войне, на земле...
--	---

**Марусенька**

Вечером летним, после дороги, Мыла Марусенька белые ноги.	По сторонам озираясь несмело, Мыла Марусенька всё, что имела.
После заката, в тёплой запруде, Мыла Марусенька белые груди.	Не отличаясь скромностью высшей, Месяц сиял над соломенной крышей.

\* \* \*

После первых невинных утех Потрясение взрослой любовью, Ослепительным чувством, — из тех, Что пронзают восторгом и болью.	Но впоследствии, чем ни живи, Нет, не всё забывается быстро: Тянет изредка к первой любви, Как убийцу на место убийства.
--	---

**А. Коваленков на семинаре**

Это не лишено интереса — Коваленков всю жизнь говорил:	Пионэры, Корэя, Одэсса, — А других за любое корил.
---	---

Разговор был у мэтра короток.  
Вижу — с чьей-то расправясь строкой,

Как он, пальцами сжав подбородок,  
Улыбается жёсткой щекой.

\* \* \*

Себя не чувствую стариком,  
Что, согласитесь, довольно странно.  
Займусь каким-нибудь пустяком  
И, между прочим, опять без плана.

Как свежий режется каравай,  
И как побулькивает чекушка.

Мне нравится, как звенит трамвай,  
Мне по сердцу, как звонит церквушка,

Себя не чувствую стариком,  
И вдруг в обыденном этом гаме  
На миг продует, как сквозняком,  
Жестоко прожитыми годами.

\* \* \*

Журавли летят, трубя,  
На зов природы.  
Как я прожил без тебя  
Все эти годы?

Вновь зима пришла, слепя,  
Мир стужей полня.  
Как я прожил без тебя? —  
Почти не помню!

### Леса

Стволы, прошедшие отбор  
В боях растительной природы.  
Березник, ельник или бор —  
Вполне отдельные народы.

И там, и там свои грибы  
В давно очерченной округе.

Осины или же дубы  
Знать не желают друг о друге.

Но смешанный российский лес,  
Одетый в утреннюю дымку! —  
Здесь тоже розный интерес,  
Однако многие в обнимку.

### Перед зимой

Ещё не затопили.  
Слегка знобит порой.  
Тончайшей книжной пыли  
Лежит на полках слой.

И этот бедный прудик  
Пока не застеклён.

Дрожит снаружи прутик.  
Вдали желтеет склон.

Ворона спит, насупясь.  
Звук слышен за версту.  
Отчётливая сухость  
В природе и во рту.

### Январское утро

Белые крыши квартала  
С небом слились вдалеке.  
Электробритва шептала  
Что-то надменной щеке.

Ветер со снежного склона  
Свежесть морозную внёс.

Запахом одеколona  
Следом ударило в нос.

Жёсткость крахмальной сорочки.  
День, наступивший всерьёз.  
А вдоль дороги сорочки  
Рощи летящих берёз.

\* \* \*

Три дня над крышей нет дымка,  
И, согласитесь, это значит,  
Что там, внутри, наверняка  
Иной отсчёт событиям начат.

Пустым, где мрачно и черно —  
А ведь светилось ровным светом.

Наступит вечер, но одно  
Окно останется при этом

Придёт ноябрь и в аккурат  
Припорошит снежком поленья.  
А пыль покроев аппарат  
Для измерения давленья.

Анна Кузнецова  
Рассказы

**Вот и вон**

Иногда она не отзывалась — когда звучало ее имя, две-три девушки поблизости поднимали головы и улыбались. Все просто, равномерно: на неприветливость одних всегда есть чья-нибудь готовность отозваться. Она о том не думала, отчего всегда теряла не очень внимательных друзей. И замуж вышла поздно. И сразу родила. Однажды муж ушел к ее подруге, пушистой рыжей Виолетте. Через год они вместе разбились в его старенькой «вольве», но это она знала по рассказам.

Ей долго помнились темные комнаты, по которым она тогда тихо прошла. Разбросанные вещи старались притенить друг друга, когда она включила свет. Да все нормально — усмехнулась. Кто ж будет за собой убирать, когда не собирается вернуться? Сидела на разбросанной кровати. Интересно, что он там искал? Подняла с коврика плащ, толкнула дверь и прочеканила ступеньки каблуками. Рассматривала в магазине многофигурную витрину, но так и не нашла того вина, которое они пили обычно по пятницам под медленную музыку — еженедельный ритуал семейного благополучия. Купила водку.

Аллея хрустала в серванте напомнила, как в ее раннем-раннем детстве вдруг опрокинулась новогодняя елка, когда она тянула с ветки сердцевидный пряник, который оказался поролоновым муляжом; когда подняли елку, потемневшую, в одном чепчике пластмассовой макушки, — весь пол искрился, как снег за окном, и этого блеска она во всю жизнь не могла выскоблить из нарезного узора графинов и рюмок, — налила в чайную чашку, даже блюдце подставила. Но выпить так и не смогла — сидела, подперев виски, над тошнотворно испаряющей прозрачностью и понимала, почему люди пьют. Под невнятную дурноту подгоняют простую, которую легче сносить: башка болит, в желудке спазмы, таблетку выпьешь, ждешь ремиссии — она усмехнулась и слила водку в водосток. На оконном стекле выпукло шевелились приставшие к нему дождинки. И, нервно задевая свет окна, летели другие, минуя стекло.

А потом плакал мальчик. Он звал ее тем единственным словом, на которое она отзывалась всегда; тем единственным голосом, которому улыбалась, еще не успев отозваться. Она держала у губ его мокрую руку, которая помещалась в ладонь, и не заметила, как это стало с ней: как собственные слезы защекотали запястье и потекли в рукав. Очнувшись, отряхнула пальцы, сначала осторожно положив руку мальчика под одеяло.

---

Кузнецова Анна Александровна родилась в Новороссийске. Окончила музыкальное училище по классу фортепиано. Училась на 5-м курсе Литературного института им. Горького. Выступает в печати с рассказами, стихами, статьями о литературе и изобразительном искусстве, рецензиями.

Живет в Московской области.

Постоянно печатается в нашей рубрике «Наблюдатель». Проза в «Знамени» — впервые.

Когда они погибли, Илья и Вета, она уже не ощущала той грубости в чувствах, которая сперва не давала о них вспоминать. Даже совестно было, будто эту беду могла накликасть ее обида, — не смертью же наказывается такой обиденный проступок. Иногда она с сыном ходила на кладбище — к нему и с подругами — к ней. Обычно осенью — там надо было прибираться, как в комнате после его ухода. Пока родственники мертвых сгребали в кучи хлам нападавшей листвы, за геометрией цветников и оградок неприметно блестела речная поверхность, и вдруг этот блеск становился слепящим — в те несколько минут, когда сумерки синие до рези в глазах. Все разгибались и смотрели, как блеск воды теряет яркость, а синева становится густой, чтобы все разошлось, — в ночь, свалившую тучи на крышах, утро, звоном будильника вызволенное из темноты, и день, обмеренный шагами.

Потом она старела — не слишком быстро и сравнительно легко. На улицах смотрела в увядающие лица женщин и усмехалась про себя: слой пудры на ее лице, искусственная тень под бровью и карандашный абрис рта стали данью приличиям жизни в столице. Своей была натужная привычка держать осанку и юная размашистость походки, которую ни гололед, ни шпильки не могли сделать осторожной. В субботу, когда было время заняться домом, она взглядывала в коридорную даль, стараясь соответствовать отображению в зеркале, где согбенная женщина мыла полы.

Мальчик был круглоглазый, веселый и избегал попадаться за стол, когда к ней приходили подруги. Вместе с кошкой подглядывал, как едят люди с внешней стороны стола, — они звенели чашками, болтали и смеялись, а он по клеткам на их юбках учился бездумным дурашливым играм. В шашках было главным сделать первый ход, но бывало, что игра развивалась неправильно, — и тогда было важно, чей ход окажется последним. В лото играли деревянными бочонками, выигрывали нарисованные вещи, которыми владели в умозрении. Он любил снимать тапочки с переминавшихся в азарте ног, они шарили по полу слепыми движениями, он прыскал, получал незлобного шлепка, отдавал что искали, стихал и засыпал, уткнувшись в кошку. Его брали в теплую охапку, несли, и в сон вторгался ее шепот: «Не хочу, чтобы он рос...» А утром выбегал себе навстречу из глубины коридорного зеркала с облитой солнцем головой. Останавливался, долго смотрел себе в глаза — вдруг отворачивался и бежал назад.

Он рос — и куда ему было деться от этого? Он покидал ее и свое время с той стремительностью, от которой остались мучительные вспышки несвязной памяти, потерянные под переживаниями более близкими. Он лучше помнил, как мужал, а еще лучше — как слабел; такая память была тусклой, не исчисляемой в деталях, захламляющей все существо, — иногда ему казалось, что он родился взрослым, как архаический Дионис. И помнилось все это потому, что огорчало, — однажды он сказал своим студентам, что жизнь — не что иное, как умирание; но они, кажется, не поняли — да, огорчало, обирало его время на то богатство, которое было, когда и он не рос и не мужал — а был! Он был и сопутствовал общим движениям мира, и эта радость — яркий фон, а на нем — темные пятна всплывающего сознания, которые теперь сошлись, покрыли свет. Вот это и была теперь жизнь, где с некоторых пор все отливало радужным налетом сна и было не совсем достоверно. Но общий теневой узор забытых комнат, в которых он когда-то рос, вставал в яркой памяти, как незыблемый камень. Опираясь на него, он пытался дотянуться до матери, которая осталась с яркой стороны, отсюда, где они оба теперь оказались.

Садясь за стол, брал на ладонь конверт, в который хотел бы вложить свое чувство к единственному, кроме неизвестно где и как подросток дочери, родному человеку, — и мучился той памятью, где мать была неотделима от него, и расстояние теряло смысл, а шум крови в ушах мешал формулировать фразу, будто кровная связь сродни телефонной и, как дыхание в трубке, ценнее всего

говоримого. Теперь, когда он был один привычно и прочно, он пытался связаться с нею, миную пропасть разделившей их жизни, в которой он понял одно: кровь — единственная прочная связь, неоспоримое обоснование возможности тянуть к кому-то руки и знать точно, что это можно, и даже если шлепнут, оттолкнут — можно опять и опять. Писал, пересекая мысли торопливыми строчками в широких пробелах, и понимал, что ничего не получилось; но из упрямства прятал в подписанный конверт холодный глянцеви́тый лист, похожий на утренний вид из окна его детской: безлюдной улицей прочерченный лист снега. Никак не получалось преодолеть решительность напасти реального, настоящего «в о т», пошедшего прямыми дорогами слов: «Здравствуй мама. У меня все в порядке...» — и проведать тропинки в затерянный мир, где соприкасались висками у просвеченных окон таинственные существа: ребенок и женщина, очень похожие, — видно, родные. Ощупать их знакомые черты в бессилии невспоминающего взгляда: кривыми спицами двух рек, бугристая, вывезана полоска земли — это дальше рождения промахивалась память. Вырастая, шумели деревья, и в мельтешащем ускорении достраивались города, и стянувшие мир узловатые тени настигли узанное время: купчихи в дубленых или каракулевых тулупах, извозчики, фонари, рестораны... Или профессиональная память историка тайно мешается с собственной, человеческой? Вот это откуда: в русском танце насмешливая присядка и особая нерешительность уходящих — только глядя, как это делают рядом другие, каждый плавно скрывается за портьерой — и там уже по голосам встречавшихся людей он мог искать дорогу к дому, где она его ждала... Но снова нечувствительное место: точка встречи, которой не восстановить, — и мать приподнималась, окруженная солнечной пустотой, чтобы идти в жилую комнату воспоминаний... Нет, стоп, туда он тоже мог взглядеться — увидеть, как она животом обносила нестигаемые торшеры, под которыми в стопочках спали журналы, — она всегда читала, когда чего-нибудь ждала; как окончился срок ожидания резкими листьями на кончиках веток — он родился весной.

Теперь он был, и дальше было проще: исхудавшая кошка грызла рыбную косточку, из-под веника выкатился бочонок лото, сумрак, завернутый в штору, шуршал от форточного ветра, когда пыльные крыши уже были выколочены дождями, и она говорила, склоняясь, «агу», улыбаясь и повода подбродком. Здесь, отогнав от глаз младенческую муть, он видел фанерки, скрепившиеся в паркет, и сверканьем зеркальца из-за ее плеча начинавшийся день: еле слышно звенел в туалете о пол речной песок, ссыпаясь с поднятой одежды, открытая сахарница разглядывала потолок, мелькнула розовая глотка зевнувшей кошки, — и лукаво устроенная темнота прочеркнула все это общим знаком печали, где годы — будто по ролям прочитанные диалоги, в которых он, не понимая, обучался истории и этнографии собственной жизни. Но вот незабываемый ориентир, хранимый в уголке разросшегося тела, вот его тайный навигатор: повсюду ширились и высились предметы, которых не удерживает время, поэтому их облика не воссоздать, но через их тонкие стенки она и он могли друг друга слышать за далью, тронувшейся с ветром в этом холоде временных завихрений, заваленных обломками его разобранных и сломанных попыток построить эту собственную жизнь, которые смешались с обломками игрушек, страдавших тогда от младенческого любопытства.

Он был уже давно. Он сидел на ковре среди ярких обломков, отдыхал с непривычки к работающему сознанию, пока опять не начал слышать одними линиями интонаций намеченные разговоры женщин, уютно собиравшихся на кухне: одна спросила, другая ответила, а третья засмеялась — с ветром стравленные голоса доносились кусками, и сердитые птицы наступающей осени заглушали их криками в форточку, но и слышалось что-то еще, свыше высказанное без слов, — может, время шевелило провисшие платья в тонкостенном шкафу, и мать прошла мимо его кровати легкими молодыми шагами... Он смотрел

в просвечивающий сквозь темноту потолок, помечая сознанием эту залитую своим собственным светом часть комнаты, срезанную шифоньерным углом, — что потом видела она, переживая свою жизнь за этим же углом на стуле.

Он был уже очень давно и смотрел на большие часы, привычно обремененный собой среди новых игрушек, которые старели за минуты, сзади трогавшие за локоть. Оглядываясь, видел облачные яблони кладбищенского сада или ветви с пожухлой, выжидающей ветра листвой перед окнами комнат; но чаще — обесцвеченную даль с по-зимнему безгрешным небом, не входящим в подробности человеческих судеб, где опекало заблудившихся детей отзывчивое эхо, заставляя прислушиваться к голосам. По интонациям несло что-то грустное, сладко-ритмичное — приблизительно, без утверждений. Не в силах ничего понять, он отходил от чайного стола с досадой обманутого внимания, отбиваясь от тянущих в объятия рук. Каким-нибудь тихим занятием сокращая свой день, еще с мгновенным огорчением вспоминал голоса, при нем обидно переходившие на шепот, не разделяя своего молчания с ней, занятой вязанием. Она вывязывала новый непогожий день: горело электричество с утра, а форточка, как несгибаемый флажок, вертелась на петле, и сами собой открывались журналы — пока только на странице загадок. Она укладывала что-нибудь в шурушание бумаги, улыбкой находя его глаза, и толсто, жарко одевала, когда уже нельзя было сопротивляться. Почему он так помнил слепящую темень, освещенную открываемой дверью подъезда? И придавленный палец — связанный под горлом ярким шарфом, он шел, изо всех сил выпрастывая шею, разглядывая люстры в высоких освещенных окнах, а она еще дула ему на придавленный палец, когда все прошло бы и так.

Помнил воду, отравленную отражением кладбища. Отяжелевший от грузного неба октябрь, оранжевые, с горьким запахом цветы на низких крепких стеблях — и ее упрекающий взгляд: этот сорванный им с могилы цветок понимала как первое обращение к миру, что будет продолжаться в разрушительном развитии. А его занимали костры, зыбким светом наполнявшие парк. Он бродил среди осеннего всеожжения; цеплялась за ноги земля, нарастая второй неподъемной подошвой, — и это были уже не шаги, не кладбищенский парк и не близкий закат, а он сам: спутанный ком ощущений, пузырек воздуха-жизни, который теперь прорывался в материнскую ширь из топкой и шаткой глубины давней прожитой жизни, которую нужно вспомнить прежде, чем поднять глаза: неловко повернувшись в неудобной одежде, бросить ворох собранных листьев в огонь.

После кладбища, видя ее с просветленным лицом, он пересказывал минутное веселье кому-то попутному, вбегая в электричку, а она замирала в тамбуре к нему спиной, поглаживая пальцем солнце на стекле. И, преодолевая детское безвременье, вдруг что-то понимал, глядя на покотившиеся в окнах волны тихой выставочной красоты, подсвеченной тоскливым солнцем из-под облачной плиты. Смотрел, вставая на цыпочки, головой отжимая ее локоть, — а солнце истекало красным светом; и вот-вот он что-то должен был себе сказать — но разжималось сознание, как слабый детский кулачок, что долго сжатым быть не может: секунды движения доживал серебристый слепой мотылек под его приготовленными пальцами. Кошачьей рысью пробегала улица мимо трамвайного окна, и светом брызгали в глаза витрины среди фосфоресцирующих луж. В подъезде вдруг перегорали лампы и оглушала сплавленная с темнотой тишина — набирал воздуха и пробегал, выдохнув только между сдвинутых штор, где все рассеивалось в зыбкость никакими реалиями не обусловленной памяти, в которой «тихо» и «темно» уходят глубже собственных значений, — туда, где спокойная жизнь с ровным тоном договорится до признаний, без которых смешинки и шипящие суффиксы, что умаляют имена, простаивают где-нибудь в коробке с давно не ношенными запонками, брошками, серьгами.

На ее свете больше не было таких вещей, а лишь их мощи хранились в маленьких картонных саркофагах, и в числах запутанной жизни являлось



подложное время, которое было нелегко изгнать. В от тяжесть все труднее передвигаемого тела, удобно переложенного складками одежды, — а в он все остальное, что, кажется, и ни к чему: мгновенный лист на узкополой шляпке, по шторам в темноте стекавший блеск... Темноту не любила, хотя это было не важно. Ей даже нравилось, что все не важно. Назло этой обыденной правде она носила дома броские наряды, которые мелкими петлями вязала сама, и в них сидела, когда мальчик уже спал, перед зеркалом в темноте. Там отражался выход, который все, что есть, в себе прячет — не быть. Блик телесного цвета очерчивал висок и скулу, красноватый по платью — плечо. Она была. Но если кто-то есть, для него сразу что-то становится необходимым. Свет, тепло, ощущение сытости — и еще что-то, гораздо сложнее, что остается несформулированной претензией в саднящей глубине и тянется к несуществующим вещам за помощью от боли. Она пыталась вспомнить, злилась ли на подругу и мужа. Их слишком скоро не стало, так она была странно, чрезмерно отомщена — да нет, не злилась, понимала, что пошлость надо предоставлять самой себе, и что вся жизнь — набор расхожих ситуаций. И, видимо, такой ее и нужно было полюбить — не понимая, не оценивая и не рассуждая, — а у нее не получалось: всегда до стога, до оскомины ломило скулы от любых сюжетов, и усмешка въелась теперь в щеки бороздками до подбородка. И сыну, кажется, передалась эта невнятная гордыня, которой не прощает жизнь.

Она не задумывалась о том, любила ли она Илью, любил ли он ее — здесь было бы легко впасть в мелодраматичность, а это одиноком не идет. Вспоминала, как познакомилась с ним на кавказском курорте: лежали рядом на горячих камнях, а чайки одурело кричали, раскружившись под небом. Неделя в сентябре, которая попала в ее отпуск, заставила и его задержаться. Потом снимали комнату в поселке, в доме седой яркоглазой гречанки, продававшей гранаты и сливы на берегу по утрам. Илья грыз гранаты вместе с терпкими желтыми пленками, разделявшими их изнутри на доли; потом решил, что и корки, наверно, полезны, — он был химик-технолог и часто смешил ее поисками прямой логики в самых различных явлениях. Посмеивался этому и сам: профессиональная деформация личности. Но тогда у него зубной камень отпал от зубов, и он стал есть гранаты только с кожухами, а покупая, однажды сказал гречанке про их чудесное свойство. Стоявшая рядом в торговом ряду молодая смуглянка кивала, гречанка удивленно повернулась к ней: ты знала? И, взвешивая им обычный килограмм, сокрушенно ворчала, покачивая головой: ай-вай-вай, русский знает, молодуха знает, а я не знаю!

Вечера обрывались мгновенно, к чему северянам никогда не привыкнуть, — бродили, не спали. В последние августовские вечера звезды вязли в листве, западавшей в открытые окна, — ночи душные, без комаров; дома стояли нараспашку, худые злощие собаки полаивали на курортных лунатиков. А первого сентября шел школьный дождь, прямо по расписанию, и черненькие белозубые дети в белых кофточках звонко бежали по улочкам после уроков — в дни до отъезда почти не выходили из дома, смотрели в окно. Гречанка, возвращаясь с рынка, показывала их в окне смеющимся соседкам, ведя вишневыми глазами, качая головой: боятся шторма! Ночами ветер утихал, они гуляли по поселку. С глазами, преодолевающими сон, шли через громыхливый дискотечный зал не подчинявшимся музыке шагом, жались друг к другу на дорожке до дома, а в комнате отброшенное с одеялом шерстяное тепло летело на пол — своего хватало.

Все это по инерции продолжилось в Москве, где уже были долгие дожди, подсвеченные листопадом. Это шла их короткая общая жизнь, нацеживая лужу блеска в углубление стула под утро, когда не удавалось уснуть после ссоры. Это горький, смысленный, злорадный октябрь, усмехаясь, вгляделся черными вороньими глазами в их окно, и теперь надо было пройти незаметно через светлую память, чтобы скрыть ту оскомину: как теперь там красиво с деформацией от прошедшего времени! Красоту оскорблять не хотелось. Пожалуй,

это и была ее любовь, которая жила поверх сюжетов: в переплетении ветвей за головой Ильи, когда он прижимал ее спину к стволу терновой сливы, обнимая вместе с деревом и зацеловывая кислыми губами; в ритме камешков, которые она любила захватить в ладонь у самой кромки моря, — попадались и галька, и гравий, и мелкие раковинки; в... Прежде чем вспоминать, она широко открывала глаза, ища той красоты перед собой. В о н — рассветное солнце младенчески просится на руки — и в о т его свет вдруг упал и разбился, ушел в трещины кожи, и все стало искриться вокруг стемневшей жизни в осколочном смешении времен.

Бродя среди этих осколков, засматривалась на остатки неба в кофейной гуще темных облаков, удерживая за рукав дитя, что, нагибая голову, по-бычьей боролось с ветром, — и пальцы, замерзая, разжимались; из-за черной спины побежавшего мальчика выпадала луна, расставляя на уличном эскалаторе времени дни, дни и дни, из нескончаемого снега выпутывая очертания прогулок. Она играла с ним в снежки в еловом закуте заснеженного парка, и запах хвои оставался в его теплевших дома волосах. Неуютное время все теснило туда, в распухшие от снега елки, она сжимала его руку, продавливая холод и добираясь до живого — до боли, до движения, тепла. Он вскрикивал и отбегал, и с расстояния непонимающе смотрелся в темноту ее зрачка.

Раздевая его после прогулки, с его лба удивленно откинув цыганской длины достигавшие волосы, однажды заметила, что обостряются черты его лица. Постаравшись не сталкиваться с зеркалами, прошла в кухню, сварила ему ненавистную кашу, положив рядом с тарелкой веселый банан, — не вдоль, а поперек, улыбкой. А изнутри держалась за свою прямую спину — все нормально: подросший ребенок, юморок подоспевших газет, даже этот кофейный осадок за прошедшее время наметенной тоски, где, впервые без умиления посмотрев на него, отвернулась. А потом, как всегда, целовала вертлявую маковку, придавливая к одеялу неслухные руки: надо спать, пора спать. А потом наступали бездонные ночи, сгребая с подоконников свет в бесцветный пасмурный декабрь, вдруг расцветенный новогодними огоньками.

У мальчика была жена, потом другая, которую он увез далеко и потерял там, в дали, где теперь жил. Он привычно писал ей хорошие письма, которые можно было не читать: «Здравствуй мама, у меня все в порядке...» Запятой после «здравствуй» не ставил, она улыбалась, натягивая кожу на висках, и смотрела в прозрачную полироль на деревянные волокна, пока не становилось страшно, и стол не отчуждался от дерева и лака, обнаружив неопрятную россыпь минут вокруг чашки и блюдца, которую нужно скорее стереть мокрой тряпкой. Переводила взгляд в оконную прозрачность — летние сумерки, двор с фигурками мальчиков, будто расставленными для игры, крики стрижей и детей в общей гулкости вечера — узнавая знакомое по облегчению, отряхивала пальцы, включала комнатный вечерний свет.

Она была еще на том курорте с сыном, через два года после смерти Ильи. По странности, которая влечет к местам, что ярко помнятся, она туда вернулась, а зачем? Такой спокойной и понурой, что гречанка, которая ничуть не изменилась, малышка узнала раньше, чем ее, он ведь «вилитый» папа — грубоватый акцент... Сказала, что комнату уже сдала, и отвела к соседке. В поселке ничего не изменилось, но она его не узнавала. Ничего не хотелось — ни абрикоса, ни граната. Не хотелось делать маникюр и следить за прической, и даже осанку она отпустила — шла в шлепанцах и длинной развевающейся юбке до самого большого валуна на берегу; ссутулившись, сидела, вслушиваясь в волны, покрываясь чепрачным загаром в полосках от майки. Штормило почти каждый день, и это было для нее хорошо — проветривало всю ее насквозь, а вот мальчик болел: грелся в кухонной духоте и почти не купался. Вечера пресекались падением солнца за волны, она выходила в абрикосовый сад, что

шумел над просвеченным домиком, шагах в пяти от порога все сливалось в одну темноту и помешивалось ветром. Шуршал и копошился мир, выпавший из постановочной красоты в будничную достоверность, где не было больше беды, как и счастья, а только вещества и существа — как соль и сахар в одинаковых баночках на столе у хозяйки, как она и ее подрастающее дитя, готовое принять неброский облик, в каком придется жить среди понурых, озабоченных мужчин, среди женщин с негромкой, всепонимающей сутью — в лучшем, обыденном, неэксцентрическом случае.

В нем снова что-то изменилось: он перестал шуметь. Он вслушивался в окружающие звуки, пока его внимание и их не разводило, как поверхность; тогда он слышал тишину. В тишине проступали стволы с нахлобучками мелкой курчавой листвы, и чувства утомляла странность, и блестящие толстые сливы катились по столу, что дальним концом потерялся из виду. Он сидел у окна с перевязанным горлом и видел рядом далекие на самом деле друг от друга — это он понимал — облака, о которых потом не расскажешь, не вспомнишь — и это он уже понимал; а то бродил по дому с белеными стенами, вдруг упираясь в ситцевый хозяйкин фартук, — она протягивала теплый пирожок с алычой, его было кисло-сладко жевать и больно проглатывать. В пространство между стулом и столом вдвигал колени, нюхал тошнотворный дымок, капризно ковыряя вилкой кашу, и злился, что она грустит, и делал глупости, с которыми она легко справлялась: вдруг вызвал грубую, неудержимую рвоту глоток чего-то из чьей-то рюмки, она все молча убрала под причитания хозяйки. В короткий ясный вечер стихало море, а ночью шумело опять, и нельзя было спать. Он однажды прокрался за ней в шумный сад и не мог ее там отыскать, получил по плечу чем-то круглым, тяжелым и мокрым — абрикос или слива — испугался, хотел закричать и увидел: от спины уже не отстающая тень откинута светом пронесшегося автомобиля. Он ярко эту вспышку помнил — и как незнакомо она обернулась в красной майке, в цветной разлетающейся юбке-пояске, с развеянными волосами. И новым ее обликом помеченное время осталось автономным островком, куда он тайно возвращался, когда изменились вокруг голоса: солидно разговаривали дети, предлагая у них что-нибудь купить... Из рукава проросшей кистью тянулся к кипарисовой шишке, шипастой, как подводная мина, покрытой голубой пахучей пылью, — и отдергивал руку, усваивая правила игры, в которой рисовали на стенах темнотой очиненные автомобильные фары и без всякой причины случалась зима: ночь по ветвям обходит снег — он белый, белый. Он белый серым утром в красноватых прожилках, где кончик ее носа касается холодом щек, они идут по парку, и безгрудые зимние женщины в круглых пальто стоят у скамеек, скрестив руки, и думают о своем. Она ведет его, наверно, в первый класс, тени снег промакнул, но фигуры их черные, тяжкие и не взлетают даже без теней. Очнувшись от тяжести, вырвал замерзшую руку — а она вдруг упала спиной в сугроб. Он испугался и заплакал, она смеялась и отряхивала шубу; но он теперь боялся, что она снова упадет, и жаловался из кровати на разболевшееся горло, блуждая глазами в узорах ковра и выходя на потолочный свет. И был спасен тем повседневным чудом, где над ним в темноте наклонялось ее почти невидное лицо, охраняя до самого сна, а потом до утра, где он не открывал глаза, пока она не приходила; и так лежал, приятно потерявшись внутри себя, не понимая, где он и когда, и на что-то знакомое прежде рождения отвечая улыбкой.

Эта в память устремленная тишь и потом находила его по утрам, и он мгновение не знал, кого увидит над собой, открыв глаза. Смотрел, успокаиваясь, в потолок. Перебирался за письменный стол; надрывая конверты, вновь принимался за оконченные письма. Но нужно было отвечать на ближний зов: толкнуть входную дверь, в которую уперся ветер с обратной стороны, и улыбнуться стоявшему на пороге человеку, а потом повести его в комнаты, где так

живо и кстати стекло подзвякивало шагу. А ветер пронесился сквозь открытые окна уже теплым и летним, сбивая снежинки с вертикали падения, они вдруг обретали самостоятельность движения — то была мошкара, что кружила под туей на спуске с горы, где он сидел рядом с Лизой, невестой, своей первой женой, и мутно-синий горизонт был выше головы, и ветер, расталкивая мошкару, начинал все с начала, обрушивая снег на головы и плечи — и что-то записывалось на обороте души, доходя до бессмысленно-детского страха, который столкнет ее с самой восторженной солнечной ноты, — потому ли, что чувства по-собачьи отвечают на зов ярким всплеском и снова обращаются в себя, мельчая, а будничная непродуманность простых движений тайно путает замыслы, умыслы и предассудки.

Он познакомился с ней в институте, когда на лекцию не явился профессор Челпанов — жеманный сноб, тончайший иронист. Минут пятнадцать его ждали, шумели вразнобой — и тут вошла она, спросила, тот ли это курс и того ли профессора здесь ожидают. Представилась как аспирантка из университета и стала читать постороннюю лекцию — о том, над чем работала в аспирантуре; а впрочем, коротко, ненадоедливо, хотя и заштампованно в речи, — ну точно школьная учительница откуда-нибудь в Сибири. Ей было тридцать, может, меньше, на ней была прямая правильная юбка и пушистая кофта с недостаточным вырезом, ее круглая шея на постаменте груди напоминала об ионическом ордере, а темная челка смешила и умиляла, косо лежа на бровях, словно птичье крыло. Она старательно читала, с непривычки чуть переминаясь за кафедрой, у нее было прямоугольное лицо с глубокими ямочками на щеках и толстоватые пальцы без маникюра. Он не влюбился бы в эту учительницу, если бы Сашка Лазуткин ее не обидел, когда она предложила задавать ей вопросы. Сашка спросил, откуда она. Мучительно смутившись, обиженно съязвила: хороший, мол, вопрос по теме; потом сказала, что издалека, а Сашка: ясно, что издалека, но откуда? Она гневно нахмурилась и была уже школьницей, а не учительницей, и он не мог за нее не вступить, сказав, что Сашка ищет земляков, — пусть не думает, что снобы-москвичи смеются над провинциалкой... Она успокоилась и предложила прочитать экзаменационные вопросы, как велел ей профессор; обезвреженный было Лазуткин предложил ей отдать их ему, чтобы он их разложил в деканате на ксероксе, но она настояла на послушании профессору и читала, стараясь верно ставить ударения на незнакомых именах. Подняла голову и извинилась, сказав, что имена у них «кудрявые» — захотела блеснуть необычным эпитетом. Он смотрел на ее ямочки и мучился от ее незащитности. Лазуткин тихо удивился, что у такого артистичного профессора такие тупенькие аспирантки, а он пошел за ней, спустился по ступенькам, не соображая, что ушел с последних предэкзаменационных лекций. В гроыхливым вагоне метро, в полдень полупустом, сел рядом с ней, сначала неприятно удивленной, и что-то, улыбаясь, говорил, а она расслабляла напряженную шею, чуть поворачиваясь к нему.

Потом он обидел и бросил ее, влюбившись в Алину, потому что Лиза была старательной, серьезной, скучноватой — и действительно тупенькой, Сашка был прав. И нравилась ему до боли только когда улыбалась или обижалась. Развеселить ее было делом нелегким, обижать ее часто он просто не мог (однажды, напоследок, сильно). А потом долго не получалось забыть, как, ссутулясь, сидела она на кровати, пока он собирался с вещами, и с силами, и со стыдом...

Тем летом он, уже провидя перспективу этой неотвратимой женитьбы, иначе с Лизой нельзя было теперь поступить, в отчаянье привез ее на тот курорт, где был зачат в короткий месяц родительского счастья и где был потом с матерью лет в шесть, может, восемь. И неожиданно здесь полегчало — было радостно и непривычно ощущение своего тела другим: соленым от морской воды, в нарядной атласной коже. Они поставили большую синюю палатку на горке над водой, ходили за хлебом в поселок, брали воду в ручье, а кашу и суп из

пакетов неприхотливая Лиза готовила на костре у палатки, который он ей разводил, набрав на берегу белых, обглоданных голодным зимним морем древесных костей. Спать в палатке было жестковато, но Лиза не жаловалась. Она была сухой и гладкой, как голыш на пляже, и такой же горячей. Он скользил в ее пальцах, изнутри наблюдая за ней и собой: другой ласки ей не было нужно, и он был благодарен ей за это. Однажды утром, выскребая подбородок перед Лизиним зеркальцем, смеясь в свои глаза, он вдруг спросил помянутого всуе Бога, что же будет дальше. А вечером, уже не разбирая, что понимал, а что воображал, — они гуляли вверх и вниз по склону в кривоватых соснах, и тишину иногда нарушало шуршание автомобильных шин с дороги, закатившейся за ежевику и шиповник, — он зажмурился и обошел это крохотное, незапамятное, почти выдуманное место, так настойчиво его окружившее, семимильными сказочными шагами, обмеряя сравнительной вечностью собственной жизни его нечеткие границы, ясностью внутреннего солнца находя уклончивые те тропинки, что прошлого в лицо не узнают. А настоящее? Где оно? В о т — обесцвеченная снегом тишина и шашечно приподнятые скверы; он смотрит на оборванные почки в своей большой руке, удивляясь подбежавшим секундам, хватательной судороге, что не смог за всю жизнь побороть, что теперь оборачивалась неотступным стыдом — сильным, жгучим.

Когда ушла Алина, он вдруг понял, что красоту нельзя схватить рукой, присвоить — она не может никому принадлежать, поэтому несовместима с тем покоем, который человек понимает как счастье своей повседневности. Хорошая, любимая Алина ни в чем не виновата — он усмехался, вспоминая, что древние греки не винули Елену, которая строила каверзы и любила Париса, бросив мужа и дочь, а потом преспокойно доживала свой век с Менелаем — и этот ничуть на нее не сердился. В нее боги вселялись, что она могла сделать? Алина тоже жрица божества, которого сама не понимает. И он не понимал, хватая и крутя на палец ее взлетающие пряди, манящие открытой рыжиной. С ней он поехал на другой курорт, в другой поселок — итальянский. Они жили в белой гостинице, одной из многих, невысоких, причудливо фигурных, с заросшими яркой геранью балконами, — внутри таких кубичных домиков мерещатся уют и закутки, но там были прямые коридоры с белыми дверями. И комната с просторным душем и жалюзи, взлетающими от случайного прикосновения к шнурку, концом свернувшегося на кровати. Он отворачивал за уголки замысловатый Алинин купальник, открывая участки белоснежного тела, что никогда не ощущали солнца. Жуя мороженое, пищу, цветные макароны в пластмассовых тарелках, они бродили вечерами среди разноязыких иностранцев мимо неоновых кафе и бесконечных прилавков с бестолковыми ворохами безделушек, купальников, летней одежды, ремней и сандалий, — ровно в полночь прилавки снимали свои легкие крыши, в пять минут исчезали непонятно куда, и назад до гостиницы они шли в темноте, тишине. Дышало море за решеткой пляжа, который на ночь запирали, а утром, когда на коротких дорожках сходились купальщики, появлялся там юноша с граблями и разравнивал изрытый следами песок. Алина любила ползать вокруг шезлонга, выкапывать ракушки из песка. Он тоже набирал волнистых гребешков, покрупнее и поцелее, ее руками: лениво распластавшись по складной деревяшке, просил ее достать вон тот, вот этот. Чаше оказывалось, что граница невидимой части, зарытой в песок, — это линия слома, а раковина — черепок. Голова перекатывалась, взгляд упирался в небо, и на секунду чувственного ослепления пропадали приставленные к небу свет и гомон. Будил любимый голосок. Однажды Алина, закопавшись в песок, объясняла бритоголовому оскаленному немцу с соседнего шезлонга разницу между словами «в о н» и «в о т» — он изучил недавно русский; парнишка с граблями топтался рядом и ждал, когда синьора натешится. Иногда подходили кубинские негры, предлагая купить поясные ремни из толстой свиной кожи, по-секундно сбавляя начальную цену, смотрели прямо и без выражения, и это было

неприятно; отказывать надоедало, Алина отворачивалась, а он давно уже смотрел в слишком синее, слишком соленое море; как вдруг Алина засмеялась: исчезнувшие продавцы стащили ее купальный лифчик флуоресцентной расцветки, который сушился на спинке шезлонга. Смеясь, она слабела, искала опоры, и было наслаждением поймать в ладонь ее увертливую спину.

Она хотела быть его женой и сделала для этого все, что могла: поехала с ним на край света, где ему предложили работу, родила ему дочь — свою копию. Болтливую, легонькую, белокурую, с такими бессмысленными глазами, что смотрит и, кажется, не узнает. И их обеих унесла стихия, которой никому не побороть, — назад, в столицу, не место красоткам в провинции. А потом через море, в другую столицу, другую страну. Теперь она замужем за знаменитым в Канаде тяжелоатлетом, но она бросит и его. Бог с ней. Ее бог, который вдруг ее оставит, чтобы она стала человеком, если успеет. А с ним творилось что-то непонятное: стало стыдно тянуться к тому, что желанно. Он отворачивался от женщин, как только они начинали притягивать. Он скорбел над тарелкой с любимой едой, и это было самому смешно. Тарелка благополучно пустела, но та минута горького раздумья рифмовалась с другой, и третьей, и четвертой. Он не решался описывать в письмах странные новшества в самочувствии и не умел их себе объяснить. Залитые темнотой глаза открывал до рассвета, преследуя слухом семенящие ходики, и слушал ночь, где под окном шевелилась ветром посеянная трава и кто-то у матери в комнате читал забытые стихи с лунно-черных пластинок без жизни оставшимся голосом.

Он жил теперь убористой жизнью привыкшего к одному себе холостяка, окружив себя надежными спокойными вещами и прочной тишиной — где, впрочем, были собственные звуки: жужжание мухи, не умеющей процарапать стекло и пробить его лбом, поступь ходиков, мучающая метричностью... Днем в институте было шумно и тесно, студенты гацали по этажам, толпились на лестничных клетках, потом набивались к нему в полутемную аудиторию и шумно дышали, ожидая начала, а под конец уже не слушали, переговаривались, отдыхали — все было ясно на сегодня. На кафедре его поила чаем молоденькая лаборантка, любовница коллеги-жизнелюба: Ермилов полулежал обычно в кресле у окна, свернув шею о спинку, расслабленно курил и добродушно наблюдал, что происходит за округлым горизонтом его приподнятого живота, а девочка заученно вертела флажок на электрической подделке под тульский самовар, всех обнося дымящейся посудой. По дороге домой заходил в магазин, покупал там копеечную еду, иногда чай и сахар, если кончались, — ничего больше ему не было нужно. Оставшиеся от зарплаты деньги он складывал в ящик стола на поездку в столицу с алчным намерением скупить там все книги во всех магазинах.

Приезжал рано утром на Курский или поздно вечером на Казанский, последний раз — вечером. Бродил с огромным легким чемоданом, дышал — от звуков вздрагивавший ночной воздух — и представлял, как выглядел тремя часами раньше берег Москвы-реки: собачники и велосипедисты в спортивных костюмах, нарядные грустные женщины, топотливые дети. Фонари, утонувшие в мошкаре, и огнями записанная на воде бесконечность, непонятно поверженная к мелочам... Он будил мать ритмичным звонком рано утром, она открывала, смотрела испуганно, медленно разводя руки для объятий. Он брал ее, маленькую, на руки, зацеловывал мокрые щеки, заглаживал складчатый лоб — замереть бы вот так и не поддаваться, а потом вдруг вскочить и смести обступающий мрак классическим детским сбегаем с лестницы. Отоспавшись, шел в парк и терялся в безвременье, воочию припоминая скамейки, елки, закоулки; а в последний приезд вдруг нашел это все незнакомым — неудачно окрашенным, что ли. Выбираясь из парка, бродил по Москве, покупая вожделенные книги, навещая друзей: у Лазуткина фирма, последняя «вольво» и третий ребенок, а молчаливый Паша Лошманов неожиданно и эксцентрично умер — попал в Сочи под катер; опьяневший Лазуткин рассказывал это со

смехом, смакуя детали: что куда отлетело и как собирали, вдруг спохватился и молча грустил, пока беседа не вырuling на накатанное.

Он уезжал из Москвы к сентябрю, сидел в поезде от рассвета до сумерек, отстраняясь от накопленной грусти и собирая пейзажи в гербарий нескончаемой памяти. Потом шел к дому через пыльный теплый город, еще не заготовивший к осени сиреневатых облаков, очень четко обведенных по контуру темной дневной синевой; и в этот раз над головой цвела мягкая голубизна, а на площади перед кинотеатром голуби ели разбитый астраханский арбуз, отбегая на несколько семяющих шажков после каждого клевка, но всякий раз смущенно возвращаясь. А через несколько недель являлись эта синева, и эти облака, и сам октябрь. Читая древнюю историю новым студентам, еще совсем глупеньким, шумным и невнимательным, он останавливал речь, дожидаясь, пока они опознают мотив тишины, и пугал их зловещей улыбкой, когда это случалось. Дома алчно прочитывал новые книги, забираясь в такую даль гипотетических времен, что казался себе недостаточно взрослым, закономерно возвращаясь к «в о т» от «в о н».

Вот ночь — отлив изображений от окна, и вот они уже тихонько приливают. Перебрал припыленные осенние шляпы и вышел в предутреннюю мягкость фланелевого мрака, неся письмо до близкого угла, где был почтовый ящик. Холод покалывал ноздри, по шее затекал за воротник, на спину, — пока он сидел во дворе на заниженной детской скамейке в оцепенелой задумчивости. Очнулся, краешком сознания отметив нелогичную точку тепла на бедре. Тощий черный котенок-подросток кругло горбился рядом, прикасаясь к нему теплым боком. Потом смотрел на ту скамейку из окна, рассеивая сумрак перенапряженным взглядом: давно уже, не понимая, принимал страх безусловно, как зимнюю боль, туго запертую между ребер. Луна спустилась с верхней перекладины оконной рамы, заглянула в глаза — ярко, прямо, с правом мучить несправедные души, не нашедшие, кому себя отдать. Взял в руки задремавшего в выемке стула котенка, положил на колени. Котенок вздохнул, с закрытыми глазами поискал, куда поставить подбородок, и вытянулся в углублении между колен.

Она стала часто вспоминать Виолетту. Вета была поэтессой, писала странные, печальные стихи, которые и на стихи-то были не похожи, но все-таки очень хорошие. Пусть небрежная рифма и хаотичный ритм, но от них в воздухе оставалась высокая, очень точно пропетая ногга тоски... Читала гибким голосом, с недекламаторской, какой-то просительной интонацией, и это было точным и необходимым завершением их женских посиделок, поэтому о ней вспоминали всегда, собираясь все реже. Пока читала, глаза слушавших женщин становились подвижными, скользкими, влажными, и дышалось иначе. Замолчав, улыбалась сквозь рюмочное стекло, передразнивавшее улыбку ее доброты, никому не принесшей желанного счастья. Так и помнилась линией тени, обнимающей локоть, беспокойством оглядок на слепую луну, что зависала в окне за ее головой; течением голоса мимо слов и их определенного смысла и точечной прощальной тишиной — обрывалось мгновение общего сна: серебристая бабочка постучала в окно, разбудив. Эта память прозрачно накатывала и волнилась поверх ровных, как пляжные гольши, фотографических улыбок. Вета была нужнее всех. Что привлекало Вету к ней, она не понимала; единственное, чем она могла ответить на ее стихи, была игра на старой семиструнной, с которой она в детстве ходила в музыкальную школу, нося ее в черном чехле за спиной. Вета ложилась на скользкий диван, носом в угол, щекой на подушку, когда она нащипывала Боккерини и Скарлатти. А ей была необходима Вета с ее голосом, с ее дыханием, с ее стихами. Она промывала внутреннюю затхлость каким-то забытым языческим ветром, она будто молилась всему в отдельности, что есть на свете и что обычно входит в жизнь не разбираемой на мелочи купой. Есть слово «купе» — видимо, вот так. Вета вела ее по закоулочной Москве,

показывая «дом с леопардами» — причудливыми зверьми в глубоких темных нишах, из которых они фрагментарно выблискивались серой выпуклой гладкостью; или «лестницу в небо» — подъем не завершался ни стенкой, ни площадкой — верхним срезом короткого каменного псевдозабора. Она нашла в глубине чинного парадного квартала недоснесенный дом с единственной стеной, где в глазнице окна сидел кот, свесив хвост; со ступенчатым по слову кладки остатком угла, к которому изнутри привалилась прогнувшая кипа одежды: рукава и штанины сырым неразъемным клубком, пиджачные полы и вата пальтовых подкладок. А однажды они целый вечер сидели на верхнем этаже спиной к стеклу в окне какого-то подъезда с лепниной возле потолка, обрушенной участками, и гулко напевали, внезапно обрывая мотивы и слушая эхо.

Еще была Таня, она очень любила какие угодно стихи и своего мужа Никиту, их сочинявшего когда-то. Никита купил ей квартиру, а сам жил с Людмилой, которая теперь исчезла из их круга. Еще Валя, их с Ветой институтская подруга, которую никто никогда не любил. Она и слишком некрасивой не была, Бог знает, почему никто. Просто она была неприложима к свиданиям и поцелуям — Бог знает, почему. А Вету любили, хотела она этого или нет. Когда всем было уже больше тридцати, произошел несчастный случай Валиного замужества, после того как Вета уговорила ее сесть в один вагон метро с калекой Алексеем, который был в Вету влюблен, которого она жалела, но эту тяжкую для нее связь ей надо было прекратить. Валя долго отказывалась — привыкла жить своей судьбой — и все же согласилась. И чудо — злобный одноногий Алексей ей полюбился и стал мужем, но через два года — поставил такое условие. Сначала он хотел забыть о Виолетте. Он кричал и рыдал, когда Валя ему рассказала о Ветиной смерти, — не сразу, боялась. Перед свадьбой он снова поставил условие: без детей. Но, забеременев, она его уговорила: надо. Родилась Алексина. Однажды вернувшись из магазина, Валя нашла дочку при смерти — Алексей уронил. Скоро он с Валею развелся. Девочку выхаживали, но она не выздоровела. Отрешенная, худенькая, она ходила в спецшколу, держа Валю за руку и опустив глаза; когда Валя с ней разговаривала, Аля плакала и отворачивалась. Значит, она тоже Валю не любила.

Воспоминания о Вете сворачивали к судьбам других подруг, которые приходили все реже, а все вместе — с каких-то пор никогда. Вспоминалось, как собственная жизнь напевалась на ритм повседневной ходьбы, который изредка перебивался — и в зашторенном комнатном мраке хрусталем освещенные чьи-нибудь пальцы сжимали запястье, и ничего не нужно было разъяснять и оправдывать: так просто «проходила жизнь» — в безвременную пустоту летела с маятника мерная капель... Ей нравилось давать словам определения. Как Вете нравилось их игнорировать в своих стихах, где смыслом слова был его звук, который исчезал, и было жалко, что у слова такая мгновенная, хоть и чудесная, жизнь. А вот она любила рассуждать, не сожалея. Сидела вечерами в сумерках, до темноты, пила чай из стакана в подстаканнике с ажурной сканью из переплетенных иксов — Ветин подарок. «Пусть икс упрямых мельниц...»\* Нет, этих стихов не запомнить, можно лишь разволноваться такими же волнами, какие перекачивают все эти слова, — и в такт сердцебиению заколыхались медузы ваз в аквариуме старого серванта. Когда они там завелись? Вещи откуда-то являлись, и их нужно было усыновить, перетирая мягкой ветошкой, чтобы не пылились.

Смешила Лиза — присылала из Абакана, куда уехала к родителям, практичные подарки, которые, хоть и встречались усмешкой, приходились вдруг впору, и она не замечала, как начинала носить теплый халат или пушистые тапочки. С улыбкой вспоминала нелепейшую пару: своего взбалмошного сына

\* Строчка из стихотворения Марии Кильдибековой.



и Лизу, с которой у нее получилось наладить дружественное общение на языке вещей. Первое, что она ей подарила, был крем от морщин; Лиза удивленно выслушала, что его нужно вечером втирать под глаза, и простодушно ответила: все равно постарею. Она покупала своей скромной невестке красивые юбки и модные кофточки; и та, казалось, до сих пор старалась отдариться: никак не могла позабыть дня рождения бывшей свекрови, который никогда не отмечался застольями, но к этому дню непременно приходили посылка от Лизы и открытка от сына. Дарили вещи и подруги, и мужчины, и сын, время от времени приезжавший в Москву, и тогда в гардеробе стоял чемодан, сначала легкий, потом неподъемный от накупленных книг — мальчик преподавал историю в провинциальном вузе. А у нее не получалось вообразить его за кафедрой: он будто и не изменился, был круглоглазый и веселый, только слишком большой и немножко седой. Но обнять и присвоить его теперь было нельзя — он, приезжая, на пороге поднимал ее на руки, как когда-то Илья, и это было странно, страшно, кружилась голова — как в детстве от качелей, на которых давно накачалась, но никак не могла их остановить. Днями он пропадал, вечерами являлся с тяжелой сумкой, из которой доставал бананы и вино — то, которое она не нашла в магазине, когда поминала живого Илью. Она вздрагивала, доставала хрусталь и не решалась спросить: он любит мукузани или помнит? Могла расспрашивать его о жизни там, где она никогда не была, — он что-нибудь рассказывал, чего нельзя было представить, не увидев — так каждый вечер до отъезда. Уезжал, и она снова оставалась в окружении вещей, определяя им места, с которых они никогда не сдвигались.

Теперь она их долго, оцепенело вытирала и ставила на место, бессмысленной работой сокращая затянувшуюся жизнь, и все ждала, что из тени законного парка выйдет ее нагулявшийся мальчик с детским лицом, поднимет глаза на просветленное окно, увидит ее расправленные плечи и наплечное кружево первого снега. А в первый же весенний день, не откладывая, выходила на свет, стараясь просветлить и разгладить свое замерзшее лицо, и ходила по улице сна, встречая умерших за этот год соседей, с открытыми, бесцветными после зимы руками, с солнечной скукой перед глазами, сочиняющей что-нибудь длительное и невнятное — вроде пугающе странных переживаний той короткой и неразборчивой жизни, окликающей в сумерках летних дворов голосами детей. И опять примирялся с этим местным повреждением смысла мир, полный избытого времени и грядущих забот, где все срывалось и падало солнце с полудня-гвоздя, и трудно было удержаться на маленьких человечьих ступнях, встретив взгляд темноты, пронизающей синь, стоит только взглянуться. Она вжималась в перекладину оконной рамы, чтобы опять увидеть сына, в начале сентября с тяжелым чемоданом ушедшего по мокрому двору. Иногда ей казалось, что встречала его в октябре, в ветреном парке за сплошным листопадом, — смеясь и обнимаясь, отмахивались от налипших листьев, шли домой, шли, зажмурившись, по коридору в комнату, где ей было легко обнаружить слишком белый свет. Крахмальные утренние подоконники. Запах разогретой пыли от батареи. Скользящим лучом проверяя ножи; выглядывало солнце — да так и забывало зайти за тучу. И, скрипнув снегом, в окнах трогался день, и ветер, будто прибегавший что-нибудь сказать, молчал, насвистывая в щели. Их стало слишком много в оконной раме, провалов тени под кудрями лупящейся краски, — отчетливость, брошенная в глаза, как из трещинок в коже проглянувшая старость.

Сидела в кухне у окна. Держась за стены, переходила в спальню укоризненными шажками, пока солнце втягивало лучи из конца коридора, потом божьей коровкой ползло по руке, слетало с пальца. Ветер отталкивал форточку и сметал потолок, седую прядь притягивало к небу, — вдруг падала в небо спиной, замахнувшись, чтобы бросить снежок; и, проломив подушку головой, смотрела, как издалека, туда, где в ярко освещенной спальне сын садился рядом с ней таким же старцем, держал бессильные ладони на ее опрокинутых

плечах, которых почему-то никак не оторвать от снега, что жарко таял, утекал, заставлял сбрасывать одеяло, — уж лето? Яд проникающей реальности завершал свое действие, и с неподвиженной серьезностью вступал в движение холодный дождь, чей ход окажется последним. Как эхо, отзываясь на детский крик из глубины двора, искала сына где-то под рукой — и улыбалась, смутно чувствуя удачу. Оглядывала в круг поставленные стулья, всех сидевших на них вспоминая с улыбкой, уже неуверенно по утрам пробуждаясь, — всё, что бывало чуть нелепым, привычно попадало в сон: да вот же они, Вета, Валя, Люся, Таня, вот их общий стол и общая еда, и можно с ними сесть, обнять гитару, смотреть на них прямым спокойным взглядом и чувствовать нитки, от ветхости разжимающиеся на швах, и слышать тишину среди их голосов, что превращается в навязчивый мотив. И растворяющее сюжеты беспамятство делало легкой неподъемную душу. Просто мир заболел витилиго, и бесцветные пятна вливались друг в друга, разрастаясь, оставляя ей миг, где она сейчас есть, потом захватывая и его. Вдруг там, где ее уже не было, к коленям прижималась кошка — и вновь она еще была и думала, что это он там пробегает по двору или камни забрасывает за волну — обычное детское.

Умерла она осенью, хоронили подруги, а он с недельным опозданием получил телеграмму от Вали. Он так и звал ее подруг когда-то, с ее голоса, без «тетя»: Валя, Таня. Они дарили ей на праздники томики стихов, а ему в день рождения — «Сказки» в ярких лаковых обложках. И разговаривали с ним неумно, непонятно. Это все, что он вспомнил о них, когда в новогоднюю ночь стоял у окна, зажмурившись, прилипнув лбом к холодному стеклу, и мучился от страха, которого не мог определить, а только найти в себе точку его наибольшего скопления и ощупать. Все меркло, непрочно держалось за блики, и разрасталась темнота, в которой надо отыскать по звуку и побороть причины страха: изменяющие человеческий голос стихотворные ноты и бутафорский день из зимней сказки, где ветром с мира сорвана крыша и снег засыпается в парки, по которым бегут торопливые дети, полозьями санок процарапывая этот фальшивый снег до тормозящего асфальта — скрежет, крики, эхо. Была еще ненужная весна: подбирая клочки белизны, проходила сквозь город, оживляемый жестами памятников, и у земли курилось тонкое тепло с распадом льда на пар и воду. Потом лето: в июле он почти не выходил из дома, много коротко спал без режима, придерживал будильник недалеко от сна, будто боялся там остаться. А в августе съездил в приморский поселок, которого не узнал.

На берегу появилось кафе «Прибой»: на выносной площадке под навесом блестели круглые столы и стулья из цветной пластмассы, а в тылу возвышалась надежная стойка, что под нежную музыку укрывала по грудь загорелую девушку. Пансионат «Волна» исчеркал поселок тоненькими тротуарами, настроил трехэтажных корпусов, поставил железный мосток над руслицем высохшей речки, что впадала бы в море, если б текла; а вдоль дорожек — щиты с планом поселка и пансионата, на которых эфемерная речка уважительно именовалась «р. Хотесай». Тир «Фортуна», в котором вместо фанерных зверей мишенями стояли банки из-под «Пепси», «Спрайта», «Тоника» и даже пива — поодаль, потруднее, — заглушал музыку «Прибоя» бодрящими ритмами. Греческие дома порасстроились, стали этажными, замысловатыми — «евродизайн». За линией пляжа, вдоль мощеной дороги, живым бордюром протянулся рынок: дыни, рыба, вареная кукуруза, сладкая вата, мороженое, крабы, раки, креветки, рапаны, еще Бог знает что, чего не было видно за спинами, сомбреро и руками, что отмахивались от пикирующих ос. А параллельно, справа от дороги, — такой же рынок несъедобностей.

По берегу он отошел от шумливой поселковой расщелины за поворот горы, дошел до пологого склона, поднялся в гору. Добрался до ровной площадки, где когда-то стояла их с Лизой палатка, сел и замер. Любимый звук — протозвук,

прибой. Любимый ветер — постоянство ласки. Приник к лицу, груди, рукам и гладил, гладил. Берег виделся четко, до рези в глазах, каждый камень, намоченный первой волной. Море стояло, тоненько пенился дышащий краешек. И почему-то вспомнился пьяный монолог Лазуткина из последней поездки в Москву — Сашка не любил слушать, но ему всегда было что сказать, и он не мог дожидаться, когда замолчит собеседник, если тому вдруг вздумалось разговориться, — раньше время давало надежду, что можно еще поумнеть и понять, а теперь?! — закатывал вытаращенные глаза. Теперь времени нет, как нет и того убеждения, что я хоть в чем-то разберусь. Так как же теперь жить? Зачем? Нет, почему? Потому что умрешь? Воздушно целовать предметы, миражи, пейзажи, потому что расстанешься с ними? Но хотелось понять! Хотелось стать умным! Так что же теперь, в Бога верить, что ли? Да я рад бы, но как?

Тучи наволокло, загромыхало, море заискрилось, как смятая фольга, пошли плавные волны под рябью, звук прибоя стал энергичней. Любимая, бессмысленная жизнь, кому ты можешь быть понятна? Дурашливым грекам? Обжорам-этруским? Не потому ли любой египтянин всю тебя делал подготовкой к смерти, что больше понимал про выдуманных Ка и Ба, чем про себя живого? Снова в тусклую память явился Лазуткин: скука — жизнь, прости Господи, — суеверно взглянул в потолок. А потом вдруг изрек откровение: ты знаешь, человек не нужен никому, не интересен. И, ты знаешь, в нем действительно нет ничего интересного! Он в ответ удивился: да, мне хотелось стать философом и слиться с бытием, но я думал, у меня это от нереализованности, от одиночества... Лазуткин перебил: а у меня от реализованности! Все одно, что ни делай и как ни живи... Они оторопело смотрели друг на друга, два выживших из интеллекта сорокалетних пьяных человека: но ведь мы еще молоды, почему же конец завиднелся?

Море карабкалось на берег, оскальзывалось и падало, неловко подминая край. Дождь — нелетняя, философичная, ровная морось. Через минуту снова не было ни облачка, прямо перед глазами капли свисали с сосновых иголок, как ногти с опущенной женской ладони. На берег пришли люди — нудисты, отошедшие от цивилизованного поселкового пляжа на расстояние невидимости. Он разглядывал их, поражаясь: человек эфемерен. Момент фотовспышки, и — где она, жизнь? Вдруг содрогнулся: что это со мной? Профессиональная деформация личности? Да вот она, жизнь: внизу отец учил сына плавать: брал за ногу, тянул на глубину, мальшк верещал и барахтался, кое-как выбираясь из этой беды. Ему давали отдышаться и снова повторяли процедуру. «Герасим и Муму» — засмеялась бы Лиза, сиди она рядом.

Устроившись в комнате, которую снял, он приходил на это место почти каждый день наблюдать эту жизнь на других существах. Бывали виды разные, даже причудливые: однажды люди с берега вошли в воду и стояли по шеи, не плавая, и море выглядело, как компот. А другой раз три полные обнаженные женщины лежали на воде на спинах, а рядом плавала соломенная шляпа. Иногда очень близко подходили дельфины, и какой-нибудь умник распростерто бросался к ним баттерфляем, после чего они несколько дней не возвращались. Окружали стрекозы, и он разглядел их трехдольный полет: вниз, в сторону, вверх — треугольник, еще один чертеж неведомого смысла. Устав смотреть, он ложился, лежал вверх лицом, обратившись во внутренний слух, который жизнь забавно как-нибудь перебивала на свой бесцеремонный манер. То вдруг располагалось рядом семейство с надувными кругами, малышами и ворохом пестрых одежек, сложенных на угол коврика. А однажды меланхоличная колли пронесла над его лицом свой мохнатый живот, переступив через его голову всеми четырьмя лапами.

Он уехал оттуда в Москву — ненадолго, по делу. Не навещил никого, кроме Вали, которая ничего не смогла рассказать о последних днях матери, но попросила его поставить ей памятник, как у других; просила жалобно — на-

верно, он казался ей морально невменяемым, когда не мог понять — зачем? Наверно, думала, что он жалеет денег. Взяла сколько нужно, взялась все устроить. Он вернулся в свой город и закрылся от жизни, теперь уже прочно. Продав московскую квартиру, он мог больше не преподавать.

Просыпался теперь очень рано — начинали просвечивать окна, свет мешал забытью. И восстанавливались в полноте предметы, среди которых он привык существовать, — но теперь не получалось найти прежней логики в облике данного: во всем была замешана ноющая неизвестность. «Вот» — поймал в кулак, как муху, настоящую минуту — и угодил в линейки потолочного периметра, обрамлявшие взгляд в эти лишние годы переполненного тусклым мусором времени. Опустил глаза — чай в стакане накрыт отражением потолка. Он отошел от стола, долго пробыл без опоры, переходя от предмета к предмету, пока не понял, что теснит изнутри: не хватает пейзажного света, как воздуха. «Вот» — окно с запотевшей границей температур, а напротив окна — опустевшая улица, дождь... Надо спать, пора спать, — подсказанная памятью улыбка превозмогла остаток страха, боль прошла, ресницами цветно размылась прошедшая по векам граница света. Он вздохнул — и заметил, что дышит, что может дышать, хотя бы во сне, становясь среди снега, летящего прямо в лицо, среди неправдоподобной почти вероятности, будто жизнь не прошла в повседневном сюжете комнатной сцены. Он понял наконец, зачем отыскивал себя во временном и пространственном уменьшении — чтобы детским неведением обезвредить свой страх, становясь у самого начала парковой прогулки, где хранилось еще его детство — инженер по созданию нескончаемых игр. Но вот уже наклонные дорожки, выбивающие из сил, — по ним спускаются немощные старики на край жизни, вручающей им перевернутые медали: леденцовые кроны на облачном небе, отраженные в круглых маленьких лужах, — обморочным движением он откидывался на спинку деревянной скамьи и взглядом попадал в подвижную неугомонность птиц. Как теперь хочется покоя! — опираясь ладонями на опущенный перед коленями зонт, он расслаблял ступни, голова скатывалась на плечо.

Как будто было еще время пойти куда-то вбок, не повторять октябрьских прогулок, приколотых дождем к асфальту; а то вдруг повернуть и побегать, смеясь, назад — ветвь по забору хлещет тенью, тополя не хотят открывать горизонт... Взбежать по лестнице, толкнуться в дверь. Объяснив как-нибудь несвоевременное появление, подождать на диване, где придет кошка на колени, когда все уже будет готово и его пригласят. И — слепые поцелуи, неверные касания, рассредоточившийся взгляд — он снова был новорожденным... Расходясь от него, как от камушка-в-воду, окружающий мир прозрачно покачивал солнечный поплавок, и мать замирала над ним, круглорукая, словно скульптура, сразу видя его уходящим по осеннему парку, в котором арочно сомкнулись кроны, скользящей узостью мерцает конец пути, где ветер носит листья, словно письма, — он встал с забрызганной дождем скамейки, пошел туда и вздрогнул, испугавшись тяжести своей спины. Остановился, обернулся — и, неловко наткнувшись на кол, что всю жизнь проносил между ребер, не мог теперь ни шевельнуться, ни вздохнуть, и — пока был в сознании — понял, что стал соляным столпом.

## Она и дети

Родных никого не было: она и дети.

И старшей дочери всегда хотелось разобрать, откуда взялись они и куда подевалась она; всегда была, и вдруг — не стало. Другие — средние и младшие — заставляли ее, появляясь, на середине жизни и в конце; а Таня помнила все с самого начала. Как мамины руки, еще детски размашистые, старались скрыть испуг, обратное движение, когда она брала ее из темного перегородча-

того закута кровати. Как прикасались к голове, которую она не умела держать и запрокидывала в неловкую ладонь, испуганно кося большими ясными глазами за мамино плечо, прикрытое узором чьих-то пальцев. Зажмуривалась посылней и опять открывала глаза: она! — в луче оконного свечения, в секунде от движения к тенистому углу, что был тогда Таниным домиком в мамином доме, — перебирала над плечом узоры спутавшихся прядей, и, когда разводила их терпеливыми пальцами, ясно виделось, что никого там нет.

Все это не попало в присланный из памяти дневник, который Таня отыскала вдруг среди книжно-тетрадных развалов, помогая своим в одном из бесконечных переездов, пришедшемся как раз на ее гостевание: большой неразлинованный блокнот, исписанный скучным почерком школьницы, выучившей много трудных уроков. Но за словами, раздавленными тяжелой стопкой учебников, тихо ходила большерукая узколицая девочка-мама, которую Таня увидела первым прояснившимся взглядом. Ходила, задевала и сдвигала их со школьного порядка заодно с вещами, что всегда жили сами, вне человеческого толка и жилой расстановки; и всегда мама что-то искала в их скрытном мире и не могла найти, всегда попадаясь в ловушками расставленные дверные рамы, что скрывают за глухими дверями потуги гудучего лифта, развозящего по квартирам вечерних гостей. Дверь отворялась — всегда неожиданно, — и кто-то за плечом у мамы темнел и приближался; сглатывал ее свет; обнимая, заглаживал ее непослушные пальцы.

Будила ночью, придвигаясь прохладой несогретого тела, кормила чем-то теплым из себя, забирала с собой в чудотворный игольчатый блеск воды, налитой в дворовые кадучки, где колышутся сбитые брызгами звезды и искрами мух летний ветер раздувает новый день. Завороженная Таня сидела на ее руке, боясь пошевелиться, поглядеть в эту воду. Вдруг, что-то вспоминая, оборачивалась, взглядывала за ее плечо — и зажималась. Открывала глаза — было утро, и голубая ванна зеркала, куда она надолго погружалась белизной лица, ласкала Танин сбивчивый взгляд, а Таня взглядывалась за ее плечо и ясно видела: там нет никого, нет.

— Проснулась? — Мама подходила, длинной сборчатой юбкой сметая тени в Танин угол, не впуская солнца, и брала ее уже иначе, жестче — теперь у них обоих было ненарушимое право проснуться и выйти на свет, который почему-то расположился под детским взглядом, рвался на предметы, доверчиво названные словами:

— Что тебе дать? Катужку? Что? Часы? Не-ет, это нельзя трогать, на тебе мячик.

Был среди этих предметов один, особенно притягивавший взгляд, — круг белизны с внезапно вздрагивавшей стрелкой, которая, как крошки со стола, сметала нарисованные цифры, и в этом световом иллюминаторе, очищенном от сора, светился снег и обнаруживалось целое, неразделенное время, пошевеливаемое сквозным светом, где тянутся пространственные рифмы, придуманные поездами, и распираемые хламом чемоданы толпятся у дверей, и, задыхаясь от внутреннего ветра, торопящего жизнь, мама в Танины не детские уже ладони бросала мяч — когда-то, где-то, давно и далеко, сразу в прошлом и в будущем.

— Поздравляю вас, Татьяна Павловна, — полная женщина в синем костюме вручила Тане паспорт. Эта минута запомнилась ей изумлением, вдруг осветившим ее изнутри, как фотовспышка: почему она Павловна?

Когда пыталась вспомнить что-нибудь об этом, перед ее глазами становилась белеящая стена с замалеванной бледным пятном телевизора пропастью двери, где мама вазообразно разводила руками от восхищения букетом, и сгустки электрического света налипали на пальцы, задернувшие штору или подвинувшие чашку под наклоненный чайник...

Взбираясь на пригнувшиеся ноги животом, гость-толстяк поднимался из кресла за ее плечом; разогнув колени, прогуливался до двери и обратно. Че-

ловек этот помнился детской обидчивостью — с виду такой большой, непотопляемый, он запросто валился с ног, возился на ковре с детьми, — она, жмурясь, смеялась, разжимая кулачки самого злого из детей. Драчливый пупс визжал, вцепившись в обод спутанных волос вокруг блестящей плечи гостя. Толстяк тогда с трудом взобрался на свои маленькие ступни и стоял, покачиваясь, наливаясь краской. Вздохнув, пошел, вытолкнул дверь в прохладный коридор, обратно не вернулся. Она с улыбкой посмотрела вслед, поддерживая маленькую Таню, которая взбиралась на колени. И Таня снова никого не видела за маминым опущенным плечом — когда уже умела привставать и заглядывать пристальнее. Тогда откуда все они брались? — из-за перегородок своей новой кровати, побольше, разглядывала копошащуюся на ковре малышню.

Ее загадки доставались в наследство детям, которых трудно было брать размякшими от нежности руками, когда от прожитого дня вечерне отпадали газетами выпачканные слова, что она говорила кому-то, ворочаясь за тонкой стенкой между детской и спальней. Кому?

Запомнился еще один из маминых гостей, застенчиво-порывистый в улыбках и ужимках, который тихо жил за маминым плечом, шепча, хихикая, кивая угловатой головой, — он вдруг однажды стал неузнаваемо прекрасным: выпрямился во весь рост, налил глаза какой-то незнакомой силой, зарокотал подземным голосом богатыря, которого Таня в нем и не знала. А после этого сразу ушел — и больше не возвращался, хотя Таня уже научилась по нему тосковать. А мама только улыбалась на Танины вопросы, которые она уже умела задавать.

Тогда Таня стала внимательной, вдумчивой и осторожной.

Вещи молча смотрели из темных углов и вдумывались с нею вместе в тишину, обступавшую людей по ночам, в звуки, возникавшие без движения в безжизненной комнате, в стрелки дождя на запыленном стекле, отстранявшем от мира пространство их жизни, где стало как будто темнее, чем прежде.

— Тетя Таня, вас к телефону, — девятилетняя вострушка стояла на пороге.

— Спасибо, Леночка, — Таня обулась в мягкие тапки, переступила соседский порог. — Да. Здравствуй. В пятницу, на кафедре.

Звонил третьекурсник, не сдавший ей экзамен по истории философии, филолог-классик. Сказал, что Хайдеггер — позитивист. Вострушкина боксерша Ветка рвалась из ошейника расцеловать Таню, но хозяйка держалась за ошейник цепко, обеими руками.

В том целом времени, где Таня жила теперь одна, она, ночами ерзая под власяницей одеяла, вдруг думала, что ей опять темно и страшно, как в том младенческом неведении о себе и мире. Но тут являлись все — она и дети — и простыми движениями разгребали нагромождения нескончаемой памяти: доставали из-под завалов столы и садились обедать, напитывая день пряным духом и солнечным жиром голубоватых бульонов, веселя его майскими демонстрациями облаков, произнося из-за треска и шума не узнанные слова — и их объявленные жизнью смысловые суммы теперь стояли обидно и неотвратимо за ветхими вещами Таниной прошедшей жизни, что привычно слились с темнотой. А Таня все пыталась разобраться, расшифровать свою зыбкую колыбельную память — единственное недопонятое место в ее вполне понятной жизни — и подытожить, поэтому отчаянно выискивала там опору.

Вот, например, понедельник, внесивший какой-то порядок в весь этот сумбур. Мама выбегала из комнаты, держа блузку за шиворот, что-то кому-то кричала в коридорную дверь, хлопая руками по бедрам, как курица крыльями, оборачиваясь с женской насмотренностью в зеркала, откуда веяло ночной тоской с влажным запахом одеколona и пота. А у двери стояли сапоги и выводок сапожек, которым как будто и не было дела до того, что все сейчас уйдут, — куда-то, где из-за пыли и серости целый день не гасили электрический свет. Детский сад Тане помнился частой зеленой оградкой, охранявшей песочницы с

невысокими бортиками от неведомого разграбления, с грустно склоненными над теми песочницами стриженными головами детей, которые странно ощущались своими. И тайно приплюсовывалась эта копошня в песочных играх к той, домашней, ковровой. И горестно, по-взрослому, по-женски щемило сердце от того, что их, детей, так много, и все они какие-то... ничьи.

— Тетя Таня, вас опять к телефону, — на этот раз Лена взяла Ветку с собой, и собака поскуливала от радости: соседи-журналисты с их частыми командировками пользовались Таниным одиночеством, как она их телефоном; и Лена с Веткой часто ели из ее рук.

— Да. Мне уже звонили из вашей группы. В пятницу на кафедре. И больше мне, пожалуйста, не звоните, перезванивайтесь между собой, — Таня улыбулась. Этот, когда плыл по второму вопросу, вдруг просиял и вспомнил, как назывался основной труд Фрэнсиса Бэкона. «Новый агроном».

Вечером перемывали сапожки в тазу. Таня брала из покрасневших рук мамы торчавшие из-под бурой воды голенища, гуськом выстраивала под стеной с подвешенными к ней пальто сапожиное семейство и смотрела, как гаснут гляцевые блики и резина становится шершавой. И это будто бы о чем-то говорило, чего еще можно было не знать, но Таня сидела и будто бы думала — еще без мыслей, только сердцем.

Когда она опять заглядывала в таз, вода была уже покрыта пеной, и шаровые зеркала покрывали нарядным блеском мокрых радуг заштопанные детские колготки. Она и дети были уже в комнате, разыгрывали по ролям подержанной печалью вечной жизни подсказанные неудачи. Переодевшись в домашнее грубое платье, натирившее бок, стояла мама среди комнаты, нервозно теребя кошелек, вдруг щелкала его замком и быстро прятала деньги под вещи, не подозревая об их беспринципности. Потом сидела за столом с пасьянсом, лицом пригревшись у свечного света, а за спиной подавленно молчали весь вечер играющие в послушание дети — ждали, когда опрокинется вверх дном противный хмурый день и высыплются звезды. Тогда Таня в ночной черной одежде обнималась с драчливым братом в темноте под кроватью, и туда было стыдно смотреть, когда сидели утром за столом со свисающими ногами на неудобно устроенных стульях... Был уже вторник?

Синхронность всеобщих движений вовлекала в привычное мерное действо, которое, как Таня последовательно понимала, и называлось жизнью, существованием, экзистенцией; и шли они в своих сапожках — она и дети — в темной комнате бросив молчаливо враждебные вещи, шли по пути тех естественно верных решений, когда память легко поднимает пудовые книги, которые Таня однажды нашла, достав блуждающим в душевном лабиринте взглядом до полки рядом с потолком; знала ли мама об их существовании? И кто туда их положил? Да мало ли кто, — отвечала перед сном темнота, поросшая неразберихой движений в той ненадуманной жизни, где под глуповатые возгласы частых гостей подраставшие дети догадывались сразу, с кем из них о чем не нужно говорить, когда они сходились в их квартире на странный праздник и сквозняком приподнятая штора приоткрывала суету на чистый лист снега сбежавшихся улиц. Тот праздник назывался «Новый год» — так радостью пустой надежды их всех обманывало время, подставляя вместо себя комбинации цифр. Пока переворачивались развеселые пластинки, тоскливо, тонко завывал водопровод, а под деревьями двора ходила пегая собака с широкой белой полосой на шее, отрезавшей ее каштановую голову от каштановой спины; оставляла на вновь затвердевшем снегу туго спутанные цепочки следов.

Гости были разные, время было одно на всех — огромный несъедаемый корж, который будто ставился на стол год за годом в этот странный праздник. То время всех оставило в беспомощности и тревоге, поэтому почти не отличались от детей шершавые скуластые мужчины со впалыми щеками, сжимавшие в желтых ногтях папиросы, протягивая матери подарочные свертки, покрытые

перевернутыми газетными словами. Входили и рассаживались у стола. Лучше помнились тихие женщины — голорукие, в светлых ситцевых платьях, выходящие в мае из незабвенного высокого дома со ссыпанными в окна звездами развешивать мокрые простыни над горкой влажного песка, где всегда копошились какие-то дети. И Таня стояла среди них во дворе с упавшим между бельевых веревок небом, где так и оставял ту жизнь бессильной и неявной похищенный из общей горечи глагол — прошло. И ведь действительно, все проходило, все жалобы и слезы этих женщин, которые уже тогда умела Таня понимать, — вот только вместе с жизнью, к сожалению. Вместе с маем, июнем, июлем, где лето рассеяло солнце по классиковым клеткам и звонко прыгали сестренки. С октябрем, ноябрем, где сидели Таня и старший из братьев с недоделанной прописью, в дни, послушные скуке осеннего неба, а мама оборачивалась с ласковой улыбкой, проходя у стола с синяками в глазах от газетной напористой прозы. Ждали войн, ждали бед, никому не известных, но всем тайно понятных, и радостней глядели через скатерть затеваемых праздников, снимая темные тяжелые пальто. Пустой прилавок зимнего окна сиял снегами, по установленному времени порядку, неожиданно и несчастно, как на улице, всех выгоняя в Новый год. Но всем — ей, детям и гостям — хватало своей нерастроченной радости, чтобы согреться в тот короткий зимний праздник, а потом весь год растрачивать рожденное той общностью тепло. Им надо было иногда собраться и посмотреть в глаза друг другу, этим людям, попавшим в это время, скроенное из их жизней похожего фасона. И однажды, всем вместе, переступить из пройденного года в новый, объединившись в ритуальной радости и искренней надежде. Мама опрала невеселое платье, сжимая свободные от обязательств банкноты, быстро шла через снег в высокую стеклянную дверь, где вкладывал ей шелестящие свертки в свободные от денег руки веселый деловитый продавец, подмигивавший Тане, а бежавшая с ними через вечер собака ждала у магазинной двери.

Потом мама с Таней разбрасывали волосы по спине и плечам, обнимали гостей. Стукнув дверью и сбросив пальто, под фонарем телевизора все соседи высотного дома собирались на праздник в их просторной квартире, и женщины оказывались сильными, веселыми, живыми, их босые ноги, приставшие к стулу, отлипали, как пластырь, когда бывали вкручены перегоревшие лампы. В угодливо изогнутых тарелках лежали самодельные эклеры, разногослицепикник на черном озере пластички настраивала голоса на радость. Мужчины сбрасывали пиджаки и, оставаясь в белых майках, поводили мышцами, сутулясь, кашляя, следя, как женщины танцуют друг с другом и сами с собой, и вдруг отворачивались курить в приотворенное окно, где от мороза корчились деревья в холодных трещинах коры.

Драчун-братишка, старший после Тани, забирался на шкаф, где любил лежать с книгой на пыльной перине, мгновенно засыпая, просыпаясь от взрывов смеха, звона вдруг сдвигаемых стаканов и топота пляски; следил за всеми из-под потолка, как комнатный бессильный бог, который если что и может, то только наблюдать и помнить. И тайные временные ходы вдруг обнаруживались в тех же стенах: для осторожного солнечного перехода тихо вытягивались стаканы, на приглушенный свет сбегали прозрачные строчки от какого-то времени не оставшихся книг — и те же стулья отлипали от бедер по-другому танцующих женщин в укороченных платьях, — как горчичники, со жжением и краснотой. Братишка, Коля, уже грубый и усатый, с бритой головой, шлепал их по звонким спинам, встречаясь с Таней дерзким взглядом, а на столе среди бокалов стоял отдельно мамин стакан, настолько полный, что казался пустым. Когда же он пустел, она снимала старческий платок, разбрасывала длинные седины по спине и плечам — так было легче отвечать на прошедшее по гостям лихолетье, где под возгласы легких прощаний наступающая тишина добавит к сказанному неопределенный жест, под тающей сосулькой содрогнется вода в кадшке у подъезда, и будет весна, потом лето — легко, незаметно.



А вот пустоватая сентиментальная осень все повторялась остинато: парк комком тишины среди шоссейного грохота, дождь, разжижающий листву на парковых кленах, и грозди винных туч свисали с неба над водой, у которой они допивали остаток летнего покоя — она и дети. Освещая обнаженной кожей еще зеленую траву, мама что-то рассматривала поверх Таниной книги далекими глазами, еще не видя хмурых нахохлившихся птиц и посиневшей кожи на детских шеях — они сидели, завернувшись в одно большое полотенце, у самых глаз покачивался пруд. И взрослый вздох кого-то из новых малышей вдруг вызывал лавину бурных поцелуев. Шли домой, шли за ней, держа друг друга за руки на перекрестках, где нельзя было не остановиться, но невозможно было поместиться всем на пятачке безопасного места в середине широкой дороги, толкались и крутили головами, а солнце последним лучом проводило по их волосам, как будто утешая. А маме всегда не хотелось отдавать это солнце зиме, и она все водила их в парк, все задумывалась над водой с непрочитанной книгой, не замечая ранней темноты. Возвращались домой — ночью, в призрачном городе, где на плоские стены наклеены желтые окна. И однажды, казалось, она не узнала подъезда, из которого вышла, а перекрестки не узнали ее: поджатый рот и шляпа, надвинутая до бровей, сумка с растрескавшимися ручками, неудобные каблукастые туфли. Она весело вскрикивала в знакомые лица с улиц, вползающих под башмаки, не объясняя детям спешки, в которой осенние лужи по-цыгански заглядывают в глаза и всех подталкивает в спины ветер, запахивая в облака луну, — и, поддаваясь этому нажиму, им всем еще идти, идти за ней, на опять потеплевшем песке у пруда подбирая одежду, не зная, как все в мире существует, откуда все это взялось — свет, куполом выгнутый над головами, приставшие к коленям песчинки и нескончаемое действие несобранных движений. А солнце за ее спиной переиначило порядок жизни и растянуло улицы далекими концами в туман, под невысокие окна, откуда доносились в ответ на мамины приветствия чужие голоса — то были новые соседи, что стали новыми гостями в новый Новый год.

Они вдруг стали много ездить — менялись за доплату все дальше от Москвы; когда Москва оказалась в таком отдалении, что это не сказывалось на доплате в квартирном обмене, стали проедать метры и удобства. Входили в новую квартиру, рассматривали старые предметы, светлевшие от нового солнца, и все покачивалось что-то справа-слева за спиной, на что Тане было неудобно смотреть из-за маминого плеча в теневой облицовкой отделанных комнатах, когда неприятные резвостью средние дети убегали во двор, сам собой удивленный младенец всем напрашивался во взгляд, а мама заходилась грубоватым кокетством, встретив детскую улыбку соседа-старика в оживляющих поисках ветреного веселья. А Коля, старший сын, уже ее стыдился и радовался, если его укрывали тяжелые тени входивших на праздник людей. Застигнутый врывающимся в лица светом ламп, он хмурился и отворачивался в окно.

Однажды — дети спали, гости пели — она оборвала частушку, обернулась — и вдруг так ясно на Колю взглянула, будто увидела впервые. Поднялась и пошла за ним в детскую, а там заглянула всем в лица и стала у зеркала. Она. И дети в ее жизни, как сокровенные рифмы для всех недопетых куплетов. Обернулась так резко, как будто ее оттолкнули, присела перед Колей на корточки — испуг в его глазах; он вырвал руку, побежал к гостям, а с ней осталась тишина — живая, полная вздохов и снов, где первой возможностью для объяснений никогда не сумеешь воспользоваться: вдруг разом высказать все то, что никогда сказать не получалось. И если сейчас не вернуться на место, в гостиную, — спастись от ветра, пронизающего кожу, — то что возможно передать другому человеку, — в словах, прикосновениях, слезах — станет столь же немислимым, как прошедшая ночь, где в точности никто не знает, что случилось, и можно усмехнуться, вспоминая влажный лунный глаз, обычным утром, сказав кому-нибудь, кто рядом:

— Наступил Новый год...

Гости тихо ушли, Коля свесился головой со шкафа, замирая над калейдоскопом тарелок и остатков вина в оскорбленных стаканах. Отбившиеся от застолья полфразы блуждали по комнатам несколько дней. Скрипела лестница, терялись к обеду ложки, вечерняя газета нахмуривала в сумерках строки. Вращение мошек вокруг фонаря напоминало о строении вселенной. Воспаленные веки младенца приоткрывались секундой неуловленного смысла за миг до счастливого вечностного забвения, в котором колыхалась темная вода в воздушном соприкосновении с огнями поблекшей от времени качки ночных поездов, где мимо окон — быстро, скользко — земля, вода, опять земля — до дурноты. Вдруг подступала к сердцу собственная напрасность, заставлявшая рожать; и вглядывался за опущенное плечо притянутый где-нибудь в поезде к тяжело налитой груди безнадежным движением слабой руки сын, почти уже взрослый, — дорогостоящая победа над смертью, ключ к беспорности всех утверждений. Звучно и праведно рассуждая о чем-то, что лучше другого, с прямой спиной и твердым взглядом, грызя прессованный сорбит, мама подолгу закрывала окно снова отяжелевшей фигурой, а Таня привыкала ей не отвечать, молча ухаживая за детьми.

— Дай, дай, за-ку-рить, — приезжая к Тане раз в несколько лет, а последнее время все чаще, Коля звонил пятью условными звонками и сжимался на пороге, чтобы она могла его обнять, — огромного, сипатого, седого. Обнимая брата, она чувствовала себя так, будто держит на руках матерого котятку — старого, хитрого, ничего уже не чувствующего, кроме снисходительности; который изо всех сил прикидывается, что ему нравится сидеть у нее на руках. Он распрямлялся и ходил по Таниной квартирке, как по клетке. Правую ногу он ставил, как балерун, накатом с тихой пятки на вывернутый носок, а левую небрежно обносил вокруг правой, цепляя пол каблук. Взлетали пиджачные полы, а сам он рассказывал анекдоты и отшучивался от вопросов. Кормил Таню икрой, невероятными конфетами, неведомыми фруктами, по-детски обижаясь, если ей не хотелось все это есть. А ей хотелось знать, что он делает и сколько посылает маме.

— А, это все равно что в прорву, — отмахивался он, а Тане вспоминался гордый сильный мальчик, который становился за маминым плечом, когда опять покинутые окна сердито вглядывали в ночь поверх деревьев и все скользко сдвигались по кругу: медведи, что падали с сосен на сминаемых ковриках, запикивались в чемоданы, а паутина на зеркале расходилась в ужасные черные трещины. И тогда мама вдруг заметила при переезде в Георгиевск, что тени слишком далеко отходят от предметов, расставленных в новых комнатах заново. Она скрывала это от детей, в коридоре выбалтывая соседкам. Хмурые, одетые в темное, статные казачки крутили пальцем у виска, когда она шла по коммунальному уже коридору к своей двери, из-за которой вслушивался в их беседы Коля, пытаясь понять; но голоса проходили сквозь необнаруженную сурдину — то ли марлю на мамином платье, то ли оконные стекла и ясное небо, что осторожно заволакивалось облаками, пока без видимой угрозы. Мельком, с улыбкой, мама жаловалась на себя задушевному южному солнцу, раскрашивающему в желтый половицы, потом еще кому-то за плечом, в глухую грубость темноты, где встречала свою устаревшую юность в светлом радостном платье, опять растерявшись на разомкнувшемся круге судьбы: суежилась, предчувствуя затяжное бессилие, меняя одежды, заботы, жилища, давая жизнь красивым и гармоничным людям, что вот стоят у окон к ней спиной, на упреки и жалобы не отвечая. В метельные дни под конец февраля, по улыбке ее узнавая весну, беспокоилась кошка, а на кроватях таяли сугробы из простодушно накупленных зимних вещей. Странно сидящий на стуле ребенок с подолгу на одной странице открытой книгой заглядывал ей в память; и другие, на коврике, среди валких игрушек; и последний, в кроватке, еще не понимавший ничего. А Таня все смотрела за ее плечо — она теперь пугалась Таниного взгляда, оглядывалась на дверной про-

свет, ища защиты. Там забытые гости догуливали свое давнее веселье среди стен, которые, как онемевшие пальцы, держали освещенные окна в пересеченной тьме с вечерней чуткостью свечей и хитроватым выражением маленьких круглых зеркал, что замирали у нее в ладони. Посуда громоздилась на праздничной скатерти — ее перемыли аккуратные гости. Ночной вразумляющий холод тянул из щелей. Все опять говорило, что праздник — это только случайность, собравшая за общий стол чужих людей, а Коля обходил комнату вдоль стен, замечая, что ее не покидают только она и дети. Он, старший, становился за ее плечом с давно усвоенной привычкой быть умным, молчаливым, приоткрывая детские журналы на игровой странице, чтобы прочесть под чертой «вверх ногами» неубедительно приписанный ответ и захлопнуть, давно убедившись в неразрешимости загадок. Книг он не читал, уроков не учил. Бросив в угол ободраный портфель, съев что-то приготовленное Таней, шел к двери, больно зацепившись о неприбранный стол, потом дальше и дальше.

Приезжая в Москву, почему-то всегда в декабре, он водил Таню за руку гулять в запутанные ветром перекрестки и улицы с санной извилистой колеей тех незапамятных зим, взобравшихся по серпантину циферблата на высоту сегодняшнего дня — аж оттуда, где мягкой игрушкой лежал у младенческих щек этот город, с которым Таня не смогла расстаться, обшитый прочными снегами. Родной, единственный, любимый город, который невозможно обнять, такой огромный и холодный, где верным признаком зимы вдруг брызнет кислым в прищуренный глаз раздавленная мраком морозка окон уже в сентябре, а утром льдинки облаков вмерзают в макушки кленов; позволивший ей за любовь быть поблизости, но не внутри. Стояли у обочины на Рязанской дороге, и движение снега напоминало опускание ресниц. Коля опытным взмахом тормозил автомобиль, они въезжали через устье неуютного микрорайона, шли вдоль твердой реки, утекавшей в деревья, сужаясь и скрывая под маской льда течение и рыб в те шахматно приподнятые скверы их детских прогулок, где было уже невозможно переменить положение фигур и что-то более сильное, чем московский мороз, отбрасывало тень на Танин драп, пробирая ее до души нестерпимым космическим холодом: наизусть усмехаясь мамиными губами, в ее же старческой склонности к всепорицанию, брат язвительно припоминал, как она примеряла к своему невозможному быту какую-то экстравагантную вещь. И Тане помнилось, что не сходила эта тумбочка с привязанного к ней стулом с маминой спины в тех переходах, переездах, блужданиях по жизни, — пока не развалилась на дощечки. Пока ее жизнь не распалась на жизни детей. Пока не обнажила разъеденных снегом очертаний празднично иллюминированной улицы легкая штора, приподнятая сквозняком в самарской Колиной квартире, где его нашли застреленным в упор.

— Вот стерва, опять не поставила!

— Она как раз не стерва, а старая дева. Таким ничем не угодишь... — дверь кафедры почти не заглушала забавных проклятий филологов-неучей. Коллега Стрельцов посмотрел на дверь укоризненно:

— Домой дозванивались, черти? Неделю на двери висели. Я отвечал, что ты хоронишь брата, — ноль реакции. — Он говорил как привык, рассудительным тоном философа.

— Жень, я ведь злюсь не от злости. Он сказал, что Аристотель жил в четырнадцатом веке.

— Так, может, он тебе по Фоменко отвечал? — хохотнул Стрельцов.

Мальчишка сидел под стеной, обхватив голову руками.

— Давай допуск и зачетку, — Таня два раза написала «отлично» синей гелевой ручкой и оглянулась от лифта. Он с приоткрытым ртом смотрел ей вслед. — Хорошо, что учитываешь альтернативные теории времени, — в лифте измученно улыбнулась своему новому чувству юмора.

За Колей подросла Ната, совсем не похожая на маму, — высокая, прямая, молчаливая, с широким низким лбом, тяжелыми каштановыми волосами, которые она закалывала на затылке большими шпильками лет с десяти. Лет с четырнадцати ее, рано оформившуюся, называли «женщина» в трамвае, когда просили передать на билет. Ната вышла замуж за офицера и жила в достатке в военном городке близ черноморского курорта, и у них с мужем не было детей, поэтому они к себе забрали последнюю мамину дочку, Надежду. Только она еще и приезжала к Тане погостить и повидаться, рассказывая ей, как живут средние и младшие, все время жалуясь на Надю: и своевольна, и упряма, и «мамой» называть не хочет, и обижается, что вечерами ее не пускают гулять. А в последний приезд Ната рассказывала, как не отпустила Надежду на выпускной бал — на всю ночь был заказан теплоход-ресторан, — так она с ней неделю потом не разговаривала. Таня, слегка захмелев, смотрела, как солидность самовара передается вынутым из серванта бутылкам, и тихо тряслась от своей новой веселости. Ты мстишь сестренке, я — студентам, — думала она. Мстишь за то, что не находишь в самой жизни радости и смысла. Только порядок, правила и строгость дают какую-то зацепку воле человека к власти над своей жизнью, а заодно и чужой. Вслух сказала, отнеся в прихожую Натин будильник:

— Не могу засыпать в одной комнате с часами. Не могу слышать их воровбы.

Таня уже училась в университете и жила в общежитии в далекой теперь от мамы Москве, возвращаясь в каникулы, когда появилась Надежда — веселая, легонькая, любопытная, с мамиными голубыми глазами и маминой очень покато́й линией плеч. Все опять переехали с квартирным обменом в такой же пыльный степной город, как тот, где прожили последние два года, где мама родила Антошку и Андрюшку. В новом городе и новом доме точно так же светилось обнаженное осенью время, остановленное зимой, и шелестели новости в хрустящих сгибах сложенных газет, которые тянула за угол малышка, шатко вставшая на ножки, к обрыву острых маминых колен. Она, последняя, всегда теребила маму, когда мама так замирала, — ей было страшно, что там, внутри неподвижного тела, ее, может быть, нет. Очнувшись, мама встречала Надин ясный взгляд и поспешно хваталась за ласковые слова, бессмысленно повышаемым голосом выдавая свое скрытое знание. И будто волосы у нее становились темнее, предчувствуя вечер, где она облегченно задремлет опять на потертом диване под выкрики из детектива, а месяц, отраженный полиролью, будет лежать на столе, как лимонная долька из синей цилиндрической коробки, которую везла малютке Таня. В поездках она всегда пила чай пресным, пряча яркие пакетики с сахаром в карман — малыши почему-то любили эти маленькие подарки. Теперь стряпала, перемывала сапожки, а малыши тянули ее за подол, показывая на окно, на радостно кружащих голубей в небе с белым решительным солнцем, что давно уже не достигало ее души, перебиваясь запальчивым ветром торопливой походки. Мама тогда тосковала, болела, ходила от стены к стене, а маленькие бегали за ней невидимо и незаметно, вдруг с топотом перебегая в зеркалах, с размаху отпуская двери — и двери хлопали, перекликаясь, много лет.

После аспирантуры Таня нашла их в Белоруссии, в маленьком городе, центр которого состоял из мощенного плиткой пустыря и гостиницы, похожей на больницу. Мама сидела под стенкой с опущенными плечами и никого уже не замечала. Тогда-то Надю и отдали Нате. Не Тане, потому что Таня в тот год чуть не умерла. Связалась с филологом-цветоведем, остроумцем и балагуром, не оставившим ни одной женской души без своего поэтического воздействия. Не сумев защитить душу, Таня обороняла тело тремя способами контрацепции.

— Вот если бы ты этого не сделала, то просто залетела бы, — сказала Верочка, сидевшая у Таниной постели, пока она была в больнице после операции внематочной. Верочка училась на медсестру и говорила с очень взрослой сестрой грубовато, бравирюя привычным для медиков цинизмом. Она и заме-

тила, что с Таней неладно, когда Таня теряла сознание по три раза на дню — валялась у печки, за стиркой, за штюпкой. Оказывается, та трубка в животе, где жил зародыш, выгнанный из матки, треснула, кровь вылилась в брюшину, и, не заставь сестренка Таню пойти в больницу, ее бы уже не было на свете.

— И вообще, что замуж не выходишь? Живешь, живешь монашкой, а потом организм цепляется за всякую возможность реализоваться.

Организм хочет продлить себе жизнь, думала Таня, когда Вера уходила, сон не приходил, а синий ночной свет, шатаясь, бродил по стенам. До смерти хочет. В умножении он ищет себе правды. Дух ищет себе правды в Боге, рисуя себе Его на все философские лады. Ну, а душа себя ищет в любви. Зачем-то организм одушевлен и одухотворен.

— А как же замуж, когда никто не любит? — с улыбкой отвечала утром Вере, донимавшей вопросами.

— Ты хочешь, как мама, всю жизнь одна?

— Я не хочу, как мама, всю жизнь с детьми. Я тяжело хожу, вперевалку. Я — утица, а мама — ласточка. У нее есть дар преодоления трудностей непониманием, легкий сам по себе, но данный теперь немногим.

Верочка вдруг перестала приходиться, потому что беда не приходит одна: маленький Вася выпал из окна. И тоже выжил.

Филолог был совестлив — это смешило, хотя смеяться Тане еще долго было больно. Философы такими не бывают: один ухаживавший за ней коллега всего лишь проводил ее до троллейбусной остановки, когда она подвернула ногу на прогулке с ним по вечерней Москве. Это было нормально — философское отношение к жизни предполагает отстранение от ее неудач и красот. А этот приходил в московскую больницу, где Таня долечивалась от последних осложнений запущенной болезни и провинциальной операции, с нежными цветами, запакованными от мороза в целлофан, сидел и говорил хорошие слова гибким голосом, привыкшим к стиховой интонации, — но вдруг подхватывался и убегал. К жене и дочери, к студентам и коллегам — живым, здоровым людям. А Тане он купил под Новый год квартирку в ближнем Подмосковье, без телефона — зато с двумя окнами, угловую. Для этого пришлось фиктивно выйти замуж, потом фиктивно развестись с каким-то незнакомым человеком. Филолог ласково улыбался при встречах в университетском коридоре, в глубине зрачка пряча страх: вдруг с ней и от этого что-то случится, и это снова обрушится на его нежную душу... Она вдруг заметила, что часто поминает это слово — душа. Окна, осыпав замазку, распахивались в новый весенний день. Освоенный памятью запах пришедшего лета проходил через комнату. Ничем не прерываемое больше время шло тихонько в глубь себя, отсылая в дальнейшую жизнь. Опять оно-посыплет спящий мир сухой листвой и снегом. Опять расшевелит оцепеневшие деревья теплым ветром. Переберутся в тень собаки, спавшие зимой на люках. Вода в кадучках старого московского двора высохнет до дна.

Она полюбила сюда приходиться: сворачивать от яркого фасада большой московской улицы в кривой переулочек, переходить в другой и третий, глубже, глуше. И в самой глубине и тишине, как старый боровик, стоял их девятиэтажный дом, зияя облупившейся штукатуркой. Она шла по глухому подъезду, по лестнице вверх, вспоминала, каким он был звонким под ногами детей. Их квартира была брошенной, открытой. Таня отворяла дверь, садилась на подстеленную газету в пропыленное кресло, а над ней колыхалось паучье макраме, припудренное известковой пылью. И начинало казаться, как в детстве, что надо долго ждать до ночи — сидеть у окна с вечерней желтизной на лице, смотреть с высоты этажа, как проходят по парку цыганки, все черноглазые и знакомые, ловя глазами и руками ужимчивые ветви, высвобождаясь движением плеч из непроглядной уже временной глубины с непроходимым дальним солнцем.

В этом мертвом жилище они все еще были одно — она и дети. И Таня здесь пыталась разобраться в том, чего не говорили ей ни философские системы, ни

собственная прожитая жизнь. Здесь все молчало о любви и прощении: под колени спускавшийся свет, тенью сломанные углы, белое пятно на лбу приبلудного котенка, которого новые дети этого дома пустили сюда жить. И это белое пятно, как-то связанное с луной, особенно приковывало взгляд и заставляло проясняться Танины глаза, когда она сидела здесь до ночи, так развлекаясь после рабочего дня, а потом в гроыхающей электричке катила к себе в Подмоскowie, разглядывая треснутое зеркало своего детского лица в окне на черном фоне.

Там, в детстве, ночей не бывало: она закрывала глаза — был свет, и открывала — был тот же свет. Нескончаемость света неуютно давила, когда мама что-то говорила кому-то за плечом, что не перелетало за перегородки Таниной кровати, и Таня могла думать, что никого там нет. А Коля не умел так думать. Подростком встречая ее вечерами в кафе, подсаживался и выстукивал напористые ритмы и, грубо улыбнувшись какой-нибудь неловкости того, кто обнимал за плечи маму, вставал и уходил, не возвращаясь за вещами, как будто дальше жить не собирался. Сплошное солнце все выдумывало праздники и танцы, засахарившись в непристойной своей задушевности, для разговоров сближая глаза, переплетая волосы и руки, слова и песни, сны и память... Теперь Таня отмечала подозрительную несоразмерность пространства: вокруг нее, живущей, все всегда было на месте, почти не сдвигалось: она приходила домой, забившуюся в замок темноту изгоняя ключом, быстро пряталась в горячую ванну, в прохладную постель, в короткий сон, который обрывался вечностью бессонниц, в которых все так беспощадно просто. Ночь — и тихая переключка предметов, и снег за окном.

Вокруг умершей за год до Коли мамы шумели деревья, и часть ее лица скрывала тень, а значит — была пора надеяться, любить, куда-то уезжать от застоявшегося комнатного света, где переезд — только повод избавиться от ненужных вещей, каждый раз все равно увозимых с собой. Дождь, захлебнувшись листопадом, летел комками в окна фотографической светотени, откуда пережитое уходит с пережившим, в снах путешествуя без напряжения отданных сил ярким солнечным бликом по небесному синему шелку. Мир, где целыми днями можно ехать, идти и лететь, обнимал и любил, и трудно быть по-прежнему старухой: как полагается, лежал клубочком кот, она держала спицы... Теперь-то Таня поняла, что мама умирала юной, входя в незабываемый парк маминой молодости — через три переулка и шоссе — с прудом, аллеями, танцплощадкой и сценой, с низкой мягкой землей, что упала под спину свесившегося с крайнего места в проход Алешки, который умер от порока сердца в семнадцать лет. Она и дети выходили из зеленого театра, слыша, как на замок запирался рояль, попадая в срединные серии какой-то киноэпопеи, где появлялась знакомая с мясозавода, вынимая сосиски из рукава, не вовремя готовые обеды нарушали дыхание дня, и скверная пугающая тишина разверзалась за спинами, когда с прогулки в воскресенье все шли домой, она и дети, и Таня отворачивалась от заката, мазнувшего их по щекам и подбородкам, смотрела под ноги, по сторонам, где притаился равнодушный город поздравительных видов с пожеланиями счастья — пальцами сталинских шпилей попадающий в небо задумчивых скверов, в которых нелегкие голуби от земли отрывались и, пролетая чуть вперед, опять садились. Там была тишина полуразрушенных парков и выкрики гаубиц — ночных птиц заболевшей земли. Мамино лицо, искаженное страхом, беготня и беспамятство до новой ясности небес — и ровный лоб над темными глазами: прошло. Но то было когда-то, а что же есть теперь, когда прошло и у нее, у Тани, и пожилая Таня идет по этим скверам, стараясь разгадать, как нужно складывать в удачу новой жизни картинки детства, эвакуированные в память из разрушенных лет, где женщины все носят на себе детей и чемоданы по нескончаемым лестничным спускам, а тот бессильный бог оживляющей памяти — маленький брат — все порывается помочь, поставить скарб себе на голову, всех посадить себе на плечи, унести, играя невесомостью исчезнувшего

бытия, заканчивая и эту главу всеобъемлющим снегом? Таня шла, улыбаясь и пряча в рот прохладный леденец, примеривая это любопытство к пришедшему времени, раздробившему дальние пласты облаков.

Ощувтив неустойчивость завершеного, фальшивое затишье маминой летучей жизни, где все будто отталкивалось от понятных опор, непрестанно скользя, Таня вдруг поняла, что мамина жизнь не была такой страшной внутри, какой выглядела снаружи. И мама благодарно пришла на встречу в брошенной квартире. Сидела с Таней и молчала о любви, как она при жизни всегда о ней молчала. И испугалась своей жизни только под конец, когда ее так тесно обступила укоризна в глазах детей.

— Я думала, главное — открыть кому-то окно, привести вас сюда, — она улыбалась проваленным ртом, ее голова легко лежала на подушке, почти ее не проминая. Таня держала ее руку, сухую, с утолщенными суставами, похожую на птичью лапку; другие, приехавшие по Васиным телеграммам, толпились в комнате, бродили по городу...

Таня смотрела теперь в паутину, как в кофейную гущу, а мама осторожно наступала на пауками узоров населенный ковер, стертый до переплетения нитей суровой основы, уверенно чувствуя новое знание, что снова, как в юности, предполагало силу крыльев и чистоту белизны — распространенный среди призраков облик. И, как в силки, попадалась во всюду разбросанные, как игрушки, вопросы, пронесенные сквозь ее мертвый покой детьми, которые здесь подрастали, все выясняя, кто они, откуда, если за ее плечом никого нет. А это, все же, оказалось так, когда мимо ее остановившегося взгляда летели невиденные птицы.

С пронзительной мукой кричали стрижи, когда Таня и Ната обряжали ее к погребению в апшеронской квартире, где жил с ней только горбатый Вася, в пять лет упавший из окна второго этажа в Хороле.

И Коля приходил сюда встречаться с Таней — она не смогла бы их всех разыскать на разбросанных по миру кладбищах. Обнимала теперь, как хотела, не уважая его большого, уставшего, мертвым сном потопленного тела; хватала за руки, как в детстве, прижимала к груди. Светлый лоб, виноватый затылок, ясный взгляд — и вдруг пронзающая все напоследок эмоция, как фото-вспышка: вон они, их вместе сдвинутые жизни, в захоронениях вещей на дне зеркала, где белизной наползающая зима не дает ничего разглядеть, ослепляя.

Двухтысячный встречали со Стрельцовым в его холостяцкой философской квартире с неширокой кроватью и без телевизора. За голым, без шторы, окном валил снег. Затеяли стряпню, почти поссорились за резкой овощей — технологии не совпадали. Потом накрыли низкий стол, что-то ели и пили. Захмелев, рассказала ему о клинической смерти:

— Я ничего там не видела: ни света, ни духов умерших родных, ни себя самое. Там, Женя, нет ничего, как и здесь.

Стрельцов положил руки ей на плечи, притянул к себе. Расстегнул пуговики на сморщенной груди, подпертой жестким лифчиком, снял блузку с плеч, занялся своим галстуком.

— Женя, сколько нам лет?

— Еще не семьдесят. Давай сидя, так лучше. — Он положил сухую жесткую ладонь под ее спину. — Ты легкая, как девочка, — зашептал, распаяясь.

— Ты хоть стараешься любить меня? Или делаешь вид, что стараешься?

Он замер. Откинулся на спину.

— Умнейшая ты женщина, Татьяна, а помочь себе не можешь.

Лежали рядом до утра, смотрели, как падают мимо окна большие, слипшиеся в оттепели, белые монады.

*Герман Лукомников*  
просто ужасно смешно

\* \* \*

А вдруг перед смертью  
Время замедляется  
И замедляется —  
И поэтому жизнь никогда не кончается?!  
Смерть  
Вроде бы приближается,  
Но так и не наступает,  
Так что жизнь всегда продолжается  
И даже порой немного надоедает?!

\* \* \*

Акира Куросава  
А Кира  
Муратова

\* \* \*

зощенко горенко  
савенко евшушенко  
ерёменко хвостенко  
и нечипоренко

\* \* \*

Прочитал Ахметьева?  
Похвалой отметь его.

\* \* \*

СОС! Ёлы-палы! Мыла! Пылесос!

\* \* \*

Судя по моим стихам,  
Я какой-то жуткий хам!

\* \* \*

Тапочки — белые... Я не в гробу ли?!  
Похоже, меня офигенно обули.

\* \* \*

У меня депрессия:  
Ошельмован в прессе я.

\* \* \*

халва халва

халва халва

вах-вах

какой сладкий этот слово халва

хвала Аллаху

\* \* \*

Я такой эротоман...  
Заведу-ка я роман.

\* \* \*

Дорогие инопланетяне!  
Где же вы, прилетайте поскорее,  
Заберите меня отсюда,  
С этой идиотской планеты,  
Мне здесь всё чертовски надоело,  
Я вообще тут ничего не понимаю.  
Миленькие инопланетяне!  
Может, с виду вы козёлики какие,  
Ничего, я привыкну постепенно,  
Только вы меня заберите,  
Всё равно меня бабы не любят,  
А мужики земные — лютые звери.

\* \* \*

Кончаю  
с собой.

\* \* \*

— Ну как, Велимир?  
— Да так, Казимир...



\* \* \*

Прокурор ты прокурор  
ты Расскажи мне про курорты  
про курорты про курорты  
про курортики мои.

\* \* \*

Пролетарий, хреневей!  
На экране — Гринуэй.

\* \* \*

раёшник супротив верлибра  
посвободнее будет  
и понароднее

\* \* \*

Я требую  
фашистов посадить,  
Чтоб мог я требовать  
их всех  
освободить!

\* \* \*

в день смерти вождя  
машинально сказал соседке доброе утро

и вот я здесь

\* \* \*

да какой я [на фиг\*] поэт

\* (С сожалением.)

вот Лосев (Цветков Кенжеев Бродский Гандлевский Жданов Седакова Кривулин  
Шварц Парщиков Арабов Щербина Кублановский Рейн Драгомощенко) да

Лосев (Цветков Кенжеев Бродский Гандлевский Жданов Седакова Кривулин  
Шварц Парщиков Арабов Щербина Кублановский Рейн Драгомощенко) поэт

[на фиг\*\*]

\*\* (С восхищением.)

\* \* \*

Небо дописывая, не дохожен я, а выси подобен.

\* \* \*

Как прекрасен слабый пол,  
Особливо если гол.

\* \* \*

наверно  
вот свиноферма  
собственно

сельмаг

ёксель-моксель

\* \* \*

Не стремись ты  
В экстремисты.

\* \* \*

Хорошо бы быть окуджавой  
мирной дружественной державой  
но не брэнером и не летовым  
не лимоновым не фиолетовым

\* \* \*

Я так мечтал о воздушных шарах,  
Чтоб их иголочкой:

шарах!.. шарах!..

\* \* \*

я те щас поору  
в смысле  
ты у меня щас  
поорёшь

\* \* \*

у никитских ворот ресторан грузинская кухня  
кинотеатр повторного фильма ушёл навсегда

у грузинских ворот ресторан повторная кухня  
кинотеатр никитского фильма ушёл навсегда

у повторных ворот кинотеатр никитская кухня  
ресторан грузинского фильма ушёл навсегда

у никитских ворот кинотеатр повторного фильма  
ресторан грузинская кухня ушёл навсегда

\* \* \*

Провёл я недавно акцию —  
У ментов проверял реакцию.

Как показала акция,  
Что надо у них реакция...

\* \* \*

А роза упала не на лапу Азора!  
Лёша на полке не клопа нашёл...

Лёша не на полке не клопа не нашёл!

\* \* \*

— Гер, а, Гер?

А я не Гер,  
а Маргарита Алигер.

(А может, и не Алигер,  
а этот... Мартин Хайдеггер.)

\* \* \*

Опять пишу сурьёзно вроде я,  
А получается пародия!

\* \* \*

позапрошлого  
и не брошу

если брошу  
не за борт

если брошу  
недоброшу

потому что я хороший

ах  
не делайте аборт

\* \* \*

ужасно  
просто

просто  
смешно

просто  
ужасно

ПРОСТО  
УЖАСНО  
СМЕШНО

\* \* \*

Я — поэт-минималист-  
Гетеросексуалист...

\* \* \*

Где вы, девы?  
— Вот мы девы. —  
А ваши девственные плёвы?  
Или, как их там — плевы?  
Где посеяли их вы?

\* \* \*

дряблая заумь  
плешиный сюрреализм

только порно  
не увядает

\* \* \*

Паника.  
Гибель «Титаника».  
Всхлипы  
Кинемеханика.

\* \* \*

Прихожу домой, открываю дверь я —  
А там, понимаешь, вотум недоверья...

## Сергей Ильин

# Конспект романа

*Памяти Ленки*

*Кольцо существования тесно:  
Как все пути приводят в Рим...*

Александр Блок

### Вступление

То, что я собираюсь здесь рассказать, может показаться не очень правдоподобным, однако так или почти так все оно и было. «Почти» объясняется тем, что в большинстве своем люди, о которых я буду говорить, уже умерли, толком расспросить их я, пока они были еще живы, по лености и нелюбопытству не успел, отчего и повествование мое наверняка будет грешить романической неточностью. Основывается оно на рассказах, когда-то слышанных мной от родителей и иных людей и еще не забытых. Стоит упомянуть и о том, что, разговарившись недавно об отце с дочерью моего старшего брата, я обнаружил, что некоторые ее сведения разительно отличаются от моих. Да оно и понятно. Брат, появившийся на свет ровно за год до сталинской конституции, помнит еще довоенную и уж тем более военную жизнь родителей. Я же, родившийся через тринадцать лет после него, помню их совсем другими людьми.

Так вот, я собираюсь пересказать историю возникновения моей семьи — откуда она взялась и быть пошла. Малая эта история испытала на себе воздействие истории большой: войн, революций и прочих неперемненных прелестей бытия. И хотя бы поэтому она может показаться любопытной человеку стороннему. О самой моей семье я буду говорить лишь постольку-поскольку — и оттого, что она мало кому, кроме меня и нескольких близких друзей, интересна, и оттого, что в историю пока что не обратилась. На ее счет пусть уж дети мои хлопочут. А здесь речь пойдет об их, детей, прародителях. О том, как удивительно переплетаются жизни людей, появившихся на свет уж так далеко друг от друга, что им вроде бы и прослышать-то одному о другом никак бы не полагалось. Ан'на тебе — не только прослышали, но и встретились, и прожили рядом изрядную часть жизни, без чего и мы ни за что не появились бы на свет. Вот я и хочу рассказать, как все это, по моему разумению, произошло. Текст у меня получился довольно густой, чересчур, что называется, информативный. Не обессудьте — конспект. И наконец. Когда я писал все это, Ленка была жива. Теперь ее нет. Я не стал сильно переделывать написанное еще и потому, что оно — последнее из прочитанного ею в жизни. Переменил кое-где настоящее время на прошедшее и поставил посвящение.

### Москва: мы

Начнем, как водится, с конца. С того, во что все в конечном итоге вылилось, — с нашей семьи. Чисто технические сведения, которые упростят дальнейшее изложение. Четыре человека и собака: я — Сергей Борисович Ильин, родившийся в Саратове в 1948 году (отец — Борис Иванович Ильин, 1913 года рождения, г. Белев; мать — Наталия Константиновна Немкова, 1916 года рождения, село Разбойщина, что под Саратовом); жена — Елена Александровна Золотарева, родившаяся в Москве в 1951 году, в дальнейшем «Ленка» (отец — Александр Матвеевич (Нусин Мошелевич) Туркельтауб, 1915 года рождения, г. Любек, Польша; мать — Ольга Васильевна Золотарева, 1920 года рождения, г. Саратов); дети: Юрий и Анестезия, родившиеся в Москве в 1980 и 1989 годах соответственно. Была у меня еще и жена первая — Виктория

Львовна Штротмбергер, родившаяся, как и я, в Саратове в 1948 году (отец — Лев Викторович Штротмбергер, год рождения мне не известен; мать — Софья Ивановна, аналогично). Грех не упомянуть и нашего пса, миттель-шнауцера, именуемого Петрик (Петруччо Зерф по метрике), родившегося все в том же Саратове в 1993 году.

Давайте для начала Саратовом и займемся.

### Саратов: Золотаревы

«7 апреля 1883 года (по старому стилю) в семье маленького служащего Саратовского почтово-телеграфного округа родился сын, которого назвали Василием» — так начинаются не опубликованные и поныне мемуары Василия Наумовича Золотарева, деда моей жены Ленки, названные им так: «Мои воспоминания в старом Саратове». Книга немаленькая, охватывающая первые двадцать пять лет жизни автора. Пересказывать ее я здесь не буду, поскольку к моей теме она имеет отношение разве что касательное, хоть и содержит разного рода увлекательные для саратовского человека сведения, относящиеся до быта моего родного города, каким он был в конце прошлого (или уже позапрошлого?) века.

Отец Василия Наумовича происходил из деревни в Новороссии, отбыл 15 лет в армии (чуть не написал — русской), потом служил в Саратове по почтово-телеграфному ведомству, женился на местной крестьянке и родил с нею пятерых детей — трех девочек и двух мальчиков. Василий Наумович был старшим сыном.

Он закончил в Саратове 1-ю гимназию, репетиторствуя, чтобы заработать на учебу и как-то поддержать семью, потом учился на историко-филологическом факультете Московского университета, слушал, в частности, лекции сильно, по его воспоминаниям, заикавшегося профессора Ключевского. Учился трудно, приходилось зарабатывать на жизнь, он опять репетиторствовал, готовил, прерывая для этого учебу, к поступлению в гимназию помещичьих детей, в частности будущего маршала Тухачевского (за что и был впоследствии лишен работы и спасся только тем, что следователь НКВД, или как оно тогда называлось, к которому он — сам! — пришел за разъяснением своих обстоятельств, оказался из бывших его учеников, и немало, я полагаю, рискуя, выпроводил его, посоветовав на прощание сидеть тихо и не высовываться). В 1905 году во Владимирской губернии студент Василий Золотарев вел агитацию среди рабочих стекольной фабрики, принадлежавшей помещику, с детьми которого он тогда занимался, и довел-таки дело до забастовки. Обворовывавший рабочих фабричный приказчик донес на него «в губернию», и, верно, попал бы студент во Владимирский централ и, глядишь, досидел бы в нем до прибытия туда же моего отца — всего-то лет двадцать пять, — но нет, Василий успел ускользнуть в Саратов, вступил там в РСДРП, пропагандировал уже рабочих-земляков и в конце концов оказался в центре Саратова (здание которого хорошо было видно из окон стоявшего на территории университета домика, в коем я вырос, — и кстати, на стене у нас тикали старенькие швейцарские часы в деревянном, на терем похожем коробе: сейчас, остановившись уже навсегда, они глядят на меня, правящего написанное, поверх головы клавишника в джазовом кафе на Большой Бронной). Арестовали его по представлению владимирского же помощника прокурора, носившего, как это ни удивительно, фамилию Золотарев. Он отсидел два с половиною месяца в одиночке. О саратовских его делах жандармы, по счастью, ничего не прознали и, помурывив, выпустили под надзор полиции. Все это не помешало ему стать впоследствии директором все той же 1-й саратовской гимназии — в мое время называвшейся 19-й школой, к ней мы еще несколько раз вернемся, — затем, уже при советской власти, он преподавал историю в Педагогическом, кажется, институте, что располагался в бывшей женской школе, которую закончила мама.

Первая его жена Александра, происходившая из саратовской семьи Алмазовых (по фамилии судя, купеческой не то священнической, впрочем, дядя ее был известным в Саратове врачом), умерла к началу 20-х годов от чахотки, успев родить сына Николая. Вскоре и у Василия Наумовича открылась эта болезнь, приобретенная им еще во время одиночного тюремного сидения, но в дальнейшем залеченная. Году в 18-м, когда родительский дом его на Бахметьевской улице (названной именем прототипа Рахметова) реквизировали, он перебрался на хутор в Заволжье, сухой климат коего давал, по уверениям все того же доктора Алмазова, который и сам когда-то вылечился от туберкулеза крестьянским трудом, надежду на исцеление. Там-то и случилось ему

приютить по просьбе знакомых не имевшую никаких документов молодую еще женщину, Юлию Яновну фон Мекк (в девичестве Домбровскую — никакого отношения ни к Парижской коммуне, ни к известному писателю). Была она вдовой рижского купца, много старше ее годами и умершего от аппендицита через год после свадьбы. Оставшиеся от мужа невеликие средства Юлия Яновна потратила на разезды по Европе (особенно разочаровала ее Венеция), а после стала «компаньонкой» жены генерала Каледина, которой и отдала в самом начале гражданской войны свои бумаги, чтобы та смогла выбраться из Совдепии на юг. Юлия-то Яновна, скончавшаяся в 1966 году в возрасте восьмидесяти лет, и стала в итоге Ленкиной бабушкой, родив Василию Наумовичу двух дочерей, из коих старшей была Ольга, будущая моя теща, умершая, не дожив сорока дней до семидесяти восьми, в сентябре 1998 года — по причине августовских происшествий, с одной стороны, и нежелания жить дальше, с другой. Собственно, и сам Василий Наумович, переживший жену почти на десять лет — он скончался в 1975-м, в год, когда я познакомился с Ленкой, — умер, похоже, оттого, что ему прискучило жить. Был он, впрочем, человеком по натуре радостным — Ленка вспоминала, что, приехав под конец 50-х погостить к дочери в Москву, он чуть ли не каждый день водил ее (Ленку) любоваться ведшимся неподалеку, на шоссе Энтузиастов, то есть на Владимирской (опять-таки Владимирской) дороге, по которой энтузиасты уходили некогда в каторгу, строительством кинотеатра «Слава»: сама мысль о том, что государство наше строит нечто, способное пригодиться рядовому человеку, утешала его чрезвычайно. Общительность Василия Наумовича (не в меньшей мере присущая и отцу моему) была такова, что в Саратове его заглазно называли «Корягой» — пройти мимо и не зацепиться было почти невозможно. Когда же Юлия Яновна, женщина, сколько я понимаю, нравная, принималась его пилить, он мирно надевал пальто, башмаки и шапку и выходил из дому, обыкновенно произнося на прощание: «Грех не прогуляться в такую погоду» — какой бы эта погода ни была.

### **Белев, Саратов: Ильины**

Дед мой с отцовской стороны, Иван, если верно помню, Егорович (я его никогда не видел), и бабушка Лидия Ивановна родились и выросли в стоящем на высоком берегу Оки старинном русском городке Белеве. Происхождением оба были «из мещан». Летом 63-го я провел с родителями месяца полтора в собственном домике бабушкиных сестер, Марьи и Натальи. Старшая их сестра, Татьяна, рано ставшая монашеской Новодевичьего, умерла в начале двадцатых. У меня и поныне хранится Библия, подаренная ею отцу — увы, дарственная надпись погибла от руки бестолкового переплетчика. И до нашего приезда, и после Маша с Наташей, что ни осень, присылали нам по почте несколько ящиков с яблоками из своего сада, в котором я в первый и последний, кажется, раз в жизни попробовал настоящую антоновку — так что, читая «Антоновские яблоки» Бунина, я, может быть, один из немногих уже, действительно понимаю, о чем идет речь. В одном-двух ящиках неизменно содержались яблоки зимних сортов, долежавшие у нас аж до Нового года на верху книжного шкафа — с которого я, двух-трехлетний, ухитрился, забравшись в отсутствие родителей на отцовский письменный стол, своротить настольную лампу под классическим зеленым абажуром, по-видимому, от меня, любознательного ребенка, туда и убранный. Мне повезло, я достиг пола раньше лампы, и вернувшаяся миг спустя домой мама обнаружила меня лежащим в некотором ошалении посреди зеленых осколков. (Из Белева мы тогда уехали в Москву на такси по удивительной красоте взлетающей на холмы и опадающей с них дороге. А при въезде в столицу я впервые увидел мертвого человека, мотоциклиста, лежавшего головой в треснувшем шлеме посреди лужи крови.)

Домик моих двоюродных бабушек выходил тремя окошками на сонную, немощную улочку. В начале тридцатых наискосок от него каждое лето жил, как рассказывал мне отец, Лев Оборин, вечерами игравший при открытых окнах Шопена. В этом домике Маша с Наташей прожили едва ли не всю жизнь, в нем и умерли, приютив под конец какую-то молодую семью с детьми и ей домик оставив. Во время последней большой войны у них стояли немцы, трое, кажется, — очень вежливые, по воспоминаниям бабушек, были люди, трогательно, с елочкой и с пением «Майн либер Аугустин», справлявшие свое Рождество. Книг у бабушек было немного, всего три: Евангелие, «Рождественские рассказы» Диккенса (помню только «Сверчка») и «Красное и черное» Стендаля. Все три я, уже приобретший к тому времени привычку к постоянному

чтению, с удовольствием прочитал, и даже не по одному разу. Больше всего мне понравилось Евангелие от Матфея («да, да, нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» — это я запомнил навсегда). Из-за стоявшей в доме духоты — окна не то что не открывались, но даже и приспособлены к этому не были — я ночевал в стоявшем посреди сада сарае. Там имелись: два топчана, все еще пребывавший в рабочем состоянии граммофон фирмы «Пате», не то «Пати», с большой блестящей трубой, и блинная стопка пластинок к нему, — «Маруся отравилась», песни в исполнении Шалапина, какие-то хоры, не помню. В ночь на Ильин день разразилась гроза с ливнем. Проснувшись от громовых раскатов, я увидел, что картонный потолок прямо надо мной странно провис. В следующий миг он распоролся, окатив меня водой — ведра два там было, не меньше. Подхватив одеяло, показавшееся мне странно тяжелым, что я отнес на счет пропавшей его воды, я перебрался на другой лежак и заснул. Года через четыре, уже после смерти скончавшихся в одну неделю Маши и Наташи, я рассказал об этом бабушке Лидии Ивановне, а она поведала в ответ, что где-то, и может быть, в том самом одеяле, у ее сестер было запрятано немалое количество золотых царской чеканки монет. Насчет монет не знаю, а старорежимные бумажные купюры я во множестве видел своими глазами.

На весь Белев был, кажется, один кинотеатр. Я, во всяком случае, помню только один. Наверное, я, по саратовскому моему обыкновению, смотрел все, что в нем показывали, но запомнил только два фильма — «Иваново детство» и шведский «Она танцевала одно лето». В последнем присутствовала ЭРОТИЧЕСКАЯ СЦЕНА, то есть нечто по тем временам не только невиданное, но даже и неслыханное. Там юные влюбленные выходили нагишом из моря или реки и приникали друг к другу. Чувствуя себя не вполне уютно, я покосился на сидевшую рядом маму и увидел, что по лицу ее льются слезы. А возвращаясь в летних сумерках после сеанса домой, я сунулся взглядом в окно одного из домишек, мимо которых мы проходили, и увидел замечательных размеров обнаженную женскую грудь — хозяйка ее, экономя на электричестве, что ли, передевалась у еще дававшего малый свет окна. Я был тогда влюблен в одноклассницу, с которой и согрешил в ближайшие ноябрьские праздники. Но к деду, к деду.

Дед, железнодорожник и большевик-подпольщик, брал в 17-м московский арсенал и Кремль. Потом какое-то время командовал белевской ЧЕКА, реквизировал поместье Одоевских («Только сеттера с псарни себе взял, больше ничего», — с непонимаемой мною в детстве гордостью отмечал отец. Сеттер этот, получивший большевистское воспитание, воспылал ненавистью к попам и, обрывая на каждом проходившем мимо священнослужителе рясу, добился-таки того, что похоронные процессии, издавна проходившие мимо дедова дома, стали делать немалый крюк, проникая на кладбище через задние, прежде запертые ворота.) В двадцатых дед служил в Саратове, в управлении Волжской железной дороги, занимая немалый, видимо, пост — если судить по рассказу бабушки о том, как она жарким летом ехала из Саратова в Белев в отдельном (жена начальника!) купе да еще и с сопровождающим. Последнее оказалось обстоятельством несчастливым, поскольку бабушка везла прямо на голом теле мешочки с бесценной по тем временам солью, снять их при попутчике не могла — это было и стыдно, и попросту опасно (см. рассказ Бабеля «Соль») — и за три-четыре дня пути соль, вьедаясь в потное тело, умучила ее совершенно. Хорошо еще, поезд пришел в Белев поздней ночью, сопровождающий поехал куда-то дальше, и бабушка, раздевшись прямо за станционной водокачкой догола, так и добрела по непроглядной уездной темени до дому.

Подпольное прошлое деда получило странное продолжение. В начале тридцатых, перед приездом в Саратов Ворошилова, приведшим в тому, что в новые, только что отстроенные для университета корпуса вселилось училище пограничных войск, дед написал от руки некоторое количество листовок с приветствиями красному маршалу и ночью расклеил их по заборам улицы Ленина, вдоль которой маршалу предстояло проследовать от вокзала и на которой дедушка с бабушкой и младшим их сыном Спартакком жили в одной из четырех комнат небольшой коммунальной квартиры. Страшно подумать, где бы я вырос, да и вырос ли бы вообще, если бы деда поймали за этим занятием. (Собственно, обозначенная Бродским тема «Сколько раз могли убить?» заслуживает отдельного рассмотрения — вот, скажем, я, девятнадцатилетний, на протяжении всего 5 минут дважды чудом избежал верной смерти под колесами сначала грузового, а там и общественного транспорта, и все потому, что, читая на ходу «Затоваренную бочкотару», не имел времени интересоваться тем, на какой, собственно,

свет я перехожу нашу Астраханскую улицу, разделенную посередке бульваром, «по-садками» — так его называли в Саратове, который в совсем раннем моем детстве еще патрулировали по ночам разъезды конной милиции, из чего вывожу, что и о ту пору безносая бродила совсем неподалеку. Не говорю уж о метеорите или болиде, одной зимней ночью ударившем прямо под каблук моего башмака, когда я возвращался домой со свидания с первой моей девушкой. Но сейчас — не об этом.)

К началу тридцатых отец состоял старшим пионервожатым в той самой 19-й школе — водил на Пасху своих пионеров «топтать куличи» (существовала такая форма идеологически-воспитательной работы) на паперть храма, стоявшего на краю городского сада «Липки», посаженного ссылавшимися в Саратов в 1813 году французами — по аллеям «Липок» наверняка прогуливались едва ли не все названные мною в этом сочинении люди (не считая жителей Польши), а из литературных героев — Остап Бендер: в «Золотом теленке» одна из этих аллей названа «Бульваром Молодых Дарований»; стоящий невдалеке «Храм Спаса на картошке» — это бывшая церковь архиерейского подворья, обращенная при советской власти в планетарий.

В один прекрасный день отца арестовали прямо в школе и после недолгого следствия, сопровождавшегося сидением во Владимирском центре, приговорили — в составе диверсионной группы, состоявшей из таких же, как он, юнцов, — к расстрелу за якобы учиненный ими взрыв порохового склада. Диверсанты эти никакого склада, конечно, не взрывали, но кой-какие грехи за ними водились. То была белевская компания отца, развлекавшаяся разного рода проказами в духе Тома Сойера и Энди Таккера. Чего стоил хотя бы увод дрезины, на которой чекисты, охранявшие мост через Оку, приехали погостить на школьный вечер. За уводом последовало лихое катание, завершившееся спуском дрезины под откос — более по неспособности толком управиться с нею, чем по злему умыслу. Хороша была и операция по умыканию из магазина потребкооперации (неумышленная рифма) семи — по числу злоумышленников — деревянных лотков с белевской яблочной пастилой, вкуснейшей, должен сказать, штукой, это такой рулет из вяленых яблок, переслоенных пропитанной медом, кажется, мукой и запеченных, я его попробовал в свое время в Белеве. Много чего было ими понаделано. Среди прочих подвигов числилось проникновение со взломом в местный райком комсомола — отроки надумали в полном составе поступить в одесскую мореходку (особенно картинно, эдаким Сильвером, смотрелся бы на палубе отец, переболевший в детстве полиомиелитом и всю жизнь проходивший на костылях), для чего, как они рассудили, необходимы рекомендации на официальных бланках и с печатями. Вот эти-то бланки с печатями они из райкома и попятели, забравшись по водосточной трубе на второй его этаж с незапертыми по халатности комсомольского актива окнами. Из затеи с мореходкой ничего не вышло, поскольку двое участников отчаянной шайки, посланных в Одессу для рекогносцировки, так до моря и не добрались — один, по прозвищу Гвидон, мастер на все руки, не знавший себе равных в умении обчистить прилавок магазина, одновременно заговаривая продавщице зубы, попался в Курске на мелкой вокзальной покраже, другой, утратив попутчика, заробел и вернулся назад. Тем не менее, года через три отца одного из мальчишек арестовали совсем по другим делам, при домашнем обыске обнаружили давно забытые бланки и печати, а все остальное было делом чекистской техники, каковая и позволила бодровесело раскрыть преступление — действительно имевший место взрыв порохового склада. Спасло этих детей лишь то, что родной брат моего деда тоже подвизался в ведомстве Дзержинского — Менжинского и смог добиться нового, уже настоящего следствия. (Отец рассказывал, что сидел в одной камере с бывшим адъютантом барона Врангеля, огненно-рыжим человеком, состоявшим, еще до Врангеля, при Колчаке. Лет через двадцать отец встретил его, уже совслужащего, на каком-то межобластном совещании — они перемигнулись, как авгуры, но друг к другу не подошли и беседовать не стали.) Под суд дети, конечно, попали. Суд был открытый, показательный, с речами адвокатов и проводился в Белеве. За настоящие их дела юношей приговорили к мелким срокам, но с учетом уже отсиженного освободили прямо в зале суда. Зато из зала увели под конвоем весь штат того самого магазина, воровавший куда размашистее юнцов и мелкую их покражу скрывший.

И к слову — по поводу дедова брата и «ведомства». Года два или три тому назад в Эрмитаже выставили привезенное из Нью-Йорка «Благовещение» Ван Эйка. Когда-то эта картина принадлежала Эрмитажу, но молодая Республика Советов, нуждаясь в средствах, продала ее за рубеж. В зале, где она стояла, крутили видеофильм, рассказывающий об истории картины. Так вот, из этого фильма я узнал, что постанов-

ление о продаже «Благовещения» было подписано неким товарищем Ильным. Увидев его странно знакомую подпись, я, помню, подумал: уж не мой ли это двоюродный дедушка отметился в истории? Впрочем, не исполняй он тогда своей должности, я навряд ли появился бы на свет. Да, собственно, и Октябрьскому перевороту — как к нему ни относиться — я тоже обязан жизнью, поскольку, не произойди он, как бы довелось моему отцу, сыну белевского железнодорожного рабочего, встретить маму, двоюринскую дочь? Вот и ругай после этого большевиков.

После суда отец вернулся в Саратов, поступил на химический факультет университета, в 34-м женился на маме, потом попал на партийную работу, потом, в 53-м, был из партии изгнан, ну и так далее. (Кстати, о странных повторях. С самого начала войны отец работал в Саратовском горкоме, заведую, если я ничего не путаю, отделом промышленности. Году в 42-м мама заболела туберкулезом и после победы под Сталинградом отец попросил, чтобы его отправили куда-нибудь «на природу» — и оказался в итоге директором рыбсовхоза где-то под Баландой. Там он ухитрился основательно поцапаться с местным секретарем райкома, в разгар уборочной страды отобравшим у совхоза единственный грузовик, понадобившийся ему для удовлетворения собственных романтических нужд. В итоге, после того как отец этот грузовик угнал обратно в совхоз, бюро райкома исключило его (отца, а не грузовик) из партии да еще и постановило, под ответственность районного начальника НКВД, или как его там, посадить отца в первый же идущий на восток эшелон с зеками. Так вот, спасло отца только то, что этим самым НКВД командовал бывший его пионер из все той же 19-й школы, а местным нарздравом — жена этого пионера. Жена написала справку об отцовской нетранспортности и кормила его, сидевшего в кутузке, домашними обедами, а муж ее, бросив все, помчался «в область» добиваться правды. И добился. Райком разогнали и даже отправили кое-кого на фронт, на соответствующие должности, разумеется, но все-таки, отца выпустили, и через несколько месяцев даже восстановили в партии. Но это уже отдельная, не лишняя увлекательности история. (Вообще рассказы отца о до- и послевоенной партийной жизни могли бы стать основой отдельного романа.) Послевоенная же его жизнь была вся так или иначе связана с Саратовским университетом, в коем он был секретарем парткома (на правах райкома!). Думаю, он должен был встречаться с Василием Наумовичем, преподававшим историю в саратовских вузах. Что-то я смутно припоминаю какие-то золотаревские разговоры о том, что в написанной отцом истории Саратова нечто позаимствовано, если не уворовано, у Василия Наумовича. Шут его знает. Во всяком случае, отцовская книжка вышла, как помнится мне (у меня она не сохранилась), году в 56-м, а рукопись Василия Наумовича датирована 62-м.

Займемся теперь семьей моей мамы.

### Казань, Саратов: Шостаковичи

Тут мои сведения скудны. Бабушка, Валентина Казимировна, происходила из большой семьи Шостаковичей и приходилась двоюродной сестрой самому великому Дмитрию Дмитриевичу. Читая когда-то давно его биографию, коей я живо интересовался (все-таки родственник, да какой!), я узнал, что семья эта после одного из польских возмущений оказалась в Сибири, а оттуда со временем перебралась в Казань. Бабушка, закончившая в Казани не то учительский институт, не то Родионовский институт для благородных девиц, перед революцией учительствовала в Разбойщине, большом селе под Саратовом. (В шестьдесят восьмом, возвращаясь с Кавказа на машине моего будущего тестя, мы — Лев Викторович, я и Вика — проезжали через растянувшуюся вдоль шоссе Разбойщину. Тьма там стояла эфиопская. На скамейке, притулившейся к одному из заборов, сидела, покуривая, компания молодежи. Когда мы пронеслись мимо, что-то вдруг резко хлестнуло по лобовому стеклу — то была натянутая поперек дороги проволока. Вот когда я окончательно разлюбил идею мотоциклизма.) Василий Наумович до революции снимал в Разбойщине дачу, и стало быть, он и бабушка, как-никак коллеги, вполне могли водить знакомство. Там, в Разбойщине, родилась и росла моя мама, сохранившая об этом селе кое-какие воспоминания (про то, например, как дети ловили в местной речушке раков, окуная пальцы в тухлое мясо и затем засовывая их в рачьи норы). О мамином отце, Константине Немкове, я и вовсе ничего не знаю. Он рано оставил жену с двумя детьми и в семье старательно не упоминался.

Бабушку же я помню. У меня сохранилась давняя ее фотография. На обороте



типографским способом напечатано: «Почтовая карточка. Художественная Фотография I. М. Якобсонъ, Казань, Воскресенская ул., д. Алкина. Золотая медаль 1909 г.». А от руки написано: «8/VII -1912 г. Сенвеловка (?) на Каме. Не поминайте лихомъ». Расчесанные на прямой пробор, забранные назад волосы. Руки, сцепленные за спиной, широкий лоб, прямой, строгий взгляд темных глаз, решительная складка рта. Серая сборчатая блузка со стоячим белым воротничком, темная юбка. Удивительной нежности очертания лица. «Нету в мире царицы краше польской девицы». На другой фотографии, недавно присланной мне по электронной почте племянником Пашкой, она снята с мужем и двумя детьми — с моей мамой, удивительно похожей на юную бабушку (как сейчас похожа на них обеих моя дочь Настя, хоть она и каштанова и сероглаза). Здесь бабушка такая, какой я ее помню — сухощавая, прямая — но прическа, рот (теперь чуть улыбающийся) и глаза (теперь измученные) остались все теми же.

Когда ее не стало, мне было года четыре. Она жила в старом доходном доме на Вольской, потом Братиславской, а нынче, когда Саратов разбрался с побратимом, опять Вольской улице, в большой коммунальной квартире, где я часто бывал совсем маленьким — с лепными, очень высокими потолками и, соответственно, окнами. Окна-то бабушку и погубили. Надумав их вымыть, она поставила одну на другую три табуретки, упала с них и, сильно разбившись, к ночи умерла. В ту ночь я вдруг проснулся (собственно, со мной это случалось нередко — то снился мне крокодил, подбирающийся ко мне по торцевой мостовой Астраханской улицы, и я, обнаружив, что не способен сдвинуться с места, просыпался в холодном поту; то являлась собака, листавшая толстенный фолиант и в миг пробуждения улетавшая вместе с ним в потолок) в нашем деревянном домишке с открытыми по летнему времени окнами, обошел квартиру (две комнатки и кухня), никого не нашел, удивился, испугался, поплакал немного и заснул. Утром мама сказала мне, что случилось.

### Саратов: Штромбергера

И по этой части сведения мои обилием не отличаются. Выспросить что-либо у первой моей жены Вики мне навряд ли удастся — мы с ней в ссоре без малого уж двадцать пять лет, в чем виноват исключительно я. Но кое-что я рассказать все-таки могу. Отец моего первого тестя, Льва Викторовича Штромбергера, был в тридцатых министром Немреспублики и после ее ликвидации сгинул в сибирских лагерях (уже в конце семидесятых известный советский писатель Григорий Иванович Коновалов, принимавший в этой ликвидации деятельное участие, рассказывал при мне у костра на одном из волжских островов, как она происходила: «Большевицкие жмурки, — грассируя, подытожил его рассказ Володя Глейзер, сам приходящийся не так чтобы очень далеким родственником не больше, не меньше как Ягоде, — игра продолжается, пока все не зажмурятся»). Лев Викторович был в молодые годы тем, что теперь называется «плейбой», — у него имелась собственная яхта. Я познакомился с ним в 66-м, после того, как поступил на физический факультет Саратовского университета. Всех выдержавших вступительные экзамены немедленно приспособили исполнять разные необходимые для университета работы, это называлось «трудоустройство». Вот и я в обществе еще двух-трех новоиспеченных студентов рыл капонир для какой-то вакуумной установки и обкладывал его кирпичами. Происходило это в Лаборатории вакуумной физики, которой как раз и командовал Лев Викторович. Надо отдать ему должное, гидролизного спирта он для нас не жалел, наливал по полной. Надо отдать должное и нашей новейшей истории — подрастающее поколение избавлено ею от знакомства с этой омерзительной жидкостью.

Мать Льва Викторовича умерла очень рано, воспитанием мальчика занималась ее сестра Мария, микробиолог по специальности, участвовавшая в чумных экспедициях в Монголию и Казахстан, — был в Саратове (да, верно, и поныне есть) такой научно-исследовательский институт «Микроб», стоявший совсем невдалеке от нашего дома. Я ее помню уже доктором наук, профессором Саратовского университета. В юности Лев Викторович был влюблен в Олю Золотареву, ставшую через многие годы второй моей тещей. Согласно семейным преданиям, она в 41-м отмолила его в «органах», выдав за своего жениха, — наполовину немец по происхождению, он подлежал высылке. Влюбленность, закончившаяся ничем (Ольга Васильевна вышла за другого), кажется, сохранилась надолго, но в эти материи я вдаваться не стану, чтобы не нагрешить домыслами. Дружба же сохранилась на всю жизнь, что много позже и

вышло мне боком. Собственно, и с Ленкой-то меня познакомила его дочь, Вика, первая моя жена, предварив знакомство словами о том, что Ленка — самый плохой человек, какого она, Вика, знает. На фотографии, ныне глядящей на меня из-за стекла книжной полки, две эти девочки сняты бок о бок в сосновом лесу, невдалеке от теперь уже нашей, теперь уже принадлежащей нашим, выросшим на ней, детям, дачи под Гжелью. Ленке на этом снимке лет десять-одиннадцать. Вике, в ту пору ученице все той же саратовской 19-й школы, — тринадцать-четыренадцать. Тогда они еще дружили, наверное. Охлаждение (одностороннее, впрочем) наступило года через три, когда четырнадцатилетняя Ленка, отбиваясь по телефону от более чем взрослых и не очень взрослых поклонников, попутно успевала объяснять гостившей в Москве Вике, что в «Эстетике» Гегеля (которую Ленка, подобно юному Искандеру, обчитывала вокруг стихотворных цитат) сказано вовсе не то, что она, Вика, думает; что «Доктор Фаустус», опять-таки, написан совсем о другом и что никакого такого сверхъестественного туше у Галины Николаевой, которую Вика слушала на пластинках, а Ленка живьем, нет и никогда не было. Ну и так далее. Сочетание телефонного воркования с изложением крайних мнений, размашистой чувственной жизни этой малолетки с ее, скорее внешним, интеллектуальным превосходством, видимо, и поселило в душе Вики, девушки строгой в том смысле, какой Юрий Олеша вложил в название своего «Строгого юноши», устойчивое неприятие моей будущей, нынешней и теперь уже вечной, насколько эта самая вечность нам суждена, жены. Думаю, впрочем, что лучшей рекомендации — в смысле возбуждения интереса — Вика мне тогда дать не могла. А за двадцать пять прожитых с Ленкой лет я успел понять, что она — лучший человек, какого я когда-либо знал.

Летом прошлого 1999 года я привез Настасью в Дубну, чтобы показать ей вторую мою духовную родину. Когда мы подходили к забору, из-за которого хорошо видна Лаборатория теоретической физики с летней верандой, на коей я выпил не одну цистерну кофе, из проходной, пробитой во все еще украшенном колючей проволокой монументальном заборе, вышла Вика. «Здравствуй, Вика», — сказал я. Она не ответила — лишь дернулась и ускорила шаг. «Похоже, она не очень тебя любит», — заметила Настя, которой я минуты за две до того поведал нашу историю. Что верно, то верно — да и за что ей любить человека, оставившего ее с даже и не годовалой еще дочкой? Впрочем, как любит повторять один близко мне знакомый мудрец, сожалеть надлежит только о несодеенном.

### Польша, Россия: Туркельтаубы, Шкотты

Вот тут-то самый роман и начинается.

Нусин Мошелевич Туркельтауб, Ленкин отец, родился в 1915 году в польском городе Любеке в большой еврейской семье. Окончил, репетиторствуя, как Василий Наумович, гимназию, поступил на химический факультет Варшавского университета. Всю свою жизнь он помнил, что когда в университетскую аудиторию входил студент-поляк, евреям надлежало вставать. Когда входил следующий — вставать же. И так далее, сколько бы их ни вошло. Это и, верно, многое иное сделало его человеком левых убеждений, в Польше Пилсудского и его наследователей отнюдь не приветствовавшихся. Нусин Мошелевич едва ли не возглавлял подпольную организацию молодых университетских коммунистов. В двадцать с небольшим он женился на девушке, разделявшей его взгляды, — уже по тому одному они не венчались. Жена знала его лишь по подпольной кличке: «Болек». Как и он ее: «Дуся». Денег на учебу не хватало, но Дуся ухитрялась что-то подрабатывать и помогала ему. В 39-м, после очередного раздела Польши, они переехали во Львов, где Болек продолжил учебу в одном со Станиславом Лемом университете.

В июне 41-го Львов разбомбила немецкая авиация. Разрушенными оказались оба общежития — и то, в котором жил Болек, и то, в котором жила Дуся. Каждый из них, не найдя и оплакав друг дружку, отправился своим путем — Болек в Россию, где он обратился в Александра Матвеевича, а Дуся домой, в Варшаву. Он вступил в Красную армию, но по причине буржуазности происхождения был из нее демобилизован в сентябре 1941 года. Повторю еще раз: его демобилизовали в сентябре 1941 года. И отправили доучиваться, не то работать в Саратов, где перед тем было открыто месторождение нефти и газа и имелась нужда в химиках. Дуся же, пробираясь домой, попала в дом какого-то ксендза, который, поняв уже, что ждет в Польше евреев, снабдил ее

документами своей незадолго до того умершей прихожанки, чистокровной польки Каролины Шкотт, несколько старшей Дуси годами. Пани Каролина и поныне сбивается, не без определенной доли лукавства, впрочем, сообщая свой возраст. С этими документами она пришла в Варшаву и прожила в ней всю войну. Ходила с большой корзиной, наполненной буханками и бутылками с молоком, торговать в варшавское гетто и выносила в этой корзинке еврейских детей, которые потом пристраивались по польским семьям. Служила прислужой в доме родившегося в Самаре и успевшего еще в двадцатых посидеть в казахстанских лагерях музыканта — дирижера духового оркестра пана, опять-таки, Болека (я познакомился с ним, уже 90-летним, в 88-м году в Варшаве, в квартирке пани Каролины на Новом Святе — наискосок, через улицу, жил когда-то Мицкевич, а чуть дальше стоял дом, на втором этаже которого квартировал в молодости столь любимый Обориным Шопен; из окон этой квартиры жандармы, обыскивавшие ее после бегства Шопена во Францию, будучи в раздражении, выбросили на мостовую Нового Свята шопеновский рояль, — интересно, собрал ли его кто-нибудь и где он теперь? — так вот, девяностолетний с хвостиком пан Боек в день нашего знакомства пешком залез к пани Каролине на третий этаж и через полчаса, кое-как отдышавшись, принялся травить не вполне пристойные анекдоты. Дирижировать он к тому времени уже не дирижировал, но аранжировки на заказ еще делал). В подвале у пана всю войну просидело некоторое количество еврейских детей, если не семей, и когда в дом его приходили с проверкой немецкие патрули, дочери пана Болека садились за рояль и принимались громко играть популярную у арийских воинов музыку, какую-нибудь «Лили Марлен», — на случай, если из подвала вдруг донесутся смертельно опасные звуки.

Послевоенная жизнь Каролины сложилась несчастливо. Второй ее муж вскоре оказался все в тех же казахстанских лагерях, поскольку во время войны он состоял в Армии Крайовой, набравшейся, как известно, исключительно из агентов если не МИ-5, то уж определенно «Би-би-си». Из заключения он вышел человеком изломанным и в один прекрасный день исчез, обнаружившись, спустя долгое время, во Франции, где у него образовалась новая семья. Какое-то время Каролину таскали в органы и так допекли, что ей даже пришлось запустить, на манер Лютера, чернильницей в следователя. Она вырастила двух дочерей — одна, Эвуня, стала адвокатом, другая, Марыся, ученым-ядерщиком с международным именем, — сейчас Каролина растит правнука. Муж ее под самый конец жизни вернулся в Польшу — умирать, и Каролина после долгих уговоров дочерей пришла к нему в больницу, и они помирились. Когда мы с Ленкой гостили у нее в 88-м, а то было еще время диктатуры Ярузельского, она с гордостью показала нам стоявший в прихожей здоровенный шкаф, битком набитый изданиями «Солидарности». К тому времени муж Марыси, работавший, как и она, в Варшавском университете, успел посидеть за связь с «Солидарностью» в тюрьме. Сама же Марыся, пока он сидел, собирала по университету подписи в его защиту.

Что до Александра Матвеевича, то он году в 42-м женился в Саратове на Оле Золотаревой, скоро у них родился сын Юрий. В конце сороковых семья переехала в Москву. Он стал доктором наук, профессором, одним из основателей отечественной газовой хроматографии — для него даже выстроили институт на шоссе Энтузиастов (Владимирка, Владимирка!), в котором при знакомстве нашим работала Ленка. (По-моему первую нашу встречу там — я, вылезши из автобуса, шел по шоссе к проходной института, а навстречу мне плыла в клубах валившего из-под асфальта пара юная и прекрасная Ленка.) В пору борьбы с космополитизмом, вследствие которой Ленка стала Еленой Александровной Золотаревой, а родной брат ее так и остался Георгием Нусиновичем Туркельтаубом, Александру Матвеевичу намекнули где следует, что неплохо было бы, если б он вернулся на родину, но Ольга Васильевна ни в какую туда возвращаться не пожелала, да и сам он к тому времени выяснил уже, что никого из его некогда бесчисленной родни немцы в живых не оставили, — и никуда не поехал. (Кстати, примерно в то же время и моего отца уговаривали перебраться на партийную работу в Ленинградский университет, однако мама, только-только избавившаяся от чехотки, тому воспротивилась. А согласись она, что бы со мной сейчас было — не знаю.) Кое-кого из друзей Александра Матвеевича, таких же польских евреев и хроматографистов, не пожелавших покинуть Россию, спланировали-таки куда подальше — в Свердловский университет (куда уехал некогда и дед мой, Константин Немков, тоже химик, ставший этого университета профессором). Но Александр Матвеевич остался в Москве и уже в шестидесятых был примечен на одной из научных конференций бывшим своим варшавским учителем, к которому он не осмелился подойти страха

ради иудейска. Учитель, вернувшись домой, рассказал нескольким общим знакомым, что видел Болека, вовсе и не погибшего, но живого-здорового. В конце концов эти сведения дошли до Каролины, она как-то пыталась отыскать бывшего мужа, просила о том наезжавших время от времени в Москву знакомых, — не зная толком ни имени его, ни фамилии. В сорок восемь лет Александр Матвеевич заболел плевритом, врачи подозревали рак, от которого и принялись его лечить, но никакого рака у него не было, лечение же привело к нескольким инфарктам, от последнего из которых он и скончался в считанные минуты в 1965 году. Только через два года Каролине удалось узнать его адрес. Она немедленно приехала в Москву, но застала в ней уже только вдову, дочь и сына своего давнего мужа. С тех пор мы с ней (и я уже тоже) считаем друг друга близкими родственниками.

### Выводы

Вот так все мы и встретились. Теперь нас осталось немного — я, мой старший брат, Вика, Каролина с ее замечательными дочерьми, внуками и правнуками, брат Ленки. Пожалуй, все. Ну, и дети, конечно. Первой дочери моей, Марии, в которой намешана русская, украинская и немецкая кровь, я, по изложенным выше причинам, совсем не знаю, говорят, она учится чему-то в Петербурге. В нем же в начале мая этого года умерла Ленка. Двое младших со мной: русская, украинская, еврейская, польская, быть может, немецкая — Немков, кто таков Немков? Шут его знает. Вдруг да испанец.

Что сказать напоследок? И нужно ли что-нибудь говорить? Не хочется впадать в наставительный тон, да, как видно, придется. Конечно, никакого романа я писать не стану. Нет у меня ни амбиций, ни амуниции, для сего потребных. Но зачем же тогда написал я все это? Бог его знает. Меня давно уже донимает мысль, что я это сделать обязан. Нельзя же, в самом деле, допустить, чтобы все эти люди, их судьбы, их муки и радости, о которых я, в сущности говоря, знаю совсем немного, только догадываюсь, исходя из своего, тоже теперь уже довольно обширного опыта, так и канули бы в реку времен и общей не ушли судьбы. Нельзя хотя бы потому, что мне о них хоть что-нибудь да известно, а больше помянуть их, похоже, и некому. Должно же что-то после всех нас оставаться, достойны мы того или не достойны. Все достойны, до последнего сукина сына. Потому что каждый из нас жил, корячился, радовался, совершал, может быть, гадости невероятные, но что-то в общую человеческую копилку вложил: хорошее ли, дурное, а вложил — и все когда-нибудь пойдет в дело.

И опять-таки — дети. Нужно, чтобы они знали, кто они и откуда. Чтобы помнили родство. Чтобы понимали, что кровь, текущая в их жилах, это такой коктейль, такая «Кровавая Мери», в которой намешано все человеческое — от Вавилона с Ниневией до черт знает каких пришельцев. Если каждому из наших детей рассказать, что за ними стоит, может быть, не пойдут они спасать Россию, Германию, Иудею и Атлантиду набормотанными недоумственной сволочью неупотребимыми для порядочного человека способами, а станут просто жить, пусть даже малым краешком разума понимая — не сразу, не сразу, — что и от них зависит если не будущее человечества, то хотя бы малая толика счастья тех, об кого они трутся боками, ну хоть что-то, хоть мгновение чьей-то недолгой радости, осознания человеком того, что и у него есть своя и только своя доля в этом, ладно, не шибко уютном, но единственном, в каком ему выпало жить, мире.

Мы все большая родня, все мы — свои. Мы можем любить своих, можем относиться к ним без особой приязни, но никому из нас не по силам забыть, что они-то, свои, родные, друзья, и придут похоронить нас, оплакать и помянуть. И может быть, еще расскажут о нас тем, которые будут после, даровав нам то непрочное бессмертие, какое только и возможно на этой земле.

# Павел Бастрakov

## Что до меня...

### Книгочей

Что до меня, то милосердный Бог  
На небе, где гарцуют облака,  
Всегда покажет, как единорог  
Готовится для дальнего рывка,  
Что в городе, где нет молочных рек,  
Найдётся, как неписанный закон,

Вполне интеллигентный человек  
Затем, чтоб поклониться на поклон.  
И если за моим окошком год  
И вор, и хам — я шелестом страниц  
Сгоню его, как гонит садовод  
Из сада пережравших наглых птиц.

\* \* \*

*«Он тоже бежал в валенках...»*

Стих

Опять тебя красиво обобрали,  
Опять ты никому не интересен,  
Мой бедный брат —  
                        угрюмый пролетарий,  
Исчезнувший из книжек и из песен.  
А птицы улетают — прилетают,  
То радостно кричат, то виновато,

И пачки «Беломора» не хватает,  
И веры, и надежды, и зарплаты.  
И — чур меня! — когда такое снится,  
Что маленький с кудрявой головою  
Уже растёт и, бегая, резвится  
В огромных валенках  
  над Волгою-рекою.

### Николай Некрасов

*«Николай, давай покурим,  
Николай, давай попьём».*

Песня

Это сокола клёкот ли? Кредиторов ли праведный ропот?  
Отчего-то в стране пропадает желанье работать,  
Брать киянку какую, зубило какое, долбило,  
И долбить, и киянить, и зубить, чтобы весело было.

Да и кто там бурлит, и кипит, и сверкает, и пышет, как чайник?  
Это цену на труд начисляет бессмертный Начальник.  
(И вчера, и сегодня, и обратно — к седьмому колену.)  
И цена впечатляет, как известный ответ Чемберлену.

Николай Алексеевич, притулиться бы к Вашему долгу!  
«Выйдь на Волгу!..» — я, конечно же, вышел на Волгу.  
Берегам там — то круто, высоко, то — как-то полого,  
То покажется близко, то уж очень далёко до Бога.

---

Павел Георгиевич Бастрakov родился в 1956 году в городе Шахунья Горьковской области. Служил в армии в автомобильных войсках, работал на Целине. В Москве был печатником в издательстве «Правда», учился в Литературном институте на отделении прозы; ушел с третьего курса. Окончил курсы крановщиков в Ленинграде. Издал в городе Иваново книгу стихов «Место в небе» (1999 год. МИК). В центральной печати не публиковался. Живет в городе Иваново.

\* \* \*

Поэт, печальный после листопада,  
В тумане заоконного пространства  
Предчувствует вселенского распада  
Тоску и гниль и — гибель государства.

А дворник Петр Иванович Несмелов  
Пришёл домой и дома отдыхает.  
Он сделал своё маленькое дело:  
Расчистил двор — и Бог об этом знает.

### Поминальное

Безвременно...  
и нас здесь тьмы и тьмы —  
Вся наша поэтическая братия:  
Из Питера, Калуги, Костромы,  
Москва моя, Чувашия, Бурятия...

Какое море траурных венков.  
Как наше всё ему мы доверяли.  
Такого человека потеряли!!!  
Последнего читателя стихов.

\* \* \*

Блаженный мир —  
ни признака смятенья,  
Не поражает даже НЛО.  
Вчера ко мне спустилось вдохновенье,  
Спустилось, поскучало и ушло.  
Апофеоз бумаг — печать и дата.  
Под знаком «устаревшее» слова:  
«Не надо мне ни серебра, ни золота»  
Уходят за пределы словаря.

Уходит всё, что истинно издревле,  
За что душа хлопочет и болит.  
Я слышал: Бог живёт ещё в деревне,  
И видел, где живёт митрополит.  
И осень, даже осень на исходе.  
Последний клин последних журавлей...  
Невычитанность главного в природе,  
Нелюбопытство занятых людей.

\* \* \*

Уехать. В деревню. Сегодня!  
Где всякое лето — Господне,  
Где в дудочку дует пастух,  
А утром разбудит петух,  
Где ложкой играя, шишок  
Катает в печи чугунок...

И где, обнимая траву,  
Ты видишь, почти наяву,  
Не гонор страны и не срам,  
А то, что обещано нам,  
Чем счастлив был старец святой,  
Питаюсь травой-лебедой.

\* \* \*

Я позабыл порядок соответствий,  
Как лампу бы утратил Алладин,  
Причины ли во мне рожают следствия,  
Иль следствия начало всех причин?  
Пошли мне, Боже, толику участия,

Открой монетку, имя назови,  
Скажи теперь — в какой ладони счастье:  
В любви?  
В стихотвореньи о любви?

\* \* \*

Темнеет. Городок безлюден.  
Пространства вяжущая мякоть  
Дрожит, как поминальный студень,  
И дождь такой, что можно плакать.  
От расставанья до вокзала  
Такая длинная дорога...

Как времени, что было мало,  
Вдруг стало безнадежно много.  
В нём всё сольётся: вонь перронов,  
Вино и жизнь без всяких правил,  
И вопли в тамбурах вагонов  
О том, что ты теперь оставил.

### Полустанок

Он сплюнет и сдерзит,  
И кулаком и в голос,  
На этот — sic transit —  
Предельно скорый поезд.  
А, может быть, возьмёт  
И, нагоня страху  
На тех, кто в нём, рванёт  
На грудь свою рубаху.  
И ловок и умел,

В картинках неприличных  
Покажет, как имел  
Он этих всех... столичных.  
И разный прочий вздор.  
Потом пойдёт на двор,  
А на дворе трава,  
А на траве дрова,  
А на крылечке же —  
На! — пьяная уже!

Лизе Болконской

(Второстепенной героине великого романа  
с любовью из второстепенной жизни.

Батуми. КПЗ. 1983 г.)

Введи меня в салон графини Шерер.  
Нет-нет, ты не ослышался, старик!  
Гляди, как суетливо вскинут веер  
У этой дамы, прикусившей вскрик  
От жуткого виденья: сгоряча  
Ввалившегося в светский зал героя —  
Небритого советского бича,  
Ей и во сне не виделось такое!..

Простите, Лиз,

Болконский Вас не любит...

(Умолкните, с княгиней говорю!)

Да, понимаю, здесь меня осудят,

Но там, где я, как будто бы, живу —

Среди бродяг, на грубых нарах, в клетке,

Прожариваясь в матерном чаду,  
Я словно рыба, бьющаяся в сетке,  
И мне не след изображать кокетку...

Простите, Лиз, я, кажется, в бреду...

В бреду, во сне, в тюремной мясорубке

Я предан Вам, и ночью, в темноте

Целую Вашу вздёрнутую губку,

Смеюсь и плачу, крестик на стене

Рисую взглядом и молю за Вас.

Вам жить недолго, мне недолго грезить —

Тюремный надзиратель через час

Разбудит петушиным криком нас,

Двадцатый век за окнами забрезжит

Холодным светом, новой войной...

Адью, мон шер, небесный ангел мой!

На смерть N, N и N

Как грустно, как больно, как странно,

Как страшно и невыносимо:

Что знала пророчица Анна —

Как будто не знает Россия,

Как будто усталой, болящей

Ей, сирой, довлеет всецело

Не божеский животворящий,

А — крест в окуляре прицела.

\* \* \*

Так больно, как болит твоя рука,  
Зажатая калёными щипцами,  
Так широко, как между берегами  
Несёт волну сибирская река,  
Так лихо, как безумный генерал,  
В порыве холерической отваги,  
Черкнёт кривой стрелюю на бумаге,  
И тысячи, сражённых наповал,

Назавтра станут просто грудой мяса...  
Вот так — не пишется.

Сегодня выпал снег,

Посеребрил деревья и дорогу.

К нам путник попросился на ночлег,

И мы его пустили, слава Богу!

И он нам рассказал, что выпал снег.

\* \* \*

В шатёр, расшитый точно скатерть,  
В неверный сон, как сквозь туман,  
Вошла в сиянье Богоматерь,  
И — дрогнул гордый Тамерлан...

Так вспомнить. Улицей разбитой

Идти, смотреть, сказать: судьба.

Писать: смиренье плодовито,

Бунт — привилегия раба.

\* \* \*

Как столбовой читатель между строк,  
Имеющий сказать, а не заплакать,  
Предвидеть возвращенье на Восток  
Всех поездов, отправленных на Запад;

И, как уже идущий налегке,

Вдоль зыбких рубежей иного зренья,

Я знаю, что История спасенья

Напишется на русском языке.

\* \* \*

А и быть бы рассеянным мелкою дробью  
По вселенскому омуту, по бездорожью,  
Не гадать,

не испытывать замысел Божий:

Для чего я как образ Его и подобье.

Для чего этот смех, этот гром ветродуя

Заглушает все книги,

что я перечитывал...

Если, Господи Боже, сегодня войду я

В эту дверь — то я сделаю,

как Ты рассчитывал?

\* \* \*

Так значит, это ты, кому я нужен  
Такой, как есть, кого не поздно ждать,  
Глядеть в окно, разогревая ужин,  
И по шагам в подъезде узнавать.

Так значит, это я, кому нужна ты,  
Как вера и как хлеб насущный днесь,

Дороже серебра, дороже злата,  
Всего дороже — вся, какая есть.

Так значит, это Он, соединивший  
Однажды в общий наш с тобой маршрут,  
Увидевший, призревший, поженивший,  
Подумавший: «А что? Пускай живут!»

\* \* \*

Такое бывает (как пишут обычно) в кино:  
Цветы и подъезды, и смех за спиной — «тили-тили!»  
Но вот человек узнаёт, что уже всё равно,  
И, больше того, что его никогда не любили.  
И это был повод к тому, чтобы выпить вина,  
Присесть на скамейку давно опустевшего сада,  
И думать о том, что уже наступила весна,  
А также о том, что весны этой больше не надо.  
И повод был бросить на мокрый асфальт «Беломор»,  
И так растоптать этот маленький чёртов окурок,  
Что скрип сапога услышал, покосясь на Босфор,  
Подумав о разном, в какой-нибудь Турции турок.

\* \* \*

Потоньше перо, да полегче слова,  
А главное — воздуха, света.  
Иначе к чертям отлетит голова  
Под тяжестью этого лета.

Как ночью спокойно и дышится как,  
Как спит моя дочка-малышка...  
О, только бы не постучался дурак,  
Тряся Достоевского книжкой!

\* \* \*

Случаются такие вечера,  
Исполненные негой и любовью,  
Когда душа земной своей юдолью  
Не тяготится...

Поздняя заря

Окрасит алым западное небо  
И золотом кресты и купола...

*Жизнь удалась, пока не сделал зла —  
Вдруг понимаешь, где и кем бы ни был.*

\* \* \*

Четыре часа пополудни.  
В холодном пространстве стекла  
Мой город, почти что безлюдный,  
Накрыла декабрьская мгла.  
И призраки всякого рода  
Стремятся отринуть засов.  
Осталось до Нового года  
Каких-нибудь восемь часов.  
Почти ничего не осталось  
До Нового года, всего

Какая-то самая малость,  
Осталось — совсем ничего.  
Совсем ничего не осталось.  
Усталость да старость, но по —  
Что? — слышалось?

Спелось?

Сказалось? —

Синицей в окне показалось,  
Ударило клювом в стекло:  
«Седьмого числа — Рождество!»

*Иваново*



## Александр Твардовский

# Рабочие тетради 60-х годов

1964 год

19. I. М[осква]

Казалось, когда прибирал на столе перед Новым годом, как обычно, хоть и не всерьез казалось, что загруженность всякими делами и пустяками уйдет со старым годом, а там начнем. Но до сих пор — исключая дни «ослабления» после праздника, только и делаю, что прибираю на столе, подбиваю почту, дочитываю (порой задним числом) верстки журнала, очередные рукописи и т.д. и т.п. до того, что и к этой тетрадке впервые, почти что формально обращаюсь в новом текущем году. Это — до отчаяния, как вдумаясь. Валя сказала: «Папа, в твоём возрасте...» — А что мой возраст? — «Пара, тебе под шестьдесят...» — И глядит своими большими решительными, максималистскими глазами...

Опять гимнические хлопоты и пустоутробие<sup>1</sup> (не миновать идти к Н.С.<sup>2</sup> — Протоколы допроса Ионесяна и его спутницы по записи Ирины Дементьевой.<sup>3</sup> — <...> Письмо Б.П. Розанова и план побега в Карачарово<sup>4</sup> (без уведомления властей — как бы на дачу). — Дай бог!

Сейчас едет ко мне Солженицын, позвонивший с утра. —  
Дачные мечтания и действительность.

20. I. 64 М[осква]

Более трех часов вчера посидели с Солженицыным. Он на большом рабочем подъеме, даже сам говорит: работаю бешено. Выходит, что у него в работе три большие вещи: роман, начатый где-то еще до «Ив[ана] Денисовича», «раковая» повесть и «Замысел отроческих лет» — роман об Октябрьской революции (до 29 г.).

— Мне всего в жизни успеть 2 романа написать.

Роман «В круге первом» (первые дни (часы) после 70-летия Сталина) уже написан — около 35 листов. Не даст до апреля, когда приглашает меня в Рязань, чтобы прочесть его «вне редакции и вне всего».

Для второго романа (о 20-х годах) он сейчас в Москве и поедет в Л[енинград] для работы в биб[лиоте]ках. В марте поедет в Ташкент (для раковой повести).

Впервые из его уст я услышал даже похвальбу: от романа, мол, кто читал (кто?), шатаются... Но эта похвальба не страшна — это от того тонуса, который — бывает на большом подъеме.

Он решил довести «В круге», чтобы не обкрадывать самого себя (при работе одновременно над тремя вещами). Я сказал, что какую бы из трех вещей он сейчас ни стал доводить, в ней будет все главное, что заготовлено для всех порознь. Иначе и быть не может. Он понял, он все, черт, понимает. — Интересно, что ему пишут многие писатели, объясняются в любви, помалкивая публично, т.е. отнюдь не объявляясь его сторонниками в печати (Ю. Герман, В. Лидин и т.п.). Отвечает он им, по его словам, кратко и решительно заявляя о своих позициях в искусстве и, т[аким] обр[азом], ставя перед ними вопрос наподобие: «с кем вы, мастера культуры?»<sup>1</sup>

Продолжение. Начало — «Знамя», №№ 6, 7, 9, 2000 г.

Так захотелось (не без грустного чувства) самому писать, писать, не упуская времени — что бы то ни было — стихи, прозу, хоть статью. Нельзя потери времени компенсировать сомнительным чувством удовлетворения ролью «Нового мира». Нельзя тешиться в лучах этой зыбкой и весьма проходящей славы прогрессивного редактора, — это уж совсем для стариковских лет, да и то грустно. —

Все ближайшие надежды на «академический особняк» в Карачарове, где в прошлом году об эту пору заканчивал моего бедного «Теркина»...

В «Мостах» (ФРГ), оказывается, «Т[еркин] на том св[ете]» (по-видимому, в варианте 54 г.) был действительно напечатан в начале 1963 г.<sup>2</sup>

### 30.I.64. М[осква]

Третьего дня отметили с Дементом и Иваном Сергеевичем<sup>1</sup> день рождения Маши и Оли. Маше — 57-й, Оле — 24-й.

Все эти дни подбивал неотложки перед отъездом в Карачарово: Домбровский, Розов<sup>2</sup>, чит[ательская] конференция в Доме учителей (вчера)<sup>3</sup>.

Сегодня в «Правде» — статья Маршака «Правдивая повесть». Как все-таки потихоньку, с надломами и изгибами дело Солженицына подвигается вперед — к заданной цели. Обе крупнейшие и решающие газеты, наконец, после умолчаний и вихляний прямо высказались за кандидатуру Солженицына<sup>4</sup>. Трепещите, «октябристы» и проч[ие]!

Вчера, хоть и понятны были обстоятельства неподготовленности вечера, хоть и очень хорошо, даже трогательно было многое, вплоть до стихов, обращенных к «Новому миру», хоть и говорил, утешая себя и соратников, что свадьбы без дурака не бывает, — все же мне была неприятна сама возможность глупого и нахального выступления некоего словесника Ремезова.

### 19.II.64. М[осква]

Отъезд 30.I. с Ив[аном] Сергеевичем в Карачарово. Первая «зарядка» в Грязях (ресторан «Турист»), как и в прошлом, благополучном году — предстоящее возвращение в Москву на Комитет 4.II.<sup>1</sup> («ах, все равно»...). — «Конаковская». — Приезд Маши, и позорное возвращение из академособняка на свой московский топчан-кушетку. — А за стеной, за телефоном — свальный грех в Комитете, отчаянные призывы. — В воскресенье уже мог, но не пошел, счел за благо неучастие, по крайней мере, на этом этапе. —

Пленум ЦК (понедельник 10.II.). Недомогание Маши. — Вечером вернулся с пленума, не решив еще = не пойти ли на концерт в Д[ворец] съездов, а Машу уже собирают в б[ольшин]ству. Проводы в Кунцево.<sup>2</sup> Как увидел ее в больничной пижамке, маленькую, подавленную, но не поддающуюся, и как положили ее на ту высокую теплежку, да еще прикрыли простышкой, то лучше бы и не видеть этого. — На другой день повез ей забытые вещички, «взятка» в проходной двум вахтерам — того и этого Теркина пообещал, вынужденный их просьбой. — Слава богу, теперь она хороша, а когда ездила в первый раз Оля, увидела костыли у спинки кровати, приехала очень грустная. —

Пленум — 15, кажется, содокладов<sup>3</sup>, почти все — громкое чтение «текстов», не писанных самими декламаторами. — Уныние. Кажется, один только казахстанский содокладчик заговорил о «совершенствовании» («дальнейшем») системы оплаты труда в совхозах (о колхозах уж не речь).<sup>4</sup> Потом были хорошие выступления (Смирнов-Крымский<sup>5</sup>, Аскоченский<sup>6</sup>, директор, как его, института удобрений, сделавший конфуз Н. Сергеевичу в отношении «Горок Ленинских»<sup>7</sup>).

Доклад Сулова. Реплики Н.С. («лежим это мы с Мао Дзе Дуном у бассейна, а он и говорит: рису много, не знаем, куда девать...»)<sup>8</sup>.

Главный мотив — культ личности. Можно считать, что это третий вал (после 20 и 22)<sup>9</sup>. Жизнь вновь и вновь заставляет допахивать эту трудную целину.

Редакционные неприятности (думаю освободить Марьямова).<sup>10</sup>

Уже больше года я ничего не пишу, все жду «запаса покоя». Год, конечно, был

поглощен ожиданиями и последующими переживаниями в связи с Т[еркиным] на т[ом] св[ете], но все же. —

## 22. II. 64. М[осква]

Вчера — очередной депутатский прием в райсовете. Задолго до этой пятницы обычно она меня тревожит и настраивает на волну раздражения, безнадежности и нереальных порывов как-то отвязаться от этого не просто трудного, неприятного, но фальшивого и стыдного дела.

Там не только нет ни Юго-Запада<sup>1</sup>, ни миллионов квадратных метров новой жилплощади (жуткое слово, которое я ненавидел еще во времена моей бесквартирной молодости и избегал его), но порой кажется, что нет и самой советской власти, или она настолько не удалась, что хуже быть не может. Там она оборачивается к народу, к отдельному человеку с его бедами, муками и томительными надеждами лишь своей ужасной стороной отказов, вынужденных и непрочных обещаний (чтобы только отвязаться), чиновничьим холодом и неподкупностью. И хочешь-не-хочешь ты там натурально олицетворяешь все эти ее качества, представляешь еще одну форму бюрократизма, м. б., наиболее гнусную, т. к. ты как бы над бюрократизмом обычным, ежедневным, служебным, — к тебе идут за окончательной правдой, тебе жалуются с глазу на глаз (правда, при секретарше, без которой, конечно, каждому было бы еще вольнее, лучше, но мне уж совсем бы невыносимо). И не так трудно с теми, кто ведет себя развязно и требовательно, кто предъявляет тебе лично спрос за всю советскую власть («Так куда же деваться? Как же жить? Так неужели же?» и т. п.), как с теми, кто приходит с наивной верой, что ты, наконец, тот человек, который все поймет, все примет к сердцу («и велит дать лесу»)<sup>2</sup>. А ты, если уж не можешь с загаенным облегчением отстранить все эти жалкие затрепанные бумажонки железным, обезоруживающим: закон, ничего не могу и т. п., то, в сущности, только врешь: попытаюсь, напишу, оставьте мне это и т. п., откладывая, в сущности, ответ до получения просителем очередной бумажки: «не представляется возможным», «в порядке очереди для инвалидов 2-ой или 1-ой группы», «при рассмотрении лимитов на такой-то год».

И еще, что мучительно-тяжело и отвратительно, что люди (не от хорошей, конечно, жизни) несут сюда все самое ужасное свое — болезни, семейные раздоры, несчастья, часто то, что испокон веков полагалось скрывать, о чем не принято говорить («я психический», «она лежит и делает под себя», с торжеством представляют справку об открытом, а не закрытом <туберкулезном> процессе и т. п.). Вчера, напр[имер], была мать, ходатайствующая за сына, получившего 10 лет за участие в групповом насилии («с применением извращенных форм», как указывается в приговоре), указывая на такое обстоятельство, что, мол, насилия не было, а было по добровольному согласию со стороны пострадавшей, известной своим распутством, в 19 лет уже разведенной и пр[очее].

Но, пожалуй, самое страшное это закон о прописке. Человек про штрафился, даже, скажем, не просчитался, а проворовался в магазине, получил срок, отбыл из двух один год, освобожден досрочно с хорошей характеристикой, приезжает в Москву к жене и детям, а его не прописывают. Или даже мать к детям не может вернуться. По сравнению с этим выселение всей семьи за ту же провинность отца или матери представляется более гуманным, причиняющим меньший урон организму общества, чем этот насильственный развал семьи, влекущий за собой самые бедственные последствия. Жена офицера, покинувшего ее, просит меня ускорить напечатание объявления о разводе — тогда, может быть, ее не выселят, и я вижу, что при этом лишается пусть слабой, но все же надежды на его, мужа, отца ее дочери-школьницы, возвращение.

Конечно, где-то я уже формулировал для себя в этой тетрадке или в голове, что мне уже никуда не деться от своей известности, литературного и общественного имени, которое с неизбежностью стягивает на себя все такие и прочие беды, надежды, просьбы и т. д. Но, во-первых, мучительна переоценка, наивнейшее завышение моих возможностей реально помочь, а во-вторых... Во-вторых, допустим, что со всем этим я так ли, сям ли могу справляться, могу привыкнуть, как могу справляться со всеми тяготами и муками журнальных моих обязанностей, но одного при всем этом не могу уж наверняка: писать.

Вот тут и подумаешь. Ну, хорошо, пусть я не смогу писать, м. б., это и по другим, внутренним причинам не могу писать (это, конечно, вздор), но пусть бы я мог хоть реально, результативно, не для видимости, нужной черт его знает кому — заниматься устройством этих несчастных судеб.<sup>3</sup>

23. II. 64. М[осква]

Вчера пошли с Олей в Дом актера, где был «в гостях» «Василий Теркин». Некий Александр Перельман читал того «Теркина», Д. Радлов — «Т[еркина] на том св[ете]».

Боже мой, какая это пытка сидеть и слушать, как тебя передразнивают какие-то чуждые «Теркину» голоса, «декламируют» (без малейшего личного чувства) с искажением и погублением интонаций, которые, казалось бы, уже утвердились настолько, что не могут быть переиначены. Дм[итрий] Ник[олаевич] Орлов, которого я всегда чуть-чуть не принимал из-за его «мужиковствующей» манеры, теперь мне мысленно казался добрым гением интерпретации моего стиха.<sup>1</sup> Потом — Радлов, присовокупивший еще и чьи-то режиссерские усилия (был объявлен «режиссер» композиции). Все не так, все пошло, грубо, глупо. Вот уж поистине чувство особого, почти физического страдания, как говорил Толстой в отношении всякой фальши со сцены, — а тут еще и тебя впихивают в эту фальшь и пошлость. —

О другом. Эти люди вообще по природе своей, по крови были способны врать и подличать — это было их затаенным призванием. Когда же оказалось, что это можно делать (врать и подличать) во имя социализма и коммунизма, они удесятирили свои старания.<sup>2</sup> —

25. II.

Живу день за днем, справляясь так-сяк с нагрузкой данного дня, без попыток высвобождения сил для чего-нибудь мало-мальски продуктивного.

Переезд редакции в новое помещение, более просторное и более благоустроенное (вчера смотрел) очень схож с переездом на новую квартиру — опять черта под целым периодом жизни, безвозвратно ушедшим.

Вчера — неприятный разговор с цензорами, уже давшими разрешение на № 3 и вдруг обнаружившими в пьесе Розова пустяшную шутку насчет «винных паров», на которых будто бы запускаются ракеты. «Анекдот». <sup>1</sup> «А вы знаете, как в ЦК говорили о вреде анекдотов?»<sup>2</sup> Погорячился, сказал, что все равно это место пройдет, но потом увидел, что и хлопотать-то не из чего — можно вычеркнуть, можно оставить, говно собачье, но листы уже сматрицированы, сутки, по кр[айней] мере, мы теряем на этом деле. Нет, говорю своим соредакторам, хорошо, что я не вычеркнул из «Теркина» строчки о цензуре, хотя, м.б., именно следствием их оставления в тексте являются эти придирки. А уж если что отметят красным, то уже сами окаменевают перед этой отметкой — ни к чему никакие аргументы. Говоришь, как с телеграфным столбом. У Бёлля в «Глазами клоуна»: глупость доходит до таких пределов, когда уже ее нужно запрещать законом.<sup>3</sup>

Приходил в ред[акцию] чтец Д. Радлов — не принял его под предлогом занятости в связи с переездом.

Идем сегодня с Лакшиным к Лесючевскому пропихивать новое издание (дополненное) М. Щеглова.<sup>4</sup> —

26. II. 64. М[осква]

День памятный вчерашний. На Секретариате с 12 до 4 разбирался вопрос о подложном читательском письме в «Дружбе народов» против «Т[еркина] на т[ом] св[ете]»<sup>1</sup>. Снимали стружку и скальвали щепки с Васьки Смирнова<sup>2</sup>, но поначалу отвергавшего всякое неодобрение его поступка и под конец признавшего все полностью. Но «по условиям игры» ему даже на вид<sup>3</sup> не поставили, и членов редсовета, подавших в связи с этим инцидентом заявления о выходе (Межелайтис, Сурков, Брыль) из редсовета, многомудрый Георг[ий] Марков призвал взять свои заявления обратно. — Завтра посмотрю стенограммы и, м.б., поставлю вопрос об опубликовании в печати результатов рассмотрения этого дела. Никуда не денутся.

Вчера же мы с Лакшиным побывали в берлоге зверя Лесючевского по поводу дополненного издания сб[орни]ка покойного М. Щеглова. Что ему, мерзавцу, до того, что талантливый Щеглов, сохраняя все нормы пиетета в отношении Леонова и Корнейчука, совершенно справедливо оценил — тогда! и «Русский лес», и «Крылья», и др[угие] шедевры<sup>4</sup> того времени; что ему до того, что статьи эти оказались долговечнее тех художественных произведений, которые уже давно не ставят и не читают; что ему до 22 съезда и проч[ее]. Не читающий 99,9% выпускаемых книг, полагающийся целиком на мнение какого-нибудь Б. Соловьева (этот паскудник и предложил переиздать книжку, имевшую решительный успех и большую прессу, без дополнений)

или Е. Книповичихи<sup>5</sup>, с моим мнением, именно потому, что оно мое, Твардовского, мнение, он и не подумает считаться. Наоборот, уже давно замечено, что если рекомендую я, значит, будет задержано, будет читать лично и хоть кол ему на голове теши, хоть вычитывай ему страницами то, что пишется о «Лесе» и «Крыльях» другими авторами — все, как к стене горох. Схватило меня, и не удержался я от сладостной утехи почти что отчаяния, обматерил его, самым прямым образом, обозвал его тупым и чуждым литературе человеком, больше того — не верящим ни в сов[етскую] власть, ни в партию — и это уже при раскрытых дверях, к восторженному ужасу «аппарата». — За все сразу этому костяному жуку.

Вчера же — последний день в старом помещении редакции, где в конце дня Б. Яковлев информировал нас о ходе и итогах обсуждения.<sup>6</sup> Задумалось было выпить в стенах этого помещения, где прошло столько лет трудных и изредка радостных, где журнал помаленьку становился нынешним «Новым миром», но еще много было вещей, пачек книг к переносу. Поехали с Дем[ентьевым] и Лакшиным ко мне, где Ольга, куда более строгая, чем Маша, накормила нас обедом. Выпили поллитра.

27. II. М[осква]

Сегодня — секретариат по «дальнейшему укреплению взаимосвязей братских литератур». Если стенограмма третьедневношного (?) секр[етария]та будет готова, пойду, нет — нет.<sup>1</sup>

Операция у Маши отодвигается, по кр[айней] мере, до след[ующей] недели. 3—5. III. — Л[енинград].

В середине марта — Киев<sup>2</sup>, где опять же придется выжимать из себя какие-то слова (да не какие-то, а соответствующие). Дожил до того, что уже мое «неприсутствие» — скандал. «Бывший писатель»? Вроде того: гожусь для представительства. Впереди у меня, если не извернусь как-нибудь, доля Николая Тихонова: возглавлять делегации, председательствовать на вечерах и ужинах и т. п. радости полного величия.

Столько всякого насущного и острого на душе, и не просто на душе, а в ходе дел, выполнения твоих непосредственных задач, а пойти, поговорить — некуда. Никто не ждет с охотой, с готовностью понять, поддержать. Л. Ф.<sup>3</sup>, конечно, не откажется принять меня, но будет корчиться, извиваться, переводить разговор на пустяки. А как тяжело идти к тому, кому ты не в радости, а в тягость.

Поликарпий вновь задержал Каверина, при всей поддержке этого материала со стороны Игоря Сергеевича<sup>4</sup> «<Луни> — дурно пахнет» и т. д.

Мне ясна позиция этих кадров. Они последовательны и нерушимы, вопреки тому, что звучало на последнем съезде и даже на последнем пленуме ЦК, стоят насмерть за букву и дух былых времен. Они дисциплинированы, они не критикуют решений съездов, указаний Н. С., они молчат, но в душе любят свою «стойкостью», верят, что «смятение», «смутное время», «вольности», — все это минется, а тот дух и та буква останутся. Таковы в порядке расположения постов Снастин<sup>5</sup>, Поликарпов, Лесючевский, цензора. Даже ополоумевший Васька Смирнов, как и следовало ожидать, не пострадает. Да, хватил через край маленько, но «свой», и он знает об этой их молчаливой, но несомненной поддержке (да и не только молчаливой). Это их кровное, это их инстинкт самосохранения и оправдания всей их жизни. Чего ждать от Поликарпова, какого добра, если он в узком, застольном кругу, как передают, однажды не сдержался, прорвался и <с> великой горечью сказал: «Солженицын и Твардовский — это позор советской литературы». Их можно понять, они не торопятся в ту темную яму, куда им предстоит рано или поздно быть низринутым<и> — в яму, в лучшем случае, забвения. А сколько их! Нет, прав один мой корреспондент, что не культ их породил, а они его, и верны ему — больше им ничего не остается — все остальное им кажется зыбким, неверным, начиненным всяческими последствиями, утратой их привилегий, и страшит их пуще всего. И еще: они угадывают своим сверхчутьем, выработанным и обостренным годами, что это их усердие не будет наказано решительно, ибо нет в верхах бесповоротной решимости отказаться от их услуг. И это надолго. И нечего больше делать, как только отламывать по кирпичику, выламывать, выкрошивать эту стену.

1. III. 64. М[осква]

Чтение стенограммы Секретариата, обсуждавшего «Дружбу народов». Мне не-

ловко как-то даже встречаться с вами (членами), разговаривать о чем бы то ни было после того, как вы поговорили об этом деле без меня, — сказал я Воронкову<sup>1</sup>, позволившему мне наутро. И действительно: пожурили Ваську<sup>2</sup>, но, опасаясь «галерки» (словечко-то!), которая, будто бы, поняла бы все не так и, опасаясь «поляризации», все свели на пшик. Суркову и Межелайтису предложено взять свои заявления обратно, т.е. почти что извиниться перед Смирновым. А Яковлеву еще до заседания была вручена выписка о принятии его отставки. С Янкой Брылем — так же: его, мол, заявление связано с отклонением его романа редакцией (это, действительно, неловко получилось). Нарочные, неискренние восклицания Васьки: «снимите меня с поста» были мягко отклонены: «ничего не меняется».

По памяти:

Смирнов: — Не считаю предосудительным. Партия не запрещает печатать письма читателей. А что письмо взято из «Октября», так это же не антисоветский ж[урнал].<sup>3</sup>

Грибачев: — Ничего, собственно, не произошло. Над письмами мы работаем. Конечно, выписывать гонорар соавтору письма — это нехорошо. Но это — форма действия.<sup>4</sup>

Чаковский: — Это дело выходит за пределы частного случая. Необходимо помнить, при каких обстоятельствах появилась поэма. Я там был в Пицунде при чтении. Говорят, что Хрущев сказал «хорошо», но я, правда, не слышал этого. Он только предложил выпить за автора. (Никто из участников встречи не поправил этого хитреца и мерзавца — ни Федин, ни Марков, ни Воронков). И потом, у нас ведь нет культа личности...<sup>5</sup>

Марков: — Не раздувать, не радовать «галерку», заботиться о журнале, и т.п.

Было чувство, что нужно подать заявление о выходе из Секретариата, — в перспективе и из ж[урнала], естественно. Нет, этот шаг был бы им на радость только. Дай бог, если удастся заставить дезавуировать «письмо читателя» в печати.

Эти люди связаны неписанным уставом, круговой порукой в отношении Солженицына и меня, подобно антисемитам при формальном запрещении антисемитизма. Они не сговариваются, не протестуют против закона о наказуемости антисемитизма, наоборот, они говорят: «у нас нет антисемитизма». Но они безошибочно, при молчаливой поддержке младшего старшим, действуют практически: «Вакансий нет...», «На эту тему мы уже имеем статью» и т.д.

Где-то незримо идет обкладка (?) Лифшица<sup>6</sup>. С такой фамилией он еще хочет учить уму-разуму. Он пролез в «Новый мир», говорил в Академии Художеств некий Кацман (!), и немудрено: редактор вечно пьяный. Правда, говорят, одернули, зашумели.

Больше всего стал ценить сон. Сплю охотно и днем, если есть возможность. Устаю к середине дня так, что ни на что не тянет, кроме сна. Во вторник Маше делают операцию. —

### 2. III. 64. М[осква]

В Секретариат Союза писателей СССР

Я внимательно прочел стенограммы заседания Секретариата 25. II. 64 года, на котором я не присутствовал совершенно сознательно и уведомил об этом тов. К. В. Воронкова заранее. Я полагал, что обсуждение вопроса о «письме читателя» в «Дружбе народов», направленном против моей поэмы «Теркин на том свете», более удобно проводить без меня. Конечно, это не означало, что для меня безразлична степень серьезности со стороны моих товарищей по Секретариату в рассмотрении беспрецедентного в нашей печати факта опубликования В. Смирновым фальсифицированного письма читателя.

Теперь я вынужден в письменном виде выразить свое крайнее недоумение по поводу состоявшегося обсуждения и его выводов.

Разумеется, речь идет не о содержании названного «письма читателя», всяк волен высказывать в любой <форме> свое самое критическое суждение о любом произведении нашей литературы, в том числе, конечно, и любой моей работе. Это я всегда

считал и считаю нормой литературной жизни. Так я воспринимал, например, весьма тенденциозную статью Старикова в «Октябре»<sup>1</sup> или отрицательно оценивающие мою последнюю поэму письма читателей, опубликованные «Известиями» и «Лит[ературной] газетой» наряду с положительными отзывами о ней.<sup>2</sup> Более того, в моей обильной почте есть письма, еще острее и непримиримее оценивающие «Теркина на том свете», как, впрочем, и «За далью — даль», поскольку в обеих этих поэмах главным является мотив обличения, отрицания того явления, которое мы называем культом личности. И я никогда бы не унизился до того, чтобы искать защиты от таких профессионально-критических или читательских суждений, потому что подлинность их я принимаю так же, как и подлинность иных, положительных оценок критикой и читателями моих поэм.

Но обширное «письмо читателя», опубликованное в «Дружбе народов», не является подлинным письмом врача пензенской больницы имени Семашко Б. Механова, — это письмо подложное, как неопровержимо свидетельствует история его опубликования.

Секретариат не дал соответствующей политической оценки той особой заинтересованности редактора «Дружбы народов» в опубликовании отрицательного отзыва о моем произведении, которая побудила его «позаимствовать читательское письмо» в редакции «Октября», переписать его наново, командировать в Пензу для согласования этого «варианта» с автором первоначального текста сотрудника редакции и выплатить ему гонорар за соавторство. Это выходит далеко за пределы «частного случая» редакторской нечистоплотности В. Смирнова.

Меня не интересует мера взыскания по отношению к редактору «Дружбы народов», я оставляю в стороне тенденцию келейным образом пожуричь В. Смирнова за «неловкий по форме» редакторский ход. Но в глухих и смутных выводах, которые делает Секретариат, отсутствует, совершенно отсутствует постановка вопроса о том, что «акция» В. Смирнова, допущенная им в печати, должна быть дезавуирована посредством печати же.

Я считаю, что оставление «письма читателя Б. Механова» в качестве подлинного документа читательского мнения недопустимо<sup>3</sup> и не только противоречит элементам этическим нормам советской печати, но имеет определенный\*

<Вклейка>

#### В СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Я внимательно прочел стенограммы заседания Секретариата от 25.II.64 г., на котором не присутствовал отнюдь не случайно: я полагал, что обсуждение вопроса о «писме читателя» в «Дружбе народов», направленном против моей поэмы «Теркин на том свете», более удобно проводить без меня, о чем я заранее уведомил К.В. Воронкова, который со мной согласился. Но, конечно, мое непристствие на этом заседании отнюдь не означало, что для меня безразличны характер и выводы этого обсуждения.

Разумеется, речь идет не о содержании названного «письма читателя»: всяк волен высказывать в любой форме свое, самое критическое суждение о любом произведении нашей литературы, в том числе, конечно, и любой моей работе. Это я всегда считал и считаю нормой литературной жизни. Все дело в том, чтобы эти суждения были подлинными, т.е. принадлежали тому, чьею подписью они скреплены.

Однако обширное «письмо читателя», опубликованное в № 1 «Дружбы народов», не является подлинным письмом врача пензенской больницы имени Семашко — Б. Механова. Оно фальсифицированное, как об этом неопровержимо свидетельствует история его опубликования, изложенная в заявлениях членов редсовета «Дружбы народов», которое обсуждалось на Секретариате.

Мне непонятно, почему Секретариат не обратил внимания на ту особую заинтересованность редактора «Дружбы народов», которая заставила его «позаимствовать» читательское письмо в редакции «Октября», переписать его наново, командировать в Пензу сотрудника редакции для согласования этого «варианта» с автором первоначального текста и оплатить соавтору его работу, оставив, однако, под письмом лишь подпись «читателя Б. Механова».

Меня не занимает вопрос о мере взыскания по отношению к редактору «Дружбы народов». Но я решительно не могу согласиться с тем, что «акция» В. Смирнова, допущенная им в печати, не была бы в печати же дезавуирована. Оставление «Письма

\* В оригинале фраза не закончена.

читателя Б. Механова» в качестве подлинного документа читательского мнения противоречило бы элементарным этическим нормам советской печати.

З.ИИ.64 г. М[осква].

А. Твардовский

З.ИИ.64. М[осква]

Сегодня сделали Маше операцию, длилась она 2½ часа. Мне разрешили позволить ее — очень, видимо, ослабела, но уже зная, что я приеду, не засыпала. Побыл у нее минут пять. Зашел в ординаторскую — тот же симпатичнейший Виталий Георгиевич рассказал об операции, а по тел[ефону] еще из города мне отвечала Вера Петровна, делавшая операцию. Все как будто хорошо, и нельзя было не делать («сгустки, плохие стенки» и т.п.).

Переписал с утра письмо в Секр[етария]т и, отредактировав окончательно, с «моими людьми» в редакции, отослал. Воронков уже пожаловался Черноуцану, что я «всех оскорбил, обидел Федина» — черт знает что!

Еду в Л[енинград]¹ с обычными тревогами перед публичными выступлениями — только бы не закисло мероприятие!

Перехожу в новую тетрадь — по приезде.

<Вклейка.>

Котельнич.

Марта 8-го дня

1963.

Уважаемый Александр Трифонович Здравствуйте!\*

А.Т. выслушав Ваше выступление 4-го января с/г после чего прочев без отрыва повесть за Далью — даль пришел к заключению, коротко Вам написать.

А.Т. мы с Вами родились и прожили детские годы в хуторе Загорье с Вашим отцом Т.Г.<sup>2</sup> были близко знакомы а А. Митрофановна имела родство с моей матерью признаться Вас в то время я незамечал имея старший возраст, а данное время является какое-то тяготение встретиться, наверно потому что, Т.Г. оставил добрую память, он являлся хорошим односельчанином, все это помнится как будто бы было вчера.

А.Т. я осмеливаюсь просить Вас, приезжайте запросто в Котельнич, в период весенней охоты и рыбалки, здесь протекает река Вятка, Молома и Пижма, по разливам которых я провожу охоту, реки эти имеют живописные берега, во время перелета останавливается Дикая гусь в массовом количестве и разных пород утки, имеются лесные дачи, так же богаты дичью начиная от глухаря и кончая рябчиком который идет на манок.

Лодка илюменевая у меня имеется, но мотор Москва необходим, если Вас не затруднит так везите,\*\* буду Вам благодарен. Получа мое письмо пишите о себе какая у Вас семья, сколько Вам лет интересно все знать, имеете ли связь с родиной, меня вот, вот возмет старость мне вчера исполнилось 72, но я еще крепок, всю зиму охотился за пушным зверем за лисой.

Пишите мой постоянный адрес Кировская область г. Котельнич ул. Чкалова 15.  
Гриневич Яков Гаврилович

Барвиха, 7 марта.

«Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчевой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то, — вероятно, дорогой и хороший — ресторан для душевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музычки — и душевных бе-

\* Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

\*\* Подчеркнуто А.Т.



сед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам... (О шарфе).

В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и, в общем, до искусства мы с ним никогда не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

(Вл. Набоков. — Другие берега. — Изд. Чехова, Нью-Йорк)<sup>1</sup>.

#### Барвиха. 17.III.64.

Декабрьское пребывание под этой крышей, такое недавнее, сливается со всеми прежними сроками, — как будто вообще здесь живу издавна, только отлучался на ненадолго. Это тем более живо, что почти все послевоенное («Послевоенные стихи», «Дали», «Т[еркин] на т[ом] св[ете]») в значительной части писались или диктовались здесь. — Я в восьмом люксе, таком, какой занимали с Машей в 62 г., и в каком я навещал здесь однажды Фадеева, тень которого здесь имеет особые права.

Я — здесь, Маша — в Кунцевской больнице, Оля — московская наша хозяйка. Еще ничего, кроме заполнения карточек меню, не обременяло моего пера (их целых четыре — три цвета чернил — все водянисты, — порчу начальной записью третьей тетрадь из четырех, присланных Олей).

С чем сюда приехал? С мыслями в направлении «Пана»<sup>1</sup>, возобновленными чтением заключительной части Эренбурга и, гл[авным] обр[азом], «Других берегов» В. Набокова. В обоих случаях «от противного». Конечно, намерения скромные — заняться подвозкой материалов к стройплощадке, возведением некоторых, м.б., временок-навесов, будок, забора. Без разлуки с «Н.М.» к такой работе вплотную не приступить... А ближ[айшей] короткой задачей определяется статья о совр[еменном] лит[ературном] моменте (Солженицын — фокус)<sup>2</sup>.

#### 19.III.64. Барвиха.

Сперва только для себя, для полного уяснения себе самому того, что происходит и чем является. Иначе начну волей-неволей — пробираться меж рифами и скалами существующих (хотя бы на бумаге) понятий, оценок и т.д. Нужна полная ясность для самого себя — будет или не будет возможно высказать это в печати (или публично), хотя бы и «в пределах разумности».

Литература и искусство никогда не были и не могут быть главным в жизни людей. Но дело в том, что они нередко способны выражать в своих формах главные общественные надежды и требования в современности. Они являются фокусом, в котором обнаруживаются самые острые на данный момент и глубокие в перспективе интересы определяющих сил общества. В формах литературы и искусства находят свое выражение (в самых неожиданных порой формах) все те сдвиги, что происходят в сознании людей, что подсказаны существенными переменами, когда новое властно стучится в жизнь и оттесненное, но никак не желающее сдавать позиций старое приобретает особую судорожную активность самоутверждения.

Мы привыкли оперировать обзорами, инвентаризацией фактов литературы во всем неоглядном ее нынешнем объеме, стремясь ничего не забыть, не упустить в привычных перечислениях имен и названий книг, и такой именно способ нам представляется наиболее продуктивным и объективным. Между тем — это все равно, что выводить среднюю температуру года по Союзу, в которой исчезают климатические и метеорологические особенности поясов, краев и времен года.

В искусстве чаще всего бывает так, что перед началом общего значительного поворота, принципиальных изменений в его (искусства) развитии, всеобщее внимание сосредотачивают на себе немногие, единичные факты и явления, часто не только один автор, но даже одно какое-нибудь произведение — и не обязательно крупное по объему и не обязательно в предполагаемом заранее жанре.

«Хорь и Калиныч»<sup>1</sup> — небольшой очерк в отделе «Смесь» на фоне тогдашних «многоплановых» вещей.

И не обязательно там, где предположено ожидать появления произведений, кото-рые и т. д. (Айтматов (?), Гамзатов)<sup>2</sup>.

И не обязательно это произведение охватывает все стороны и проблемы момен-та, — не обязательно всеобъемлюще по охвату действительности, постановке и разре-шению всех проблем, интересующих нас в данное время. Мы же, исходя из предполо-жения об обязательном появлении новой «В[ойны] и мира» и т. п., хотим непременно, чтобы в такой вещи было все. В жизни получается так, что если там и далеко не все, но что-то из самых «существенных сторон», то это прощается, и на произведении, освеща-ющем лишь одну из «сторон», сосредотачивается всеобщее внимание (за и против).

### 21. III. Б[арвиха].

Все это научное начало ни к чему. Но всегда бывает нужно начать писать, чтобы отвязаться от этой тяготы, когда стремишься все объяснить «с самого начала».

Сейчас план статейки таков:

1. Необходимость появления повести С[олженицы]на (первый признак значи-тельности худож[ественного] произв[едения].

2. Она для самых «верхов» и для самых «низов».

3. Она имеет горячих поклонников, друзей и яростных недругов — третий признак.

Она явилась из необходимости и сейчас сама стала необходимостью.

Она оказалась фокусом, в котором... (ликвидация культа) и уже сама становит-ся фактором борьбы за ликвидацию последствий, за перестройку сознания.

4. «Не тот герой». Можно было бы, во-первых, сказать, что в композиции вещи решающую роль играет фигура Буйновского.

Но, в конечном счете, герой тот самый, которого называл своим героем — правда.

Есть люди, которые по недопониманию и по инерции поверхностного схематич-[ного] понимания, хулят Ив[ана] Д[енисови]ча. Иным из них помогла критика («Не-другов» и «друзей») понять вещь.<sup>1</sup>

Но есть и такие, которым ничего не поможет, — позиция их достойна сожаления.

Бывают произведения, вызывающие большой шум, споры внутри лит[ерату]ры, не задевая читателя. Здесь иное. Читатель с первых дней — активный участник об-суждения.

«Читал сегодня Бернса. Любопытно, чем он был бы, если бы родился знатным? Стихи его были бы глаже, но слабее — стихов было бы столько же, а бессмертия не было бы — в жизни у него был бы развод и пара дуэлей, и если бы он после них уцелел, то мог бы — потому что пил бы менее крепкие напитки — прожить столько же, сколько Шеридан, и пережить самого себя, как бедняга Бринсли»<sup>2</sup>.

(Байрон «Дневники-Письма»).

Я обратил это место в шутку от себя на Арк[адия] Кулешова: что было бы, если бы он писал по-русски? Он, бедняга, был польщен, смеялся, а я подумал, что писать по-русски он не смог в силу, прежде всего, своей крайней необразованности, неначитанности.

Оказывается, он с 11 лет остался сам по себе («один в хате»): мать осудили в тюрьму за производство подпольных абортов, — учительница. Отец не дождался ее возвращения из тюрьмы (полгода!) и женился на другой. Так мальчик и доучивался в семилетке «один в хате». Напустил к себе квартирантов-одноклассников, что-то вроде коммуны, а там техникум, стихи в печати и т. д. Потом наезжал к отцу и матери гостем, но уже с ними не жил. Они под конец вновь сошлись.<sup>3</sup>

«Если человек способен на лучшее, ему не следует делаться рифмачем. Вот пото-му-то и досадно видеть Скотта, Мура, Кэмпбелла и Роджерса, которые могли бы быть людьми дела и вождями, а стали всего лишь созерцателями».

(Байрон) там же, стр. 58.

«Партия несет ответственность за развитие социалистической национальной куль-туры. Партии не нужны ни дешевый оптимизм, ни лакированная картина действитель-ности. Нам нужна правда жизни, богатая и всесторонняя, проникнутая социалисти-ческим гуманизмом. У нас не должно быть места для произведений, идеологическое и моральное содержание которых направлено против социализма».

(Тезисы ЦК ПОРП к IV съезду партии. «Правда» от 18.III.64.)

### 22. III. Б[арвиха].

Воскресенье. В ожидании Оли, с которой поедем в Кунцевскую б[ольни]цу. Похудел за неделю на 2,5 кг, и то еще 97. Унизительные заботы, но возраст подпирает. Прекратил непрерывное чаехлебание с сахаром, принимаю какую-то специю для отжима влаги. За м[еся]ц вернуться бы хоть к прошлогодним 94–95 кг.

Вчера набросал две странички — до перехода: и это хорошо во многих отношениях (то, что у С[олженицына] есть противники).

И это хорошо и поучительно во многих смыслах.

Во-первых, когда к произведению литературы не предъявляют упреков в неправдивости его, в нехудожественности, когда попросту не отворачиваются от него, а читают, всматриваются с таким пристрастием и «отвергают» его по иным мотивам — это всегда свидетельство большой жизненной силы прочитанного, его прямого попадания в главную точку.

Претензии типа «не тот герой» исходят, конечно, из той поверхностной искусственности записного читателя, который усвоил бытующие в нашей критике примитивные понятия о том, что нам будто бы заранее известно, каков должен быть герой (не важно каков он в жизни).

Претензии эти несостоятельны по самой своей сути умозрительных построений: нам нужен такой-то герой, наделенный такими-то качествами, и нам нет дела до того, каков тот герой, которого автор наблюдал в жизни.

Такая претензия — от губительной предвзятости в подходе к художественному произведению, предвзятости, игнорирующей жизненную сложность явлений.

(Не того — многословно и темно — боже, сколько наврано и как трудно вернуться к правде, уйдя так далеко от нее).

В тот же день. — Дело Бродского (записка на вечере «Н.М.» в Выборгском доме культуры, пук стихов, теперь еще письма Македонова и каких-то двух геологов и «отчет» Вигдоровой — все это «в свете» настоятельных советов Вл[адимира] Сем[енови]ча<sup>1</sup> «не вникать в грязное дело») <sup>2</sup>. Налицо очевиднейший факт беззакония: 5 лет за то, что работал с перерывами, мало зарабатывал, хотя никаких нетрудовых источников существования — отец и мать пенсионеры. Парнишка, вообще говоря, противноватый, но безусловно одаренный, м.б., больше, чем Евтушенко с Вознесенским вместе взятые. Почему это меня как-то по-особому задевает (ну, конечно, права личности и пр.)? М.б., потому, что в молодости я длительный срок был таким «тунеладцем», т.е. нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал, и мучился тем, что «я не член союза» (профсоюза), и завидовал сверстникам (Осину, Плешкову, Фиксину) — членам союза и получавшим зарплату.<sup>3</sup> Но я тянул и тянул эту стыдную и мучительную жизнь, как-то угадывая, что служба, работа в штате (ее, кстати, невозможно было получить) может подрубить все мои мечтания, и, в конце концов, выходит, что я был прав, идя на этот риск. А как я бросил с третьего курса Смол[енский] пединститут и за год «вольной жизни» написал «Страну Муравию». Я никогда бы этого не сделал, не рискнув так решительно (много раз мне казалось, что ничего не выходит, бросить бы к черту, но бросать уже было нельзя, и так и дописал и «перешел в новое качество»).

### 23. III.

До прогулки — чтобы отвязаться от этого на редкость мерзостного впечатления. — Фильм «Секретарь обкома»<sup>1</sup>. Вернее было бы назвать его «Секретари», ибо они идут в паре как положительный и отрицательный. Однако по выходе из кинозала спрашиваешь себя: а который из них хороший, который дурной? Оба ужасны своей культурно-казенной окраской и сущностью, но на самый худой конец — в Артамонове еще есть хоть некие условные, «приданные» черты (чтобы он был отрицательный) чего-то хоть отдаленно человеческого (любит выпить-закусить, похвастаться, а под конец даже раздражается монологом о том, что он «не для себя» творил свое гнусное дело (тут пристебнутой оказалась «Рязань», которой в романе, кажется, нет и в намеке)).<sup>2</sup>

Странное дело: Денисов (положительный по заданию) подобран в смысле обли-

чья, типажа с каким-то роковым сходством с Кочетовым и с Козловым одновременно.<sup>3</sup> Тонкогубое недоброе лицо, тяжкий «энкаведешный» взгляд «руководителя», всегда что-то знающего, чего никто больше не знает, и видящего насквозь всех. Фильм о должности, а не о человеке, культ должности. Отвратительная отчужденность от «простых людей», хотя внешние и тошнотворные черты «близости к народу», «демократизма» не забыты: здороваются за ручку с охранником при входе в обком, запросто беседует со «своим» шофером, которого забирает с собой, как положено, при переезде в другую область. Колхозники — щебечущий, смеющийся плоским шуткам высокого начальства ансамблец — ни слова о них, как людях, чего-нибудь на свете желающих, кроме выполнения плана поставок мяса и т.п. — Прав Кулешов, что мы, боясь всегда «использования за границей» того или иного случая в нашем искусстве (вроде того же Солженицына), даже не предполагаем, как выгодно могли бы использовать наши враги этот фильм. Его только показать: вот оно, их, т.е. наше директивное, партийное, идейное искусство во всей своей мертвящей казенности, антихудожественности — вот она, их, т.е. наша, ужасная безжизненная действительность, и т.д. Да, такой клеветы, такого очернения никому нарочно не придумать. Точка. Случится, скажу публично об этом фильме — это редкий по цельности образчик, это знамение того искусства и той мнимой жизни, против которых я не перестану бороться всеми силами разума и сердца до конца дней моих.

Если бы это искусство действительно могло утвердиться, — вообразить только, что это то самое, чего «хочет от нас партия», то жить уже не стоит. —

### 24. III.

До прогулки. На вчерашней утренней прогулке постепенно успокоился. Очень хорошо: этот фильм — образцовое произведение искусства, созданное по идейно-эстетическим принципам кочетовщины. Это фокус, в котором все обнаружилось с предельной ясностью, никаких отклонений. Описать весь этот набор средств показа действительности — и все налицо. Вечером подсел к нашему столу Романов А.В. (министр кино) и сообщил, что «этот фильм очень не понравился Н.С.». Главным образом из-за мотива «ларионовщины». Разве, мол, дело в Ларионове, ведь мы сами его... Т[аким] обр[азом], фильм вряд ли будет выпущен, к сожалению, ибо выгоднее для дела было бы ему быть на виду и служить примером, как, например, «Куб[анские] казаки». —

(Позавчерашнее посещение мною соблазителя Аркашки<sup>1</sup> после кино дало вчера заметное повышение давления — 150, а было уже нормальное — 120. Впрочем, м.б., врачаха ошиблась. Вчерашнее — пустяки, вряд ли отразится, но нужно это знать). —

Вчера статья начала связываться, зачин во всяком случае. Дальше будет развита мысль о том, что, во-первых, подлинное произведение искусства, к тому же берущее за самое живое, не может быть снято посредством критики, любого охаивания и т.п. С ним ничего не поделаешь, т.к. и нападки в таком случае не только не оправдываются, но, наоборот, часто достигают противоположных результатов, т.е., никак не входивших в расчеты этой критики. Явивши[сь] в такой атмосфере «духовного освобождения», эта вещь, будучи фактом искусства, отозвавшегося не на «потребности сознания», является и фактором борьбы против того, наличие чего в нашем общ[ест]ве обозначают эти нападки (хотят или не хотят того критиканы).

Читательская критика нередко следует навыкам профессиональной — самым дурным ее приемам и посылкам, но бывает и такая (и в ней главная сила), которая не приемлет, остро возражает профессиональной и способна многому поучить ее.

Словом, все хорошо. Судьба «Одного дня» куда завиднее любого произведения, одобренного сверху в иные времена и хвалимого без удержу по всем горизонтам.

Для концовки — мысль о невозможности «запаять» настоящее в искусстве.

### Собрание сочинений

В 5 томах:

Том первый: Стихотворения.

Том второй: Страна Муравия,  
Василий Теркин.

Том третий: Дом у дороги,  
За далью — даль,  
Теркин на том свете.

Том четвертый: Родина и чужбина.

Том пятый: Статьи и заметки.

«Томами» являются на сегодня лишь первые три. 4-й и 5-й — это еще полтома. Они должны и могут быть дополнены, один — рассказами и очерками, другой — всякого рода статьями, заметками, речами (нужно включить и кое-что из того, что указано в письме одного читателя по книжке «Ст[атьи] и заметки»)². Это все еще до «Пана Твардовского», до настоящей старости. —

### 25. III.

Продвигаюсь помалу, только не сбиться на мелочные возражения вздорной критике, не доказывать самоочевидного, не пускаться в боковые подробности. — С высоты времени, под знаком идейно-политической сегодняшней сути дела.

Отвлекался чтением корректуры «Теркина» для «Шк[ольной] б[ibliote]ки» Детгиза. Давненько не читал его, — здорово все же, хотя есть главы послабей («По-единок» — вся из головы, «Т[еркин] ранен» — обветшала, вся еще на финских впечатлениях. А так в двух-трех местах даже прослезился как чужой хорошей вещи, но не впал в умиление — вижу, что отпечаток времени уже лег на некоторые главы (длиннотки). Вычеркнуть смог лишь две строфы:

1. Мимо их висков вихрастых...

Какие же вихры, если они стриженные.

2. И покамест неизвестно...

Эта строфа только разрывает музыкальную связь:

Переправа сорвалась.

Переправа, переправа... и т.д.<sup>1</sup>

И еще строку (пятую у собаки ногу):

В эту памятную зиму...

Она как-то уцелела с 40 г., когда в виду имелась только одна военная зима — финская.<sup>2</sup> И некоторые словечки: От кого всегда держала. Всегда на «вдали». И еще кой-что.

Попробовал было вставить строфу с «недоедом» для переключки к «недосыпом»:

Мол, здоровью не во вред

Закусить покруче

И за прошлый недоед,

И на всякий случай.<sup>3</sup>

Вчера весьма серьезное решение ЦК и Совмина «Об извращениях»<sup>4</sup>... Пожалуй, это из тех документов, что включают более решительные и бесповоротные слова, чем многословные прения и резолюции многодневных «исторических форумов». Но неужели нужно было 10 лет, чтобы решиться на это, вернее, сказанное и записанное о самостоятельности планирования колхозами своего производства наконец-то счесть серьезным установлением жизни реальной, а не мнимой. —

Читаю «Дневники-письма» Байрона.<sup>5</sup> Странно, что я дожил до середины шестого десятка, имея смутное представление об этом всеевропейском и мировом для своего времени кумире, воздействие которого на многие литературы, в т.ч. русскую, так значительно. Правда, перечитывать его не тянет, читал его давно — «Каин», «Манфред» — в отрочестве без малейшего понятия, а потом еще «проходил». Подозреваю, что эти записи живее и реальнее рисуют его выдающуюся личность и ум, чем сочинения, потрясавшие его современников. А пожалуй, Бернс в каком-то смысле оказался долговечней Б[айро]на, хотя последнему делает честь его прозорливость относительно «незнатного» Бернса. —

Неприятности (опять!) по № 46. Приедут Дем[ентьев] и Лакшин. — Так или сяк, после объявления премии К[омите]том придется решать вопрос: или и без меня все идет хорошо, или же и со мной никакого толку не предвидится.<sup>7</sup> —

### 26. III. Б[арвиха].

Нелепо доказывать бессмыслицу или издевательский характер упреков критики по адресу заключенного Шухова в том, например, что он думает о еде, будучи голодным, а не занят более возвышенными размышлениями, или в том, что он — натура пассивная, «каратаевская», т.к. не протестует против лагерного режима; не ведет борь-

бы, — против чего и кого — критики обычно не договаривают. Но глубокомысленные поуги к тому, чтобы лишить Шухова отличительных черт человека, сформировавшегося в советскую эпоху, нужно решительно отвести за полной бездоказательностью таких утверждений. Человек труда, способный даже в столь специфических условиях испытывать радость труда, увлечение и порыв в артельной работе, находить в ней — и только в ней, целительную душевную отраду и опору своего человеческого достоинства — такой человек не может быть прот ивоставлен понятию об особых качествах советского общества. Нет. Он поистине плоть от плоти и кровь от крови этого общества, и частица его трудовой сноровки, умелости, прекрасной рабочей удали несомненно сливается с историческим трудовым подвигом народа, прошедшего пятилетки, годы войны и послевоенного строительного напряжения. Здесь, как и там, Иван Шухов работает — воодушевленный трудовой спайкой с товарищами по бригаде, работает самозабвенно и заражает других — столь различных по своей жизненной судьбе и одинаково удрученных своим нынешним положением — заражает благородным чувством трудового участия, в чем-то неизмеримо большем, чем возведение корпуса безвестной ТЭЦ в безрадостном краю лагерного Заполярья. Да, Шухов и его товарищи не забывают и о выведении «процентовки», о том, чтобы не подвести бригадира Тюрина и, может быть, выиграть какую-то мизерную хлебную надбавку, но одного этого было бы далеко не достаточно для проявления себя в осмысленной работе, исполненной настороженной сметки мастерства и горячности увлечения. Вспомним только, как Шухов без уговора берет на себя самое ответственное рабочее место и спрямляет кладку стены там, где, должно быть, были приложены руки не такие умелые и не такое усердие. Я не знаю в нашей беллетристике описания трудового подъема, выполненного с такой неподдельной, захватывающей читателя силой. Нет, пожалуй, я мог бы сравнить — не по мастерству и безупречной экономности изображения, но по самому настроению, подмывающей музыке сложенных усилий трудового коллектива лишь с трудовыми эпизодами в небольшом и, к сожалению, еще не замеченном критикой очерке рабочего-монтажника В. (?) Кондратьева<sup>1</sup> в № 3 «Нового мира». Там тоже налицо эта рабочая удаля, мастерство, точность (даже шегольство) людей, связанных как бы единым дыханием. Но там не мастеров и носилки с раствором или шлакоблоками, не тяжкий ручной труд, а современные механизмы, инженерный расчет и разнообразное техническое обеспечение и не только это, <там> еще и свободные, тепло одетые, здоровые люди, привыкшие знать себе цену, гордые своей рабочей славой и участием в завершении знаменитых гидростроев страны. Но странным образом эти картины труда производят на меня, читателя, сходное волнующее впечатление прекрасной поэзии труда, задушевной связи товарищей, круговой рабочей поруки. Можно еще добавить, что и там и там выступает еще одна сила: покоряющее читателя знание авторами дела — до деталей и подробности — то безусловное знание, которое позволяет и не быть уж слишком подробным в описании, не шеголять терминологией и излишне-специальными «тонкостями», чем обычно грешат авторы, не обладающие этим особым богатством художника: непосредственным личным трудовым опытом.

Заслуга С[олженицы]на как раз в том, что он избрал этого героя (его глазами и словами).

Вчера — папка с почтой из редакции, сидел с 6 ч., всех рассовал и после завтрака стал было вянуть. Особая тоска от писем по делу «тунеядца Бродского». Поговорил по телефону с В.С., с Дементом, здесь с Исаковским и Кулешовым<sup>2</sup>. — Иду в 3 ч. к Маше, Оля, м.б., не поедет, нездорова, в чем она обычно крайне неохотно сознается. — Иду подставлять свои «статьи» под брандспойт, который направляет та или иная из молодых женщин водолебного отделения — беда, не могу привыкнуть, чтоб совсем не испытывать неловкости. —

### 27. III. Б[арвиха].

Дополз до девятой странички. — Нужно все время мысленно возвращаться к началу, — то ли говоришь, что думаешь и что надо, или поддаешься капризному течению и попадаешь в один из множества возможных рукавов и уже лепишь, что набагает. Ах, как легко написать претенциозную глупость, как много подворачивается слов «для красоты» только, а порой и просто повторяющих кого-то или что-то пустопрожнее. —

Вчерашнее посещение Маши в больнице самое горькое из всех: показала мне зажившую ногу с черными стежками шва на икре и здесь же выступающим узелком

«недочищенной» вены, на которую, оказывается, указал и профессор некий, смотревший ее в последние дни. Это значит, что может быть очень скоро опять старушке ложиться на операцию, во всяком случае — начинать ждать такой или иной штуки. Не стал говорить Оле об этом, — бедняжка моя и так, видимо, еле тянет — вчера и сегодня прихварывает, не ходила в школу.

---

То вдруг опять вспомню, что где-то у родни покойного А. Рутмана в Москве, м.б., уцелел мой однотомный Лермонтов, переданный ему в Брянске году в 28-29 за долг в 5 р. — Предложить бы за этот однотомник любое собр[ание] соч[инений] Л[ермонтова], коль уж самому заботиться о реликвиях будущего музея, но это возможно только через Осина, а не хочется. Можно бы поискать и заказать это издание в Лавке<sup>1</sup>, но это уже будет не то, не тот наш Лермонтов Загорьевский, что отец привез, из тюрьмы вернувшись, вместе с Пушкиным, которого почему-то передал мне, а Лермонтова — старшему брату Косте: м.б., это уже было, когда я марал бумагу стихами, и мне уже отводилась должность Пушкина.

---

Лермонтовский Кавказ, воспринятый в отроческом чтении, не совпадающий с современным, увиденным много лет спустя — не разместить на его дорогах и курортах Бэлу с Казбичем и др. —

### 28.III. Б[арвиха].

Подвигается. Конечно, м.б., все, что я с известным напряжением уясню для себя и стараюсь связно изложить, вовсе не так уж ново и глубоко, но все же я иду к главному вопросу, пытаюсь сформулировать в общедоступной форме то, что, как мне кажется, не сформулировано, во всяком случае, не стало привычным понятием, — на что не каждый решится.

Иногда мне даже кажется, что я «не по чину беру», залезаю, куда не положено, и что из этого ничего реального, печатного не получится. Но, боже мой, куда более невероятным представлялось напечатание «Ив[ана] Д[енисови]ча», да и моих «Далей» («Так это было») или «Т[еркина] на том свете».

Правда, до опубликования казалось, что только бы опубликовать эти вещи — остальное приложится. Опыт показывает, что это далеко не так. Нельзя думать, что и эта статейка сразу все перевернет, но она найдет отклик в душах людей, позволяющих себе роскошь думать, лично симпатизировать чему-то или отрицать что-то. А появившись она в «Правде», м.б., заставит придержать язык безответственному и наглому вранью, горлопанству и провокации. —

Не нужно бы, ох; не нужно бы заходить в дообеденные полчаса к Аркашке с его обеспечением, да уж где наше не пропало!

### 31.III.

Так-сяк статейка подвигается к концу. Для меня и в этом скромном случае важнейшим побудителем к работе является то, что ничего необходимого и важнее для данного момента я не мог бы сейчас писать — это неотложное.

---

Сегодня надеюсь сдать на машинку то, что есть (или будет) к полудню, когда поеду в Москву для встречи с Эренбургом<sup>1</sup>. —

Примерно:

Изложить о кавторанге по корреспонденции в «Известиях»<sup>2</sup>. Затем:

Подчеркнуть это тем более необходимо, что, к сожалению, у некот[орых], пишущих об «Одном дне Ивана Денисовича», проявляется почти нескрываемое отношение к Шухову, его товарищам по судьбе и ко всем-всем этим «людям из-за проволоки», странное высокомерие как к миру, с которым они, во всяком случае, слава богу, ничего общего не имеют.

1) Эти люди забывают, что только случай или ребяческий возраст мог уберечь их от такой же судьбы, и хотят они того или не хотят, но это их превосходство над

жертвами произвола и беззаконий минувших лет покоится на той самой самоуспокоительной казенной философии бывалых времен, которая формулировалась обычным: «У нас зря не сажают...».

2) Есть и молчаливое неприятие «Ив[ана] Д[енисови]ча» со стороны людей того печального жизненного опыта, который говорит: подождем да поглядим, как еще оно обернется. Прочсть-то они прочли от строчки до строчки, с полным сочувствием или угрюмым неприятием, но и в частной беседе воздержатся от каких-либо суждений: о, эта житейская мудрость, крепко усвоенная и довольная сама собой.

И как это ни прискорбно, такое отношение к необычному по силе и воздействию на миллионы читателей, такая похвальная в былые времена сдержанность заметна и со стороны некоторых почтенных литераторов. Правда, здесь к прописной мудрости воздержания примешивается несомненно и другое. Эти люди не могут не видеть, не чувствовать, что какой большой читательский интерес прихлынул к этой скромной, малого объема повести и, увы, она заслоняет их многообъемные, неторопливые сочинения — лишенные жара живой.

3) Все это многообразие мнений, суждений и даже умолчаний относительно повести Солженицына заслуживает глубокого внимания и изучения. — Оно весьма показательно для переживаемого нашей литературой в целом момента, хотя сама она еще недостаточно, м.б., осознает это.

Только после исторических съездов партии, вынесших окончательный приговор всему тому, что отмечено в нашем развитии знаком культа личности, могла появиться или, лучше сказать, не могла не появиться эта суровая и мужественная, пронизанная светом социалистического гуманизма повесть о человеческом в нечеловеческих условиях, о великой силе духа советских людей, — повесть, с бесстрашных партийных позиций приоткрывшая завесу над прошлым.

В этом политическое содержание повести, которого нельзя переоценить.

4) Мы в самых беглых чертах коснулись характеристики только двух героев повести, а их там много, и каждый заслуживал бы отдельного и подробного рассмотрения и толкования, — так правдивы эти мастерски исполненные портреты, иногда с минимальной затратой красок, одним безотрывным обводом контура, и такие незабываемые. Какой многоговорящей, глубоко впечатляющей тенью встает с этих страниц, например, безмолвная фигура старика, который ест, зажав шапку под мышкой, с невозмутимым благообразием человека, которого никакая форма насилия, ничто не может унижить. И это достоинство благообразия — как гордый вызов противопоставит всему неблагообразию обстановки и свидетельствует о таких неодолимых духовных силах, которые заставляют вспомнить образы (оживают в нем) поистине революционеров-большевиков, людей несгибаемой воли и незапятнанной чести. Разве этот, в немногих строках набросанный безымянный портрет — не один из самых дорогих нам героев повести?

Но незримо, но явно среди всех ее героев живет, присутствует, высказывается еще один герой этого произведения — суровый и беспощадный, сердечный и взыскательный, отвечающий за себя и за всех остальных — это ее автор, который хоть и ведет свой рассказ как бы только словами Ив[ана] Д[енисови]ча и видит все вокруг как бы только его глазами, но неотрывно с ним и со всеми другими проходит от первой до последней страницы «Одного дня». И как многозначительна его встреча с Буйновским за пределами повести, на борту легендарного крейсера «Аврора».

А в целом здесь хочется привести слова молодого Толстого, которыми он заканчивает один из своих севастопольских очерков: «Главный же мой герой, который был и всегда будет прекрасен — этот герой правда»<sup>3</sup>.

(отсутствие жалостливости)

5) Юмор! (национальный) характер). Работает, забьет, тоскует, радуется и даже шутит! Да, да, и шутит, и заставляет уже нас — смеяться. Это одна из самых победительных сторон...

6) История русской литературы знает немало примеров того, как непредугаданное и неожиданное, скромное по объему и выбору объектом изображения как бы только частного случая действительности, одного из уголков ее, до поры не привлекавшего внимания прославленных мастеров пера, — как такое произведение становилось знаменательной вехой в развитии лучших, наиболее перспективных ее тенденций.

А. Солженицын опубликовал до сих пор всего четыре небольших по объему вещи. Неслыханный успех первой из них не заставил его стать певцом лагерной темы, хотя иному автору материала, которым располагает Солженицын к этой теме, хватило бы на всю его писательскую жизнь.



Каждая новая вещь Солженицына — новый материал жизни: послевоенная деревня, прифронтовая ж.д. станция первой военной осени; нынешний день учебного заведения в большом областном городе. Каждая из этих вещей — новое свидетельство многосторонней талантливости автора. Перед ним большой писательский путь, на котором, несомненно, будут новые и, может быть, еще более значительные успехи, могут быть и трудности, и задержки, и промахи.

Но одно несомненно, что уже первой своей повестью он напрочно вписал свое имя в историю советской литературы, и поворотное значение этой повести в развитии сов[етской] лит[ерату]ры будет со временем выявляться все более очевидно.

#### 2.IV.64. Б[арвиха].

До прогулки.

Статья, по-видимому, получилась — это явствует из того, что теперь нас уже более занимает ее опубликование в ближайшее время. Ни на что другое я не мог потратить здесь время более продуктивно. И сейчас даже подумал, что если на худой конец (весьма возможный) она не попадет в печать «к христову дню», ее прохождение по инстанциям будет иметь значение и с точки зрения той конкретной задачи, которой она посвящена (премия Солженицыну).

Намахалась она сравнительно легко, нужно было только следить за главной мыслью. Но вчерашнее «чтение» её с Дементом<sup>1</sup> и Лакшиным было архиполезно, — отваливались целые куски, иногда сами по себе даже интересные (об именах лит[ературных] героев и др.), но все же расслабляющие главную пружину, или обозначились проемы, которые необходимо занять существенным, неотложным предметом содержания. (Не обошлось, конечно, без некоторого обострения с Дем[ен]том, в котором порой просыпаются его прежние инстинкты (о «протесте» и «борьбе» против «беззаконий на местах», т.е. лагере). Продолжаю думать, что прав Солженицын, а не его критики.

Сегодня день перебелки, — перенесения на чистый экземпляр всей правки и внесения необходимейших добавлений, хотя статья и так уже под печ[атный] лист, и объем может стать ближайшей благовидной причиной к ее неопубликованию. —

1. Ленин об «использовании врагами» правды о наших изъянах.
2. О «принципиальной невозможности» присуждения премии за такую вещь.
3. О языке повести (в др[угих] вещах эвфемизмов у Солженицына нет!).<sup>2</sup>
4. Об особом тоне в отношении критиков к Шухову и вообще заключенным, — все-таки — заключенные, а «у нас зря не сажают».
5. Цит[ата] из Л.Ф.?.

«Мы несколько не закрываем глаза на то, что всякое слово, которое будет здесь произнесено, будет перетолковываться, что к нашим признаниям будут прислушиваться агенты белогвардейцев, — но мы говорим: пусть!

Мы гораздо больше пользы извлечем из прямой и открытой правды, потому что мы уверены, что если это и тяжелая правда, то, когда она ясно слышна, всякий сознательный представитель рабочего класса, всякий трудящийся крестьянин извлечет из нее единственно верный вывод».

Ленин, 4-е изд. т. XXIX, 231.<sup>3</sup>

#### 3.IV.64. Б[арвиха].

Еду на Комитет, хотя З.Б.<sup>1</sup> сказала, что это заседание можно пропустить — все равно там меня ждет перебеленная статья, нужно говорить с Л.Ф., нужно присмотреться к народу на К[омите]те, нужно на обр[атном] пути заехать к Маше, ее опять забинтовали, не дай бог, и отложили выход на волю до 10-го, что, конечно, неточно и т.д. Вторая половина м[еся]ца может у меня здесь пойти кувырк: из 15-ти дней — 6-7 для Москвы. —

Конечно, с провалом (очень, очень вероятным) Солженицына при голосовании еще не резон тотчас впадать в ликвидаторство, еще есть запасные позиции, на которых можно держаться с достоинством и честью, но только держаться.

Роман С[олженицы]на, бог его знает еще — что это такое, но будь он хоть какой, его встретят в штаны, обзовут так и этак (если даже удастся его напечатать). Словом, будет куда труднее. Но такова, по-видимому, наша доля. — Я иду к человеку, от которого сейчас, в данном конкретном случае (моя статья), много зависит. Но у меня

не только нет уверенности, что он сочувствует мне, но, скорее, есть уверенность, что в душе он желает провала С[олженицын]а по своим особым, далеким от лит[ерату]ры, соображениям. Тут опять бескультовые условия используются в чисто культовых целях: «Демократия-с»...

Но очень хорошо, что я в эти дни сосредоточился на этом деле, я добрался, кажется, до ясности — невеселой, но, по кр[айней] мере, несомненной, я знаю, на какой стороне что. Силы тьмы — все, кто великолепные решения съездов принимает лишь внешне, в глубине считая, что все это «только так» (и не без некоторых оснований). Силы жизни считают: пусть себе отчасти это, может быть, «только так», но мы намерены понимать это не как «только так», а всерьез и утверждать эту серьезность до конца. Если бы силы тьмы перевесили, то на длительный срок вообще нечего делать в смысле журнальном, общественном, нужно уходить «на творческую работу», т.е. писать потихоньку в сундук, а это уже — как пенсия.

Третьего дня в «Изв[естиях]» статья памяти Раскольникова, где отмечается его разоблачительная деятельность против культа в условиях невозвращения (во Франции). Это беспрецедентное дело в нашей печати. Человек по вызову его в Москву из-за границы, сообразив, что к чему, едет во Францию и там в буржуазной печати (не в коммунистической же!) выступает против Сталина и его режима. Это решительно новое во многих смыслах.<sup>2</sup>

Записи Тарасенкова о Пастернаке рисуют последнего во многом как умного, честного и глубоко несчастного человека, по-своему, но в общем правильно понимавшего то время и трагическую роль искусства. Мы, говорит он, совершаем поход на подводной лодке, с редкими выходами на поверхность, почти без воздуха, а должны петь о поездке на яхте, солнце, воздухе и всяческих озолах.<sup>3</sup> Жаль только, что все это записал Толечка, как он иногда подписывался, который вульгарнейшим образом отказался от Пастернака, когда это было к его выгоде, и порядочно преуспел.<sup>4</sup>

#### 10.IV.64. Б[арвиха].

На обороте вырезки из Литгазеты от 7.IV. прочел сообщение о смерти Бориса Сергеевича Бурштына (Иринина), которого я знал со смоленских<sup>1</sup> времен. Незадолго до этого как-то в редакцию заходил человек, кажется, поэт Белинский, с просьбой от Елизаветы Яковлевны<sup>2</sup>, чтобы я позвонил Блохину (?) и попросил его лично сделать операцию Иринину, которая только и может его спасти. Еще одна история, когда я отказал родным известных мне людей в «принятии срочных мер» (1-й раз — Еголин А.М.) и оказался как бы виновным в их смерти.<sup>3</sup>

Записывать сколько-нибудь подробно перипетии «битвы русских с кабардинцами» из-за кандидатуры Солженицына на Комитете не имеет смысла — она зафиксирована так ли сак в стенограмме.

Выступал дважды (еще дважды — по Серебряковой и Исаеву)<sup>4</sup>. Пережил невозможное напряжение и муку: сплоченность лагеря «кабардинцев» и иже с ними (гнусность Тихонова и Анисимова)<sup>5</sup>.

Что-то все же произошло: К[омите]т, несмотря и вопреки воле руководства и действиям прибывшей специально для этого случая тяжелой артиллерии в лице Павлова (от «молодежи Советского Союза»<sup>6</sup>) и Титова («от космонавтов»), — несмотря и вопреки всему этому — восстановил Солженицына в списке для тайного голосования.

Мне очень помогла работа над статьей — так я ее по памяти почти всю в два приема вычитировал, заостряя отдельные положения и пр. Конечно, многое и упустил, хотя кое-что и добавлял по непосредственной надобности «битвы». Уже вряд ли удастся напечатать статью — обоих редакторов нет, как нарочно, В[ладимир] С[еменович] с Н[икитой] С[ергеевичем] в Будапеште<sup>7</sup>, с Л.Ф. не удалось связаться по телефону (трижды звонил по вертушке — то «нет», то «не будет»). А В.С. до разреза, до крайности нужен уже не с точки зрения опубликования статьи, а в связи с гнусной выходкой Павлова в отношении Солженицына («Он, мол, не был политическим заключенным, и нечего ему приписывать борьбу против культа личности») и всей «постановочной» сущностью его появления на комитете.

Статью — в случае наименее возможного случая итогов голосования — можно будет напечатать без хлопот в любом месте; в случае же вероятнейшего — развить,

дополнить, в частности, сравнением с Воспоминаниями Кирпичникова (?) в изложении покойного Вл[адимира] Борисовича<sup>8</sup> и напечатать хотя бы в «Новом мире».

Были в эти дни и очень грустные мысли, тягостное и тоскливое чувство: кабардинцев много, и они стайно, по-звериному дружны, идут на рожон, ничего не боятся, чуют, что нет на них настоящей управы — облавы.

Но все же были основания быть немного довольным собой — сделано все, что велели долг и совесть, м.б., даже через силу-возможность. Когда поступаешь так — как иначе не мог, не хотел поступить — на душе лучше, — что бы там ни было. — М.б., завтра привезу Машу, пошел 3-й м[еся]ц, как она в больнице.

#### 11.IV.64. Б[арви]ха.

День этот — необычайный, тревожный, начался вчера с разговора по тел[ефону] с Дементом, который мялся, не договаривал и явно «перепоручал» мне одному все эти радости, что предстоят сегодня.

К 3 ч. было известно, что:

1) Караганова вызывали «туда», т.е. к одному из членов к[омите]та, напрямую начальнику К[араганова] по линии кино, стругали, страшали и т.п., рекомендовали сегодня, т.е. 11.IV, представить мнение текиносекции в другом виде. Отказался впредь до «прямых указаний» — в этом роде.<sup>1</sup>

2) Речь явно идет о переголосовании списка — с недвусмысленной целью.

3) Возможно, будет создана партгруппа. Это бы неплохо, я сам подумывал, что ее необходимо созвать для приведения в чувство Грибачевых, Прокофьевых,<sup>2</sup> и т.п. Теперь она будет создана для других целей, но все равно.

4) В редакции появился Солженицын. На мой прямой вопрос дал четкий по-военному ответ: 58-10, ч[асть] 2 и 58-11. Реабилитирован за отсутствием состава.

5) Еду для оформления запроса в воен[ную] коллегия и получения выписки.

А поезд из Будапешта только вчера утром тронулся, — где он сейчас, боже мой, как это важно и нужно. —

#### 12.IV.64. Б[арви]ха.

С новой страницы и другими чернилами. Das ist alles!

Вчера вышел к завтраку до 9 ч., взял у коменданта «Правду» — вот оно: ред[акционная] статья на месте и в том, примерно, объеме, что предположенная мною моя с ее мыслившимся в течение этого м[еся]ца эффектом.<sup>1</sup> В город поехал, чтобы оформить получение «копии судебного определения по реабилитации Солженицына» (накануне вызвал к 10 ч. С[офью] Х[анановну]<sup>2</sup>), встретиться с А[лександром] Исаичем, но на К[омите]т уже думал не ходить. Однако, под влиянием, м.б., звонка моей милой девочки («Папа, все-таки, м.б., тебе лучше уж до конца...») и соображения о том, что могут попросту истолковать непопадание как трусость и загул отчаяния, поехал. Там сразу успокоился, видя себя неустрашившимся и ясным, отбыл свое, отвесил Павлову<sup>3</sup> в виде «справки», что положено, и обеспечив себе благовидный (хотя и понятный в своей демонстративной сущности) уход («В больницу, перевожу жену...»), вышел «скромно и гордо». Да, все. Новая полоса жизни, ибо «лучшего» случая уйти из «Н.М.» уже не дожидаться — будет хуже.

И чувство молодости странной...

#### 13.IV. Б[арвиха].

Вчера собирался на этой странице сформулировать для себя полнейшую оправданность и целесообразность моего ухода из «Н.М.» в связи с «манипуляциями» против Солженицына, против меня и против — бог весть кого — со стороны известного Отдела.

Но после разговора с Валею по пути от больничных ворот до гл[авного] корпуса — она просто горько заплакала, моя бедная девочка, видя, что я говорю не в аффекте, не сгоряча, а серьезно, после встречи нашей семьи за столиком больничного фойе (коридора), настроение мое подалось в сторону «непреклонности и терпенья», м.б., еще на некоторый срок. По крайней мере нужно убедиться в решительной невозможности продолжения работы в ж[урна]ле (ближайший случай — роман Солженицына), нецелесообразности дальнейшего «терпения».<sup>1</sup>

Сегодня постараюсь увидеться с В.С. — многое прояснится. —

#### 14.IV.64. Б[арви]ха. 6 ч.

Сегодня еду голосовать, участвовать в акции заведомо незаконной, происходящей в нарушение элементарных норм общественной демократии, т.е. в гнусном деле, и

иначе не могу поступить в силу только «божественного закона» партийной дисциплины: такова воля ЦК, недвусмысленно выраженная в ред[акционной] статье «Правды» и «мероприятиях» по обеспечению недопущения кандидатуры С[олженицын]а в список для тайного голосования.

Что же, собственно, произошло и происходит? То, что подступало уже давно, изда-дека, сперва робко, но потом все смелее — через формы «исторических совещаний», печать, фальшивые «письма земляков» и т.п. и что не может быть названо иначе, как полосой активного, наступательного снятия «духа и смысла» 20-го и 22-го съездов.

Так только я могу оценивать это, принадлежа к тем людям в партии и наиболее близким ей вне ее рядов, которые всерьез и с радостным доверием отнеслись к этому «духу и смыслу» и несут его в себе; в противоположность тем «многоумудрым», которые аплодируют этим съездам вместе с нами, про себя считали и считают, что все это «только так», «для политики», а на самом деле, мол, все остается, как «в старое доброе время».

Что произошло и происходит фактически.

1. Премия этого года принадлежит единственно Солженицыну — это подтвердили его враги, опасения которых перед результатами голосования были столь основательны (несмотря на активность «бешеных»), что они пошли на прямую фальсификацию, на ложь («Правда» вопреки тому, что сама же утверждала недавно), на «организацию» мнения членов К[омитета] — коммунистов способом «команды» («была команда» — К-в).

«Какое это несчастье — быть членом партии, слава богу, что я не коммунистка и могу не участвовать в бесчестном деле против своей совести» — это слова члена К[омитета], артистки К[онюхо]вой я уже услышал в редакции, переданными со слов члена К[омитета] К[араганова].

2. Прием, употребленный Павловым, хоть и разоблачен мною оглашением документа, не утрачивает своего первоначального назначения и смысла: за очевидным недостатком аргументации, дискриминировать политически человека, автора повести, заплятившего за ее правдивость и силу таким «жизненным опытом», который ни в какой другой области еще не принес ничего, идущего в сравнение с ней (повестью) в смысле борьбы с культом.

3. Ссылка на «народ», на «большинство писем читателей» — ложь и мерзость. Большинство — и решительное! — письма восторженные, благодарные, умные — и они истинная ценность, в отличие от писем «против», которые делятся на две категории: 1) от недомыслия и привычного следования сигналам «бдительной критики» и 2) от ощущения или сознания того, что эта повесть то новое, что беспощадно разворачивает твердыни прошлого.

4. Кто на К[омитете] был активно, открыто за или против кандидатуры Солженицына? (из литераторов).

За. — Крупнейшие писатели нац[иональных] литератур: Айтматов, Гамзатов, Стельмах, Токомбаев, Н. Зарьян, М. Карим, Марцинкявичюс, Лупан — из них трое — лауреаты Лен[инской] премии (всего — 4).<sup>1</sup>

Против. — Бездарности или выдохнувшиеся, опустившиеся нравственно, погубленные школой культа чиновники и вельможи от лит[ерату]ры: Грибачев, Прокофьев, Тихонов, Ив[ан] Анисимов, Г. Марков (полтора лауреата — Прокофьев и Грибачев).<sup>2</sup>

Н. Тихонов имел возможность увенчать свою пустопорожнюю старость поступком, который окрасил бы всю его литературную и гражданскую жизнь самым выгодным образом, но этот «седой беспартийный гусь» предпочел другое — поделом ему презрение, в лучшем случае — забвение.

Что говорить о роли чиновников от искусства — министре Романове, Т. Хренникове<sup>3</sup> или постыдной роли бедняги Титова, выступившего «от космонавтов», как Павлов «от комсомола». О последнем не речь, но Титов сказал нечто совершенно ужасное (во втором выступлении) с милой улыбкой «звездного брата»: — «Я не знаю, м.б., для старшего поколения память этих беззаконий так жива, и больна, но я скажу, что для меня лично и моих сверстников она такого значения не имеет» (не букв[ально] но точно).

Отрывки из записи беседы с бразильским публицистом, членом компартии, товарищем Педро Мотта Лима.<sup>4</sup>

— Как встречена повесть А. Солженицына в Бразилии?

— Так же, как 20-й съезд КПСС, учитывая, конечно, все различие масштабов и, так

сказать, жанров этих явлений. Антикоммунисты, как обычно, пытаются использовать правду в интересах лжи. Но эта попытка — бумеранг, ибо надо объяснить главное: почему вы сами публикуете такие вещи. Это не манная кашка. Чтобы переварить такую правду, надо иметь крепкий желудок. Нет беспросветной правды. Беспросветна ложь. Вообще весь суровый тон Солженицына во многом родственен тону Шолохова в «Тихом Доне» и в «Судьбе человека». Солженицын, как всякий настоящий художник, нуждается не в славословии, а в понимании. И все же я не удержусь и скажу: эта повесть — один из предвестников того искусства, которым Россия еще удивит, потрясет и покорит мир не меньше, чем когда-либо раньше, — того искусства, которое расскажет миру обо всем хорошем и тяжелом, что пришлось вам пережить. Такие художники — гордость вашего народа, но они и наша гордость.

(О статье «Здравствуйте, кавторанг!»):

— Вот лучшее предисловие к зарубежным изданиям повести. Обязательно сообщу об этом в нашу прессу (тов. П. Мотта Лима выполнил свое намерение).

Если все это останется в силе. То будет ясно, что произошел переворот не государственный, но партийно-идеологический переворот, направленный против 20-го и 22-го съездов.

Само собою, переворачивается (открывается) новая страница и моей литературной и жизненной судьбы, независимо от того, как долго я еще смогу проявлять душевную «непреклонность и терпенье» при фактической преклонности.

Ведь я уже распорядился снять с 4 кн. ж[урна]ла чудесные письма читателей в защиту кандидатуры Солженицына (их нет для общественности, как нет моей статьи в печати, а есть ложь правдистской ред[акционной] статьи) т[ак] к[ак] я не имею права продолжать на страницах ж[урна]ла агитацию за при наличии «прямых указаний» и самого факта исключения кандидатуры Солженицына из списка на голосование. —

---

Вперед, и горе Годунову!

---

#### 15. IV. 64. Б[арви]ха. День отъезда.

Кончилась-таки эта стыдная колготня на Неглинной<sup>1</sup>, если не считать, что еще, пожалуй, будут разыскивать для подписания протокола.

Вл[адимир] С[еменович] сказал свое обычное «буду рад», но рад, конечно, он не был, вообще, как-то грустноват, похудел, м.б., это объясняется только усталостью от поездки, а, м.б., и еще чем. Всезнающая Зоя Борисовна в присутствии ученого секретаря<sup>2</sup> спрашивает меня: «Правда ли, что Н[икита] С[ергеевич] собирается, справив 70-летие, уходить на покой?» — Не дай бог, хуже ничего и придумать нельзя было бы на нынешнем этапе. Все выправят, все повернут за милую душу, само понятие культа личности снимут. Не дай бог. Впрочем, не верится, не бывает так. Тот тоже грозился уйти на покой, быть лишь советчиком (этому не оставят и этой роли — при жизни развенчают!), но ушел лишь помимо своего желания.<sup>3</sup> —

Рассказал о своем разговоре с Н[икитой] С[ергеевичем] в вагоне на обратном пути, о чтении ему вслух статьи в «Правде»<sup>4</sup>. Из всего явствует, что Н.С. действительно не хотел, чтобы Солженицыну была присуждена премия, считая, что это кем-нибудь (многими) будет понято как следствие его «прямых указаний», поскольку широко известно его участие и благословение на выход в свет этой вещи и последующие высказывания (при наличии в «кругах» иного отношения к ней). Этому можно верить, и это, как я и сказал, делает честь ему, его скромности и осторожности, но может свидетельствовать и об опасливости, нежелании раздражать кого-то.

Опять же эта статья: он не мог знать, и этого ему не мог объяснить Вл[адимир] Сем[енович] (хотя он и объяснял ему, что статья плохая), что отзывы читателей подобраны и что даже при этой их подобранности они не дают возможности сделать вывод о «недостаточной художественности».

Конечно, В. Сем. не может не ощущать личной неприятности от того, что так все обернулось — слишком известна его роль в этом деле. Он даже сказал, что он что-то упустил из виду, чего-то не предпринял, а «они не упустили».

Разговор (м.б., еще ранее, до поездки) шел и в таком смысле, что, мол, зачем же на такую высочайшую ступень Солженицына, где у нас Шолохов, Твардовский и т.д. И В.С. будто бы возражал, что невозможным это кажется людям, которые и в прове-

дении линии партии идут лишь до какой-то ступени. Но этот (или тот вагонный) разговор был прерван: «займемся делами».

В момент нашей беседы в дверь высунулся, как почти всегда, когда я там бываю, Сатюков<sup>5</sup>. При нем В.С. повторил то, что рассказал мне, но как бы в первый раз: «пусть и А[лександр] Триф[онович] послушает». Статью назвал плохой, способной только вызвать раздражение в среде творч[еской] интеллигенции. Был я у В.С. сразу после голосования, а около часу или двух в редакцию позвонила Зоя Борисовна: никто из писателей не прошел. Потопленный Солженицын увлек за собой в пучину всех остальных. Началось ликование. Ясно было, что это следствие именно нехороших приемов воздействия на К[омите]т, что будь с Солженицыным все благородно, поместились бы один-другой и из этих, канувших нежданно для себя образом. Переликовали! Поехал в К[омите]т, а там уже совещание президиума и подготовка бюллетеней для частичного переголосования (Гончар, Песков, Дейнека)<sup>6</sup>. Выступил (не очень удачно) против нарушения положения, предложил было перенести эти кандидатуры на обсуждение в будущем году, но поддержал меня только один член, хотя слышались и др[угие] голоса «правильно», но больше этих голосов было в пользу переголосования, а были и выступления (Грибачев, Вучетич)<sup>7</sup>, вообще критикующие «лицемерие» некоторых членов, т.к. количество тайных «за» было куда меньше голосов «за» при открытом голосовании. Прокофьев не пропустил моей булавки насчет «одного» голоса, хотя и я, пожалуй, зря это. Словом, вышел было даже совсем, не желая участвовать в этой унижительной комедии, но все же проголосовал, как все, демонстративно опустив чистенький. Я не знал, что президиум действовал по прямому распоряжению Л.Ф. Бедняга Тихонов: «Что я могу поделать?» (на мои слова перед открытием заседания — зачем ты это делаешь?). Приехал чуть живой.

Сегодня выезжаю сам и забираю по пути Машу. Домой, в огромность квартиры — в ее шум, пыль и проч.

#### 16.IV. Москва.

Позади месяц научной барвихинской жизни, если не считать, конечно, второй его половины, подчиненной задачам борьбы и муки в Комитете. Остались там по-разному очень близкие мне в разные годы Маршак и Исаковский.

Один из них очевиднейшим образом стар, одевается с помощью няньки, жалкими движениями каких-то неумелых рук («руки-крюки»), точно он в жизни ничего ими не держал, кроме пера — так оно и есть — управляется с протезами зубов, очками и слуховым аппаратом (сломал-таки), снедаем старческим тщеславием, не дающим ему ни минуты покоя, — все же остро и живо интересуется тем, что происходит «в миру», правда, м.б., отчасти по связи со своей статейкой о Солженицыне<sup>1</sup>, но все же.

Другой не так уж и стар, но совершенно раскис, растворился в болезнях и старческой нежности к этой бабе, играющей в супружескую нежность и развивающей в нем в силу своих медицинских (сомнительных крайне) познаний эту губительную склонность. Он полон угрюмого отвращения ко всему «мирскому», не терпит даже слабых напоминаний о работе, о каких бы то ни было возможностях продолжить жизнь в лит[ерату]ре, начисто чужд всему, что так поглощало меня всего все это время, — ни одного вопроса, ни тени интереса. Даже о Бурштыне<sup>2</sup>: «А я думал, ты знал» (т.е., ни слова, — он думал, что я знал о смерти Б[урштына], потому и молчал, хотя с этим человеком куда более ближайшим образом связана его литературная молодость, смоленские воспоминания). Глубоко честный, он страдает от ничегонеделания, понимает, что так нельзя, и поэтому с готовностью отдается малейшему недомоганию — это освобождает, это уже как бы тоже дело, — болеет — как дело делает.

И странная вещь — оба — так-сяк, один, держась за жену, другой за кого придется (целый м[еся]ц за «переводчика» Кулешова) устремляются в кино и высиживают до конца любой фильм, — один не видит ни черта, а другой и не слыша (затем и «переводчик»). Боже, милостив буди нам, грешным, страшнее этого ничего нет в старости.

Ив[ану] Сергеевичу тоже 70 лет, он тоже слеп, читает с лупой, любит вздремнуть, трубочку пососать, рюмочку пропустить, у него мало энергии, убыль сил, но он нынче смотался в Карачарово, чтобы не пропустить там раннюю весну, хотя давно уже не охотится. — Третьего дня был в редакции — говорит: написал воспоминания о Буни-

не, Куприне, еще о ком-то<sup>3</sup>. В ближайшие дни нужно подработать предисловие к его новому одномунику — по просьбе Лен[инградского] отд[еления] «Сов[етского] писателя»<sup>4</sup>.

Завтра прием в райсовете. Нет, кажется, такой тяготы, таких издержек, каких не принял бы на себя взамен этой муки мученической, но что делать. И как подумаешь, что впереди еще чистых три года этой мучительной, непродуктивной, фальшивой до отчаяния «деятельности». И — почта! Она как постоянная вина, как неумолчный недуг, от которого только редкие просветы облегчения, а лечение все то же безнадежное, формальное, как порошки и таблетки. Как ни уговаривай себя, что это плата за славу, за имя, за любовь к тебе, за сознание своей необходимости людям, что это — крест, который нести до конца...

Вчера пригласил на конец дня в редакцию Солженицына, а там еще оказался и М. Лифшиц, давно желавший познакомиться — единственно, м.б., с кем он захотел познакомиться из литераторов за все время, сколько я его знаю. Хорошо посидели за чаем. — В конце м[еся]ца еду в Рязань читать роман. Дал бы бог!

#### 29.IV.64. М[осква].

Перерыв в записях — не следствие, так сказать, последствий двух юбилеев — Н[икиты] С[ергеевича] и Ал. Грига<sup>1</sup>, хотя нельзя отрицать, что частично и последствия тут сделали свое дело.

Но в целом за эти две недели много-много передумано, доведено в мыслях до края самого, и только после этого как всегда наступила ясность и спокойствие.

Различные итоги этих размышлений:

1. Храбрость — это не когда ничего не боишься и уверен в результатах, которые за все вознаградят, а когда знаешь, что дело наверняка безнадежно в смысле конкретных результатов (ближайших), и все-таки идешь, не отступаясь от дела по его безнадежности. Это я где-то вычитал на днях (в книгах всегда попадаете то, что нужно — в самых далеких от того, что переживаешь про себя в данную минуту), и в этом смысле я был храбр, т.е. вел себя достойным образом на К[омите]те.

2. Полное прояснение. С кем здороваться шапочным образом, а с кем и вовсе не здороваться и не знаться в дальнейшем. Отпадает пустая надобность поддержания внешних отношений, за которыми — ничего, кроме полной, предопределенной давным-давно отчужденности по существу. Я долго был беспечным в этом отношении — хватит. Грибачеву, Прокофьеву и иже с ними более нужны эти мнимые отношения приятельства или пустопорожней застольной близости со мной, чем мне с ними. Мне их все равно на свой салтык не повернуть, не сломить их внутреннего нежелания видеть меня на этом свете, мириться с моим существованием, — они хорошо показали это в решающий час: если бы могли, так же утопили бы меня (и в первую очередь), как и Солженицына, да, собственно, утопление С[олженицына] означает не что иное как поход против всего, что мне дорого и без чего я не согласен жить и быть в литературе.

Точно так же ясность и в отношениях с идеологическим руководством: никаких минутных оболщений: там нас не любят, там нас только терпят до поры.

3. Нет, уходить из ж[урна]ла, а, след[ователь]но, из лит[ерату]ры, нельзя. Я — не Симонов, которому все равно, где печататься: у Кож[евнико]ва ли, у Коч[ето]ва<sup>2</sup> ли. Я не могу думать, что мне наплевать на все, а я вот, мол, буду писать и все. Нужно терпеть и тянуть, тянуть свой воз, пока есть хоть малая возможность — другое дело, если силком выпрягут. Тогда я не виноват и волен делать то, что останется для меня возможным в том положении. А покамест — нет. Сидеть в обороне, не допуская ничего стыдного в ж[урна]ле, но и не пузирясь по частностям, как бы они ни были мучительны. Не забывать, что мой добровольный уход — для наших «благожелателей» — благо. И он был бы как использован. Волею судеб я стал «борцом», хотя всю жизнь считал и считаю т[ак] наз[ываемую] борьбу в лит[ерату]ре самым противным делу лит[ерату]ры, но я «борюсь» не в этом, а в том смысле, когда — не бороться — значит отказаться от всего святого. Не уступлю, а уступил бы — конец, конец не мне, а тому, ради чего стоит и мне и другим жить и писать.

Покупаю дачу Дыховичного — в итоге многолетних изучений — наряду с другими объектами — пахринского дачного хоз[яйст]ва (осмотрено около 10 дач). Опять

никаких обольщений — «осознанная необходимость». Вчера подгробал листву во Внукове, чинил забор, но не испытывал уже чувства «возвращения» ко всему этому. Наверно, если бы все было благополучно (Солженицын и т.п.), я так-таки и не решил-ся на эту негоцию: все отдавал бы дань сентиментальным факторам.

С поездкой в Рязань получилось не очень ловко (в результате «последствий»), но вполне поправимо — поеду числа второго.<sup>3</sup> —

Выставка В.С. Лебедева<sup>4</sup>. Вчера были с Ал. Григом., сплеховали, не заметив книги посетителей. Вчерашний вечерний звонок В[ладимира] С[еменовича]. Да, в лит[ературной] части выставки он («против течения») остался верен, подчеркнуто и смело, тому, с чем он уже связался ранее. —

Из письма по поводу неприсуждения С[олженицын]у премии:  
«это было бы понятно, если бы речь шла о Сталинской премии».

Мелкие огорчения: книжечка «Мол[одой] гв[ардии]» с идиотическим предисловием Витьки Гончарова и фантастической «библиографией».<sup>5</sup>

Соколов-Микитов, бедняга, «нацарапал», как он любит говорить, и сообщил с торжеством затаянным, предоставив в редакцию листика полтора воспоминаний о Бунино, Куприне и др., а товарцу-то маловато.<sup>6</sup> Поотстал старина. Придется как-то вырывать.

Предпраздничные хлопоты — поздравления, которым грош цена, а не поздрав-ных добрых людей — обида!

## Примечания

### 19. I.

1. Речь идет о создании нового государственного гимна, над которым А.Т. работал вместе с композитором Г.В. Свиридовым. (см. записи 10–11 февраля 1961 г. и примеч. к ним). С ростом сталинистских настроений в верхах там зрела мысль о возвращении к старому гимну. В феврале 1964 г. Идеологический отдел ЦК КПСС негласно закрывает конкурс по созданию гимна, посчитав целесообразным поручить С. Михалкову представить новый текст на музыку «действующего гимна» (Записка Л. Ильичева Н. Хрущеву о создании гимна Советского Союза. // Февраль 1964. // История советской политической цензуры. М., 1997. С. 144).

2. Здесь и далее Н.С. Хрущев.

3. И.А. Дементьева, работавшая в газете «Известия», познакомила А.Т. со своими выписками из материалов следствия по громкому тогда уголовному делу убийцы-грабителя и его сообщницы. О деле Ионесяна см.: Ардаматский В. Наказание неотвратимо. // «Известия», 1964, 15 января; Галич Б., Резвутин А. Сначала туняец, затем убийца. // Там же, 4 февраля.

4. Борис Петрович Розанов — директор дома отдыха в Карачарове, родственник И.С. Соколова-Микитова.

### 20. I.

1. Вопрос, обращенный М. Горьким к интеллигенции в памфлете под таким же названием, опубликованном в «Правде» и «Известиях» 22 марта 1932 г. В библиотеке А.Т. сохранилась книга: Горький М. Публицистические статьи. Л., 1933, где статья «С кем вы, мастера культуры? (Ответ американским корреспондентам)» выделена А.Т. в оглавлении вместе с несколькими другими.

2. Альманах «Мосты», издававшийся в Мюнхене Центральным объединением политической эмиграции из СССР, уже попадал в поле зрения А.Т. См. запись 9.VII.1962 г. Поэма «Теркин на том свете» опубликована в выпуске 1963 г. с некоторыми расхождениями с авторским текстом 1954 г.



30. I.

1. Ив. Сергеич (Ив. Серг., И.С.) — здесь и далее И.С. Соколов-Микитов.
2. Речь идет о готовившихся к публикации повести Ю. Домбровского «Хранитель древностей» («Новый мир», 1964, №№ 7–8) и пьесе В. Розова «В день свадьбы» (там же, № 3).
3. Встреча редакции и авторов «Нового мира» с учителями Москвы в печати не упоминалась (вопреки обыкновению «Учительской газеты» и «Литературной газеты» давать подобную информацию).
4. Кроме статьи Маршака в «Правде», А.Т. имеет в виду статью В. Паллона «Здравствуйте, кавторанг» («Известия», 1964, 15 января), где повести Солженицына также дается высокая оценка. А.Т. рассматривал эти публикации как поддержку Солженицына, выдвинутого «Новым миром» на Ленинскую премию.

19. II.

1. Государственный комитет по Ленинским премиям.
2. Марию Илларионовну госпитализировали с диагнозом «острый тромбоз вен».
3. Пленум ЦК КПСС был посвящен интенсификации сельскохозяйственного производства. У выступившего с докладом министра сельского хозяйства СССР И.П. Воловченко было 17 содокладчиков (Стенографический отчет пленума ЦК КПСС 10–17 февраля 1964 г. М., 1964).
4. Имеется в виду выступление министра производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Казахской ССР Б.Н. Дворецкого.
5. Б.С. Смирнов, директор совхоза «Горный» Крымской обл., на примере своего хозяйства доказывал выгоды гидропоники, признавая, что, для пользы дела, не всегда следовал рекомендациям из центра. Его живой рассказ прерывался смехом и аплодисментами.
6. А.И. Аскоченский, академик ВАСХНИЛ, призывал перейти к единому плану преодоления засухи.
7. Директор Всесоюзного исследовательского института удобрений и агропочвоведения Г.А. Черемисинов пытался протестовать против засилья лысенковщины, убеждая, что нельзя допускать «игнорирования одних направлений и пропаганду других направлений в агрохимии». Он подверг сомнению информацию о блестящем состоянии дел в опытном хозяйстве Лысенко в «Горках», приведя о нем свои данные. Хрущев в своей речи поддержал Лысенко, ссылаясь на то, что своими глазами видел успехи его хозяйства. А.Т. скептически относился к опытам Лысенко, что видно и из записей о пленуме.
8. Доклад М.А. Сулова был посвящен разногласиям между КПК и КПСС. Реплики Хрущева в печать не попали.
9. Т.е. после XX и XXII съездов КПСС. Мотив борьбы с «культом личности» присутствовал и в речи Хрущева.
10. Недовольство А.М. Марьямовым у А.Т. накапливалось постепенно. А.Т. был неприятно удивлен его книгой о Вс. Вишневском «Революцией мобилизованный и призванный» (М., 1963), написанной с иных идейно-эстетических позиций, чем те, что отстаивались «Новым миром», членом редколлегии которого являлся автор. В январе 1964 г. Марьямов дал отрицательный отзыв на повесть Д. Витковского «Полжизни» — на «лагерную» тему. А.Т. она понравилась, с автором был заключен договор, но напечатать ее «Новому миру» не удалось (опубликована лишь в 1991 г. — «Знамя», № 6). Однако расхождения с Марьямовым А.Т. посчитал все же менее существенными, чем то, что их объединяло. Александр Моисеевич оставался зав. отделом науки и публицистики «Нового мира» до разгрома редакции в 1970 г. и ушел из нее вслед за А.Т.

22. II.

1. Речь идет о запланированном жилом районе Москвы.
2. Строка из стихотворения Н.А. Некрасова «Забятая деревня».
3. В дневнике В.Я. Лакшина 22. II. 64. зафиксировано, что в редакцию А.Т. приехал «хмурый, будто больной» после приема избирателей. «Возмущается антигуманностью закона о пропуске... Нет, если я еще пойду к Хрущеву, вот о чем я буду говорить с ним, а не о литературе» (Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущева. Дневник и попутное. (1953–1964). М., 1991. С. 202).

23. II.

1. О Д.Н. Орлове см. запись 1. III. 61. и примеч. к ней.

2. Возможно, одним из конкретных поводов для такого обобщения стало обсуждение 11 февраля в Московском отделении СП журнальной критики, которое свелось к проработке статьи В.Я. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», 1964, № 1), а также нападкам на саму повесть Солженицына. Редакционная статья «Литературной газеты» (20 февраля) поддержала это «обсуждение».

25. II.

1. Шутку насчет «винных паров», на которых будто бы запускаются ракеты, цензура восприняла как намек на важный источник бюджета — водку.

2. Политический анекдот становится к этому времени основным жанром фольклора. За анекдот преследовали, а подчас и сажали, что было симптомом углубляющегося кризиса системы.

3. Роман Г. Бёлля «Глазами клоуна» появится в № 3 «Иностранной литературы» за 1964 г. (Подписан к печати 5.III.64). Судя по записи, А.Т. читал его в рукописи без сокращений. «Новый мир» одним из первых откликнулся на него — Адмони В. «С позиций человечности» (1964, № 12). Г. Бёлля начинает печататься в «Новом мире»: «Ирландский дневник» (1964, № 5), «Самовольная отлучка» (1965, № 1), посещает редакцию. А.Т. «ему очень понравился: «Сразу видно, что незаурядная личность» — записала в дневнике 1965 г. Р. Орлова отзыв писателя. (Орлова Р. Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956–1980. М., 1990. С. 157).

4. Цель визита к Н.В. Лесючевскому — директору издательства «Советский писатель» — переговоры о новом, дополненном издании сборника статей М. Щеглова, рано умершего новомирского критика. А.Т. был председателем комиссии по литературному наследию М. Щеглова. «Новый мир» опубликовал «Студенческие тетради» и литературные заметки Щеглова (1963, № 6), развенчивающие идейные установки и эстетику «соцреализма».

26. II.

1 См. Механов Б. Атака в одиночку. // «Дружба народов», 1964, № 1. Читательское письмо, подписанное врачом из Пензы Б. Механовым, было написано с помощью сотрудника журнала А. Богданова, получившего за эту работу гонорар. История письма изложена А.Т. в его обращении в секретариат ССП 2 марта (см. далее).

2. В.А. Смирнов — главный редактор журнала «Дружба народов», секретарь ССП.

3. «А потом на вид поставят / По условиям игры» — строчки из «Теркина на том свете». Руководство ССП ограничилось в отношении В. Смирнова даже не «постановкой на вид», а более мягкой формулировкой: «обратить внимание».

4. А.Т. имеет в виду статьи М. Щеглова «Русский лес» Леонида Леонова («Новый мир», 1954, № 5) и «Реализм современной драмы» («Литературная Москва», 1956. Вып. 2).

5. Б.И. Соловьев и Е.Ф. Книпович — критики, сотрудники издательства «Советский писатель».

6. Б.В. Яковлев, критик, сотрудник редакции «Дружбы народов», протестовавший против публикации фальшивки, присутствовал на заседании секретариата ССП, где обсуждалось письмо Б. Механова.

27. II.

1. Стенограмма заседания секретариата ССП по обсуждению фальсифицированного «читательского письма» в «Дружбе народов» о поэме «Теркин на том свете» (см. запись 26. II. и далее).

2. В Ленинграде планировалась встреча редакции и авторов «Нового мира» с читателями. В Киев А.Т. собирался на торжества по случаю 150-летия Т.Г. Шевченко, к творчеству которого был причастен как переводчик. А.Т. был награжден нагрудной медалью, выпущенной к 125-летию поэта в 1939 г. В № 3 «Нового мира» за 1964 г. напечатан «Заповіт» Шевченко в переводе А.Т.

3. Л.Ф. — здесь и далее секретарь ЦК КПСС Леонид Федорович Ильичев, заведующий Идеологическим отделом ЦК.

4. Речь идет о неоднократно упоминавшейся в записях 1963 г. статье В.А. Каверина «Белые пятна»; Поликарпий (также — Д.А., Дм. Ал.) — Дмитрий Алексеевич Поликарпов, зав. отделом культуры ЦК КПСС (в то время входившего в Идеологический отдел в качестве «подотдела»); Игорь Сергеевич Черноуцан — зам. зав. отдела культуры ЦК КПСС.

5. В.И. Снастин — первый зам. зав. Идеологического отдела ЦК.

1. III.

1. К.В. Воронков — секретарь ССП СССР.

2. Речь идет о В.А. Смирнове.

3. Публикацию сфабрикованного письма В. Смирнов оправдывал его направленностью против А.Т., линию журнала которого он оценивал как «ошибочную и вредную для советской литературы» (см. стенограмму обсуждения в архиве СП СССР).

4. Н.М. Грибачев считал, что письмо Б. Механова написано «в правильной и хорошей манере». «Форму действия», избранную редакцией «Дружбы народов», он признает допустимой, поскольку А.Т. за рубежом называют «вождем либералов».

5. Солидаризируясь со Смирновым и Грибачевым в оценке редактора «Нового мира»: «Твардовский для заграницы и для всех, кто поднял вокруг этой истории шумиху, — лидер либерального направления», — главный редактор «Литературной газеты» А.Б. Чаковский дает понять, что А.Т. пора снять с его поста.

6. Имеются в виду критические выступления против статьи философа, искусствоведа М.А. Лифшица «В мире эстетики» («Новый мир», 1964, № 2), раскрывавшей убожество и схематизм официальной эстетики. Е.А.Кацман — художник.

2. III.

1. Стариков Д. Теркин против Теркина. // «Октябрь», 1963, № 10. См. о ней запись 4. XI. 63. и примеч. к ней.

2. Сергеев А. О различных мнениях и объективности критики. // «Известия», 1963, 5 октября; Редакционный дневник «Принципиальность критики» // «Литературная газета», 1963, 19 ноября.

3. В печати фальшивка так и не была дезавуирована. Руководители ССП не могли допустить гласного разоблачения приема, широко использовавшегося официальной пропагандой, — организации «мнения простых советских людей».

3. III.

1. О встречах редакции и авторов «Нового мира» с читателями в Ленинграде см.: Лакшин В.Я. Указ. соч. Сс. 204–208.

2. Трифон Гордеевич Твардовский.

7. III.

1. Выписка из воспоминаний В. Набокова (Нью-Йорк, 1954) будет использована А.Т. в его статье о Бунине, где она сопровождается наблюдением А.Т., что Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выказывая незаурядные «способности к имитации». («Новый мир», 1965, № 7; Бунин И.А. Соч. в 9-ти томах. Т. I. М., 1965).

17. III.

1. Речь идет о замысле автобиографической книги «Пан Твардовский», неоднократно упоминавшемся в записях предшествующих лет.

2. А.Т. говорил В.Я. Лакшину, что хочет написать об оценке Солженицына «разными по своим понятиям людьми совершенно открыто»: «Поставлю все точки над i, чего вы еще не могли сделать» (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 209. Запись 16. III. 64). Одной из целей А.Т. было поддержать кандидатуру Солженицына, выдвинутого «Новым миром» на Ленинскую премию. С середины марта до начала апреля наброски этой статьи составят значительную часть записей А.Т.

19. III.

1. Очерком И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» («Современник», 1847. Кн. I) открывался цикл рассказов и очерков «Записки охотника», получивших большой общественный отклик и оказавших существенное влияние на подготовку крестьянской реформы.

2. Ч.Т. Айтматов и Р.Г. Гамзатов — авторы «Нового мира», лауреаты Ленинской премии.

21. III.

1. Имеется в виду статья В.Я. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», 1964, № 1).

2. Байрон Дж.Г. Дневники. Письма. М., 1963. Выписка из записи 16. XI. 1813. Роберт Бернс (1759–1796) и Ричард Бринсли Шеридан (1751–1816) — английские

поэты. В библиотеке А.Т. сохранился экземпляр книги с дарственной надписью А.Т. «от переводчика этой книги — верной и благодарной читательницы его поэзии и его журнала» — З. Александровой (апрель 1964)», а также приобретенный ранее, читанный в Барвихе — с его пометками. Упоминаемые ниже Томас Кэмпбелл (1777–1844) и Сэмюэл Роджерс (1763–1855) — английские поэты, Вальтер Скотт (1771–1832) — английский писатель, Томас Мур (1779–1852) — ирландский поэт.

3. Аркадий Александрович Кулешов — белорусский поэт, автор «Нового мира», с 1966 г. — член его редколлегии. См. переписку Кулешова с А.Т. («Неман», 1980, № 9). Во время пребывания в Барвихе в марте 1964 г. они с А.Т., по свидетельству Кулешова, делились впечатлениями детства и А.Т. побуждал его писать воспоминания (Письмо А.А. Кулешова М.И. Твардовской. 16 августа 1975 г. Архив А.Т.).

### 22. III.

1. Вл. Сем-ч (также В.С.) здесь и далее — В.С. Лебедев.

2. А.Т. уже пытался вмешаться в дело Бродского, о чем свидетельствуют и «советы» В.С. Лебедева. Как и Н.С. Хрушев, его помощник был резко отрицательно настроен к «антисоветчику» Бродскому. После поездки в Ленинград, где на встрече новомирцев с читателями А.Т. передали стихи Бродского, его внимание к делу поэта усиливается. Письмо Адриана Владимировича Македонова, старого друга А.Т., критика и литературоведа, доктора геолого-минералогических наук, написанное под впечатлением суда над Бродским, состоявшегося 13 марта, призывало ходатайствовать за поэта. Свою запись процесса над Бродским прислала Ф.А. Вигдорова (опубликована в альманахе «Воздушные пути». Т. 4. Нью-Йорк, 1965). В то же время такие новомирские авторы, как М.И. Алигер, В.Ф. Панова, О.Ф. Берггольц, отзывались о Бродском отрицательно. Вопреки «настойчивым советам» сверху, А.Т. продолжал вникать в дело Бродского. «Я еще буду иметь возможность разузнать о подоплеке этого дела, но сейчас мне неясно, в чем она», — писал А.Т. Македонову 30. III. (Твардовский А.Т. Земной удел. Впервые — письма к другу поэта, критику А.В. Македонову. Починок, 1998. Сс. 15–16). В литературной среде стал известен конфликт А.Т. с А.А. Прокофьевым, одним из главных обвинителей Бродского (Дело Бродского по дневнику Л. Чуковской. // «Знамя», 1999, № 7. Сс. 143–144).

3. Д.Д. Осин, А.А. Плешков, С.А. Фиксин — смоленские поэты. В первой половине 30-х годов А.Т. не имел постоянной работы не только вследствие безработицы, но и как «сын кулака» и как автор политически вредных стихов, за которые в 1930 г. был временно исключен из смоленской писательской организации.

### 23. III.

1. Фильм, снятый по одноименному роману В. Кочетова режиссером В. Чеботаревым. Роман был подвергнут критике в «Новом мире» (Марьямов А.М. Снаряжение в походе. // 1962, № 1), но тут же взят под защиту (Недопустимые приемы // «Литературная газета», 1962, 19 января).

2. Имеется в виду самоубийство секретаря Рязанского обкома, члена ЦК КПСС А.Н. Ларионова, когда обнаружилось, что принятые областью заводом нереальные обязательства по сдаче мяса привели к крупномасштабному очковирательству.

3. Главную (положительную) роль секретаря обкома Денисова играл в фильме В.Я. Самойлов. Ф.Р. Козлов — член Президиума и секретарь ЦК КПСС.

### 24. III.

1. А.А. Кулешов.

2. Твардовский А.Т. «Статьи и заметки о литературе». М., 1963. Изд. 2-е, дополненное.

### 25. III.

1. Строфы из главы «Переправа» были все же автором сохранены.

2. Строка «В эту памятную зиму...» (из главы «Теркин ранен»), также осталась в тексте.

3. Глава «Два солдата».

4. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О фактах грубых нарушений, извращений в практике планирования колхозного и совхозного производства» осуждало планирование «сверху», навязывание приказным порядком планов по посевам, урожайности, поголовью скота и т.д. Колхозам и совхозам отныне предписывалось самим определять размер посевов, выбор культур, агротехники и т.д.,

руководствуясь постановлением ЦК КПСС 9. III. 55. «Об изменении практики планирования», которое, оказывается, не выполнялось. О постоянном вмешательстве власти в «порядок жизни деревенской», превратившем ее в «муку-мученскую», — стихи А. Т. «А ты самих послушай хлеборобов» (1965).

5. Из отмеченных А. Т. при чтении Байрона мест приведем одно: «Какие противоречия уживаются в нем! нежность — грубость — деликатность — неотесанность — чувствительность, чувственность — парение и ползание в грязи — низменное и божественное — все смешано в одной горсти вдохновенного праха».

6. Из № 4 «Нового мира» была изъята подборка писем читателей «Еще раз о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (см.: Лакшин В. Я. Указ. соч. Сс. 210–214). Задержанная цензурой повесть Ю. Бондарева «Двое» напечатана в № 4 с некоторыми купюрами.

7. Речь идет о присуждении Ленинской премии А. И. Солженицыну, которое А. Т. считал принципиально важным для литературы в целом.

### 26. III.

1. Имеется в виду очерк А. Терентьева «На Воткинской ГЭС. Записки рабочего монтажника». («Новый мир», 1964, № 3).

2. Несмотря на предостережения В. С. Лебедева, А. Т. вновь обращается к нему по делу Бродского, разговоры с М. Исаковским и А. Кулешовым, возможно, связаны с попыткой опереться в этих хлопотах на мнения известных поэтов.

### 27. III.

1. Книжная лавка писателей с ее букинистическим отделом.

### 31. III.

1. Встреча с И. Г. Эренбургом была связана с подготовкой к публикации в «Новом мире» очередной — шестой книги его мемуаров «Люди, годы, жизнь». Предыдущие части воспоминаний встречали резкое противодействие Главлита и ЦК КПСС, их появление в журнале стоило редакции длительной изматывающей борьбы. Разгромная критика Н. С. Хрущевым мемуаров Эренбурга на встречах с интеллигенцией особенно осложнила их судьбу. У А. Т. были и свои претензии к автору, крайним выражением которых (правда, единственным в этом роде) стал отказ принять главу о Фадееве. «Фадеева Вы, конечно, не желая того, рисуете в таком невыгодном и неправильном, на мой взгляд, свете, что, напечатав ее, я поступил бы дорогой для меня памятью друга и писателя» (Письмо И. Г. Эренбургу 19 мая 1964. // Твардовский А. Т. Соч. Т. 6. С. 220).

2. Паллон В. Здравствуйте, кавторанг. // «Известия», 1964, 15 января. Корреспондент рассказывал о встрече с капитаном второго ранга в отставке Бурковским (прообраз Буйновского в повести Солженицына) на крейсере «Аврора», музеем которого тот заведовал.

3. Речь идет о рассказе Л. Н. Толстого «Севастополь в мае», который заканчивается словами: «Герой же моей повести, которого я старался воспроизвести во всей красоте его и который был, есть и будет прекрасен: правда».

### 2. IV.

1. Демент (также Ал. Григ., А. Г.) — Александр Григорьевич Дементьев, зам. главного редактора «Нового мира».

2. Речь идет о смущавшем некоторых критиков употреблении героями «Одного дня...» нецензурных выражений в их измененных (эвфемистических) звучаниях.

3. Предполагаемая А. Т. цитата из выступления Л. Ф. Ильичева — как и из В. И. Ленина, являлась не только необходимым «декором» публицистики той поры, но служила определенной защитой для тех или иных авторских идей.

### 3. IV.

1. З. Б. Богуславская — в то время сотрудник Комитета по Ленинским премиям.

2. Тихомиров В. Красный адмирал. // «Известия», 1964, 1 апреля. В эмигрантской печати были опубликованы статьи Ф. Ф. Раскольникова «Как меня сделали «врагом народа» («Последние новости», Париж, 1939, 26 июня) и «Открытое письмо Сталину» («Новая Россия», 1939, 1 окт.).

3. Анатолий Кузьмич Тарасенков — критик, библиофил, член редколлегии «Нового мира» в период первого прихода А. Т. в журнал. Опубликованные ныне записи

Тарасенкова (1934–1939 гг.) о Пастернаке («Вопросы литературы», 1990, № 2) А.Т. читал в рукописи, предоставленной ему вдовой Тарасенкова М.И. Белкиной. Высокие оценки Пастернаком поэзии А.Т., зафиксированные в записях, подтверждаются стенограммой обсуждения «Страны Муравии» с участием Пастернака («Вопросы литературы», 1984, № 8. С. 189–190).

4. В период «борьбы с космополитизмом» А.К. Тарасенков (тогда зам. главного редактора журнала «Знамя») опубликовал «Заметки критика» (1949, № 10), где отрицательно оценивал поэзию Пастернака, которую на самом деле высоко ставил.

#### 10.IV.

1. Борис Сергеевича Бурштына (псевдоним Б. Иренин) А.Т. высоко ценил как знатока литературной жизни 1920–1930-х гг. и переводчика. В «Новом мире» (1950, № 10) опубликован его перевод с чувашского стихов Я. Ухсяя.

2. Жена Б.С. Бурштына.

3. Подобное «невмешательство» было принципом А.Т. Просить об особых условиях для родных, друзей и знакомых значило для него признать свое право на привилегии. Так, он не просил для Марии Илларионовны «хорошего» хирурга, рекомендованного семье, а согласился с уже назначенным, сделавшим неудачную операцию. Позднее он выразил свое недовольство брату Ивану Трифоновичу, прибегнувшему к ссылкам на А.Т. при устройстве в больницу и т.п.

4. Имеются в виду выступления на заседаниях Комитета по Ленинским премиям 7–8 апреля: в поддержку кандидатуры А.И. Солженицына и против оставления в списке кандидатов на премию Г.И. Серебряковой (трилогия о К. Марксе) и Е.А. Исаева (поэма «Суд памяти»).

5. Н.С. Тихонов — поэт, председатель Комитета по Ленинским премиям по литературе. И.И. Анисимов — директор ИМЛИ, член Комитета.

6. С.П. Павлов — первый секретарь ЦК ВЛКСМ, участник травли Б. Пастернака, последовательный противник «Нового мира» (см. вклейку к записи от 22.III.1963).

7. Имеются в виду главные редакторы «Правды» (П.А. Сатюков) и «Известий» (А.И. Аджубей). Н.С. Хрущев вместе с В.С. Лебедевым находились в Венгрии по случаю 19-й годовщины освобождения ее от немецких захватчиков.

8. Критик Владимир Борисович Александров (Келлер) — друг А.Т. Рукопись И.Ф. Колодникова (у А.Т. ошибочно — Кирпичникова) вошла в очерк В.Б. Александрова «Фронтные рукописи» («Новый мир», 1963, № 2). А.Т. был председателем комиссии по литературному наследию В.Б. Александрова.

#### 11.IV.

1. А.В. Караганов — кинокритик, секретарь Союза кинематографистов СССР, возглавлял секцию театра и кино Комитета по Ленинским премиям. Секция (20 человек из 21 при одном воздержавшемся) высказалась за оставление в списке для тайного голосования А.И. Солженицына. А.Т. отмечал аргументированные выступления в его поддержку актеров А. Баталова и М. Ульянова.

2. Н.М. Грибачев, А.А. Прокофьев — поэты, члены Комитета по Ленинским премиям по литературе.

#### 12.IV.

1. Под заглавием «Высокая требовательность» «Правда» 11 апреля 1964 г. опубликовала обзор писем читателей о повести А. Солженицына «Один день...». Приуроченная к решающему голосованию в Комитете по Ленинским премиям, статья от имени читателей давала недвусмысленные указания забаллотировать кандидатуру Солженицына. Здесь говорилось о противоречивой позиции автора, с его «уравнительным гуманизмом», ненужной жалостливостью, праведничеством — всем тем, что мешает «вдохновлять читателя на борьбу за социалистическую нравственность».

2. С.Х. — здесь и далее Софья Ханаановна Минц — секретарь А.Т. в редакции «Н.М.».

3. На заседании Комитета А.Т. огласил полученный в Военной коллегии Верховного суда ответ на свой запрос о причинах ареста А. Солженицына, опровергавший клевету секретаря ЦК ВЛКСМ С.П. Павлова.

#### 13.IV.

1. Любимые строки А.Т. из Пушкина («Элегия»): «Сохраню ль к судьбе презренье, / Понесу ль навстречу ей / Непреклонность и терпенье / Гордой юности моей...»

14.IV.

1. Р. Гамзатов, Ч. Айтматов, Ю. Марцинкявичюс. Четвертым лауреатом был А.Т.
2. Н.М. Грибачев вместе с несколькими соавторами получил в 1960 г. Ленинскую премию за сборник панегирических репортажей о визите Н.С. Хрущева в США «Лицом к лицу с Америкой». А.А. Прокофьев был лауреатом Государственной премии.
3. Т.Н. Хренников — первый секретарь Союза советских композиторов.
4. Мотта Педро Лима — бразильский публицист, сотрудник журнала «Проблемы мира и социализма», где выступал с предупреждениями об опасности возрождения «культы личности». По-видимому, записанная беседа с ним не увидела света в советской печати.

15.IV.

1. Т.е. в Комитете по Ленинским премиям.
2. З.Б. Богуславская. Игорь Васильев — ученый секретарь Комитета. Речь идет о 70-летию Н.С. Хрущева
3. Имеется в виду И.В. Сталин.
4. См. запись 12 апреля и примеч. к ней. Речь идет о редакционной статье 11 апреля.
5. П.А. Сатюков — главный редактор «Правды».
6. Все трое получили премию. А.А. Дейнека — художник, В.М. Песков за книгу очерков с авторскими фотографиями «Шаги по росе» и О. Гончар за роман «Тронка».
7. Е.В. Вучетич — скульптор, народный художник СССР.

16.IV.

1. Маршак С.Я. Правдивая повесть: // «Правда», 1964, 30 января.
2. О Бурштыне см. запись 10.IV и примеч. к ней.
3. См. также запись 29.IV. Воспоминания И.С. Соколова-Микитова не появились в «Новом мире». Очерк о Бунине напечатан в «Звезде», 1964, № 11. Воспоминания о Куприне не были опубликованы.
4. Имеется в виду предисловие А.Т. к кн.: Соколов-Микитов И.С. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1959, которое А.Т. предполагал предпослать и одноименнику писателя (Л., 1965). См. Твардовский А.Т. О родине большой и малой. // Его же. Соч. Т. 5. М., 1980.

29.IV.

1. Имеется в виду 70-летие Н.С. Хрущева и 60-летие А.Г. Дементьева.
2. В.М. Кожевников — главный редактор журнала «Знамя». В.А. Кочетов — главный редактор журнала «Октябрь».
3. Имеется в виду запланированный визит к Солженицыну для чтения романа «В круге первом».
4. На выставке фотографий В.С. Лебедева демонстрировался портрет А.И. Солженицына.
5. Александр Твардовский (в серии Библиотека избранной лирики. М., 1964). В предисловии В. Гончарова «забыт» «Василий Теркин», а «Теркин на том свете» отнесен к эпическому жанру. В библиографическую справку не вошел ряд важнейших изданий, в том числе и «Теркин на том свете» (М., 1963). Упомянуто лишь первое, неполное издание «Василия Теркина» (1943), ошибочно датированное 1942-м годом. Но назван коллективный сборник «Страдания. Частушки» (Куйбышев, 1945).
6. См. примеч. к записи 16.IV. «Сам вижу, что очерки мои коротковаты, отрывисты — что-то в них нужно изменить, поправить», — писал И.С. Соколов-Микитов А.Т. 10.V, забирая из редакции рукопись своих воспоминаний (Соколов-Микитов И.С. Соч. в 4-х томах. Т. 4. М., 1986. С. 393).

*Публикация В.А. и О.А. Твардовских.  
Подготовка текста Ю.Г. Буртина и О.А. Твардовской.  
Примечания Ю.Г. Буртина и В.А. Твардовской.*

*(Продолжение следует)*

*Алексей Комаров*

## В двух шагах от байкальского рая

### Осколок вчерашнего дня

В ФОРТОЧКУ занесло желтый тополевый лист, а в дверь позвонили. Я открыл. — Это вы картошку заказывали? Еле-еле нашли вас, заплутали в многоэтажках... Так мы привезли картошку, куда разгружать? — молодая женщина выпалила все это молниеносно и, с тревогой поглядывая на меня, незнакомого, замолчала. Тут вышла жена, она узнала ее и успокоилась, все в порядке, без ошибки...

А дело — поясню для ясности — сложилось так. Уже несколько лет как арифметика спасла нас от картофельной каторги. Просто сели — высчитали: можно трагиться на землю, пахоту, семена, поездки на посадку, прополку, окучку, копку (да еще и вывезить надо, — а своей машины нет и не будет никогда), но купить — дешевле. То есть при собственных земельных мытарствах выходило одно сложение вычитания и деления, а умножение получалось, только если купить. Но не бегать с кошелкою на базар каждую неделю, а приобрести оптом, пока цена невысокая. С тех пор берем осенью несколько кулей, ссыпаем в ларь и беззаботно живем зиму. Накануне жена посетила ближайший рыночек, вызнала, откуда и почему картошка, выбрала подходящую и сторговала четыре мешка с доставкой на дом — по семьдесят тысяч куль. Скажу честно, относительно среднерыночной цены — дешево.

«Отчего так дешево?» — давил меня вопрос, заставляя представлять сырость, сухую гниль и проволочника, поедающих мои будущие картофельные запасы. Чтобы не мучиться и на людей напраслину не возводить, я и спросил без обиняков: отчего? — Деньги нужны, — ответили прямее некуда.

Вот такая ситуация у людей (обычная, впрочем, на селе). Жена сидит дома с маленькими, муж трудится на птицефабрике. Зарплату ему выдавали последний раз в мае. Но не деньгами — куриными яйцами. Продавать их пришлось почти даром — дешевле цены, иначе протухли бы: нынче яйца в Иркутске на каждом углу. Деньги те, вырученные неумелой торговлей, давно вышли. Наступил сентябрь, а старшую дочку в школу достойно собрать не смогли — оказалось, не на что. Что скрести по сусекам, если в карманах гуляет ветер пустых обещаний! Взялись за свой картофельный клин: с тридцати соток хватит и семье на зиму, и скотине, и на продажу. Цену — чтобы сбыть скорее — пониже назначили. На эти деньги и рассчитывают дочери обновы справиться, чтобы перед людьми не стыдиться.

Вот стоят они перед нами: отец, замотанный заботами, жена — женщина скорее молодая еще, чем изработавшаяся, дочь — второклассница или чуть старше; одеты аккуратно, чисто, но достаточно скромно. Папа, как бы в стеснении, колесо своей «Нивы» попинывает, мама деньги считает. В глазах девчушки — настороженность. Следит внимательно, как деньги из рук в руки переходят.

Расплатились, распрощались. Уехали.

Мне бы своей удаче радоваться: картошки в подвале на всю зиму — мешки насыпали под самые края, не завязать было! А я их, продавцов, вспоминаю, даже жалею. Вот ведь, мол, как трудно люди живут — картошку вынуждены продавать, чтобы платье ребенку купить. И нет почему-то мыслей о смычке города с деревней; почему-то не думаю, что им должно быть радостно: обменяли плоды своего труда — товар — на денежные знаки. И формулу товарища Маркса: «товар — деньги — товар» — не вспоминаю... А колет меня такая картинка — застывший в глазах осколок дня: сделка состоялась — семья пересчитывает деньги, а я, подлец, будто виноват, что купил эту картошку подешевле...



Через неделю цена мешка картошки упала на десять тысяч. Через полмесяца, к началу октября, — еще на десять... И бесследно прошли-пропали мои угрызения совести. Навалились взамен другие думы: вот, дурень, поспешил — людей насмешил — переплатил! А они тоже хороши: прикинулись бедными крестьянами, но как выгодно картошку сбыли!

Незаметно и независимо от меня слагаемые рассказа поменялись местами. А что в сумме вышло: лучше или хуже кому — мне или им? городу или деревне? Я об этом скоро думать забуду. Зато на грядущих митингах рвущиеся к власти политиканы непременно вспомнят и потянут вожжи — каждый в свою сторону.

Зато удивительно постоянство там, куда человек не в силах дотянуться со своим вмешательством: природа не объявляет, лучше или хуже сегодня, чем вчера. В природе — равновесие: в полях колочье топорщится свежее жнивье в ожидании ненастья... молча преодолевая утренние заморозки — навстречу зиме! — из упавших на землю семян растет трава... И над всем сибирским раздольем стелется удивительно стойкий запах печенной в золе картошки. А завтра будет снег...

### Стол тетки Акулины

НЕИЗВЕСТНЫМ науке свойством, удивительным секретом владеют старые вещи! Не их древность (часто музейная), не их ценность (изредка в долларах), не их качества (в большинстве — допотопные сегодня) по-настоящему волшебны. Обаяние старых вещей, скажу вам по секрету, в том, что они охраняют время. Мудрость их велика, они умеют о том времени рассказывать. И такие замысловатые истории хранят заброшенные колченогие стулья или задвинутые в дальний угол чулана позеленевшие медные самовары, что диву даешься! Надо только уметь слушать. Правда, не у всех получается...

В одной деревне за столом собралась семья: от прадедов до правнуков — четыре поколения. Младшие, наскоро похватав душистых пирожков и закусив карамелью, отправились к телевизору, глотать мультяшки, а среди старших вдруг затеялся разговор о былом: раньше и сейчас — лучше или хуже?

— Бабушка, — спросила тридцатилетняя внучка Наталья Сафроновну, — а кем вы с дедом были до колхоза, середняками или бедняками? Вас не раскулачивали?

Вопрос с двойным дном: с одной стороны — странный, если знать, что дед Михаил Михайлович до войны и после был председателем местного колхоза, с другой — жестокий, коли вспомнить, что многие его и Натальи Сафроновны дядя и даже братья сгнули бесследно в тридцатые-проклятые. В этих сибирских буераках в колхозы начали загонять в 1931-м, а с 1932-го и далее несогласных раскулачивали и ссылали — в другие сибирские буераки. И бабушка всплескивает руками, обороняясь от воспоминаний сатанинского времени:

— Чур меня! Уж кого раскулачивать-то! Корову с лошастью в колхоз свели сами... А что богатства: у нас и стола не было, во как жили — на сундуке ели...

Семейное предание коротко, словно миг на ресницах истории, и потом — только потом! — станет ясно: смысл скрыт не в словах, не в описании — в сути.

— Раскулачивали у нас Михайловских... Это уже, наверное, году в тридцать пятом. Или в тридцать седьмом? Михайловских раскулачили тутока и назначили торги. Тогда торги назначали: все имущество отобранное тут же и продавали — в их же дворе — с молотка. На торги я не иду: Акулина же мне теткой приходилась, что ж к своим-то идти, радоваться, что их раскулачивают, что ль? Так она, Акулина, сама в избу вкатилась. Пришла и говорит:

— У тебя же стола нет, а нас распродают. Чо ты сидишь-то? Иди-ка, купи хоть наш стол! Да он ишо лет сто стоять будет! Иди-иди, — говорит, — покупай, не мешкай. А я с твоими ребятишками посижу.

Я и пошла. Купила стол за 25 рублей и стул-табурет. Вот он — стол. А на табуретке ты, внучка, сидишь.

Как нарочно это временное совпадение — как ослепительное прозрение: накануне, перед поездкой в деревню, я фабричный стол, при советской власти слепленный на ставропольской или краснодарской фабрике, разобрал до винтика-шурупчика — он совсем решил развалиться, хотя и десяти лет не прослужил. Пришлось потратить день, чтоб собрать заново. А здесь — за семьдесят лет ничего не случилось столу «кулацкому» — цел-целехонек! Не пошатнется, не скрипнет. Вид у него, конечно, попроще, чем у нынешних, — без полиролей. Зато служит, как и табуретка, верой и правдой.

Историю этого стола бабушка Наталья Сафроновна — сама призналась! — при

советской власти ни за что бы нам не рассказала. Всю жизнь она на работе горбатилась, про себя — в Бога верила и молча боялась коммунистов.

А то, что стол — цел и служит по своему назначению, в том, я мыслю, ничего особенного — для себя люди делали. Вам же — старый мой вопрос: лучше или хуже стало?

### Как форма поссорилась с содержанием

— ЧУР МЕНЯ, ЧУР! — то есть огради от соблазнов сбиться с намеченного пути и зачерпнуть от идеологии: ущербно разглядывать простое живое крестьянское дело через мутную лупу замшелой политэкономии, там наниматель обязательно равен эксплуататору и кровососу, а работник — всегда лишенец, притесняемый и угнетенный.

Другое дело: плюнуть на телевизор, радио, газеты и отдаться деревенской жизни со всеми потрохами, погрузиться в нее, как в чужой язык в незнакомой стране, которая до того изучалась по словарям да книжкам. Одним словом, решил я податься в работники. Чтобы не спрашивать деревенских: «Как вы живете?» — вытягивая подробности, а видеть, как они живут. В деревне, между прочим, по свидетельству прекрасного летописца крестьянства прошлого века Сергея Васильевича Максимова, сезонные работники всегда были. Да и в наше колхозно-совхозное прошлое этот факт вписан со всей коммунистической неоспоримостью: мобилизацией студенческих десантов «на картошку» и командировками целых автобаз «на уборку».

Так что велосипеда я не изобрел, но вооружился единственным желанием: не искажать разными политическими симпатиями, равно и антипатиями, фактов.

Случай помог договориться со знакомой женщиной об обоюдовыгодной сделке: я поживу в ее доме, изо всех сил помогаю в сенокосных делах, а за это буду иметь пищу, постель и крышу над головой. Свежий деревенский воздух и удовольствие от косьбы — бесплатные, ответы на вопросы — по возможности откровенные, но некоторые фамилии, имена и приметы мы предусмотрительно условились изменить.

Через две недели разнообразных трудов и прочих испытаний на деревенской ниве случилось для меня подлинное открытие: немало удивившись, я обнаружил, что имею полное основание сомневаться в истинности известного марксистско-ленинского постулата об единстве формы и содержания (а одноименное литературоведческое понятие вообще пошло враздрай!): результат моего эксперимента легко ложился в форму классической газетной информации расцвета колхозно-совхозного славословия. Но его суть, *содержание то есть*, в эти парадные ворота не влазила никак: ни передом, ни боком, ни волоком!

А сообщить в этой информации, которую, не мудрствуя и придерживаясь формы, назовем «Финиш зеленой жатвы», следовало вот что:

«С 20 июля по 2 августа в частном хозяйстве пенсионера Лыкова ударными темпами прошел сенокос. В 15 копнах на северных утгах стоит 5 тонн сена, готового к вывозу. В сенокосе у пенсионера Лыкова участвовали он да жена — вся семья, а в качестве наемных работников на неполный световой день — два деревенских безработных и писака А. Комаров. Шефскую помощь Лыкову оказал вольный крестьянин Кирилл Чубатый. «Зеленая жатва» на 1 гектаре угодий прошла в кратчайшие сроки, благодаря народному двигателю сенокоса — 40-литровой кастрюле браги. Между тем, в Иркутской области заготовка кормов лишь начинает набирать силу, а в колхозах и совхозах района, где живет пенсионер Лыков, не начиналась вовсе». И подпись: наш корр.

А теперь скажите: вы где-нибудь читали подобную информацию? Вот и я в растерянности стал думать: почему у нас факты, происходящие в деревне повсеместно (исключая разве что непосредственное участие журналистов в чужом сельскохозяйственном процессе), не находят отражения ни в газетах, ни на радио-телевидении, ни в речах депутатов? Но не стану забегать вперед. Как принято в деревне, начну танцевать от печки.

### Семья и хозяйство

В ОДНОЙ ДЕРЕВНЕ близ Байкала живет пенсионер Никита Лыков, ветеран, между прочим, сельскохозяйственного производства — по многим причинам. Стаж, места работы и многие благодарности в трудовой книжке я опушу как общедоступные сведения, а подчеркну, на мой взгляд, главную деталь: с самой первой секунды появления на свет, с первого вздоха и первого крика, наш герой был обречен на жизнь в

колхозе. Потому что угораздило Никиту родиться, когда отец и мать его свели свою животину — коровенку с лошадкой — на общий двор: в 1931 году в его деревеньке образовали колхоз. И до самой пенсии Никита Михайлович вкалывал на общественное сельское хозяйство с таким усердием, что стал инвалидом: у него в ноге один сустав железный. Ему еще повезло, можно сказать: ведь попал Никита на операцию при остатках советской власти, резали его хирурги бесплатно, а железяку прижили швейцарскую. Сегодня подобное хирургическое лечение стоит, как принято теперь выражаться, «...от 30 миллионов рублей» и Лыковым не по карману, скакать бы деду на костылях.

Супруга его, в Сибирь попавшая из ставропольских курортных краев по причине розовой комсомольской романтики (о которой, впрочем, не жалеет), изо всех сил до самой пенсии лечила местное население, ибо в Кисловодском медучилище выучилась на фельдшера. По юности обегала все близлежащие селения пешкодралом, на ее участке было пять деревень — от края до края за 30 километров. Сегодня ее обязательная ежедневная дорога — 400 метров до водокачки. Нелегко таскать флягу с водой, но молчит и ходит, потому что деду еще тяжелее.

На руках у бабы Дуни и деда Никиты внучка-первоклассница (три года назад трагической случай оставил Наталку без родителей). Девчонка эта — чернобровое и кудрявое веселое существо — в серьезных помощницах по причине младости не учитывалась.

Вот в такую семью с помощью журналистского любопытства попал я в работники. И не только мозолил руки — не за страх — на совесть, но и самым внимательным образом разглядывал, как Лыковы существуют и хозяйствуют.

Живет семья бесхитростно, как во многих и многих сибирских деревнях с севера до юга, с востока до Уральских гор. Лыковы занимают полдома в типовом двухквартирном строении из бруса. Жилище давно уже требует хорошего ремонта, но сил и денег хватает лишь на косметику из обоев и неотложные заплатки: форточку врезать, рамы сменить, подлатать оконную колоду. Да и не отличается, честно говоря, дед Никита мастеровитостью, его стихия — рыбалка, а гвоздь вбить или доску выстругать — это ниже вольного достоинства добытчика.

На дворе у Лыковых то ли сарайчик, то ли гаражик: туда на ночь запирают советскую лошадку — «Жигули». В огородишке около 15 соток земли: теснятся грядки с луком, кучерявой петрушкой и хиловатым укропом, свеклой, морковкой, кабачками и чесноком, прег к свету, обгоняя редьку, крутобокая редиска. Вдоль забора смородиновые кусты. В тепличке, составленной в солнечную сторону из отслуживших домашний срок оконных рам (другая ее стенка — забор), живут помидоры. В парничке, такими же рамами прикрытом, наращивают плоть огурцы. И все это стеснено, сжато как бы до игрушечного размера заборами и дровяными поленницами: грядки длиннее двух метров нету.

На задах усадьбы растут картошка и капуста: в этом старикам немалая выгода, у многих в деревне картофельные лоскуты нарезаны за околицей, за два-три километра от жилья.

В лыковском огороде тесная банька. Через стенку — стайка. В ней вечером вздыхает устало корова Майка, жует прошлогоднее сено бычок Борька и тянется к материнскому вымени телок Мишка.

Ради них, рогатиков, без которых жизнь в деревне теряет смысл и становится безумно дорогой, Никита Михайлович и решил на подлинный деревенский подвиг. Выйдя на пенсию, он как ветеран сельского хозяйства района выхлопотал гектар на северных утгах (так здесь называют поливные луга), в 12 километрах от деревни. Сенокосом этот косогор в то время можно было назвать достаточно условно (немало земли в этом районе при советской власти перевели из сельхозугодий в неудобицы), но важно было застолбить сей кусок каменистой тверди, поросшей дерниной. Заимев бумагу на владение землицей, Никита Михайлович устроил длительный субботник для семьи и родственников: на новых лыковских владениях с утра до вечера корчевали из земли камни и камушки, свалили в межи, наверное, тонны три байкальского кремня (и то не удалось все подчистить). Поставили изгородь.

Тяга к собственности, вдруг проснувшаяся в отставном ветеринаре, удивляла не только соседей, но и родных: никогда Никита с таким старанием не пластался на земле. И победил свою былую неохоту: уже четвертый год с аккуратно огороженного участка берет дед нужное количество сена. А чего же не брать, если даже воду из ручья подвел, чтобы орошать свой лужок по надобности.

Нынче дед Никита дозрел, чтобы усовершенствовать процесс сенохранения. Прежде на задах огорода он ставил стог. Естественно, что его приходилось и топтать, и вершить, и целлофаном закрывать. Все это силы, времени и денег требовало. Поэтому, взяв у дочери, которая живет в городе, заем (в деревне уже давно пенсию в срок не платят, да и нельзя с такой-то пенсии ничего выстроить), Никита Михайлович возвел сеновал. Строительство: шесть столбов, машина горбыля, горка ржавых гвоздей, несколько рулонов толя и некоторое количество водки (себе и помощникам) — обошлось в семьсот тысяч. Дело близилось к торжественной сдаче объекта жене, но встало за малым — за навесами. Чтобы на двухметровой высоте наладить к оконцу ворот створки, нужны навесы. А в деревне в магазинах даже гвоздей нет, о шурупах и не мечтают.

Навесы — нормальные, кованые, чтоб служили долго, — я привез Лыкову из города. Вез и думал: вот железяки — сносу им не будет — безусловно нужные в деревне не одному деду. В их поисках я обегал весь Иркутск, город немаленький, более того — промышленный (и торговый) центр вся Восточной Сибири. Что ж у нас теперь: разруха без конца и края? полный конец всякому железодельному или скобяному производству пришел? — если на этих петлях стоит клеймо «Made in China»? Дожили...

Но створки приделали, и сенокос начался.

### Как в Расее все делается

СОБСТВЕННО сенокос начался, как и положено, с отбивки кос; с цитирования Кольцова: «Раззудись плечо, размахнись рука»; с трехлитровой банки бражки, к которой дед Никита прильнул еще по утряшному холодку; с мятного запаха травяного сока, стекающего из срубленных острым железом стеблей и листьев травы.

Примерно четверть лыковских угодий — неудобья: колдобины, ямы и кочки. Здесь косили вручную, призвав на помощь безработных лыковских соседей-братьев — Алексея и Коляшу.

Алешка — сорокалетний неудачник по жизни — недавно приехал к матери в деревню, потеряв работу в очередной строительной конторе в Селенгинске, бросив очередную жену. Он молчун и, увы, любитель выпивки, одной ногой ступивший на порог алкоголизма, пьяный — совсем дурак. Коляша его младший брат: не озлобленный, добрый, работающий, но от жизненных поворотов, похоже, растерявшийся до предела. Кажется, совсем недавно Коляша закончил сельхозинститут, гордился дипломом зоотехника, успел приступить к работе в совхозе, и... не стало совхоза. А Коляша остался сам по себе: хозяйства нажить не успел, на бывшей работе ему ничего не обломилось, стал никому не нужен. Вернувшись в родную деревню, Коляша вслед за братом принялся заглядывать в рюмку...

Как и на что они живут? Нет, сначала о том, где: и Алешка, и Коляша живут у матери-пенсионерки, в такой же половинке двухквартирного дома, что и Лыковы. У той ни хозяйства особого, ни нормального огорода по одной-разъединственной причине: сильно пьет бабка Настя. А живут они все, считай, почти на одну ее пенсию.

— Я бегаю, ишу, — уныло рассказывает Коляша, — скучаю по работе. Летом легче: кому стену оштукатурить, кому могилу выкопать, кому сеник поставить; где накормят, где напоят, кто деньгами заплатит — выбирать не приходится. Мне бы к сеструхе податься, в город Шелехов. Может, она меня сумеет на завод устроить, на алюминиевый...

Но чтобы Коляше доехать до сестры, ему только на дорогу в один конец надо почти семьдесят тысяч рублей.

И он берет косу, и опять вжикает металл, со свистом врубаясь в везилевые заросли. Пристраиваюсь за Коляшей и я. Дед Никита то покосит, то ногу крапивой хлещет: швейцарская железяка не болит, а своя нога — стонет.

Удовольствие от косьбы на солнце испаряется к полудню: остается одна тяжелая работа, и я бодрю себя, вспоминая рассказ старушки-колхозницы, подслушанный в этой же деревеньке: «Когда одне бабы остались да малые ребяты, в войну тоись, норма трудодня на сенокосе для нас была 15 соток. Ой лихо! А ввечеру прятались от надзора и в темноте своей коровенке косили украдкой...»

Наверное, мы, современные работнички, хилыми кажемся этим старушкам, вытравившим тылы России из войны: 30 соток выкосили за два дня. Потом стало легче:

трудилось светило, а мы только ворошили и гребли; на третий день, как будто учуяли небольшой просвет в тяжелой работе — небо меняло застиранную знойную голубизну на серость, — одним духом взметнули три копны; обещая дождь, завыл в телеграфных проводах посланец непогоды баргузин.

У деда Никиты, несмотря на его теперешнюю частнособственническую сущность (это к вопросу о коммунистических терминах, стихийности рынка и плановности социализма), никакой анархии в работе, а сенокосная кампания спланирована не хуже важной наступательной операции. Неудобья, как он и мыслил, свалили вручную: подготовили плацдарм. А на остатный участок дед заранее договорился наступать с помощью своего старого знакомого из соседней деревни Кирилл Чубатого: тот в сельхозтабели о рангах стоит повыше пенсионера — числится фермером, а называет себя крестьянином. Кирилл держит скот — голов двадцать пять, при выходе из совхоза ему с домочадцами достался приличный земельный пай («Все равно обсчитали! — беззлобно кипятится он, вспоминая подлеца-землемера. — Гектаров шесть из-под меня выдернули. Да ну их к черту! Связываться — себе дороже!»). Есть у Чубатого трактор и кой-какой навесной инвентарь, на что и надеялся дед Никита: косилкой оставшуюся траву на участке можно свалить в полдня.

Отмечу еще одно — немаловажное, на мой взгляд, — обстоятельство, характеризующее моральный облик деда Никиты в отношении общественных средств производства. Не раз и не два он вспоминал, неизменно бия себя в грудь с неподдельной тоской и выражаясь исконно народным слогом, как не хватило у него совести прибрать к рукам и грабли конные, и конную же косилку. А возможность была! Какая возможность была! Дед особо подчеркивал, что он, Никита, в той ситуации был дурень: «Ведь все равно пропало под заборами или растащили по дворам! Плюнул бы тогда на совесть — небось, не зашипела бы — сегодня б мороки не знал». Но не плюнул...

Было бы крайне заманчиво представить и Лыкова, и Чубатого мужиками без изъянов. Но то, что могло миновать заезжего журналиста, не прошло мимо работника. Поэтому замолчать следующий факт будет нечестно. Итак, задул баргузин. Значит, на море гонит вал. В такую погоду лучше в воду не соваться. Но наши косцы собрались на рыбалку (к Чубатому еще гости из города приехали, такой большой компанией они и отвалили на ночь глядя — ставить сети). Как уж они выходили в море, как выбирали сети — не ведаю. Говорят, что поймали аж три омуля и отдали гостям. Поверим на слово. Но, если честно, рыбалка была лишь предлогом.

Деда Никиту домой привезли часов в семь утра: пьяного в стельку. Часа три баба Дуня, костеря его на чем свет стоит, укладывала спать. Дед дергался, махал руками, порывался встать и клялся, что выпил всего полстакана (это он потом, на покосе, вдаль от женщины признался, что сначала пили из бутылок, потом из жестянок, потом из каких-то картонных коробок: везде была разная водка и мешали ее в невысказанных пропорциях). Второй «герой» ночной рыбалки — Чубатый — сперва, по рассказу его жены, пытался завести трактор, потому что «мы с Никитой Михальчем косить договорились», — но вскоре «сломался» и тоже, к счастью, уснул. Так сутки из сенокоса выпали в пьянство.

Но! И Кирилл на тракторе, и дед Никита с очередной трехлитровкой бражки следующим утром прибыли на покос чуть свет. На утuge везиль как проволочный да вьюком перевит, у клевера лист с ладошку, а понизу медведка с пыреем перепутались — трава густющая! — и в мою задачу входило бегать за косилкой: как забыть ее везиль, Кирилл останавливал трактор, я — очищал полотно. Бегать кругами хватило до вечера. Потому что трижды заехали в камни — их в траве не видно — и переклепывали зубья. Потом дед мотался за маслом: перестала действовать гидравлика. Потом хлынул ливень: пережидая небесный водопад, мы сидели с Чубатым в тесной кабине, говорили о его коровах. Кирилл жаловался, что мясокомбинат дает невысокую цену, а на так называемый колхозный рынок лучше не соваться: торговая мафия подминает. За свое хозяйство — около 20 гектаров земли — он будет держаться до пенсии, а там... Кто ж его знает, как жизнь сложится? Льгот никаких крестьянину нет и — не было! Кредит не выпросишь. А выпросишь — на процентах разоришься. А что в правительстве обещают, то в деревне над этим смеются: который год ни тпру, ни ну, одно кукареку! «В общем, жить можно, но почему-то все в Расее делается, — тут Чубатый прикусил зубами матерное слово, уже готовое выпрыгнуть из его уст, но закончил, тем не менее, достаточно колоритно и понятно, — а делается все... через задницу!»

Докашивали мы, не обращая внимания на морозящий дождь, потому что косить под дождем, слава Богу, можно.

## Воль-но!

ЕСТЬ В АРМИИ замечательнейшая команда, после подачи которой начинается разумная жизнь: «Воль-но! Оправиться...» Пора к подобной паузе прибегнуть и на сенокосе. Рассказывать с видом знатока, как сено ворошат, как гребут (вручную, граблями, с гектара!), как копнят — смеху не оберешься. Гораздо занимательнее и поучительнее всмотреться в деревенский быт.

Давно известно: как полопаешь, так и потопашешь. Поэтому не обойти моему повествованию время обеда, не грех и начать прямо с него. Выглядело это так: работники за одним столом с хозяевами. На столе разносолы: глаза разбегаются — свежие огурцы и малосольные, сало и творог, сметана и помидоры, маринованные маслята и соленый омуль, наваристый борщ и пирожки с черемшой. Уж когда все баба Дуня успевала, не ведаю. Но честно признаюсь: свежесть продуктов и домашнее качество сделали бы честь столичному ресторану. Дед Никита обычно использовал весь свой набор любезностей, чтобы получить к столу и литр бражки. Но любого количества его прибауток, намекающих на появление спиртного, хватало только на литр. Водка на столе появилась раз, в количестве одной бутылки: после того, как сено вывезли. Зато через день после работы баба Дуня выдавала приходящим работникам (по их просьбам) то бутылку (с собой), то символический аванс в 20–40 тысяч рублей.

Без тени смущения удовлетворю вполне законный читательский интерес: столь подробное описание «смены блюд» застолья необходимо для освещения деликатной и очень важной проблемы — оплаты труда. О плате за услуги (работу) принято договариваться «на берегу». Раньше, без обсуждений, мера была одна — водка. Теперь, все чаще, упоминают в расчетах деньги. Кажется, баба Дуня вполне осознала это и готова применить в будущем. Подвигнул ее к такому решению Вася по прозвищу Солнечный, накануне за свою небольшую помощь получивший бутылку, а наутро явившийся похмеляться и требовать еще две поллитры. Примечателен диалог, состоявшийся между ним и хозяйкой.

— Вася! Тебе же вчера заплатили, ты же бутылку забрал?

— Так мало, Дуня. Давай еще две...

— Да ты, Солнечный, с ума двинулся! Ты сколько же за полдня, считаешь, заработал?

— Двести тысяч...

Вася Солнечный, с похмелья утративший реальные ориентиры, был изгнан с позором, и более его «помощь» не принимали. А я застал в действии некий переходный период смешанных расчетов: деньгами, водкой, продуктами. Все это — заметьте! — в абсолютном правовом вакууме. Лыковы — пенсионеры, а не предприниматели. Их пенсии, с которых все налоги давно вышелушены государством, — не фонд зарплаты. А если они платят помощникам, кто осмелится потребовать с этих сумм подоходного, пенсионного и прочих поборов? Кто и на каком основании? То, что ответа на вопрос нет, не означает, что и вопроса не существует... (Не прошло и полгода, как Пенсионный фонд Российской Федерации, ссылаясь на введенный в действие задним числом — как всегда! — Федеральный закон «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд РФ...» (от 5 февраля 1997 г. № 26-ФЗ), разъяснил, запуская вороватую лапу в карманы и кошельки законопослушных граждан, что и Лыковы как работодатели должны платить с тех сумм, что они работникам выдали, — 20,6 %, и сами работники с полученных сумм — по 1 % в Пенсионный фонд РФ. Еще круче вкручивает в землю крестьянина налоговое бремя — по самую шею уже вдавило, только воздух пока налогом не обложен! — А.К.).

Так вот: баба Дуня решила, что стоимость питания — без общепитовских накруток, гольную «дунестоимость» — она должна учитывать при расчетах за работу: «У плиты стою, готовлю, посуду мою, на огороде спину гну — прямо какая-то сфера обслуживания выходит! А услуги у нас бесплатные». Подвожу к тому, что даже деревенские жители, даже такая «темнота запечная», как называли себя мои пенсионеры-работодатели, всюю овладевают экономическими законами цивилизованного рынка! Но сами, увы, вынуждены барахтаться в унылом, нищем на разнообразие, постном постсоветском экономическом пространстве. Имёю в виду то, что, когда копны уже стояли и надо было вывозить сено, все уперлось в отсутствие грузовика. Ни одна мало-мальски автомобильная конторка — от ДРСУ до бывшей СХТ — не оказывала такой услуги населению, как вывоз сена. И мои пенсионеры, сговорившись с одним районным начальником, еще раз пустились в свободное плавание в обход законов. Не

потому, что хотели их обойти, а потому, что соблудости невозможно. Им дали машину — древний «трумэн» без водителя: «Бензин ваш, и водитель ваш. Справитесь?» Справились, благодаря молитвам бабы Дуни о том, чтоб миновать ГАИ. В два дня все сено перевезли и скидали под крышу, отметив, что кидать гораздо быстрее и легче, чем ставить полноценный стог. Не зря Никита Михайлович заботился о сеновале.

Расчет работников баба Дуня произвела на следующее утро после «банкета». Вечером она долго сидела, складывала на бумажке дни, часы, действия сенокосчиков, пока не вывела итог: Коляше — на руки — 214 тысяч рублей, Алешке — 150 тысяч. «Он работал меньше — меньше и получит». Начислено же у бабы Дуни было около 600 тысяч на двоих, но: брали авансы — вычла, просили водку — вычла, обедали-ужинали — вычла. Вручая соседям-помощникам деньги, баба Дуня подробно расписала им: в какой день по сколько часов они работали, какие работы выполняли и что это стоит, по ее мнению. А за основу своих расчетов Евдокия Гавриловна — экономикка должна быть экономикой! — взяла среднемесячную деревенскую зарплату, несколько даже ее завысив: 600 тысяч рублей. Отсюда и плясала, вычисляя стоимость рабочего часа. Может быть, немножко примитивно, но честно. Работники были довольны: Коляша — вот чудак-человек! — с тех денег, что баба Дуня ему заплатила, презент ей через полчаса притащил: шоколадку Наталке и бутылку шампанского бабе Дуне. Сделал бы такой подарок угнетенный работник своему эксплуататору?

Местную жизнь — в деревне и окрест — я изучал не только в натуре, но и по страницам районной газеты, носящей имя утренней богини. «Зарю», выходящую тиражом 650 экземпляров, разносили по почтовым ящикам с вечерней прохладой, раз в неделю — газета от безденежья умирала. Но тем не менее старалась чего-нибудь освещать. Вот, к примеру, из одного номера: «Работниками милиции выявлена кража 20 булок хлеба из районной больницы...», «В милицию обратилась гражданка Н. о том, что ей нанесли побои две женщины в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело...», «В районную больницу обратились две гражданки, которые — в разных местах и в разное время — при разделке мяса сами себе нанесли ножевые ранения. Проводится проверка...», «Гражданину Ш. в ссоре при распитии спиртных напитков нанесены обширные ножевые ранения в область живота...», «С 1 по 15 июля на территории района зарегистрировано 43 нарушения Правил дорожного движения, три водителя находились в состоянии алкогольного опьянения...» Это, фактически, все местные новости, потому что остальная газетная площадь была занята программой ТВ и перепечатками из других изданий. И так — из номера в номер.

А деревня вовсю жила жизнью, вовсе не похожей на ту, про которую рассказывали газетные полосы. Мне и прежде приходилось бывать в этих местах, поэтому сразу обратил внимание: денег нет, а изо всех сил, используя чуть не щепочки, — строят. Кто — летнюю кухню, кто — баню, кто — сеновал. Даже новые дома ставят. Второе неоспоримое различие между тем, что было, и тем, что стало, — изгороди: все упавшие заборы подняты, укреплены, служат по прямому назначению. В пику прежней райпотребсоюзской серости улицы веселило балаганное многоцветье вывесок, заменивших унылые «Продукты» и «Промтовары». Райпотребсоюзский «Универмаг» предлагал бесплатную экскурсию — на десяток лет назад — к пустым полкам. Новые торговые лавки и лавчонки, напротив, полны всякой дребеденью: глаза разбегаются, но гвоздей не найдешь. Разнокалиберность водки: чем дешевле, тем длиннее стеклянные батареи. Постояв пять — десять минут у любого прилавка, выяснишь, что основной товар, пользующийся спросом, увы, — водка. Купить ее можно и ночью, без проблем. Зато исчез, умер прекрасный книжный магазин — единственный, между прочим, на весь район. А в киоске «Союзпечати» пришлось наблюдать, как снаряжают «под запись» первоклассников — тетрадки, линейки, карандаши и ранцы выдавали в счет будущей зарплаты.

Не подчеркивая, а просто отмечая как факт, скажу, что на каждом углу критиковали и президента, и правительство. И это могло бы показаться странным, если бы не было обычным приступом словонедержания — стандартным российским пароксизмом. Это я прокладываю мостик от уличных сплетен к итогам «народного волеизъявления»: за Ельцина проголосовали 46,1 процента от числа избирателей, внесенных в списки; у Зюганова — почти вдвое меньше. Вот и пойми попробуй сибирскую деревню, если выходит, что на уме у крестьянина не то, что на языке.

Много о чем передумал я, скрипя железом кровати в бывшей летней кухне, превращенной в кладовую, а для меня служившей спальней. Именно она, или, вернее сказать, вещи, что в ней доживали свой век, и навели меня на старые мысли: лучше или

хуже стало жить в деревне? Вот в углах стоят две плиты: отслужившая свой срок электрическая и вконец забарахлившая газовая — это прошлое, то, что было хуже. В доме — новые печки: это — стало лучше. Кровать, на которой я сплю, тоже из «бывших»: панцирную сетку, просевшую до пола, вытеснили из жилых комнат кровати деревянные, с пружинными матрасами. Еще баба Дуня купила два года назад морозильную камеру (безусловно, лучше!) — погреб летом не спасал, а холодильник на ладан дышит, и новый — не купить, с их пенсий этот груз не осилить (все-таки хуже!).

Негусто приобретений за последние пять-шесть лет, и те — не от роскоши, а по крайней необходимости сделаны. Даже синяя кастрюля с бражкой — и она! — от старых привычек к бедности. Бражка у бабы Дуни ставится трижды в год: на посадку-уборку картошки и на сенокос. А во все остальное время — режим экономии: и на столе никаких особых разносолов, и деньги — на хлеб, сахар, соль и бензин — подчистую уходят, лишь маленькая толика их откладывается «на крайнюю необходимость». Последняя «крайняя необходимость» — внучке: шуба, за которой пришлось в город ехать. То, что шубу можно любую купить, это — лучше, а что за нею в город надо ехать — не лучше и не хуже, а — по-старому, без никаких изменений...

### Больно! И смешно — до слез

*Было вольно —  
Стало больно!*

БЕЗ ЖЕЛАНИЯ и охоты срифмовались эти строчки, а я ежусь от воспоминаний, которых лучше бы не было. Но уговор с самим собой дороже: не расспрашивать, а рассказывать, охраняя факты. Поэтому безусловно придется сознаться в том, как я заболел в самый разгар сенокоса. Вина в этом, несомненно, моя: надел бы верхонки, глядишь, избежал бы больницы. Но кто же знает заранее, где стелить соломку! (Знал бы — давно обогатился и других научил.) Хотя сейчас я думаю, что — может быть, может! — был в этом происшествии промысел божий: уж коли желаешь называться работником-исследователем, так не ленись, со всех сторон проблему изучай, даже и принудительно в некотором роде. Ведь болезни да болячки — они тоже часть жизни, в том числе деревенской, даже в сенокос.

В дождливый день, что случился словно по заказу для кратковременного передыха перед началом сенокоса, я по просьбе хозяйки входную дверь в дом обил новым материалом (ватин с искусственной кожей, больше смахивающей на клеенку), а снятую старую обивку, обрезав вовсе изношенные куски, приспособил на дверь в баню. В аккурат хватило, банная дверь была размером меньше.

Работа эта получилась не слишком тяжелая, но в некотором роде хлопотная: приходилось гвозди старательно выгаскивать, выпрямлять молоточком и вновь в дело приспособливать — ну нет гвоздей в деревенских магазинах! Где-то между делом я и наколот левую ладонь ржавой скобкой гнutoго гвоздевого тельца. Как водится, даже внимания на царапину не обратил: не стоила она того. Да и забыл об этом тотчас.

Аукнулось дней через шесть, уже первые копны поставили. С вечера начавшись, к середине ночи легкое недомогание превратилось в затяжную пытку — в кисти тукало, тело трясло и мышцы выворачивало, как после тяжелой надсады, а левая рука по самое плечо вовсе онемела. Взвалив на себя пропахший пылью тулуп, я промаялся в ознобе до рассвета и выполз из летней кухни, где ночевал, когда хозяйка пошла доить корову.

В доме, где на холодной печи потихоньку закипал электрический самовар, я плюхнулся на продавленный диван с градусником под мышкой. Вернулась баба Дуня. Процедив молоко, она спросила про температуру и, охнув, пошла будить деда. Через пятнадцать минут — деревня куталась в утрешнюю дрему, даже скот еще не прогнали по улицам — меня доставили в районную больницу.

Дежурная фельдшерица или медсестра — не знаю, поахав по знакомству вместе с бабой Дуней над моей температурой, рванувшей к 40°, произнесла главную фразу, что держится у меня в голове по сей день:

— Разовых шприцов нет! Ставить укол, или как?

Свобода, свобода,  
Эх, эх... без шприца...

(Чего только в голову горячечную не лезет: одно оправдание — лихоманка-лихорадка.)



*Ох ты, горе-горькое! / Скука скучная, / Смертная! // Ужь я времлячко / Проведу, проведу... // Ужь я темлячко / Почешу, почешу... // Ужь я семячки / Полуцу, полуцу... // Упокой, господи, душу рабы твоей... // Скучно!*

— Так ставить укол, или помирать будем?

(В самом деле: при чем тут Блок, при чем «Двенадцать»?)

— Спустите штаны, больной!

Сначала жаропонижающий...

— Терпите, иголки туповатые... Теперь пенициллин... Врач придет после десяти, как планерка кончится. Лежите, больной...

Температура после укола спадала, возвращалась способность видеть и запоминать. Меня положили в коридоре: панцирная сетка провисала, простыней не было, в больничной контингент меня пока явно не зачислили, так — устроили по знакомству. Наверное, глупо что-то требовать, да и у кого? Честно говоря, не было и сил. Я промаялся до десяти, вспоминая, что уже был здесь лет около десяти назад (да нет, уже больше!). С кровати можно было разглядывать осыпающуюся известковой стеной с проглядывающей дранкой, темно-синюю краску на дверном косяке без двери... Мелькали, как тени, больные, одетые в странные одежды — кто во что горазд...

Лет около пятнадцати назад поздно вечером в этой больнице шла операция, и вдруг потух свет. Журналист из «Молодежки», случайно узнавший об этом ЧП, кинулся звонить на подстанцию, в райисполком — безрезультатно. Тогда — несмотря на вечер, уже переходивший в ночь, — на квартиру первому секретарю райкома партии (неслыханная дерзость по тем временам!), и свет... появился. Откуда мне известен этот факт, о котором знают только тот секретарь и молодой корреспондент? За давностью лет можно сознаться: журналистом был я. Явное и грубое превышение моих полномочий, когда я выговаривал первому секретарю райкома КПСС, странным образом обошлось для меня без последствий по службе. Хотя было понятно, почему: операция, о которой я беспокоился, увы, закончилась не так благополучно: из двух жизней, лежавших на операционном столе, спасли одну...

Сейчас мне казалось, что с того самого времени этот коридор не белили, не красили — так обветшало здание, или нет — само здравоохранение.

После десяти меня довольно лениво осмотрел врач (как смотрят на человека, у которого нет на руках полиса): больно ткнув в левую подмышку, которая просто пыдала (*мировой пожар в крови — / Господи, благослови! — что так привязался ко мне Блок, которого я никогда не знал сверх школьной программы?*), он пробормотал что-то об инфицированности конечности, отсутствии физраствора и исчез.

Мне невероятно повезло с «работодательницей»! — вот сейчас я понял это в полной мере. Она примчалась минут через десять после «обхода», разузнала у врача, с которым проработала в больнице не один год, все необходимое и сказала: «Поднимайся, работник! Здесь валяться — толку не будет, лекарств, все одно, нет... Буду тебя дома лечить...»

Через трое суток я был практически здоров. Не знаю, пенициллин ли помог, который сердобольная баба Дуня купила в аптеке (деньги я ей, конечно, дал) и вкалывала мне через четыре часа, или святая вода, которой она не пожалела, чтобы щедро набрызгать мне на воспаленную физиономию и руку (а ведь она ее в бутылках из Иркутска привозит — где ж святую воду в деревне взять, здесь и церкви никогда не стояло, а самый ближний храм порушили в 30-е — на коровник кирпич понадобился). Или крестики спасли? — что рисовали на моих ягодицах йодом, чтоб чуточку быстрее рассасывались шишки от уколов, или ворожба подняла?

— На море Окияне, на острове Буяне лежит бел-горюч камень... — баба Дуня водила своим, скрюченным артритом пальцем, вокруг сучков лиственничного полена, которое притащила со двора, и пришептывала тихонько, так что и слов всех не разобрать было: — Недужился бы недуг у раба Алексея по сей день, по сей час, как вечерняя и утренняя заря недугам потухать...

Заговор был длинный, запомнить я его не мог, а спросить после неловко было. Лиственничное же полено, вокруг сучков которого плелся заговор, в тот же час сгорело в печи, расплавленной по такому случаю несмотря на летнее пекло.

...С некоторых пор я считаю, что во всякой напасти есть доля необходимости, некоей предначертанности, и стараюсь относиться к ним, напастям, с благодарностью. Не заболел я, разве б свернул к больнице, чтобы отвезти этой ужасающей нищеты современной сельской медицины! Разве бы узнал, что уже несколько дней как в боль-

ницу прекратили поставлять препараты из аптеки: больница задолжала провизорам астрономическую по деревенским меркам сумму, что-то около сотни миллионов...

Где-то в это время я и понял, что наняться на сенокос — это любопытство, а жить в деревне — это нечто совсем другое. Однако между завтраком и ужином, между дойкой и стиркой, между поливкой огорода и кипячением шприцев я узнавал массу информации, вплоть до самой потаенной. Разговоры между делом — неиссякаемый кладезь фактов и фактиков, только успевай отцеживать, отлавливать, крыжить, пока другой фактик своей звонкостью не перекрыл предыдущий. Вот, например, почти семейная тайна:

— Дед по молодости любил выпить не больше, чем сейчас. А какой он пьяный, ты сам видел. Раньше, бывало, его тоже сразу не уложишь. Он все с кровати рукой махал да повякивал, покрикивал: «Вот! В подполье кто-то дышит!» — ревновал, значит. Позже свою песню про подпол оставил, стал по-другому беспокоиться: «Машина в гараже? Гараж заперли?» Теперь новый припев у старика: «Теленка кормили? Воды скотине давали?» Вот что скотина с человеком делает!

Ну разве вам не смешно?

Или другой случай. На сенокос к старикам-родителям приехал дядя Вова (это я его так называл), отставной полковник. Он все к Паше из Солнечной привязывался, подначивал его: «Паша, где твой «мерседес»? Полковник никак не понимал, почему Паша, имеющий трех лошадок и ни одной машины, на шутку никак не реагирует. А Паша, газет не читая и телевизор не смотря, никак не мог понять, при чем тут «мерседес»! Откуда Паше знать о прозвищах бывшего министра обороны? Ну разве не смешно?

Зато после этих шуток, ни разу не достигших цели, Павла Никанорыча из деревни Солнечной стали звать Паша-мерседес. Однажды Пашу развезло после выпивки, и когда дядя Вова в очередной раз его пытался подначить: «Смотри, не выпади из «мерседеса!» — Паша всерьез обиделся: «Чтоб я из седла вывалился? Не будет такого!»

Дядя Вова и деду Никите взялся было советовать, чтоб рожень (это такая веревка с крюком, с помощью которой копыны подтягивают к стогу целиком) к «Жигулям» привязал, мол, двенадцать километров не дорога — дотянешь свое сено! Но дед Никита на такие шуточки строг: «Лучше я тебя к коровьим хвостам привяжу!» — и весь разговор.

Разве не смешно: полковника — к хвостам!

Баба Дуня как-то на покосе — в теньке сидели, умаявшись сгребать, — вдруг обмерла да как закричит: «Ой, Никита! У тебя толстое зеленое между ног! Прихлопни скорей!» Все вокруг от смеха полегли, а баба Дуня в себя прийти не может — гусеницы испугалась. Ведь смешно, правда?

Было вольно —  
Стало больно, —

без желания и охоты срифмовались эти строчки, а как некая необходимость: переход от одной главы к другой теме. Именно так я думал в момент начертания букв на листе бумаги, — уверен в том. Но насколько все же изощрен мозг человеческий: никак не может обойтись без вольной игры, без нарочито шальной шалости — завести ум за разум. Первый пласт замысла — внешний, тот, что виден невооруженным глазом, — абрис мысли, лежит на поверхности. А далее — глубже и шире — откроется лишь тогда, если, преодолевая сопротивление материала, ты погружаешься в тему, растворяешься в ней. И обнажается тайная, более объемная задумка, испеченная недремлющим подсознанием как бы помимо твоей воли: было вольно — кипели шампанские пузырьки вдруг открытых свобод демократии, обещая нечто прекрасное в самом ближайшем будущем. Когда вместо демократии получилось невесть что, стало больно.

### Совет на дорогу

ГОЛОВА МОЯ заболела от дум, запутался я в словесной эквилибристике: наши нищие — это бесконечно плохо, спору нет. Но от того, что власть их не видит, власти — хорошо...

Не вывозят из мусорных контейнеров содержимое вовремя, это — плохо. Но зато наши нищие имеют постоянную подпитку из этих баков, это — хорошо?

Деревни наши, как нищие, это — плохо. Но зато они сами себя кормят, это — хорошо. Они себя и прокормят, даже при натуральном хозяйстве, это — хорошо? Но вот когда они перестанут кормить город, это — плохо.

.. Прощаясь с хозяевами (сенокос не бесконечен), я получил сердечную благодарность за помощь и совет на дорожку.

— Не ломай голову — лучше или хуже, — изрек дед Никита. — Дышать стало легче, а там — жизнь покажет.

### Получилось как всегда

МЕТКОЕ СЛОВО, то, что называется не в бровь, а в глаз, — всегда ценилось в народе. Именно поэтому одному из наших премьеров не суждено войти в историю как главе правительства в годы царствования президента Ельцина, — забудут, как стараются забыть все не самое хорошее. Зато на все времена Черномырдину суждено стать автором крылатого изречения: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Я тоже хотел как лучше и медленно нашлифовывал слова-кирпичики, подгоняя одно к другому, пытался отыскать нужные краски и сверял интонации героев с действительностью. Пока я медлил таким образом, случилась обычная русская беда, о которой расскажу с чужих слов (сам свидетелем не был): сначала баба Дуня, заехав в город по делам, кручинилась, после Никита Михайлович, свалившись как снег на голову (в больницу приехал ногу показать), ругался: «Разве эт-то суд! С таким судом мы все сядем!» В общем, как говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся...

Несчастье произошло рядом с Лыковыми, в доме, где с пьющей бабой Настей жили ее сыновья — лыковские добровольные помощники Алешка и Коляша. Началось все с водки, то есть — как всегда.

В один из осенних дней прибежал к Лыковым Коляша, на себя не похожий: волосы всклокоченные, глаза дикие, всего трясет:

— Баба Дуня! Вызывай милицию! И «скорую»! Я Алешку ножом ткнул!

Алешка про то, как случилось и что было, молчал — даже на суде. А со слов Коляши можно было понять, что ему пришлось обороняться от брата, — тот напился и начал выступать, приставать, полез драться. Но Коляша и сам был выпивши. Уйти от ссоры не сумел, «взыграло ретивое», а после, себя не помня, вырвал у Алексея нож и...

Дед Никита на суде изо всех сил Коляшу защищал — судили его без адвоката (за отсутствием такового в районе). Недели через две, встретив деда где-то около водокачки, судья сказал ему: «Если бы не ты, Михалыч, парню бы больше дали!»

А дали Коляше два года общего режима. По мнению Лыковых, абсолютно это несправедливо: они считают, что во всем виноват старший брат.

Вот и точка: живем как всегда! Меняться не хотим, не желаем даже. Ждем манны небесной. Где-то лучше ждать, а где и много хуже стало. Что будет завтра, судить не берусь. Одно, правда, сильно тревожит: выйдет Коляша через два года за ворота «зоны» и — куда?

ДУМАЛ ЭТИМ закончить. Но человек предполагает, а на днях новость почище прежних принесли: Алешка, напившись в очередной раз, порезал ножом мать, бабу Настю.

Но ведь где-то уже приготовлена та мера, которой потом, на небесах, будут взвешивать наши жизни, отделяя добро от зла! А если нет ее, то более несправедливой штуки, чем жизнь, я не знаю.

### В двух шагах от рая

С ПОКОСА деда Никиты тракт виден как на ладони: устав бесконечно карабкаться на прибайкальские сопки и стекать с них, он с облегчением начинает мерить пыльной километровой лентой Тажеранские степи — это означает нескорую еще близость берега. Там ласковое блюдце Малого моря, подогретое июльским солнцем до крымских температур. Туда спешат каждое лето отпускники-горожане. Над покосом не молкнет шуршание шин: «Жигули»; «Москвичи», «Волги», навороченные джипы и «круизеры» всех мастей подгоняют друг друга — сегодня в Ольхонских воротах можно изучать географию мирового автомобилестроения.

Добравшись до заманчивого байкальского берега, отпускники примутся активно отдыхать: кто на турбазе за 120 рублей в сутки, большинство — дикарями. Расправляя уставшие от долгого пути руки-ноги на берегу живописной байкальской бухточки (одной из многих), кто-нибудь из вновь прибывших, подбадривая утомленных попутчиков, обязательно картинно провозгласит: «Райский уголок!»

Для отдыхающих маломорское побережье Байкала ничем иным и не является: рай! Правда, удобства — «во дворе», но песок, вода, солнце и небо — райские.

— Едут, все едут! Будто там медом намазано! — ворчит дед Никита и, взяв вилы, подгоняет работников: — Хватит курить!

Оглядываясь на тучи, которые в низком небе тащит баргузин, мы начинаем новую копну...

Пару дней назад «Пазик», сверх меры набитый пассажирами, высадил меня у сворота на лыковский покос и устало покатил дальше, оставив в душе хроническую горечь неразрешенных вопросов: кто мы и что мы? куда катимся? и — почему? В любом автобусе найдется объект, притягивающий к себе взгляды попутчиков. В нашем их было даже несколько. Одна компания — две дамы в панاماх и с ними румяный парнище — обратила на себя внимание громкими возгласами. Они протестовали против «лишних пассажиров», которых водитель посадил как «своих», то есть «мимо кассы». Пока те устраивались в проходе — путь неблизкий, почти 300 километров, — одна из дам требовала немедленно высадить «зайцев», потому что «дышать нечем!» и «это не по правилам!». Но горячее возмущение не растопило ледяной невозмутимости шофера, уже прикидывавшего, по всей видимости, свой барыш.

Двадцатипятилетний Сережа, тот самый румяный «маменькин сынок», которого дамы в начале пути задержали окриками и вопросами: «Тебе удобно?», «Ты хорошо сидишь?», «Хочешь яблоко?» — был рад оказаться подальше от них и спасал меня от дорожной скуки тихо высказываемыми мечтами о рыбалке и двухнедельном загорании. Слово за слово, попутчик рассказал, чем занимается. Сережа оказался (как бы поточнее сказать?) не совсем сутенером, но именно сутенером не отказался бы стать.

Он работал на Ангарской ТЭЦ, откуда был уволен по сокращению штатов. Помыкался, но кроме частного извоза другой работы не нашел. Устроился было возить горячие обеды: доставка в один адрес — 20 рублей. Показалось мало, ведь транспорт — свой. Искал и нашел то, что его удовлетворило. Теперь Сережа доставляет клиентам не обеды, а — «девочек»: осматривает помещение, куда привозит проститутку, получает с заказчиков деньги и ждет конца «сеанса». Час работы «девочки» стоит 250 рублей. Сережин час — 50. Иногда в ожидании он проводит всю ночь, для комфорта даже одеяло в машину положил. «На хлеб с маслом хватает, — поведал он. — Но начальству достается больше сотни за час — с каждой! Выгодное дело!»

Разговор наш «сломался» после этого признания. Осталось только морщить лоб над загадками российского бытия и особенностями национального мышления: зайцев брать — «это не по правилам», а девочек по клиентам развозить — «нормальная работа» и «выгодное дело»...

Пехом с тракта до лыковского покоса минут двадцать, если взбивать пыль по колеям дороги, съевшим степную дернину до песка и камня. Достаточно времени, чтобы погадать над очередной головоломкой нашего окаянного времечка. Сей парадокс, как загадку, не имеющую ответа, я подарил двум молоденьким швейцаркам, с немецкими междометиями подпрыгивавшим на последнем сиденье «Пазика», скакавшего по дороге с резвостью и грацией пожилого козлика.

Иностранки, естественно, тоже привлекали внимание пассажиров своим нерусским видом и неистребимой наивностью. В пути мы наспех познакомились, и я по мере сил отвечал на вопросы одной из девушек, попутно выяснив, что «герлы» — студентки, отправились посмотреть Россию, для отдыха выбрали Байкал и общедоступный вид туризма и транспорта (так как франков у их сельских родителей негусто). Молоденьких мисс могли доставить из Иркутска на турбазу с комфортом «всего за 200 долларов», но они предпочли автобус за 70 рублей, чтобы лучше «познакомиться с российской культурой» (в переводе со «швейцарского» — из экономии).

«Охали» и «ахали» девчужки в основном от бескрайних просторов лесов и степей, которые нескончаемо плыли вдоль дороги, изредка разрываясь некрасивыми деревушками: «А нашу Швейцарию можно проехать за несколько часов — от границы до границы — всю!» «Русские похожи на свою землю — широкие, добрые... — и после перелистывания записной книжки, ставшей бытовым разговорником, нужное слово выговаривается старательно по слогам, — бес-ала-перные».

— Да, безалаберные, — соглашаюсь я, с глупой гордостью улавливая в только что прозвучавших звуках некую крылатую оперенность. И, уже имея представление о том, как девушки воспринимают «свой» и «наш» стиль жизни, «срезаю» их на манер шукшинского спорщика:

— Отчего в вашем «открытом обществе» люди замкнуты, а в нашем «закрытом» — ведь так называют Россию ваши газеты — открыты и доброжелательны?

Будущие фрау с постановкой вопроса согласны, но недоумевали над ответом совсем по-русски, пожимая плечами, а я уже протискивался мимо чертыхающихся («открытых» и «доброжелательных») пассажиров к единственному выходу, успев сказать напоследок «счастливого пути!» и уловить в ответ таинственное «good luck!»

Познакомившись с семейством Лыковых лет пять назад, я не сумел с ними расстаться. И прошлым летом, как будто так заведено испокон, отправился на сенокос. Глядел на них и жалился: время украсило стариков только серебряными нитями проседи, не дав им другого материального богатства. До сих пор судятся с Министерством обороны, чтобы получить компенсацию на осиротевшую внучку: военная машина с пьяным сверхсрочником убила их детей. Постарели Лыковы. Живут они, как многие сегодня, от пенсии до пенсии (деньги нередко задерживают). Надеются только на себя и огород. Помощников на покос по-прежнему привлекают и платят им деньгами. Только «праздничные обеды» баба Дуня резко сократила. «Им (мужикам то есть) хоть кол на голове теши: все думают, — если кормят, значит, и бутылку должны поставить! Обойдутся!»

Бабе Дуне года два назад, в канун Рождества, было видение: приснился ей необычный сон. Будто она во двор вышла, в навстречу — Христос. И светло вокруг, и радостно. И речет Иисус: «Церковь, порушенную на этой земле, надо восстановить».

Баба Дуня верующая. Потому без сомнений взялась выполнять святой наказ. Почти два года ушло на то, чтобы пройти — не раз, не три, а более — по всем инстанциям, от епархиального управления до областной администрации. Зато прошлой весной в их деревне открыт приход Рождества Христова, с уставом, печатью — как положено официальной религиозной организации. Районная администрация выделила православным — безвозмездно! на десять лет — половину здания бывшего райпотребсоюза, приказавшего долго жить. Батюшка сюда наезжает из областного центра раз в неделю: крестит, освящает, проводит службы. К здешним старушкам-богомолкам, несказанно обрадованным случившимся, присоединяется новая паства.

Можно судачить, было ли видение бабе Дуне или сон она приняла за видение? Но есть факты, с которыми не поспоришь (и решайте сами, как оно в самом деле случилось). Факты таковы: прошлой весной бабка раскатилась на льду и ударилась головой о стылую землю. Да так сильно, что попала в больницу. Хирург местный — хороший врач, как все провинциальные доктора, в практике рассчитывающие лишь на собственные силы, — до сих пор удивляется: «Про подобные травмы говорят так: несовместимы с жизнью. Ушиб мозга, отек, повреждение позвоночника...» Дочь бабы Дуни «растратила» на лекарства тысячи три рублей (надо было раз в десять более, но денег больше не было). А бабка отлежала в больнице недели две и — пошла: до дому, до коровы, до власти — надо! Сама она не сомневалась ни секунды: Бог спас! Еще через неделю Евдокия Гавриловна помчалась за 300 километров в областной центр — устав православного прихода регистрировать: Господи, спаси и сохрани мя...

.. С сенокосом Лыковы с помощниками управились дней за десять. Ничего тут особого не случилось, если не считать неурожая: засуха присушила траву, все сено вошло в две машины, набитые, правда, «под завязку» и более того. Остальное повторяется из года в год: косы, грабли, валки, копны, тучи, гонимые то култуком, то баргузином, азарт и усталость.

Усталость после того, как сено заняло законное место на сеновале, по традиции решили смыть водкой. Можно сказать, что выпито было — по сибирско-российским меркам — мало: две поллитры на шестерых — это только губы помочить. Но ввечеру дед Никита устроил скандал с ревом и матюгами.

Вся причина для горожанина покажется незначительной: уже программа «Время» кончилась, а корова Майка не пришла домой. Дед — за руль старенького «жигуленка»: ехать искать кормилицу! Бабка за деду: не пушу пьяного! И ведь права, штраф за это дело нынче на четыре пенсии тянет! Тут и понеслось из Никиты хуже, чем из прохудившегося мешка... Успокоили его лишь обещанием через 15 минут поехать на поиски с трезвым соседом. Но корова пришла сама. Так о чем скандалили?

Дело в том, что на поиски кормилицы дед Никита рвался не случайно и не по пьяной прихоти: прошлой весной у Лыковых на выпасе подстрелили бычка. Хорошо, что соседи спугнули бандюг, старики успели хотя бы мясо сохранить для себя. Но это ж одно название «сохранить»: в деревне, даже и голодая, не будут скотину в жару

резать, мясо пришлось срочно продавать, не «по цене», а лишь бы сбыть... На зиму Лыковы остались ни с чем.

«Мясной бизнес» на ворованной скотине меж тем процветает: деревни стонут, милиция ищет, воры свищут.

Должен, наверное, объясниться с читателем: не я виноват, что мои описания деревенской жизни «перепутали» тысячи с рублями. Но переводить прежние «миллионы» в нынешние «деноминированные» не стал: сия денежная бестолковщина — тоже примета времени.

Так вот, о деньгах. На этой дорожке, что ведет к теплому блюдцу Малого моря летом, а ранней весной к омулевой подледной рыбалке, наблюдал с год назад типичную для России картину: деревянные километровые столбики — вполне приличные еще — выковыривали из земли, меняя их на железные трубы с жестяными табличками. Пустая, ничемная работа! Ведь сама дорога сколько лет уже строится, строится, строится и все не покроеся асфальтом до конца. Возвращаясь с сенокоса, заметил: там, где продлевают дороге жизнь, выдергивают из земли уже новые километровые указатели. Или денег нам девать некуда?

Может быть, и некуда, потому что нечего — нет их в деревне. Вот пример: про корыстолюбие водителей здешних междугородних автобусов можно анекдоты слагать — если есть возможность «зайца» мимо кассы провезти, они свое сиденье уступить готовы, а деньги за билет (70 рублей до города прошлым летом проезд стоил) — в собственный карман. Но то ли люди добрее становятся или происходит что в подлунном мире? Одним словом, картина такая была. Тормознули автобус мальчишки с ведерками, просят:

— Возьмите до Осиновой!

— За пятерку доведу! — шофер отвечает.

— У нас нет денег, совсем нет...

— Почему? — вопрошает водитель и, довольный собой, разрешает: — Садитесь уж...

Пацаны, и бабы, и даже мужики (с ведрами и корзинками — голубика созрела!) заполнили проход автобуса. Километров двадцать проехали они с нами до ягодных мест. И — удивительно! — шофер ни рубля не спросил с деревенских попутчиков. Наверное, и сам знает: взять с них нечего.

А другие «зайцы»... Что ж, они — были, и с ними — как всегда.

На перевале, в традиционном для отдыха месте, автобус остановился. Пассажиры разбрелись по лесу: женщины — налево, мужчины — в другую сторону. А я устал в вывеску, которой прежде не было: «Сауна «Пивной рай». Для кого рай — для «крутых» и «бритых»? Предприимчивые ребята, торгующие здесь шашлыками, деньги попусту тратить не станут. Если решили расширить свой бизнес, значит, есть спрос, летом Байкал притягивает всех и всяких. Горожане и иные отдыхающие, спешащие набраться сил, завидуют людям, живущим здесь — как в раю. Невдомек им, что в двух шагах от рая совсем не райская обитель.

Совпало, наверное, так, что граница Ольхонского района расположилась на самом перевале — «святом» бурятском месте: они здесь «брызгают» Бурхану — понемножку выпьют, безмянным пальцем левой руки капают водку на четыре стороны света — шаманят. Русские здесь тоже пьют. Иные без меры (впрочем, меры уже никто не знает, и буряты — тоже). На ветвях деревьев каждый год прибавляются скромные подношения — тряпичные лоскутки. На стеле с именем района обвалилась заглавная буква, и район теперь называется «...льхонский». Металл, из которого выполнены буквы, уже напоминает частое сито: то охотники после «брызгания» меткость пробуют. То есть одной рукой вяжут тряпочку байкальскому богу, а после из двух стволов в этого бога пуляют. Чем не российская удалая гульба?

Автобус, чихая и кашляя двигателем, начал спускаться в Баяндаевскую долину, сплошь затянутую тучами и туманом, — как в неизвестность. И никто в нем не знал ответа на голголевский вопрос: куда летит птица-тройка?.. Нас еще ожидал новогодний сюрприз от Бориса Николаевича Ельцина и его просьба о прощении. Впереди были выборы нового президента России и неведомая нам жизнь. Какой бы она ни была, а пшеницу сей и на сенокос собирайся.

...В Иркутске жена выполнила наказ бабы Дуни, собрала Наталку в школу. Учебники, обутки, скромный костюмчик обошлись почти в полторы тысячи рублей. Посылку в деревню мы передали со знакомыми, которые ехали на Байкал отдыхать.

*Иркутская область*

## Финал «Двенадцати» — взгляд из 2000 года

О финале знаменитой поэмы А. Блока «Двенадцать» — явлению Христа перед бредущим сквозь вьюгу отрядом красногвардейцев — писали за минувшие восемь десятилетий множество крупнейших поэтов и прозаиков, философов и литературоведов — от Г. Иванова до о. Павла Флоренского, от М. Пришвина до о. Сергия Булгакова, от Л. Гумилева до Б. Гаспарова и Г. Померанца. Литература о поэме огромна, но на каждом витке отечественной истории споры возобновляются с новой силой. Как известно, сам Блок писал, что ему пришлось закончить поэму так, как он ее закончил, что он «нехотя, скрепя сердце — должен был поставить Христа» (подчеркнуто Блоком). В дальнейшем его отношение к своему созданию менялось, от «сегодня я — гений» до просьб к жене во время предсмертных мучений уничтожить все экземпляры поэмы. Был ли действительно финал «Двенадцати» «органичным, продиктованным вдохновением, всей логикой поэмы», как пишет в своей статье «Да, так диктует вдохновение...» (Явление Христа в поэме Блока «Двенадцать») («Вопросы литературы», 1994, вып. VI) Л. Розенблюм? Или то, что заставило Блока поставить во главе отряда красногвардейцев Христа, следует назвать не вдохновением, а чем-то иным? Допущена ли здесь по-этом «духовная неточность» (Г. Померанц) или даже мы имеем здесь «предел и завершение блоковского демонизма» (о. Павел Флоренский)? Что имел в виду Блок, когда писал: «страшная мысль», «страшно», что «опять Он»? Когда утверждал, что «надо, чтобы <там> шел Другой»? Кто Другой — Святой Дух, как утверждает Л. Розенблюм, или Антихрист, как полагал А. Якобсон? Или финал «Двенадцати» вообще следует понимать совершенно по-иному — как преследование красногвардейцами (движимыми волей Антихриста) Иисуса (такая точка зрения представлена в статье Л. и Вс. Вильчеков «Эпиграф столетия» — «Знамя», 1991, № 11)? И, наконец, как мы можем понять финал «Двенадцати» сегодня, на рубеже двух веков и двух тысячелетий, когда понемногу происшедшее в России в 1917 году перестает быть горячей раной и встраивается в наше сознание в сложную цепь определяющих событий отечественной и мировой истории?

### Сергей Аверинцев

Н.И. Гаген-Торн вспоминала эпизод чтения поэмы в Вольфиле, на Фонтанке (читала, собственно, Любовь Дмитриевна, однако в присутствии Блока):

«Кто-то спросил неуверенно: «Александр Александрович, а что значит этот образ:

И за вьюгой невидим,  
И от пули неведим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди — Иисус Христос?»

— Не знаю, — сказал Блок, высоко поднимая голову, — так мне привиделось. Я разъяснить не умею. Вижу так».

Я думаю, что выразившееся в этом ответе авторское недоумение хотя бы отчасти выгодно отличает поэму Блока от однозначной идеологической позиции, артикулированной в ту же пору Андреем Белым, Ивановым-Разумником и т.п. «Россия, Россия, Россия — / Мессия грядущего дня!» — поток подобных возгласов не предполагает никаких недоумений, тут нет вопросов, как нет их в есенинской «Инонии». Конечно, образность «Двенадцати» сильно окрашена в цвета того же круга идей: скажем, за старообрядческой формой «Исус» — явственное противопоставление скитского «сжигающего Христа» народных ересей церковному «Иисусу». И все же Блок не становится, так сказать, на амвон для лжелитургических возгласаний; у него другая осанка, он смотрит, он вглядывается в то, что ему «привиделось».

Перед нами вопрос, на который Блок не ответил. Читатель может, если захочет, попробовать дать свой ответ. Амплитуда возможных ответов довольно широка. Нужно только учитывать две ее границы — с одной и с другой стороны.

Во-1-х, нет ни малейшей возможности не учитывать антихристианской константы блоковского творчества, с такой силой выраженной, скажем, в стихотворении «*Не стыят, не полмят, не торгуют...*». Как само собой разумеется в кругу его культуры, константа эта была более или менее ницшеанской. Кстати, должен сознаться, что загадочная строчка про «*белый венчик из роз*» у меня лично вызывает ассоциации с «*венцом смеющегося, этим венцом из роз*», возникающим под самый конец раздела «*О высшем человеке*» в IV части «*Так говорил Заратустра*». А что, разве в этом плясовом ритме дионисийских 4-стопных хореев — «*И за вьюгой невидим, / И от пули неведим...*» — нет смеха, скажем, того *долгого смеха*, которым заливается вьюга? (Недаром хорей свое имя получили от пляса.) Как известно, живописец Петров-Водкин говорил Д.Е. Максимову: «*Я предпочел бы, чтобы там был просто Христос, без всяких белых венчиков*» (Блоковский сборник II, Тарту, 1972, с. 121, прим. 98). Не он один предпочел бы так. Но Блок записывал в дневнике 20 февраля 1918 года: «*Страшная мысль этих дней [...] именно он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой*». И кто же не помнит из Блока про «*колокол антигуманизма*» или его удовлетворение, вызванное гибелью «Титаника», наконец-то удостоверившей, что *океан еще существует*? Вне такого страстного отношения к катастрофическому началу как единственному способу, которым стихия может напомнить о себе, «Двенадцать» вообще непонятны. Но матросня, при всех своих ужасных свойствах предвещающая все-таки скорее Кронштадт, чем советскую диктатуру, — именно «*стихия*», именно «*колокол антигуманизма*».

Во-2-х, наши догадки должны быть ограничены и с противоположной стороны: если читатель вправе увидеть на соответствующем месте именно *Другого*, т.е. Антихриста, он не вправе увидеть в Блоке что-то вроде пророка и поборника Антихриста, и это совсем не из политкорректности по отношению к поэтам, но по существу дела. Приспешники Антихриста не задают нам вопросов, хотя бы самых тяжелых, самых смутных, а занимаются совсем иным делом: внушениями, не оставляющими места ни для каких вопросов. Блок всматривается в то, что ему, по его же выражению, «*привиделось*», и старается сказать нам об этом, избегая вмешательств в привидевшееся, даже тогда, когда вроде бы «*надо*», чтоб было не так. Он не лжеучитель, потому что вовсе не учит. Должен сознаться в наивности, если это наивность: когда поэт на вопрос о его интенции свидетельствует: «*Не знаю*», — я предпочитаю совершенно дословно верить такому свидетельству (не только в случае Блока, но и в случае, например, Мандельштама, поэта совсем иного склада). Тот, кто понимает, что поэт — не учитель и не лжеучитель, не пророк в библейском смысле, но и не лжепророк, а скорее тот, кто силой своего искусства объективирует «*привидевшееся*» и дает нам шанс избавиться от наваждений, — едва ли рискует власть в соблазн. А у кого есть тенденция обезьянить в себе самом то, что представил ему поэт, тому лучше бы вовсе не читать изящной литературы — не только таких авторов, как Блок, но даже благоразумнейшего Гете, чей «Вертер», давший самому автору возможность справиться с собой и благополучно дожить до девятого десятка, подтолкнул, говорят, иных юнцов к подражательным самоубийствам. Что делать, поэт видит сны добрые и недобрые, но видит — за всех. Слава Богу, возможно в акте имажинативного сочувствия понять чувства Блока по поводу «Титаника» — и продолжать от всей души молиться об отвращении *труса, потопа, огня, меча, нашествия языков иноплеменных и междоусобные брани...*



## Константин Азадовский

### Белое и красное

О своеобразии блоковского Христа в финальных строчках «Двенадцати», его непохожести на традиционного христианского бога, о его женственном, «феминизированном» облике, имеющем связь с циклом ранних стихов о Прекрасной Даме, о богоскитательстве и богоборчестве самого Блока написано достаточно. Вполне изучена и литературная традиция, толкующая Христа как революционного мученика, идущего на смерть ради обновления жизни.

Не раз отмечалось также, сколь значима в поэзии Блока символика цвета. В особенности это следует сказать о белом и красном. Уже в «Стихах о Прекрасной Даме» (эта первая книга Блока более других отображает глубинные пласты его духовного мира) мерцают, переливаясь друг в друга, оттенки этих цветов. Белизна (традиционный символ святости, чистоты, девственности) — одно из «ключевых» словопонятий у Блока, как и у других символистов-«соловьевцев» (Андрей Белый, Вячеслав Иванов). «Но будут все те же белые думы над другими цветами», — пишет Блок о господстве белого цвета своей невесте Л. Д. Менделеевой 14 июня 1903 года. Белому цвету у Блока сопутствует, как правило, красный — цвет «горения», «земного» влечения к Единственной («Ты горишь над высокой горою...»). Любовь преломляется как нерасторжимое единство двух вожделей — молитвенного и чувственного. «Пою, пламенею, молюсь.» Это сотканное из противоречий, но внутренне целостное состояние передается в блоковском творчестве постоянными «вспышками» то красного, то белого цвета; возникают и слитные «красно-белые» образы, своего рода оксюмороны, *contradictio in adjecto* типа «белый огонь» («Станных и новых ишу на страницах...»).

Двуединство полюсов собственной души, символически запечатленных белым и красным, — один из сокровенных, «интимных» аспектов блоковского мифа. Поэт напряженно искал эпитетов, способных передать органическое родство обоих цветов, привнося в свою поэзию то «золотой», то «заревой», то «розовый» отблеск. «Моя Огненная Царевна, Мое Зарево»; «Твоя Розовая Тень — Твоя», — писал он Любви Дмитриевне; «Розовая девушка встала на пороге» — из стихотворения «Просыпаюсь я — и в поле туманно...»; и т. д. Зародившись в эпоху Прекрасной Дамы, бело-красные тона (в различных оттенках) озаряют поэзию Блока вплоть до последних лет его жизни.

Именно в таком цветовом облачении предстает Блоку и Дева-Свобода в эпоху 1905 года: «вольная дева в огненной плаще» (из стихотворения «Иду — и все мимолетно...»), она же — «белая дева» («Я Белую Деву искал» — стихотворение «Бред»). Чувственный и мятежный порыв для Блока — тождественные состояния («Ты думаешь — нежная ласка, / Я знаю — восторг мятежа»), «дерзновенные» и губительные по своей природе, но одновременно «страстные» импульсы, влекущие в «пропасть» (поэту свойственно было тяготение к «року»!), равно как и отмеченные особой святостью. Мистика любовного экстаза и мистика всенародного мятежа переживалась Блоком, бунтарем и богоборцем, в одном ключе, и для выражения этого чувства он варьировал разнообразные цветовые решения, опять-таки преимущественно в красно-белой гамме. В эти цвета окрашена, например, вся «мятежная» блоковская лирика 1906–1907 годов: «снежный огонь», «снежный костер» («И взвился костер высокий / Над распятым на кресте»).

«Пожар метели белокрылой» (из стихотворения «Предаюсь») — таков лирический пейзаж «Снежной маски» (1907). Тот же пейзаж господствует и в «Двенадцати». Вьюга, снежная метель, ослепительная зимняя «белизна», и на этом фоне — революционный «пожар», бушующая социальная стихия, народный бунт. Подобно тому как «Стихи о Прекрасной Даме» соединяют в себе «высокое» и «низкое», религиозное чувство и жгучую чувственность, «белое» и «красное», точно так же и поэма «Двенадцать» передает это характерное для блоковского трагического дуализма ощущение нераздельной слитности Истины и Лжи, Космоса и Хаоса, Пути и Беспутьства, Бога и Дьявола, Христа и Антихриста. Все эти, казалось бы, антиномии уравновешены в мифопоэтическом космосе Блока и воплощены в загадочной, призрачной фигуре, шествующей по кровавому снегу впереди белых (от вьюги) красноармейцев.

«Белый венчик из роз», явственно соединяющий в себе оба символических цвета, дословно повторяет (на это обращали внимание едва ли не все интерпретаторы по-

эмы) начальные строки одного из блоковских стихотворений 1907 года: «Вот Он — Христос — в цепях и розах — / За решеткой моей тюрьмы. / Вот Агнец Кроткий в белых ризах...». Немало сказано и о том, что блоковский Христос напоминает подчас русского раскольника-самосожженца, готового принять «красную» огненную смерть. Реже вспоминаются строки более далекого от «Двенадцати» стихотворения 1902 года: «О легендах, о сказках, о тайнах. / Был один Всепобедный Христос...». Да, *один* Христос (в «розах» и «белых ризах»), *одно* «имя» и *один* «призрак» — другого Блок, собственно, и не знал. И потому завершить свою поэму о вспыхнувшем в России революционном пожаре он должен был, естественно, только этим — никаким другим! — образом.

Поэма «Двенадцать» долгое время воспринималась как «революционная», что до известной степени справедливо; но именно этот общественный резонанс приглушил для многих современников Блока, вовлеченных в водоворот роковых событий, ее более глубокое, подлинное и трагедийное звучание. Фигура Христа в финале поэмы, ведущего под «кровавым флагом» двенадцать «красных апостолов» и тем самым освящающего террор и убийство, казалась немислимым кошунством. Конечно, так и есть, если взглянуть на «Двенадцать» в исторической перспективе. Однако «Двенадцать» — произведение историческое лишь на поверхности. Ибо история растворена здесь в мифе. «Двенадцать» — блоковский, и не только блоковский, романтический миф о торжестве иррационального («музыкального», сказал бы Блок) начала, о неотвратимой гибели «гуманистической» культуры и личности перед натиском «массы», апофеоз торжествующей и неудержимо влекущей «стихии», разгул чувственных «дионисийских» сил, выплеск «азиатского» или «скифского» в русском народе, свободный, раскованный язык «уличной толпы» (отсюда и карнавальная стилистика, наложившая свой отпечаток на внешность поэмы). «Двенадцать» — произведение итоговое для Блока, вырастающее из его мучительных народнических и народолюбивых исканий и сокровенных мыслей о «народе» и «интеллигенции», о «кризисе гуманизма». Не случайно, что и позднее, между 1918 и 1921 годами, Блок, осознавший и на себе испытанный весь кошмар большевизма, никогда не отказывался от «Двенадцати» — не мог отречься от самого себя и своего «жертвенного» самоощущения («Я сам иду на твой костер»).

«Белый венчик из роз» — мистическая белая роза (святая кровь) — таков завершительный образ «Двенадцати»: ключ к толкованию этой поэмы, более «религиозной», нежели «революционной». А еще точнее — религиозно-бунтарской, «по-блоковски» соединившей в себе святость и святотатство, белое и красное.

«... Ты — Певучая, Ласковая, Розовая — без имени и в венце из имени: Любовь». Эти слова Блока относятся к 1903 году и обращены к невесте. В том же ореоле открылась ему через пятнадцать лет и «тайна» русской революции — в том же бело-розовом венчике и с тем же «всепобедным» единственным именем: Христос — Любовь.

## Владимир Александров

### Откровение Александра Блока

Если вернуться к первому слагаемому хронотопа «Двенадцати», ко времени действия поэмы, то разве только ленивый не повторил, что двенадцать — это канун, рубеж, полночь. Но никто не задал себе вопроса: а кто, собственно, приходит в полночь?

А ведь этот вопрос был задан Христом. И любому человеку, изучавшему историю русского символизма, несомненно, памятливы напряженные бдения «аргонавтов», Андрея Белого, да и Александра Блока, ожидавших в первые годы XX столетия Пришествия и веривших, что так оно и будет. «Жених грядет во полунощи».

Ожиданием, предчувствием мистического Прихода исполнена вся ранняя лирика Блока. О том, что эти переживания не были индивидуальными, свидетельствует Андрей Белый: «Почти у всех членов нашего кружка с аргонавтическим налетом были ужасы — сначала мистические, потом психические и наконец реальные». Появление

---

Александров Владимир Юрьевич, кандидат филологических наук. В настоящее время редактор студии познавательных программ телеканала «Культура».

на небосводе в начале 1901 года новой звезды воспринималось как откровение: «звезда — та самая, которая сопровождала рождение Иисуса младенца». Белый задумывает и начинает работать над мистерией «Антихрист», за которой стоит его убеждение в том, что «конец все-таки близок относительно — ближе, чем думают. Если «Жених грядет в полунощи», то кто грядет к 11½ часам? Я знаю кто...»

Но когда полночь пробило на часах блоковской поэмы, и Жених пришел, все удивились и ужаснулись и шарахнулись от Блока. Все, за исключением поэтов, и в первую очередь Андрея Белого. Он тоже ждал пришествия, но истолковал его по-своему, отозвался поэмой «Христос воскрес», ибо был преисполнен не трагическим блоковским ощущением конца, а куда более оптимистической надеждой на наступление новой эры Третьего Завета. В явлении Христа он увидел обещание Воскресения России. И парадоксально, что философ Белый был в этой ситуации бесконечно менее реалистичен и даже прагматичен, нежели оглашенный Блок.

Но гибель блоковской Катьки Белый тоже понял как завершение, может быть, главной темы Александра Блока: «А «Прекрасная Дама» была «Незнакомкой», «Проституткой» и даже проституткой низшего разряда, «Катькой». Он понял всю трагичность свершившегося в судьбе Блока, но не хотел принимать случившегося. Белый знал, что «Двенадцать» и «Скифы» были последними сполохами жизни Блока, за которыми наступила тишина, молчание и смерть, но, вероятно, и сам испугался этой отчаянной пропасти, несомненно, манившей его самого. Разница была весьма прозаична: Белый хотел жить, а Блок уже не мог.

Весь январь 1918 года Блок готовил себя к большой работе. Это был месяц Эрнеста Ренана и его «Жизни Христа». Вдохновленный Ренаном, Блок расписывал в дневнике план пьесы о Христе, много думал о предательстве Петра, миссии Андрея и, может быть, больше всего о Марии Магдалине.

Атеистически настроенный в период работы над «Жизнью Христа», Ренан несколько не сомневался в историчности фигуры Иисуса, но не признавал факта Воскресения. Для него «воскресение» являлось следствием видения не в меру экзальтированной Магдалины, сумевшей внушить окружению Христа веру в истинность своих откровений. По Ренану, воскресший Иисус был мифом, рождением своим исключительно обязанный Марии из Магдалы.

«Все прекрасное — трудно», — по-древнегречески записал тогда Блок в своем дневнике. Здесь не место и не время обсуждать религиозность Блока. Мифотворчество составляло самую суть его натуры как художника и человека, а высшим проявлением его Блоку виделось начало женское — София, Вечная Женственность.

Поэтому в книге Ренана он увидел блестящее подтверждение своим сокровенным мыслям. Пусть Христос только миф, но и в основе этого, быть может, самого жизнеутверждающего мифа лежит его, Александра Блока, выстрадавшая Душа Мира.

«А воскресает как?» — мучительно спрашивает себя поэт. Это единственная вопросительная конструкция во всем развернутом плане пьесы о Христе. Планирует поражает своей приземленностью и прозаичностью. «Дурак Симон с отвисшей губой», «Андрей (Первозванный) — слоняется», «Фома (неверный) — контролирует», «Апостолы воровали», «Загаженность, безотрадность форм, труд» — таковы тезисы этого замысла пьесы о чуде. Да, «Христос — художник», но и этого недостаточно, поскольку, по Ренану, Воскресения не было. Остается «Красавица Магдалина».

И тут же в замысел пьесы врывается революция. «Нагорная проповедь — митинг», Фому «надули (как большевики)», у Иуды «лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого».

И вот вместо задуманной пьесы, на месте задуманной пьесы, формально за три недели, а фактически за два дня появляется «Двенадцать».

В те самые вьюжные дни в Петрограде, в столбушках и воронках снега, в которых дотошные исследователи разглядели инициалы Сына Божьего, Блок увидел самого Христа. И пришло время поэмы.

Поэмы не о чуде, а о принципиальной невозможности чуда. Смерть Катьки, главной и единственной в поэме носительницы творческого начала, отрицает даже надежду на некое соиздание, а тем более Воскресение.

Было бы заманчиво в духе вульгарного социологизма ухватиться за апостольские имена персонажей и, сотрясая кулаками трибуны, громить клерикалов и церковь руками Петра, зиждителя той самой церкви, уничтожившего Марию (разумеется, Марию: в пьесе «Незнакомка» так звали падшую звезду и падшую женщину; а Катька не сестра ли ее плоть от плоти?), а вместе с ней и надежду на Воскресение, Второе Пришествие, уподобив тем самым Петра Великому Инквизитору (именно Петра, а не

«победившего» Христа «Двенадцати», о схожести которого с Великим Инквизитором размышлял Евгений Замятин). И основания для этого есть, поскольку к церкви Блок относился, мягко сказать, скептически, и в Апостольстве не признавал продолжения, достойного Учителя.

Но, как представляется, дело здесь не в этом, а вернее, не только в этом. Смерть Катьки в мироощущении Блока настолько масштабна, что знаменует собой и гибель Церкви как института, как традиции, как истории. В «Двенадцати» Блок мыслит космически: смерть мифотворца, невозможность Воскресения означают и невозможность прекрасного. Красота призвана спасти мир, и без нее мир тоже обречен.

Л. Розенблюм пишет: «Поэт был далек от аналогий между революцией и апокалиптическими сюжетами». Но Блок не проводил аналогий, он их пережил. Он сам кричал с писателем «Погибла Россия» и сам осознавал, что погиб вместе с ней. Вместе с унесенными ветром людьми стихия разрушает и литературу, дворянство, Церковь.

Но ей этого мало. Она уносит сам дух жизни: мифологию и религию. Это катастрофа вселенского масштаба. И часовые стрелки неумолимо приближаются к последнему рубежу, к полуночи.

Явление «Двенадцати» абсолютно закономерно в поэзии Блока. Поэт, как романист-виртуоз, сводит воедино все сюжетные линии своего творчества и судьбы. Путь «вочеловечивания» оказывается тождествен пути на Голгофу, и парадоксальным образом именно эта тема примиряет многие, казалось бы, противоположные суждения о поэме, отрицая лишь самые крайние. В «Двенадцати» присутствует даже «самообожествление», но только в значении, прозорливо указанном Борисом Эйхенбаумом еще в 1918 году: «Я вижу, что Блок распинает себя на кресте революции, и могу взирать на это только с ужасом благоговения».

Но, впрочем, все же речь идет о мифологии Блока. В «Двенадцати» вместе с Катькой гибнет мифотворческое начало как его понимал именно Блок. Поэт разрушал себя, свой мир, и это было универсальное разрушение.

«Медный всадник», — все мы находимся в вибрациях его меди», — записывает Блок 26 марта 1910 года. Общеизвестно, что к началу XX века именно конная статуя Петра стала олицетворением мифа о Петербурге. Мифа, в прямом и переносном смысле сотворенного Екатериной. «Petro Primo — Catharina Secunda», — гласит надпись на монументе.

Миф о Петербурге не мог быть не близок Блоку, петербуржцу до мозга костей. Это очень блоковский миф, поскольку творцом его тоже выступило женское начало: Екатерина, Катька, императрица, прославленная не только своей венценосной природой (даже в описании Катьки присутствует некое условное портретное сходство: «Ах ты, Катя, моя Катя, Толстоморденькая»). Ее деяние для поэта более значимо, нежели творческий акт самого Петра, создавшего город. Поэт не забудет пророчества «быть сему месту пусты». Воздвигнутый наперекор стихии, от стихии и погибнет.

И Петька убивает Катьку. Убивает мифотворца, а стало быть, Петербурга тоже более не существует.

Что может быть дальше? Для Блока — только немота и смерть. Ничего.

Или Страшный Суд.

Суд, на который Александр Блок обрекает самого себя. Смертный приговор, который он выносит самому себе. Если это даже отречение от гуманизма, то только по отношению к себе. От христианства? Но говорил Иисус: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Не знал его и Александр Блок, но поэт знал. Знал, что в полуночи русской революции грядет Жених.

«Двенадцать» — апокалиптическая поэма, а потому, быть может, самое религиозное произведение Александра Блока.

## **Николай Богомолов**

Сама ситуация, когда современный журнал, ориентированный на литературную злостность, решил обсудить смысл поэмы, появившейся более восьмидесяти лет назад, очень показательна. Значит, «Двенадцать» и ее финал до сих пор воспринимаются как что-то очень актуальное, не потерявшее действенности. Но суждения по этому поводу могут быть очень разными.

Мне кажется, что сперва нужно сделать одну очень простую вещь: определить, чем поэма НЕ является. И тогда мы непременно должны будем вычеркнуть из списка предлагаемых вопросов очень многие, потому что, откровенно определив для себя суть «Двенадцати», мы сделаем невозможными разного рода спекуляции. Так вот, давайте договоримся хотя бы между собой, что блоковская поэма — не богословский трактат и не политическая прокламация. Тем самым сразу отсекается множество интерпретаций, основанных на подобном подходе, и остается единственный, банальный, но часто забываемый подход к произведению: перед нами ИСКУССТВО, далекое как от сиюминутной актуальности, так и от философских спекуляций. Мир поэмы построен по своим собственным законам, которые только и могут быть предметом изучения. Как бы я сам ни относился к октябрьскому перевороту, Учредительному собранию, красногвардейцам, священникам и прочим персонажам и обстоятельствам, попавшим в поэму, я должен это забыть и постараться понять, как к ним относился Блок. Потому споры о том, Христос или Антихрист фигурирует в конце поэмы, ведет он отряд или становится мишенью для выстрелов, будут иметь смысл лишь в том случае, если у нас есть данные, как трактовал поэму сам автор. Но даже и тогда мы должны держать в памяти, что его интерпретационные возможности могут быть ограниченными, что художественное сознание глубже и серьезнее взглядов Блока-человека.

А посмотрев на поэму с этой стороны, мы, мне кажется, неизбежно должны будем понять, что она основана не на стремлении ответить на вопрос, который Мережковский задавал первому встречному: «С кем вы, с Христом или с Антихристом?» — и не на желании получить какие-либо политические дивиденды, а на особом роде видения той действительности, которая была перед Блоком в первые дни восемнадцатого года.

Вспомним, что с момента революции прошло всего два с небольшим месяца, и никто еще не подозревал ни о довольно скорой реставрации империи, ни о создании машины человеческого уничтожения, ни о гибели естественных для тогдашнего человека форм культуры. Было только ясно, что старого мира больше не существует, от него остались лишь бесформенные обломки, реставрировать которые никто не собирается, — а никакого нового мира еще нет, он существует лишь как разрушающее, чисто деструктивное начало. Еще нет никакого исторического опыта. Все начинается с нулевой отметки. И фигура Христа становится тем спутником событий, который миновать невозможно, ибо именно он был сутью и смыслом всей предшествовавшей эры, растянувшейся на 1917 лет.

Думаю, что большего мы сказать о Христе в поэме не можем, не впадая в гипотезы, порождаемые нашим собственным, а не блоковским сознанием. Неясная тень, идущая перед двенадцатью вооруженными людьми, воплощается в Его фигуру прежде всего потому, что осеняет всю христианскую эру, которой, возможно, приходит конец. И потому, как бы сам Блок ни относился к Христу, как бы жестко ни говорил о «женственном призраке» и своей ненависти к нему, обойтись без него невозможно.

А вот споры о том, благословляет или прокликает Христос все происходящее в поэме, мне представляются бесполезными. Ответить на подобный вопрос Блок не мог бы, да и не хотел. Для него важна именно символическая наполненность образа, где смыслы принципиально неисчерпаемы. Привести их к какому-либо одному знаменателю — значит не понять логики поэтического мышления Блока ни в малейшей степени. Для него существенны именно все без исключения значения, которые приходят и потенциально могут прийти в голову читателю, и выбрать только одно из них невозможно.

Вообще, мне кажется бесперспективным давать какие-либо нравственные оценки персонажам поэмы и оценивать ее сюжет как важнейший элемент смысла. Для Блока существенно не осудить или благословить происходящее, а зафиксировать его. Здесь нет ни суда над героями, ни тем более приговора им. Полифония голосов, разрываемых снежной метелью, не может быть сведена к одному-единственному знаменателю.

Конечно, произнося слово «полифония», я невольно апеллирую к авторитету Бахтина, с которым читателю Блока нужно и соглашаться, и спорить. Соглашаться в том отношении, что большая часть словесного ряда поэмы лежит вне авторитарной авторской речи, она отдана материально не выраженным, но от этого не перестающим существовать неавторским голосам. Не соглашаться с тем, что, по Бахтину, подобная позиция автора как высшего смыслового начала возможна лишь в прозе, а поэзия непременно монологична. Блок именно и рассчитывает на эффект независимости реплик от своего собственного сознания, делает многообразные голоса основой художественного мира поэмы. Голос же собственный он бережет, разрешая ему прозвучать прежде всего в двух смысловых рядах: с одной стороны, это описание вьюжной снежной ночи,

ветра, пурги, а с другой — те самые финальные строки, которые стали предметом внимания в ходе нынешнего обсуждения. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что все события, происходящие в поэме, принадлежат действительности, существующей вне автора. Ему же самому отведена роль фиксатора этой реальности (вспомним, как он убрал из поэмы строчку «Юбкой улицу мела» на том основании, что у нынешних проституток юбки короткие, — фактическая правда была ему чрезвычайно дорога), преображенной порывами ветра в набор отдельных и неизвестно кому принадлежащих реплик, а также — создателя завершающего и объединяющего все повествование символического образа, которым и стал Христос как знак всей грандиозной исторической эпохи, существование которой теперь, в эту январскую ночь, было поставлено под сомнение.

Думал ли в это время Блок о грядущем Третьем Завете? Надеялся ли на возвращение Того, Кто невидимо показался на петроградской улице? Принял ли за Христа Его антипода? Мы можем только сказать, что прямого ответа в поэме на эти вопросы, как и на многие другие, нет. Блоку важно было увидеть и услышать происходящее, связать его с историей нашей эры, введя тем самым в глобальный контекст, а не дать ответ сиюминутный, который забылся бы уже на следующий день.

Увы, большинство не только толкователей поэмы, но и тех, кто претендует на создание чего-то подобного в современной литературе, видят прежде всего именно сиюминутность, на словах помня, а на деле забывая про вечный смысл, изначально заложенный в ней. Не буду говорить про нечаянно-пародийную поэму «Тринадцать», отмечу лишь полную неудачу всей современной литературы в передаче смысла происшедшего с Россией за последние годы. Не могу предоставить себе, чтобы кто-либо из нынешних писателей мог сказать о своей книге: «Сегодня я гений!» Блок же сказал и оказался прав.

И в самом конце, уже на правах реплики в сторону организаторов заочного «круглого стола». Говоря о Блоке, мы имеем дело с материалом давно историзованным, где есть ряд неопровержимых истин. Потому вряд ли имеет смысл в качестве существенного мемуарного свидетельства привлекать «Петербургские зимы» Георгия Иванова, столь часто мифологизировавшего события до полной неузнаваемости. И вряд ли стоит так уверенно говорить, что о. Павел Флоренский был автором статьи, рассматривающей «Двенадцать» с точки зрения православия, — существует довольно много доказательств того, что работа эта вышла совсем из другого круга.

## **Николай Котрелев**

Самое интересное, что было говорено о «Двенадцати» в последние двадцать пять лет, развивало наблюдения Ю.М. Лотмана и Б.М. Гаспарова, зафиксировавших формирующую связь поэмы с фольклором и ранними явлениями «массового искусства» (фантастическим образом, из множества фактов текстуальной зависимости и важнейших структурных и семантических схождений поэмы и колядок, балаганных сценариев и т.п., указанных этими и другими исследователями, почти ничто не нашло отражения в комментариях к «Двенадцати» в пятом томе «академического» собрания сочинений Блока). С тем, что на глубинных уровнях поэтика «Двенадцати» питается «карнавальными» истоками, спорить не имело смысла даже в тот памятный вечер, когда на третьей Блоковской конференции в Тарту был прочтен доклад Гаспарова и Лотмана. Однако далеко не все в «Двенадцати» можно понять и изъяснить при этом подходе, поскольку поэтика и тематические блоки архаичных и низовых жанров для поэмы всего лишь воспроизводимый, обыгрываемый образец и материал, на которых строится произведение, отнести которое к «карнавальной культуре» невозможно. В поэме живет «карнавальное слово», но для породившей его культуры это только инобытие, перенесение в несобственное пространство. Разумеется, появление Христа во главе святочного шествия необходимо мотивируется, как и показал Б.М. Гаспаров, именно тем, что это шествие, славящее Рождество Христово. Но эта внутрижанровая мотивация ничего не говорит нам о том финале поэмы, который разорвал на два непримиримых лагеря читателей, который и самого поэта мучил религиозной и историософской неразрешенностью, представляясь вполне «серьезным», «амбивалентным» и «карнавальным» только в пределах развития сюжета, не обретая необходимой разрешающей способности вне собственно литературной конструкции. Если перед коляду-

ющими красногвардейцами-разбойниками-апостолами всего лишь праздничный вертеп, то и анкета «Знамени» смысла особенного не имеет. Несомненно, сознание читателей (уже в восемнадцатом году многим были понятны жанровые индукции поэмы, и безусловно всем, кто слышал в ней кощунство, они были вняты) не мирится с редукцией «Двенадцати» к «карнавалу».

Кто есть «Исус Христос» последней строки «Двенадцати», понять можно, только выйдя за пределы поэмы, в рамках произведения высшего уровня, каковым является наследие Александра Блока в целокупности. В таком случае речь должна перейти в план рассмотрения религиозности Блока и его отношений с христианством. Строгая статья 1927 года «О Блоке», — в нашем разговоре нет разницы, принадлежит ли она о. Павлу Флоренскому или о. Федору Андрееву, — в своих основных выводах вряд ли может быть оспорена. Но всякого рода уточнения и дополнения в ее развитие необходимы и желательны.

Мне кажется, можно было бы говорить о сродстве поэтики Блока архаичным приемам порождения текстов, позволявшим встраивать в актуальные культовые (но и в летописные, но и в «художественные») структуры такие прежде существовавшие тексты, которые осознавались как священные по преданию, несмотря на то, что их содержание перестало быть понятным даже уполномоченным хранителям религиозного знания. При этом первоначальный религиозный смысл (разумеется, не подвергаясь и в намеке «карнавальному осмеянию», оставаясь сугубо сакральным) многообразно перетолковывается и трансформируется, бесконтрольно с точки зрения породившей его системы, зачастую вопреки ей. Так, блоковский Христос не есть Христос христиан, хотя и снабжен его атрибутами.

На всех этапах своего жизненного пути и творчества Блок напряженно устремлен к области священного и необычайно тонко-чувствителен к нему. Важнейшая черта его поведения в этой области — своеволие. Приведем простой пример (здесь неуместно говорить о том, каким законам и целям поэт подчиняет свою волю, тема требует особой тщательности и соответствующего простора). Вот блоковский шедевр отдает прошения ектеньи (можно согласиться на их парафрастичность), произносимые священнослужителем, женщине:

Девушка пела в церковном хоре  
 О всех усталых в чужом краю,  
 О всех кораблях, ушедших в море,  
 О всех забывших радость свою...

Перед нами характерный пример блоковского коллажа, соединения в едином контуре разнородных «картинок», моментов восприятия/воспроизведения действительности. Перенос из «своего», природного контекста в среду, несвойственную именно при обращении к предметам священным, и есть святотатство, сопряженное чаще всего с профанацией, кощунством. В том же стихотворении последняя, замыкающая композицию «картинка», в силу утраты связи со «своим местом», оказывается нечитаемой на уровне слов:

И голос был сладок, и луч был тонок,  
 И только высоко, у Царских Врат,  
 Причастный Тайнам, — плакал ребенок  
 О том, что никто не придет назад.

«Высоко» означает качество голоса или место, откуда он слышится? Идет ли речь, тем самым, о плаче только что причащенного младенца или о голосе одного из ангелочков, столь часто изображаемых на иконостасах? Что же до уровня смыслового, то вот приговор Флоренского / Андреева: «Смысл стихотворения мне представляется как тонкое кощунство: ребенок, причастный Тайнам, т.е. Тайнозритель, знает один, что молитва бесполезна и что, следовательно, все, кому кажется, что радость будет, — жалкие самообольщенцы» (не имея возможности понять, о каком ребенке идет речь, еще в блоковские времена вполне грамотный критик А.А. Измайлов готов был увидеть за этим словом даже образ младенца Христа — в этом случае кощунство достигает крайнего предела: Бог плачет над легковерием одурченных Им людей; впрочем, в черновиках «Двенадцати» мы видим, как блоковский красногвардеец примеривался произнести и «Спас лукавый»; отнюдь не спасительный иконостас присутствует во всех источниках текста поэмы, появившись в самом раннем слое).

В блоковском исповедании веры (как и у большинства представителей столь не-счастливо называемого «русского религиозного ренессанса») определяющая черта — отказ от церковного водительства, от смиренного подчинения авторитету видимой Церкви и знакомого Предания. Блок это весьма четко за собой сознает и настоятельно себе вменяет в достоинство.

Ветер стих, и слава зарева  
Облекла вон те пруды.  
Вон и схимник. Книгу закрывая,  
Он смиренно ждет звезды.

Но бежит шоссейная дорога,  
Убегает вбок...  
Дай вздохнуть, помедли ради Бога,  
Не хрусти, песок!

Славой золотеет зарево  
Монастырский крест издалика.  
Не свернуть ли к вечному покою?  
Да и что за жизнь без клобука?..

И опять влечет неудержимо  
Вдаль из тихих мест  
Путь шоссейный, пробегая мимо,  
Мимо инока, прудов и звезд...

Первая строка этого стихотворения — чудный, редчайший пример звуковой цитаты: «Ветер стих, и слава зарева...» есть переложение «Свете Тихий святых славы...», начала древнейшего песнопения, ежевечерне воспеваемого Христу Церковью (Свете Тихий святых славы Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисуса Христа! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот давай; тем же мир Тя славит). В начальной ситуации время лирического героя совершенно совпадает со временем Церкви и космоса. Церковный зов, как читается в черновиках, не сразу был слышан поэтом (первоначальные варианты: «Ветер стих, и заводь», «Ветер стих, и за пово-<?>», «Ветер спал, и слава зарева»), но, когда услышан, то — отвергнут. Во имя «мирового шоссе», отождествляемого у Блока с «истинной жизнью», даже если речь идет о пути кривом («убегает вбок»), герой дважды отказывается от «звезд», церковной огласовкой знаменующих истинный путь к Младенцу и за Христом. А преодоление человеческой слабости («Дай вздохнуть, помедли ради Бога»), повторное, ибо стихотворение построено на удвоении экспозиции и ее разрешения, оказывается только мерою доблести, героизма героя.

На этом пути герой неукоснительно последователен, вплоть до согласия на несомненную для него самого и непоправимо-гибельную бесовщину — так в нимало не карнавальном стихотворении «К Музе» «безумная сердцу услада» в «попираньи заветных святынь», «страшных ласках» той, чья инфернальность откровенна перед героем («неяркий, пурпурово-серый» нимб — известная Блоку примета дьявольских явлений). Безоглядная и гордая верность тому, как и что «диктует вдохновенье», и привела Блока к согласию на фигуру «Иисуса Христа» как динамическое разрешение поэмы. Вероятно, не важно, что красногвардейцы, собственно, охотятся на него. Не важно, поскольку он вызван из мрака (его появление «мотивировано») ими самими: «Ох, пурга какая, Спасе!» — и оставшийся в черновике, но содержательно не снятый ответ «Где ты Спаса видел, Вася?». На наших глазах происходит самовоспитание «нового человека», он еще готов молиться и каяться, но созрел и к революционной дисциплине повязанных кровью. Знание черновика и способность поименовать того, кто «с кровавым флагом» идет впереди, дано только рассказчику (судить же о правильности опознания, как мы видим, может только человек, стоящий вне текста). Выделить голос повествователя из гомона поэмы можно не всегда, но поскольку и по-прежнему это удается, приходится заключить, что принципиальной перегородки между повествователем и людьми ночного Петрограда нет, он сам — «сумрак улиц городских», как утверждал себя поэт в одном из стихотворений. Это он интерпретирует ожидания разбушевавшейся стихии. Поначалу он готов сказать даже «Иисус Хрис-



тос», но в последний момент решает, что это тот, будто бы народный, заповедный «Иисус». Когда в разговор вмешивается сам поэт, уже от собственного лица, он сознается, что хотел бы увидеть в этой картине «Другого» предшествующего, но вынужден подтвердить сказанное повествователем. Б.М. Гаспаров обоснованно связывает последовательную «карнавализацию» искусства в XX веке с художественной жадностью как свободы «в области смысла», так и «чисто формального раскрепощения». Блок-автор, несомненно, знал, что вольные забавы «Пальнем-ка пулей в Святую Русь» были ситуативным замещением стрельбы по Причастию, описанному прежде испытанию Силы Божией. По всей видимости, он понимал и гибельность этих опытов, потому и хотел оправдать их истинным Христом, наказующим старый и страшный мир. В выборе истинного он неуклонно полагался только на диктат вдохновения. Но «светлое пятно», вдруг всплывающее в буйстве природных стихий и превращающееся «в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе» (из письма Блока к С.М. Алянскому от 12 августа 1918 г.), могло быть опознано в лучшем случае как «Иисус Христос» несчастных красногвардейцев или Э. Ренана. Это не Иисус Христос Писания и Предания.

### *Александр Лавров*

В году 2000-м исторический опыт уже не оставляет нам права гадать, какое символическое содержание может знаменовать собой фигура, шествующая в финале «Двенадцати» «с кровавым флагом» (именно к р о в а в ы м — тайновидческая интуиция Блока не подвела).

Еще на рубеже веков Владимир Соловьев предсказал, что антихрист явится под личиной Христа. «Царством Антихриста» окрестил новую большевистскую империю Мережковский вскоре после появления блоковской поэмы. Сегодня, пожиная плоды этого пришествия, приходится лишь убеждаться в точности слов, произнесенных былыми ясновидцами. Страна, почти целый век уничтожавшаяся политическими бандитами, которым она предалась во власть; страна, претерпевшая чудовищные по масштабам и последствиям социальные мутации, явившая миру взамен прежнего своего народонаселения «новую историческую общность людей — советский народ», который, вероятно, еще долго будет давать поводы для смеха и слез цивилизованному человечеству; страна, превратившая свою огромную территорию в выморочное пространство, в зону, с фотографической точностью запечатленную Андреем Тарковским в «Сталкере»; страна, упорно сопротивляющаяся любым действенным попыткам исцелиться от зла, отравляющего и уродующего ее, красноречивейшим образом подтвердила правомерность сформулированных некогда самых глобальных негативных оценок.

Гораздо сложнее обстоит дело не с годом 2000-м, а с годом 1918-м — с теми смыслами и ассоциациями, которые открывались сознанию Блока, когда из него исходила поэма «Двенадцать». Попытка дать однозначное рациональное толкование ее финала заведомо обречена на неудачу.

Христос во главе красногвардейцев или Христос — согласно толкованию Максимилиана Волошина — гонимый и преследуемый красногвардейцами, в равной мере оказываются вне той плоскости, которую охватывали эсхатологические переживания Блока. Не случайно сам автор «Двенадцати» неизменно подчеркивал безотчетность, непроизвольность появления Христа в финале поэмы. Поэт, вошедший в литературу как мистик и визионер, и в «Двенадцати» остался мистиком и визионером, сохранявшим верность лишь одному — подлинности в художественной записи своих восприятий и галлюцинаций. К конкретной социально-политической действительности, отразившейся в «Двенадцати», блоковский Христос не имеет прямого отношения, поскольку значение его появления в поэме — не в придании определенной моральной и ценностной санкции совершающемуся, а в наделении изображаемого мистериальным смыслом. Блоковский Христос является «по ту сторону добра и зла»; для поэта он главным образом — универсальный символ того, что наступает «все новое», что пришли давно им предрекавшиеся «неслыханные перемены, невиданные мятежи». Его тянуло к этим глобальным катаклизмам так же неизменно и безотчетно, как тянуло к гибели, и сам он вполне понимал это, когда в 1910 году признавался Андрею Белому: «Люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви», — и когда в 1907 г. писал в «Снежной Маске»: «Тайно сердце просит гибели». Блок указывал на родство своих эмоций 1907 года, переживаний сладострастной метельной гибели, с восприятием «му-

зыки революции», услышанной им десять лет спустя; обе стихии отвечали порывам его души прежде всего потому, что в них таилось гибельное начало. Блок вводит Христа в «Двенадцать» не для того, чтобы кровавой хоругвью благословить или заклеймить шествие разбойников-красногвардейцев, а чтобы перевести свои поэтические видения в апокалипсический план.

Блок не был удовлетворен тем, что в финале «Двенадцати» ему предстал этот образ: «к сожалению, Христос». Может быть, потому, что, возвещая о «новом», он не смог обойтись без апелляции к «старому», обозначить зримые контуры «нового» взамен «старого». А может быть, и потому, что он интуитивно ощущал, что угаданный им Христос — это обманный образ, фантом, что в России 1917—1918 годов — это антихрист, надевший личину Христа. Блок всегда отдавал себе отчет в том, что мистическое мировидение не только обогащает, но и разрушает его внутреннее «я», что откровения могут оказаться ложными, а подлинное грозит обернуться призрачным. Еще в 1905 году он писал Белому: «Относительно мистики я знаю, что она реальна и страшна, и что накажет меня». Как знать, не переживал ли Блок, после последней вспышки своего гения в «Двенадцати», дарованные ему судьбой последние годы жизни как наказание за «Двенадцать»?

## Станислав Лесневский

### Что впереди?

«Впереди — Иисус Христос» — вот, собственно, последняя строка поэмы Александра Блока «Двенадцать». Но что это значит — ответить нелегко. Образ Христа в финале поэмы — явление религиозной красоты, а не теологии или идеологии, образ не логический, а символический, музыкальный, пронизанный ярким лиризмом. Поэтому рассуждать о его точном значении весьма сложно. К. Мочульский сказал: «...Поэма о ночи и крови заканчивается пением ангельских арф...» И процитировал:

Впереди — с кровавым флагом  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди — Иисус Христос.

Музыкальные созвучия, по словам исследователя, «располагаются сияющим нимбом вокруг Имени Христа». С другой стороны, это Христос «с кровавым флагом», даже и не красным, а «кровавым». Совсем недавно, в 1914 году, в стихотворении «Петроград» (отвергающем переименование столицы) Зинаида Гиппиус увидела, как в «белоперистости вешних пург» возникает «создание революционной воли — прекрасно-страшный Петербург!» Вот такой «прекрасно-страшный» Христос — в финале «Двенадцати».

Символистский образ вообще, как известно, всегда чрезвычайно многозначен, внутренне драматичен, совмещающая бесконечно далекое и часто несовместимое, но будучи цельным, всеобъемлющим, универсальным подобно человеку. Не случайно ключ к «религиозной трагедии» Блока В.М. Жирмунский нашел у Достоевского: «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределенная, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут!.. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

В известном смысле можно сказать, что попытки сузить образ Христа в финале поэмы «Двенадцать» до какого-то одного значения — бесперспективны, ибо превращают сложный, многозначный, таинственный, ускользающий образ в жесткий, однолинейный, отчетливо-идеологический гротеск. Так что почти в каждом (серьезном) толковании блоковского Христа есть своя доля правды, но вся правда только в совмеще-

нии многого, в том числе и несовместимого. Да, нельзя уйти от невольного ощущения: благословения Христом всего того, что творят «двенадцать». Это чувство захватило многих современников и продержалось несколько десятилетий, в наибольшей степени способствуя революционной репутации поэмы Блока, финал которой как будто бы дает моральную санкцию «державному», «революционному» шагу «двенадцати», почти что возглавляемых Христом. Но на протяжении всего сюжета поэмы подчеркнута враждебность «двенадцати» Христу, ибо они идут «без имени святого», «без креста», им «ничего не жаль», они готовы «пальнуть» «в Святую Русь», они переступают через убийство и разжигают «мировой пожар». Они не видят Христа, они стреляют в него и, можно сказать, преследуют Христа. Тогда отчего же такой мажорный, почти победоносный тон финала «Двенадцати», такой хорал Спасителю? Слово бы это второе пришествие: «И Он идет из дымной дали, И ангелы с мечами с Ним...» Когда-то юный Блок, будучи на пороге жизни и смерти, написал слова «Символа веры» как свои: «Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века».

В.М. Жирмунский высказал мысль, что поэма «Двенадцать» есть завершение «религиозной трагедии» Блока и что «только с религиозной точки зрения можно произнести суд над творческим замыслом поэта». По мнению ученого, речь идет о «религиозной трагедии» всей России, в том числе и «двенадцати»: «И здесь, как это ни покажется странным на первый взгляд, речь идет прежде всего не о политической системе, а о спасении души — во-первых, красногвардейца Петрухи, так неожиданно поставленного поэтом в художественный центр событий поэмы, затем — одиннадцати товарищей его, наконец, многих тысяч им подобных, всей бунтарской России — ее «необъятных далей», ее «разбойной красы». В.М. Жирмунский пишет о «религиозном отчаянии» героев поэмы, «которое следует за опынением религиозного бунта». Финал поэмы существует отдельно, герои поэмы не пришли к Христу, и в этом, по глубокой мысли ученого, смысл поэмы: Блок «не дал никакого решения, не наметил никакого выхода; и в этом его правдивость перед собой и своими современниками, мы сказали бы: в этом его заслуга как поэта революции (не как поэта-революционера)». То, что явление Христа в финале поэмы никак не вытекает из ее событийного сюжета, и есть правда «Двенадцати». Но тогда откуда же и почему возникает этот образ? Ведь он предчувствуется с самого начала поэмы. И воспринимается в финале как великий музыкальный парадокс, необходимость и закономерность которого мы интуитивно чувствуем.

В.М. Жирмунский в этой связи напоминает рассказ Достоевского «Влас», видя в «Двенадцати» Блока то же выражение «потребности отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел...» Эта святыня и является в финале поэмы, а во всем сюжете она героями поэмы топчется, уничтожается. Ученый комментирует: «Достоевский рассказывает следующий случай. Молодой крестьянин в порыве религиозного иступления, богоборчества, индивидуалистического дерзания («Кто кого дерзостнее сделает?») направляет ружье на причастия («Пальнем-ка пулей в Святую Русь»), и в минуту свершения святотатственного деяния, «дерзости, небывалой и невысказанной», ему является «крест, а на нем Распятый». «Неимоверное видение предстало ему... все кончилось». «Влас пошел по миру и потребовал страдания». Не такое ли значение имеет примиряющий образ Христа в религиозной поэме Александра Блока?» — спрашивает и предполагает ученый.

В.М. Жирмунский, как видим, даже называет поэму Блока «религиозной», находя, что ее внутренний сюжет — «религиозная трагедия» России, русского народа и самого поэта. «Неимоверное видение» в финале поэмы есть возможность «спасения души», глубочайшая неистребимая потребность в котором сказывается дикой тоской Петрухи, да и всех двенадцати, заглушающих сердечную боль лозунгами и ожесточением. Недаром о Христе они так или иначе постоянно вспоминают... Всю бурю собственных чувств, всю муку своей «религиозной трагедии» поэт передал героям «Двенадцати». В жизни Блока был человек, которого он любил и который своей верой напоминал о Христе. Когда-то Ренан сказал, что Франциск Ассизский убеждает его в реальности Христа. Так и Евгений Павлович Иванов воплощал для Блока живую правду Спасителя. Собственно, не будет преувеличением назвать Евгения Павловича «соавтором» финала «Двенадцати».

На эту связь обратила внимание Л.А. Ильюнина, но почему-то это не привлекло внимание Л.М. Розенблюм, хотя исследовательница и цитирует письмо Блока Евгению Иванову. Блок в 1905 году написал другу: «Никогда не приму Христа...» Евгений Павлович мягко ответил поэту (и в письме, и всем строем своей жизни), что о

Христе нельзя мыслить предвзято, нельзя ничего «знать наперед», ибо если жить праведно, то и будешь «принимать Христа», — Христос ждет нас... Финал «Двенадцати» в значительной мере идет от Евгения Иванова, от его веры, воплощенной во всем облике друга поэта. Это может показаться слишком биографическим, нетворческим объяснением сложных истоков блоковского образа Христа. Но именно на рубеже двух веков и двух тысячелетий от Рождества Христова финал поэмы «Двенадцать» отделяется от политических страстей и приближается к человеку, которому Блок посвятил стихотворение «Вот он, Христос — в цепях и в розах...» Приближается не только к Евгению Иванову, но и вообще к Человеку, который спрашивает: что впереди?

Итак, я вижу долю правды во всех серьезных трактовках блоковского образа Христа. Однако есть главенствующая нота, и ее нельзя не расслышать, — она акцентирована последней строкой: «Впереди — Иисус Христос». В конце концов, при всех испытаниях, потрясениях и разочарованиях, что у нас еще есть впереди? Двенадцать идут в слепой метели, вьюге, они не видят Христа, но можно допустить, что на каком-то витке истории они встретятся: жажда спасти душу приведет к Христу.

Думается, что возможность такого толкования финального образа знаменитой поэмы заложена в «неимоверном видении», внезапно представшем творцу «Двенадцати». Впрочем, не так и внезапно. Блок думал об этом всю жизнь: «И горит звезда Вифлеема Так светло, как Любовь моя». С мыслью о Христе создавалась вся поэма. Этот образ уже впереди, когда мы вглядываемся в хаос: «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер...» А сегодня, на исходе века, отступает «капля политики», которая растворена в поэме, и финал «Двенадцати» звучит всемирно-исторически, всечеловечески, определяя духовную перспективу.

## Александр Эткинд

### Скифы и мы

О Блоке и «Двенадцати» написано слишком много. Народнически настроенные филологи советского периода видели в поэме торжество фольклорных мотивов, революционных идей и карнавалю духа. Эмигрантская традиция сосредотачивалась на появляющемся под конец Христе с розами и видела здесь либо знак примирения с православием, либо же, напротив, кощунство и антихристианство. Эклектическое соединение в поэме символов разного происхождения, от хлыстовских до розенкрейцерских, важно для историка, но, боюсь, только для него. В целом «Двенадцать» надо рассматривать в контексте последних, судорожных метаний большого Блока между преображением тела и революцией власти, между Распутиным и Лениным. Однако «Катилина» лучше и радикальнее документирует эти поиски, чем «Двенадцать». Вообще «Двенадцать» сегодня не очень интересны. Телесность в современном дискурсе радикально отлична от телесности у Блока, впрочем, как и революция.

Если кто хочет искать у Блока подтверждение или опровержение тревогам текущего момента, пусть читает «Скифов». Это основополагающий текст недоразвившегося, но вечно актуального русского фашизма, его «Майн Кампф». Это любимые стихи левых эсеров, евразийцев, сменовеховцев и возвращенцев. Я не знаю, как относятся к Блоку и «Скифам» нынешние национал-большевики, но всячески рекомендую читать и ссылаться. Не удивлюсь, когда «Скифов» начнет цитировать администрация.

«Да, азиаты — мы». Тут важна не только идентификация русских с азиатами, но подробная и умелая разработка того, что значит быть азиатами. Мы — это азиаты, но и азиаты — всегда мы, у них нету «я». Три страницы этих стихов так и написаны от первого лица множественного числа, от лирического героя по имени «мы». Как положено, нам противостоят они, люди Запада. У нас все другое, чем у них: численность, время, любовь и ответственность. Как военный рапорт, стихи начинаются с численности. В отличие от западных людей, мы неисчислимы. «Миллионы — вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы». В отличие от них, мы не знаем времени: «Для вас — века, для нас — единый час». Потом мы отождествляемся со Сфинксом. Греческий миф и все прочие, кто на нем основывался, всегда писали от имени Эдипа; Блок первый, кто пересказывает эту историю от имени Сфинкса. «Россия — Сфинкс», а западному Эдипу следует разгадывать ее загадку. Загадка России в ее особенном способе любить. «Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет и губит». Итак, мы любим амбивалентным способом,

неведомым западному человеку. Кого мы таким способом любим? Не друг друга, потому что коллективный субъект, названный словом «мы», нигде не расчленен, у него единая «наша кровь» и нет части, которая может любить или не любить другую часть. Особенная любовь России обращена к Западу. Это на него Россия смотрит «и с ненавистью и с любовью», — и не просто смотрит, но «глядит, глядит, глядит». Зрение вообще играет важную роль в этих делах, неспроста характеристика скифов начата их «раскосыми и жадными очами». Скифы глядят, глядят и выигрывают: «Отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит, Своими узкими глазами». Мы не пошевелемся и будем глядеть, как «свирепый гунн» (хотел бы я знать, в чем различие между гуннами и скифами) будет «жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить». Когда вы проходили «Скифов» в школе, вы наверно досюда не дочитывали.

Вот этой особенной любовью, которая и жжет и губит, мы любим Запад: «мы любим все — и жар холодных числ, и дар божественных видений, [...] и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений [...] парижских улиц ад, и венецянские прохлады», и прочие радости европейского туризма. Сколько раз за прошедшие восемьдесят лет эти слова цитировались без их начала и без их продолжения, как утверждение «нашей» чувствительности к мировой культуре. Продолжение же, если помните, таково: «Мы любим плоть — и вкус ее и цвет, и душистый, смертный плоти запах... Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах?» От любви и ярости такой интенсивности языковое чутье отказывает даже Блоку: в самом деле, лапы могут быть нашими, но скелет не может быть вашим, если скелетов много. Безответственное («Виновны ль мы») нагнетание страстей продолжается: «Привыкли мы [...] ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых». В общем, мы не виновны и к таким делам привыкли, и вообще это наш способ любить и жить. Если же коней и рабынь от такого обращения не будет хватать, будьте добры, господа Эдипы, «придите в мирные объятья». Сфинкс дает вам не загадку, но выбор: либо вы братайтесь с нами вышеописанным способом, либо мы будем жарить ваше мясо. «Скифы» и скифство не просто национализм, каких много, но расизм с его жестокостью, простотой классификаций, незнанием компромиссов, лживыми апелляциями к слишком далекому прошлому. Блок отлично сознавал источники своего вдохновения, тысячу лет назад зарытые в курганах и проткнутые осиновыми колами: «В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!»

Наверняка не в последний. Но «Скифы» не стоит запрещать, просто не надо больше учить их в школе. Только почти вековой уже привычкой читать и перечитывать можно объяснить популярность Блока среди людей, которые приходят в негодование от одного слова «фашизм».

## Дина Магомедова

Сначала — несколько фактических уточнений. Никто из близких Блоку людей, бывших с ним в последние дни его жизни, не засвидетельствовал, что он требовал уничтожить все экземпляры поэмы. Пишущие об этом мемуаристы — Георгий Иванов, Зинаида Гиппиус — либо сообщают об этом с чужих слов (Гиппиус), либо присовокупляют такие подробности (скажем, совершенно немыслимый визит к умирающему Блоку комиссара Ионова), которые сразу ставят под сомнение весь описанный эпизод. Мемуары Г. Иванова «Петербургские зимы» вообще широко известны именно фактической недостоверностью.

Слова «нехотя, скрепя сердце — должен был представить Христа» — тоже не из блоковских записей, а из дневника К.И. Чуковского. Сам Блок в достоверных авторских записях говорил об этом несколько иначе.

«Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том, «достойны ли они Его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет, а надо Другого — ?» (Записная книжка №56. 18 февраля 1918 г.).

«Страшная мысль этих дней: не в том, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой» (Дневник. 20 февраля 1918 г.).

«Если бы в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы «учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспорить эту истину, простую для читавших Евангелие и думавших о нем. <...> «Красная гвардия» — «вода» на мельницу христианской церкви. <...> В этом — ужас (если бы это поняли) <...> Разве я восхвалял (Каменева). Я только констатировал факт: если взглядеться в столбы метели на *этом пути*, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам ненавижу этот женственный призрак» (Дневник. 10 марта 1918 г.)

Все эти высказывания Блока неоднократно цитировались, и я бы не стала их повторять, если бы не ощущение, что слова самого поэта о своем произведении тонут в десятках quasi-блоковских цитат, почерпнутых из мемуарной литературы. Между тем, по моему глубокому убеждению, современный подход к поэме невозможен, если не вернуться к автору, к подлинному блоковскому тексту, отрешившись от чужих акцентов, неизбежных в мемуарной передаче, от тенденциозных слухов, уже закрепленных традицией. Сегодняшний читатель может обратиться и к черновикам поэмы, ко всем ее редакциям, опубликованным в Полном Академическом собрании сочинений Блока.

Первое, что становится очевидным при чтении черновых редакций, — у Блока не было никаких альтернатив образу Христа в финале поэмы. Колебания касались только варианта написания имени: «Иисус идет Христос». Далее был выбран «раскольничий» вариант «Исус» (в восприятии Блока отнюдь не кощунственный, как это пытаются доказать ревнители уличающего «богословского» литературоведения, а истинно народный). Никаких попыток сделать финал иным черновики не отражают. Стало быть, и столь распространенные в старом советском литературоведении рассуждения о том, что образ Христа противоречит идейно-художественной концепции поэмы и что Блок попросту не сумел найти иного образа такой же значимости, не имеют под собой никакой почвы. Можно с уверенностью сказать: Блок ничего не искал. Он писал о том, что *увидел*. И пронизательные слова Блока о Христе в финале поэмы свидетельствуют об одном: поэт был непреложно убежден в органичности именно такого завершения.

Но даже и без изучения черновых редакций внимательный читатель может убедиться в том, что появление Христа в финале поэмы подготовлено всей ее художественной логикой, — кроме Л.М. Розенблюм, об этом писали в разное время П.П. Громов, М.Ф. Пьяных, И.С. Приходько. Говорилось об этом и в моей работе о теме «бесовства» в «Двенадцати».

О Христе в «Двенадцати» впервые упоминается отнюдь не в финале: там он только *является*. Но восклицания «Эх, эх без креста!» и «Пальнем-ка пулей в Святую Русь» (вторая главка) означают именно отречение «двенадцати» от Христа. В одиннадцатой главке (второй от конца) это отречение вновь акцентируется: «И идут без имени святого». Между этими двумя отрицательными упоминаниями о Христе — еще три, совсем иного характера. В третьей главке — «Мировой пожар в крови — / Господи, благослови». В восьмой главке, в разгар «гульбы» угрозы «буржую» («Выпью кроушкку / За зазнобушкку / Чернобровушкку») внезапно прерываются словами молитвы: «Упокой, Господи, душу рабы твоя ...». И разгул немедленно стихает, вырождается: «Скучно!». В десятой главке (третьей от конца!) Христа так же внезапно поминует Петька:

Снег воронкой завился,  
Снег столбушкой поднялся.

— Ох пурга какая, Спасе!

Сопоставив этот фрагмент поэмы со словами Блока: «Если взглядеться в столбы метели на *этом пути*, то увидишь «Исуса Христа», — мы поймем, что Петька в этот момент действительно мог *увидеть* Христа сквозь снеговые столбы (Блок хорошо знал народное поверье о том, что снеговые столбы — место разгула нечистой силы: «И ведьмы тешатся с чертями / В дорожных снеговых столбах»). То, с какой яростью на это словно бы случайно прорвавшееся Имя откликнулись красногвардейцы, ясно показывает, что это не простая оговорка.

Известно, что в черновике против этой главы Блок записал: «И был с разбойником. Было двенадцать разбойников». Комментарий усматривает в этой записи и отсылку к Евангелию от Луки (история о двух распятых с Христом разбойниках, один из которых проявил сострадание к мукам Спасителя и был прощен), и к балладе

Некрасова «О двух великих грешниках» («Кому на Руси жить хорошо»), где тоже идет речь о раскаявшемся и прощенном разбойнике.

В контексте этого евангельского сюжета, как мне кажется, и прочитывается смысл появления Христа перед красногвардейцами в финале поэмы. Это не благословение происходящего, не «освящение» стихийного разгула страстей, а изгнание бесов, преодоление стихийного аморализма, залог будущего трагического катарсиса для героев поэмы. Но появляется Он только в ответ на раскаяние Петрухи, на его жалость к бессмысленно убитой Катьке, на воспоминание о любви, на его почти неосознанное душевное движение навстречу Спасителю. Напомню, что сюжет прощения кающегося грешника лежит и в основе сборника «Нечаянная радость» (1907). Можно ли считать, что перед нами «завершение блоковского демонизма», — для меня более чем сомнительно (как и авторство этих слов, приписываемое о. Павлу Флоренскому).

Что имел в виду Блок, когда говорил о «Другом», думаю, не вполне было ясно и ему самому. Обращаю внимание на вопросительный знак в записи («надо Другого — ?»): это высказывание часто цитируют без этого столь важного завершения. Для Церкви Другой, конечно, может быть только Антихристом. Но в блоковской философии культуры этого времени настойчиво проводилась мысль о новой «третьей силе», которая могла бы радикально обновить человеческую историю. В статье «Владимир Соловьев и наши дни» Блок утверждал, что в эпоху крушения Рима такой третьей силой, не похожей ни на римскую цивилизацию, ни на германское варварство, было христианство. Наступление нового мира он тоже связывал с «третьей силой», признавая, правда, что «третья сила далеко еще не стала равнодействующей, и шествие ее еще далеко не определило величественных шестив мир сего».

То, что в конце поэмы появляется Христос, свидетельствует об одном: никакой иной нравственной силы («третьей силы»), способной преодолеть аморализм стихии, разгул бесовства, кроме этики сострадания, любви и признания ценности каждой человеческой жизни, — этики, которая веками связывалась с именем Христа, — не существует. Надежда Блока на обретение качественно новой, доселе небывалой морали, связанной не с отдельной личностью, а с народной массой, о чем он твердил в своих культурфилософских эссе («Крушение гуманизма», «Катилина») даже после написания поэмы, в художественном творчестве сразу же потеряла крах.

### **Игорь Шкляревский**

Я не знаю, почему у Александра Блока перед отрядом красногвардейцев, идущих по ночному Петрограду, возникает «Исус Христос» «в белом венчике из роз». Думаю, что объяснить невозможно, и подозреваю, что сам Блок не смог бы это сделать. Поэт не знает, почему в его стихах вдруг возникают неожиданные образы или видения, ведь поэзия непредсказуема. «В начале было Слово», и в поэзии всегда в начале слово, созвучие, возникший ниоткуда звуковой мираж... Так случайно совпало — на днях я перечитывал «Заметки и наблюдения» Д. С. Лихачева, и вот что он пишет: «Объяснение белого венчика из роз» у Христа в конце «Двенадцати» Блока. В символике православия и католичества нет белых роз. Но это могли быть те бумажные розы, которыми украшали чело «Христа в темнице» в народных церквах и часовнях. Ведь солдаты в «Двенадцати» — это бывшие крестьяне. См. иллюстрацию на с. 49 в книге «История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря» (СПб., 1899) — «Вид резного изображения Спасителя, находящегося в Филипповской пустыни».

Мне кажется, что если бы они просто прошли по страшному ночному Петрограду в поэме Блока, без сияния впереди, и поэмы бы не было.

Юлия Лидерман

## Храм после евроремонта, или Как сделано «высокое» в школе-студии А. Васильева

Собственно спектакли Анатолия Васильева в его Школе, равно как проблемы театрального языка и театральной эстетики, затрагиваться в этой статье почти не будут: мой предмет — не театроведение, а современная российская культура и общество, которое на ее языке «разговаривает». Поэтому я бы лишь хотела представить три проекции или три отражения того, что происходит в театре «Школа драматического искусства» и, в не меньшей степени, вокруг него в конце 90-х годов. Первая глава — происходящее, начиная с парадного и гардероба вплоть до итоговых аплодисментов и «разъезда», как оно видится глазами зрителя. Вторая — представление «А.С. Пушкин. Дон Жуан. «Каменный гость» и другие стихи», прочитанное «через» программный для мирового театра и важный для Васильева текст Антонена Арто «Театр жестокости. Первый манифест». Третья — восприятие васильевской Школы-студии московской театральной критикой.

## 1

Чтобы попасть в некогда совершенно закрытый от всякого глаза театр, теперь достаточно быть обладателем журнала «Афиша» или «Досуг». Если вы сможете преодолеть боязнь оказаться безнадежно не услышанным, не допущенным и сумеете позвонить в театр, объяснить свое желание присутствовать, представиться — вы будете вознаграждены вежливым разговором по телефону.

Маленькая табличка с изысканным шрифтом на бумаге цвета печеного яблока перед парадным подъездом дорогого доходного дома девятнадцатого века вежливо оповестит вас: «Школа драматического искусства». Шикарное парадное, дорогие машины, вежливые администраторы и двадцать — тридцать зрителей. Гардероб без номерков, атмосфера посвященности, драгоценности всего происходящего. Непонятной публике по приходе предложат также заполнить анкету.

Впечатление в подъезде (лестница, секьюрити) — нечто среднее между посольством и престижным жильем. Остаться безымянным зрителем вам не удастся. Сначала секьюрити, потом гардероб без номерков с милой девушкой, которая вас запомнит, потом билетерши, вернее, импозантные дамы, продающие буклеты, программки и касеты со спектаклями, которые отправят вас к администратору, то ли Виктору Андреичу, то ли Владимиру Викторовичу, попутно расспросив о ваших целях и намерениях. А потом вы станете свидетелем настоящего «giesen Theater» с администратором, что, мол, мест может не быть, на сегодня все зарезервировано, но подождите, конечно, может быть что-нибудь, для Вас, придумаем. Так что к моменту, когда зритель попадет в сам театр, произойдет превращение. Из безымянного лица — в большей или меньшей степени знакомое. И, кроме того, скромными средствами, но к бывшему уже интересу добавится еще другой, только что на ваших глазах сооруженный ажиотаж.

Чистилище театра — две гостиные с белым роялем, афишами мировых гастролей и фотографиями спектаклей на стенах. Разговоры вполголоса. В одной из гостиных продают видеокассеты со спектаклями, в другой можно посмотреть пару афиш и фотографии, под которыми не стоят имена актеров — только названия спектаклей и, кажется, год. Не сомневайтесь, что на каждом представлении можно будет посидеть и поглазеть на какую-нибудь знаменитость, примеченную еще в гостиной.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В запасе моего личного опыта небольшой список: Марк Захаров (театральный режиссер), Владимир Хотименко (кипорезжиссер) и Алена Карась (театральный критик), за три похода.



Интерьер. Ремонт из разряда «престижное жилье». Росписи на потолке. Отбор предметов — по принципу «лучшее из того, что предлагает нам цивилизация». Ничего случайного или просто дешевого, скажем, того, что может быть продиктовано экономическими интересами. За десять лет существования пространство подвала неторопливо оформляется последними достижениями индустрии отделочных материалов, реконструкция ведется в соответствии с конвенциональными требованиями — сохраняются декор, лепнина, новые материалы уютно располагаются в устойчивом впечатлении «реконструкция памятника архитектуры».

Итак, вроде почти та же схема, та же привычная схема, что и всегда, но вы попадете в гостиные до того, как вам будет известно, пустят вас или нет. Билетерши, гардероб, фотографии актеров на стенах, но не после входа, а перед? И буфет?! Буфета здесь нет и никогда не было. Если раньше не было никаких гостиных, ни белого рояля, ни фотографий на стенах, а до этого и стеклянной двери, отделяющей пространство, близкое к сцене, от прихожей, от фойе, то буфета здесь не было никогда.

Отсутствие буфета. Нулевой знак экономических отношений театр — зритель, нулевой знак устойчивой пары «хлеба и зрелищ». В составе первого сообщения в зрительском впечатлении будет зафиксировано: здесь не найти театра с девизом «хлеба и зрелищ».

Вход. По входу можно многое рассказать о подразумеваемой модели того общества, в котором, предполагается, функционирует этот театр. Так, если на билетах в Мариинский театр помечено: «льготный тариф» 150 рублей; вход для иностранцев — пятьдесят условных единиц, то это значит: театр мирового масштаба, по недоразумению оказавшийся в постсоветском Санкт-Петербурге и занимающийся благотворительностью, правда, тоже в кавычках, поскольку и сто пятьдесят рублей — для билета «приличная» цена. В случае с Мариинкой посредничество между театром и зрителем осуществляет женщина преклонного возраста, с, может быть, коммунистическим прошлым, чье представление о мире конституировано ее профессией и заключено в оппозиции «наши» — «не наши».

Вход в «Школу драматического искусства» организован другим образом. Прежде всего практикуется почти индивидуальный подход к зрителям. Представление о зрителе предельно дифференцировано. Существует множество различных статусов: студенты театральных вузов, просто студенты, всякого рода художественная элита либо же экономическая элита, читатели журнала «Афиша» или же читатели газеты «Досуг». Например, вы говорите: я студент театроведческого факультета РГГУ. Сначала вам милый администратор скажет: «Ну, мест нет, подождите», а потом... пропустит бесплатно. Или другая ситуация, вы говорите: я звонил, мне сказали, что сегодня спектакль, я бы хотел..., — подождите, погуляйте в фойе, разденьтесь, сейчас посмотрим, очень много билетов в брони, если кто-нибудь не придет, то мы вас обязательно посадим. Десять — пятнадцать минут еще будет происходить «знакомство», где «театр» предстанет в лице администратора, билетерш, гардеробщиц (притихших и внимательных, поведение которых говорит о том, что они не просто билетерши и гардеробщицы, по крайней мере громких разговоров о магазинах, ценах и мужьях от них вы не услышите), а вы станете тем, кем хотите казаться, или тем, кем вас увидят. Вы выставлены для наблюдения тех, кто сейчас представляет «театр». Несколько минут в фойе — второе место для выбора: расстаться ли с некоторыми качествами, как то скепсис, ирония. Первая трудность — решение прийти вообще.

Потом, за, может быть, пять минут, все тот же милый «Юрий Викторович» скажет: «Проходите», и вы войдете в подвал, за стеклянную стену, построенную из дорогого стекла, за дверь с пластиковой рамой, в другое уже, в игровое пространство, где тоже будет гардероб без номерков, кассир с компьютером, предлагающий по мере наполненности зала две или три возможности купить билет. И далее вас спросят, первый вы раз или нет, и отведут на место.

Добираясь на «балкон» — деревянную галерею в форме буквы «Г», обрамляющую две стороны вытянутого прямоугольного пространства, по узкой винтовой лестнице (в винтовых лестницах всегда есть ощущение архаики), — можно получить возможность еще раз взглянуть на афиши, напечатанные на бумаге цвета печеного яблока.

Зал. В нем заключено множество идей. Пространство, для театра не предназначенное, — два этажа шикарного доходного дома, стены и потолок которого напоминают о буржуазной жизни конца девятнадцатого века в России. Оставленная на потолке живопись обозначает, что пространство используется для театральных представлений, но таковым являлось не всегда, оставляет второй код бывшего жилого доходного

дома, навсегда присваивает этому месту двойную кодировку (прием, уместный для экспериментального театра XX века, где представления ассимилируют для театра пространства от улиц, заводских цехов, подвалов, чердаков, аудиторий до садов).

Античные полуколонны, арки, традиционные знаки театрального пространства, обозначающие связь с ценностями истории искусства, как бы отсылают к происхождению театра, покоящемуся где-то в античности. Деревянные детали — балясины, галерея — привносят воспоминание об архитектуре итальянского Возрождения. Галерея слегка расшевеливает спящее, смутное представление о театре шекспировском, о формах театра архаичного (в рамках европейской истории искусств Нового времени, конечно), галерея читается всегда как архитектурная деталь, принадлежащая «итальянскому дворику».

Сценическое место от зрителей в партере, пусть это будет называться партером, отделено также примерно сорокасантиметровым бордюром из деревянных балясин — то ли как «ответ» верхнему балкону, то ли как намеренное, выделенное место зрителя.

Если в традиционном кулисном театре выделяется театральное место, сцена — здесь, в рамках экспериментального театра двадцатого века, выделяется зрительское место. Приподнятая над залом сценическая площадка итальянского театра хорошо нам знакома. Приподнятая над залом сцена и занавес, отделяющий пространство сцены от пространства зрительного зала, это двойная граница. И то и другое — знаки отделения и ограничения.

Конструкция анализируемого нами театрального пространства синтезирует две главные схемы, два главных принципа: итальянский театр, со сценой-коробкой, — и театр-круг, берущий свое начало от ритуала, где театральное пространство будет мобильно, и только обходя вокруг, двигаясь в своем воображении, перемещая свой взгляд, перемещая оптику, рассматривая действие с разнообразных точек зрения, можно открывать новые связи и смыслы.

Белые стены увеличивают объем. Надо заметить, что для задников, для основного цвета в театре частенько используют черный, затемнение, чтобы контрастней работал свет. Знаковость белых стен, ясность, преодоление границы между пространством внутри и снаружи театра. Когда начнется представление, это качество — проницаемость границ — будет разыграно еще многожды. (Границы анализируемого нами театрального пространства принципиально проницаемы. Их преодолевают звуки и физические тела. Во-первых, звуки голоса, чей обладатель, мы можем только догадываться, расположен на галерее. Звуки некоего ударного инструмента, имитирующего колокольный звон и расположенного так, что только тот зритель, который сидит на фронтальной галерее или на боковой галерее, при большом желании и обладая любопытством, может его обнаружить и убедиться, что этот инструмент в действительности существует, в пространство же проникнет только звук. Две стрелы воткнутся в опасной близости над головой актера. Этот жест так же не имеет актора, мы можем лишь отследить его результат<sup>1</sup>.)

Первая стадия зрительского путешествия закончена. Это была стадия физического перемещения: две лестницы, двери, повороты. К концу путешествия, конечной точкой которого является примощение зрительского тела на отведенное место, пройдено, даже физические, четыре границы. Улица — дом. Парадное — гостиные. Гостиные — подвал. Последняя — зрительный зал. Зритель получил достаточно впечатлений, о нем теперь известно стороне, условно назовем ее «театр», — кто он, откуда, его цели и намерения. Ему, например, об артистах, если ограничиться только информацией в фойе, настенной информацией, сопровождающей его путь, известно значительно меньше. Эта ситуация также переворачивает привычную, где (в государственных и просто традиционных театрах) зритель безымянен, а информация об артистах содержится в программах и портретами с подписями увешаны все стены.

Спектакль начнется с того, что артисты, актанты действия, тоже пройдя некий

---

<sup>1</sup> Скажем, тот же прием использован в постановке этого режиссера «Плач Иеремии», когда в реальном времени и пространстве использовано несколько десятков живых голубей, конечно, голуби здесь — знаки, но присутствие другого, условно говоря, «реального пространства» вместе с реальными живыми голубями не дает дешифровать происходящее с использованием лишь одного символического кода. Не даст заключить представление в рамки одной иллюзорной конструкции, исключает один-единственный способ дешифровки значений. Эти голуби своей «реальностью» возвращают реальности равные права с иллюзорностью. Они заставляют ощутить пастойчивую неотвратимость двух пространств, двух времен.

путь, войдя в театральное пространство, сядут.<sup>1</sup> После стольких границ фиксируется точка симметрии. Задается новая ситуация. Выход зрителя, всем предыдущим орнаментированного. Выход артистов, оканчивающийся точкой фиксации. Стул — стул. Стулья — стулья. К началу действия обозначена равновеликость всех «председателей» внутри этого театрального пространства.

Интрига этого положения заключается в следующем. Инерция зрительского восприятия традиционного театра, итальянского кулисного театра, диктует определенную логическую цепочку. Зрительский путь заканчивается расположением в зале, далее зритель как активное действующее лицо свое функционирование прекращает, и его позиция может быть описана лишь как готовность к восприятию того, что по большей части от зрителя не зависит. Он — лишь наблюдатель за неким процессом, где актерские возможности никогда принципиально зрительским не равны. Рамки телесного движения зрителя ограничены креслом, только движение восприятия, эмоциональное, когнитивное движение, предписано этой роли, роли зрителя. А начало представления означает поднятием занавеса или его открытием.

В ситуации же анализируемого здесь представления этот первый жест — выход актеров и их рассаживание по стульям — означает как зеркальное отражение зрительского входа и расположения. Тем самым эта точка фиксации сообщает новый смысл ситуации. Время представления обретает спиральную структуру, начало действия переносится на момент начала зрительского движения к своему креслу в театральном пространстве, а сама фигура зрителя получает означаемое, ему возвращается телесность, его жест «сидящий человек» получает актуальность.

Преобразовано привычное зрительское самопонимание. Мягкие, удобные кресла с подлокотниками в зрительном зале классического устройства — всегда цель зрительского путешествия от входа в здание театра. В театре А. Васильева зрители сидят на деревянных лавках. Ситуация пропедалирована. Действие сценическое — имитация или воплощение ваших (зрительских) возможностей и способностей.

Театральное пространство в момент этой первой мизансцены организовано пересечением зрительских взглядов. Артисты сидят в диагональных мизансценах, часть зрителей внизу смотрит параллельно длинным сторонам прямоугольного игрового пространства; сверху возможны две точки наблюдения — с боковой галереи и с фронтальной. Все детали интерьера приличествуют игре, направления взглядов включают в систему всех участников: декор, детали, зрителей, актеров, предметы. Все это вместе составляет один визуальный объект, эта точка начала спектакля совершает превращение привычной ситуации зритель — представление: зритель и представление вместе становятся объектом для наблюдения со стороны. Что также отсылает нас к ритуальному античному театральному устройству, где все действие вместе со зрителями — лишь театр для иного наблюдателя. Эта же идея будет дублирована, когда начнется текст: несколько стихотворений в начале имеют референтом фигуру бога. Эти стихи читают почти все артисты. Идея невидимого наблюдателя, единственного зрителя, выявленная нами при пространственном анализе, выражена теперь вербально.

Звуковая составляющая представления сконструирована столь же тщательно, как зрительная. Способ произнесения, артикуляция выделены из бытовой речи, из психологического театра. Пауза перед каждым словом примерно сравнима с правилами произношения немецкого языка, в отличие от слитности произношения русского или, скажем, французского. Наверно, можно говорить о том, что означаемым здесь выступает каждое отдельное слово, во-первых, и все стихотворение, произнесенное в данной конкретной ситуации, во-вторых (в ткань пушкинской трагедии введены стихотворные тексты Пушкина).

В рамках этого представления нет фундаментизирующего стиля психологического театра, нет объяснительной тотальной стратегии реалистического искусства, когда каждый следующий жест подтверждает логику психологического правдоподобия. Сценическое высказывание организовано по правилам стихотворного текста. Часто используемый прием — повторы. Сцены играют по два раза разными актерскими дуэтами, например — кульминация, она же финал. Одновременно удваиваются персонаж и текст, а существование конфликта и действие приобретают новые качества — ритм, и как следствие — поэтичность. При наличии повторов, при наличии инерции и ритма зрительское восприятие ловит пары — рифмы. Даже в том, что можно назвать деко-

---

<sup>1</sup> Так начинались почти все спектакли в этом театре.

раций: две гипсовые головы. В сценической версии пьесы: два, а то и три Дон Жуана, две Лауры, две Донны Анны, также «рифмуются» зрители и актеры в первый момент выхода актеров на сцену.

Как и буфета, антракта не будет. А будут два часа плотного представления, зашифрованного от начала и до конца. Все кончится кульминацией. Финал — ожившая статуя в виде бюстика на колесиках, примерно тридцатисантиметровой высоты, оставляющего за собой красный песочный след. Где песок — что-то от времени, а цвет — от страданий. И все повиснет в тишине. Актеры на поклон, правда, выйдут, ненадолго. Как и «Плач Иеремии», «А. С. Пушкин. Дон Жуан. «Каменный гость» и другие стихи» кончится неожиданно, фатально и почти незаметно. Начало в данном случае важнее, чем финал. В финале ничего специального не будет, он будет означен отсутствием артистов — просто театральное пространство без действия, без актеров, в котором остались только зрители.

На обратном пути никто уже особого внимания на выходящих обращать не будет. Окрашен был только вход, было важно ввести. Во всяком случае, никакой временной симметрии и симметрии по насыщенности событиями в случае входа/выхода зрителей и в случае входа/выхода актеров в поле зрения и из поля зрения. Оба входа, в отличие от выходов, были, напомню, обставлены с большей помпой.

По выходе, правда, все еще можно будет обнаружить табличку того же изысканного цвета с надписью «Школа драматического искусства». Так эта одновременность двух пространств, «реального» и «поэтического», принудительно останется во времени напряженным звучанием, приятно шкочущим нервы.

С финалом была показательная история на моих глазах, правда, на другом спектакле. Почти премьеры «Плача Иеремии». В зале, внизу, какие-то зрители и Марк Захаров, и как всегда, полно гитисовских студентов на галерее. Спектакль заканчивается полным недоумением (эту композицию можно было продолжать сколь угодно, и потом, паузы между частями были и раньше, и еще вопрос — это было хорошо или плохо? Провал или триумф?). И дальше, через короткую паузу, я была вознаграждена другим представлением. Марк Захаров в этой паузе непонимания очень театрально, собранно и сосредоточенно, как хороший настоящий артист, исполнил три первых показательных хлопка и зал заплодировал.<sup>1</sup>

Есть такие моменты, когда кто-то в зале берет на себя функцию или принимается исполнять то, что по негласному договору зрители во время представления делать не должны. На галерею, где я сидела, в середине представления пришла одна из «импозантных дам», о которых мы говорили выше и которая продает кассеты со спектаклями в фойе. В очень остроумный момент спектакля, когда Лепорелло появляется в видимом пространстве гораздо позднее, чем появляется звук его шагов (впоследствии окажется, что этот чудесный звук издают огромные деревянные туфли, как-то оказавшиеся на ногах у Лепорелло), я захохотала. А эта тетушка сказала мне: «Так должно быть», — мол, чего так особо хохотать, не понимаете всей серьезности происходящего?

Если зритель попадает в начищенное выбеленное пространство, по аналогии распознаваемое им как (что-то вблизи или) внутренность храма, где царят покой и тишина, да еще в телевизоре никогда этого видеть ему не доводилось, да еще большой рекламы наружной нет, да еще кто-то из знакомых чего-то рассказал, что попасть сюда не мог или что спектакли непонятные, то, дойдя до своего места, зритель уже переполнен ожиданиями, пиететом, и впечатление его уже должно наполнину сложиться.

## 2

А для зрителя искушенного существует своя «игра».

Сценографическое пространство в Школе-студии — воплощение «бумажного проекта» А. Арто, первого манифеста его «Театра жестокости» (1932 г.). Реализация планов и проекта А. Арто связывается с самоощущением А. Васильева (координатора или руководителя проекта) среди театральных реформаторов двадцатого века. Сопоставим два этих проекта.

---

<sup>1</sup> В пьесе Булгакова «Кабала святош» есть одна сцена, кульминацией которой является событие «король аплодирует», там и фраза есть такая, «король аплодирует», труппа Мольера за кулисами ждет, будет успех или нет, будет аплодировать король или нет, так вот, как там, так и здесь успех был.

– Арто предлагает объединить в одну фигуру драматурга и постановщика, который возьмет на себя двойную ответственность за спектакль и за действие.

– Так и есть, сценарий написан, представление поставлено, создана актерская школа, в программке проставлено, что в создании декораций тоже участвовал Васильев, — все и вправду сделано одним человеком.

– Арто предлагает не подавить обычную членораздельную речь, но придать произносимым словам почти ту же значимость, которой они наделены в сновидениях.

– А. Васильев славен созданием особого сценического языка, почти целиком заключенного в акте особого говорения. Эта область представления нагружена иными связями, чем процесс бытового говорения и даже чем процесс театральной декламации. Жесты рук актеров дублируют ритм речи. Собственно, это не жесты, а знаки жестов, поскольку повторяется один жест без вариаций, многожды повторяется один жест, жест кисти, осуществляющийся синхронно с каждым произносимым словом (как означающим, имеющим означаемое, и вербальным жестом, означающим само движение, пошаговое движение информации, ее существование, рождение и передачу). Более того, каждый жест кисти актрис еще и озвучен браслетами на запястьях. А для демонстрации «красоты голоса»<sup>1</sup> есть специально отведенные вставные вокальные номера: голос вокальный накладывается на декламирование стихов, чтобы сравнение было очевидно, один и тот же номер дается в двух разных регистрах, его исполняет сначала низкий женский голос, потом сопрано, демонстрируя как бы весь диапазон качеств «вокальности».

– Говорится о необходимости пересмотреть цветовую гамму используемого света и ввести в освещение элементы тонкости, плотности, непрозрачности целью передать ощущение тепла, холода, гнева, страха и тому подобное.

– Меняющийся свет из окон в театре А. Васильева замечен и описан во многих статьях об этом театре. Свет и тепло зажигаемых свечей, почти на всех представлениях. Синий ультрамодный ПРК. Свет из «закулисья». Кроме того, в «Школе драматического искусства» софиты составляют декор зала, и внутри театральное пространство получает еще один пласт значений (театр в современном обществе высоких технологий).

– Арто советует избегать современных костюмов не из-за суеверного и фетишистского пристрастия к древности, но потому, что просуществовавшие тысячелетия костюмы, имевшие ритуальное предназначение, сохраняют «красоту и наглядную явленность откровения в силу близости к традициям, их породившим»<sup>2</sup>.

– Этот совет Васильевым учитывается. То ли китайские, то ли монгольские одежды в анализируемом мной спектакле. Или имитация ритуальных облачений религиозных служителей в «Плаче Иеремии».

– Арто предлагает избавиться от разделения на сцену и зал, восстановив тем самым прямое общение между спектаклем и зрителем. Предлагает переделать ангар или сарай (нам кажется, подвал или полуподвал тоже подошел бы) в соответствии со специальными приемами, достигшими вершины в архитектуре церквей или тибетских храмов. Он говорит о специальных пропорциях высоты и глубины, акцентируя важность этих параметров, о выбеленных известью стенах, о галереях наверху. В этой же части Арто говорит, что, несмотря на эгалитарность пространства, следует все же сохранить центральное место, которое будет давать возможность собирать действие воедино.

– И пропорции высоты и глубины, и выбеленные стены, и деревянные галереи, и ненавязчивое центрирование стали качествами театрального пространства А. Васильева. «Центральное место» Васильев маркирует группой стульев, на которые персонажи время от времени возвращаются.

– Предметы необычных пропорций, манекены, странные предметы должны воплотить мысль о важности видимой или слышимой стороны образов (Арто называет ее конкретной). Таким образом, Арто хочет уравнивать в правах все составляющие театрального действия. Слово. Жест. Траекторию. Персонаж. Звук. Все эти образы, или знаки, как называет их Арто в другой части, должны стать алфавитом для зрительского восприятия. Нужно научиться алфавиту, чтобы начать читать.

– А. Васильев включает в звуковой и визуальный тексты экзотические и эксцентричные предметы, жесты, звуки, так что каждый театральный жест предстает само-

<sup>1</sup> А. Арто. Театр и его двойник. М., 1993.

<sup>2</sup> Там же

ценным. Каждый предмет и ценен сам по себе, и встроен в конструкцию спектакля. Внезапно появляются неожиданные предметы — какие-то волчки, какие-то большие объекты неизвестного происхождения... Только параграф о гигантских многометровых куклах, только он один может как-то объяснить внезапное появление за спиной у Лепорелло связки коробок примерно трехметровой высоты, по форме имитирующей крест. В этом знаке несколько означаемых, но его трехметровый рост возвращает исследователя в семиотическую систему Арто.

— *«В качестве декораций тогда и будут восприниматься предметы, объекты, музыкальные инструменты, декораций не нужно», говорит Арто.*

— И в самом деле, декораций в смысле кулис, нарисованных задников, предметов интерьера, воссоздающих стиль, эпоху, время, имитацию места действия, предметов утилитарных, поддерживающих идею правдоподобия, здесь не увидишь. Все визуальные объекты имеют несколько функций. Инструмент играет и «экзотично выглядит», или звучит и структурирует пространство. Костюм одновременно создает впечатление от образа и, вступая во взаимодействие с другими деталями, структурирует и орнаментирует пространство, определяет язык постановки.

— *Спектакль должен быть зашифрован. Персонажи типизированы, только тогда ни одно движение не пройдет напрасно, и если так, то все сможет проявиться: свет, костюм, жест, и т. д.*

— Примером дешифровки может быть воспроизведение исследовательского хода размышления. Мизансцена, когда актриса, в этот момент изображающая Донну Анну, падает и оказывается лежащей так, что ее голова покоится на серебряном блюде, окруженном разными предметами, в центре натюрморта. Неподвижная мизансцена «тело внутри натюрморта» превращает персонаж в натюрморт или художественный объект современного искусства, дешифровать который можно исходя из интерпретации использованного иконографического мотива. Либо можно представить этот объект в рамках какого-нибудь направления в искусстве и анализировать: что для смысла подарит сумма мотива и составляющих его предметов.

— *«Постановку нужно создать вокруг темы, или вокруг фактов, или вокруг известного произведения, но главное, что не должно быть тем огромных или запретных для нас», пишет Арто.*

— Спектакль Васильева создан вокруг сюжета и текстов «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина.

— *По Арто, актер представляет собой и инструмент, и элемент первостепенной важности.*

— Актеры у Васильева исполняют театральный текст по правилам авторской методы режиссера. Но в этом театре это важный элемент, поскольку самочувствие актера во время спектакля воздействует на зрительское самочувствие. Образ зрителя в критике, проанализированный в последней части этой статьи, — рефлексия, реконструкция зрительского самочувствия.

— *Для Арто кино воплощает то, что есть, а театр воплощает то, чего нет, знак без референции. И театральный образ отвечает всем требованиям жизни.*

— Повтор как конструктивный элемент создает особую условность действия. В случае анализируемого нами объекта — представления в театре «Школа драматического искусства» — каждая важная идея воплощается по несколько раз, пока каждый зритель каким-то образом ее не присвоит. Несколько раз на протяжении представления вас настигнет мысль о невидимом зрителе, или мысль об ограниченности человеческих возможностей, воплощенная как ограничение актерских физических возможностей (если актеры на протяжении всего представления сидят), или идея «несвободы слова», превращенного артистами в подобие храмового скандирования.

Два первых сюжета демонстрируют, как образ элитарности, исключительности конституируется для разных зрителей. А. Васильев в конструкции образа своего театра двигается так же тщательно, прорабатывая каждый элемент видео- и аудиорядов. Конечно, в этой конструкции чуть больше юмора и самоиронии. И тотальную театральность по Арто А. Васильев, сконструировав ее, собирается преодолеть, присваивая театральному пространству и времени двойные и тройные кодировки в рамках одного представления. Арто захвачен идеей о тотальной власти над зрителем — в рамках искусства задача отнюдь не антизаконная. Но, как известно, в европейской истории идей 30-х годов мысль о власти прорастет и в области, удаленные от искусства. А вот почему в конце XX века театр тотальной власти над зрителем становится синонимом образца и недостижимого идеала — вопрос, не отпускающий автора статьи и не исчерпанный по сей час.

Теперь рассмотрим две подборки газетных статей — рецензий на спектакли «Плач Иеремии» и «А.С. Пушкин. Дон Жуан. «Каменный гость» и другие стихи». Как критики представляют себе пространство и действующих лиц того общества, где «Школа драматического искусства» выступает синонимом уникального?

Одной из основных способностей зрителя, вычитываемой из критических статей, является его податливость. Вроде бы это достаточно известно: хороший зритель — зритель восприимчивый. Но в случае со «Школой драматического искусства» ее зритель — зритель идеальный. А уникален и идеален он тем, что представляет собой в глазах критиков существо, готовое даже расстаться с рассудком в пользу мистического откровения, причем практически в любой момент существования.

«Подобно буддийским монахам, зрители «Школы» могут созерцать эту дивную мандалу (это о расписном плафоне), предаваясь медитации в любой момент спектакля». «Его (спектакль) освещает изнутри глубокая радость, дрожь улыбки, легкая готовность к смеху. Она отсылает зрителя на границы самого зрелища в параллельную ему реальность, где возможно спокойное и просветленное созерцание». «Певчие покидают площадку, и в наступившую тишину врывается голубиная стая, сметая ваш рассудок»<sup>1</sup>.

Идея податливости зрителя вдохновляет критиков, которые не раз прибегают к грубым методам манипуляции над ним, употребляя глаголы в особой модальности — необходимости зрителю сделать то-то и то-то.

«Все это вовсе не значит, что увиденное не требует к себе серьезного отношения. Требует, и как!»<sup>2</sup>. «Новая работа Анатолия Васильева — действительно серьезна. Хотя внутри спектакля напряжение часто разрешается резким комическим поворотом и до определенного момента в зале раздается смех»<sup>3</sup>.

«Васильева знают все, а «Плач Иеремии», конечно, помнят плохо»<sup>4</sup>.

«Публике дают понять, что ей предстоит стать свидетелем не спектакля, а «лаборатории актеров». «Он превратил свой подвал в убежище, если хотите, куда фактически запретил вход профанам и непосвященным». «В какой-то момент все равно приходится пригласить профанов, потому что, как сказано в китайской Книге перемен, колодец должен быть глубоким и вода в нем должна быть чистой; но если никто не пьет воду из этого колодца, то там заведется рыба и испортит его воду». «Публика сидит не шелочнувшись. Не к ним обращаются и не с ними вступают в спор. Они согладатаи, которые должны стать соучастниками. За них отмаливают грехи». «Но — нет, никакой «современности» — ее надо оставить на улице в подъезде, с его запахом родного края, а, спустившись сюда, приготовить себя... к чему? К тому, что в старину называлось действием»<sup>5</sup>.

В этом тексте есть еще одна интересная оговорка — о запахе современности, который нужно оставить перед входом сюда.<sup>6</sup> Жизнь театральная частенько передается через описание пыльных кулис, запаха, а здесь ни запаха нет, ни пыли. Критическое сообщество просит о совместном забвении, о коллективном трансе. О способности «забыться и уснуть»: не насладиться, вкусить, услышать, задуматься, ответить, но смириться, раствориться, — вот какие способности объявляются привилегированными и за них обещается вознаграждение — приобщение к вечным истинам.

«То, что на протяжении двух часов развертывается перед зрителем, выходит далеко за рамки обычных музыкально-театральных впечатлений»<sup>7</sup>. «Да, «Плач Иеремии» — песнь отчаяния, ритуал покаяния, но и глас надежды. Вечен плач, вечна и надежда. Она нисходит как дар только лишь к тому, кто познал бездны скорби и сотворил плач»<sup>8</sup>. «Когда Людмила Дербенева в черном расши-

<sup>1</sup> Карась А. Музыка сфер // Экранный и сцена, 1996, №№ 18–19, 16–23 мая.

<sup>2</sup> Заславский Г. Хорошо темперированный клавир // Независимая газета, 1997, 12 июля.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Любимов Б. Обще-Житие Анатолия Васильева // Комсомольская правда, 2 апреля 1996 г.

<sup>5</sup> Смялянский А. Иеремия с Поварской // Московский наблюдатель, 1996, №№ 3–4. Сс. 10–15.

<sup>6</sup> Эта идея заимствована автором из романа Зюскинда «Парфюмер».

<sup>7</sup> Савенко С. Зачем стует человек живущий // Литературная газета, 1996, № 13, 27 марта.

<sup>8</sup> Там же.

том кимоно читает «Клеопатру», она медленно продвигается меж другими, и может показаться, что повторяет слова заговора, молитвы, одновременно гипнотизируя и вводя в подобие транса остальных и погружаясь в него сама»<sup>1</sup>.

Зрители, в глазах критиков, обязательно обладают религиозным опытом, правда, его принадлежность и очертания не определены. То ли это христианство, то ли смутный ориентализм с явными признаками психоделических поисков 60-х. Психические возможности, пограничные состояния, препараты, психотехники — вот область их интересов.

«Как-то странно (словно вы под легким наркозом или в какой-то нирване)». «Здесь переживаешь все чувства, которые мучительно хотелось бы испытывать в церкви»<sup>2</sup>.

Пространство вокруг театра, будь то театральная жизнь, будь то современность в более широком смысле, только пугает. Общественные перемены и катаклизмы ничего не значат по сравнению с экзистенциальной сутью, которая объединяет зрителей этого театра и его участников страхом окружающей жизни и времени.

«Его театр питается ощущением прожитого как совместной длительной беды. На постаменте этой общей беды возник его пиранделизм, который стал для него средством преодоления страха жизни. Уверяю, что он будет чужим в любом времени и при любом режиме. Всегда в плену...»<sup>3</sup>.

С какой готовностью критическое сообщество разделяет с театром идею страха жизни. Как по сердцу пришла антропологическая модель послушного зрителя, из которой вытеснен юмор, способность выламываться из медитативного трагического раскачивания. Подхватывается с легкостью идея манипуляции и управления паствой, каждый из критиков готов разделить бразды духовного правления, направить и исцелить, заставить покаяться и дать прощение.

«Школа драматического искусства» — единственный театр в Москве, где спектакли идут крайне редко и где для зрителей отведено слишком мало мест». «Наверное, зрители будут разочарованы, когда вместо яркого красочного зрелища о любовных похождениях знаменитого обольстителя увидят что-то похожее на чтение пьесы по ролям...» «Известный каждому зрителю сюжет о Дон Жуане...» «Постепенно зрители втягиваются в эту игру слов, характеров, смыслов — и забывают о том, что в спектакле нет декораций и постановочных эффектов.»<sup>4</sup>

## Образ актера

Актер Школы-студии критику не интересует. Человека, воплощением которого в театральном пространстве является актер, здесь вообще нет: он растворен в бестелесной атмосфере, бесплотной ауре театра, которая в одностороннем порядке вменяется критиками и актеру, и зрителю.

«Театр без актеров, пространство без людей, но душу творимого на твоих глазах искусства ощущаешь с небывалой остротой»<sup>5</sup>.

Это представление будет пересекаться с отсутствием запаха, кулисной пыли, «актерской жизни», этого конструкта, включающего сплетни, интриги, звездную болезнь, актерские честолюбивые планы, актерскую славу. В лучшем случае роль актера редуцируется до актера-средства, актера-инструмента.

«У Васильева актеры не идут от себя и не замыкаются на себе. Уже в первом варианте «Вассы Железновой» стало ясно, что человек для него не центр вселенной, а лишь средство для создания мистико-лирического настроения»<sup>6</sup>.

Вместо актерской жизни и самим коллективом «школы», и критиками в образ этого элитарного театра вчитывается жизнь духовная.

«Этот спектакль, выдвинутый на «Золотую маску», не будет показан на ее

<sup>1</sup> Заславский Г. Хорошо темперированный клавир // Независимая газета, 1997, 12 июля.

<sup>2</sup> Зимянина Н. Они не превозмогут тебя, ибо Я с тобою // Вечерняя Москва, 1996, 10 апреля.

<sup>3</sup> Смелянский А. Плач Иеремии // МН, 1996, № 12, 24–31 марта.

<sup>4</sup> Тобсдина Л. Кто Дон Жуан, кто — Лепорелло // Труд, 1999, № 47, 17 марта.

<sup>5</sup> Смелянский А. Плач Иеремии // МН, 1996, № 12, 24–31 марта.

<sup>6</sup> Смелянский А. Иеремия с Поварской // Московский наблюдатель, 1996, №№ 3–4. Сс 10–15.



традиционном фестивале в конце марта: режиссер и актеры не хотят играть его в дни поста»<sup>1</sup>.

С восторгом критик реализует свою утопическую идею о бессребреническом труде во имя великой идеи.

«Уже несколько лет здешние артисты зарабатывают себе на жизнь где-то на стороне, а в театре совершенствуют сценическое мастерство. Подобный способ существования требует от них большой самоотдачи, но руководитель театра Анатолий Васильев никого к этому не понуждает. Многие артисты сами просятся к нему, чтобы стать настоящими профессионалами»<sup>2</sup>.

### Режиссер

Образ режиссера исключает, конечно, даже намек на рациональность.

«Васильев не хочет ничего объяснять. Он создает эзотерическое зрелище, даже не всегда видное во всех деталях»<sup>3</sup>.

Тема мученика, подвижника, участника тайного отвечает штампу, выращенному из формулы К. Станиславского «Театр — храм ... приди и умри в нем» и т. д.

«Странная смесь Достоевского и Григория Распутина». «Вера и игра входят в его понимание театра, а православный мистицизм расцвечен огоньками неожиданного юмора». «Работает на границе верования и знания, в любом сумасшествии обязательно отыскивает метод». «Среди чеховских пьес только «Чайка» его интересует. В ней есть театральное содержание, а никакое иное его не занимает». «Жизнь для него интересна настолько, насколько она оказывается материалом для театра». «Через театр он выясняет отношения с самим собой, себя проясняет»<sup>4</sup>.

Наряду с собственно театральными ценностями и символами привлекаются общекультурные, романтического происхождения: пленник, чужой, трагический, несчастный, одинокий.

«Он пребывает в стабильном кризисе. Это его форма существования. Я никогда не видел его довольным». «Его занимает в драме не история человека, а поиск среды и атмосферы, в которой этот человек (он сам) может существовать или забыться». «Резкие обрывы или театральные перевороты, занимающие авангардистов, его не интересуют». «И тогда и сейчас он напоминает мне «командора нашего ордена». «Он будет чужим в любом времени и при любом режиме. Всегда в плену, как тот Иеремия, он возносил плач...»<sup>5</sup>.

«Для него не важны характеры, а только звук стиха и мысль — и множество красок, которыми можно их выразить»

Общую задачу критики можно понять так: поместить А. Васильева в ряд русской классической театральной традиции.

«Удивительный феномен работы режиссера Анатолия Васильева с артистами порождает массу слухов. Его спектакль «Дон Жуан. Каменный гость» (...) наверно, отчасти пролет свет на то, как это происходит на самом деле». «Знаменитый его спектакль «Соло для часов с боем» с легендарными стариками МХАТа, неоднократно показанный по телевизору, вселял надежду. Что все-таки у нас есть новые режиссеры — приверженцы русского психологического искусства». «Нынешний его образ жизни можно назвать как угодно: творческой «схимой» или лабораторией «художника-алхимика». Но именно здесь одно и то же произведение репетируется месяцами, а то и годами, как в старом МХАТе»<sup>6</sup>.

Из чего состоит в высшей степени положительная характеристика? Традиционность. Приверженность психологическому театру. Антисовременность. Отшельничество. Трагичность. Непонятость. Фанатизм. Иррациональность.

<sup>1</sup> Агишева Н. Рукопожатье командора. Новый спектакль Анатолия Васильева // Культура, 1999, № 8, 28 февраля — 7 марта.

<sup>2</sup> Лебедина Л. Кто Дон Жуан, кто — Лепорелло // Труд, 1999, № 47, 17 марта.

<sup>3</sup> Савенко С. Зачем сетует человек живущий // Литературная газета, 1996, № 13, 27 марта.

<sup>4</sup> Смелянский А. Иеремия с Поварской // Московский наблюдатель, 1996, №№ 3–4. Сс. 10–15.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Лебедина Л. Кто Дон Жуан, кто — Лепорелло // Труд, 1999, № 47, 17 марта.

И хотя образ режиссера иррационален, хвала театру «Школа драматического искусства» поется критиками с привлечением сравнений от алхимической лаборатории до храмового пространства.

«... Это похоже на возвращение. В двухчасовой библейский плач надобно войти как в родной, но забытый дом, постепенно узнавая предметы, стены, вид из окна»<sup>1</sup>.

Это и мастерская, и скит.

«Подвал превратился в экспериментальную мастерскую, в которой он начал изучать Платона и Гомера, Томаса Манна и Пушкина, Мольера и Достоевского. Школа стала русским театральным скитом, парафразом того, что устроил Гротовский в маленьком итальянском городке Понтедерре»<sup>2</sup>.

Подлинным миром объявляется универсум мировой культуры, окно в который в школе Васильева, вероятно, умеют мыть, поскольку истина всегда скрыта и замусорена временем, историей, повседневностью.

«Пространство «Школы» стало образом универсума мировой культуры. Это вообще особое качество школы Васильева: умение раскрывать подлинное содержание среды обитания, скрытое или замусоренное временем»<sup>3</sup>.

Кажется, этот театр — место, в высшей степени подходящее для реализации ностальгии по универсальным категориям, по великой идее. Критики только мечутся в стремлении выразить сакральность, прибегая к метафорам от медицинских до мистериальных.

«Стерильно чистый зал». «А две наклонные стены, которые в один из трагических моментов медленно идут вниз, как закрывающаяся крышка сундука (страшно), — элемент самоигральный, вроде гигантского занавеса-макрэме некогда на Таганке». «Вот в высшей степени элитарный театр! И вот в высшей степени то, что должны слышать все. Так, наверно, когда-то игрались религиозные мистерии». «Запредельность мира, куда нас допустили, очевидна — все равно, что в заалтарную часть. Или в операционную без халата». «Как-то странно (словно под легким наркозом или в какой-то нирване)»<sup>4</sup>.

Возникновение сравнения с «Таганкой» конструирует попутно «классику русского театра».

«Есть в нем какая-то дерзкая отвага в прочтении классики, которая была присуща молодой Таганке»<sup>5</sup>.

Объявляя театр Васильева идеальным, критика отрицает современный театр, который похож для нее на доходный дом, террариум и так далее по тексту.

«Устанавливается мир и покой в душе. Редкое, если не редчайшее в современном театре чувство». «Когда театр становится «доходным домом» или «криминально-зрелищным предприятием», «когда театр становится клубом или террариумом единомышленников, то на другом полюсе цепи обязательно возникнет скит»<sup>6</sup>.

Современность противопоставляется старине (со знаком плюс старина, разумеется). Современный театр — ритуальному происхождению. Стерильность, чистота — грязному подъезду. Жизнь — забвению. Скит — всему окружающему миру, включающему и современность, и современный театр. Читатель с автором статей — зрителю. Наш зритель — западному.

Для западного нужен ряд современных режиссеров, в котором стоят Стрелер, Васильев и другие известные имена, а для нашего, для поддержания авторитета и придания веса — только открытие нового пророка.

«Понятно, что такой метод работы противоречит современной практике, когда спектакли ставятся за месяц-полтора, чтобы поскорее их продать»<sup>7</sup>.

«Стрелер, Брук, Васильев, естественный для западного зрителя ряд, вбирает в себя все достижения европейской театральной мысли уходящего века. В том,

1 Савенко С. Зачем сетует человек живущий // Литературная газета, 1996, № 13, 27 марта.

2 Смелянский А. Плач Иеремии // МН, 1996, № 12, 24–31 марта.

3 Карась А. Музыка сфер // Экран и сцена, 1996, № 18–19, 16–23 мая.

4 Зимянина Н. Они не превозмогут тебя, ибо Я с тобою // Вечерняя Москва, 1996, 10 марта.

5 Агишева Н. Рукопожатье командора // Культура, 1999, № 8, 28 февраля — 7 марта.

6 Смелянский А. Плач Иеремии // МН, 1996, № 12, 24–31 марта.

7 Тсбедина Л. Кто Дон Жуан, кто — Лепорелло // Труд, 1999, № 47, 17 марта.

что есть пророки в своем Отечестве, смогут убедиться те, кто придет на Поварскую, 20, во второй половине апреля, после Пасхи»<sup>1</sup>.

Театр — со своей стороны, сообщество критиков — с другой, разыгрывают два представления. Модель мира, построенная в театре А. Васильева, профанного зрителя не включает. Представление, в котором, как предполагается режиссером, участвуют театр и его публика, разворачивается перед лицом незримого свидетеля. Поэтому зритель так долго готовится «председеть» во время представления. Он проходит несколько границ, расставаясь с качествами, которые здесь востребованы не будут. На правах своего рода декорации, задника для театрального представления зритель получает участие в «ритуале», невольно производя цепочки эмблематических действий «высокого» свойства. К началу спектакля он уже будет ощущать себя отчасти к нему приобщенным. Во время представления зрительские возможности так же будут контролируемы и другими зрителями, и представителями «театра». В этом смысле готовность зрителя расстаться со своими качествами во имя приобщения к «исключительному», может быть, и является здесь главным элементом представления. Способ актерского существования в спектакле — ограниченная свобода передвижения, слово, превращенное в храмовое скандирование, — сообщает нам, что антропологическая модель внутри этой системы содержит идеи всяческой ограниченности человеческих возможностей. Декор выделен намеренно из современности, имеет знаки только прошлого — различного толка, от театрального до прошлого человечества. А его, пространства, стерильность (с такой радостью замечаемая почти в каждой критической статье) изымает из нашего сознания идею повседневности — и театральной и социальной. И хотя А. Васильев играет в постановке почти со всеми театральными приемами, от прямого общения с публикой до цирковых трюков, это, конечно, только его диалог с традицией, а не способ говорить со зрителем. Знаки диалога, знак сюжета, знак театрального приема, слово-знак — вот категории, с которыми оперирует Васильев. Современной драматургии с сюжетом, вопросам для этического выбора, пиши для самоопределения в этом представлении, конечно, места нет. Вместе с тем, А. Васильев в своей конструкции, по крайней мере, оставляет зрителю способность размышлять об искусстве, помещая рядом эти знаки «второго порядка» (прежние смыслы «высокого усилия», превращенные теперь в знаки «эзотерического») и разыгрывая их отношения на протяжении спектакля. Этот театр построен во многом с использованием принципов тривиального массового искусства, как то императив «сделайте мне красиво», обязательная многозначительность и тавтология (по несколько воплощений одной и той же идеи).

А что с удовольствием разыгрывает критическое сообщество? Ценности, устремления и способы воздействия не дают ему забыть время великих идей и общих устремлений. С удовольствием и пиететом, с тоской по несбыточному критики поют об откровении, просят прозрения, расписываются в страхе жизни, объединяя себя в этом страхе с идеальным зрителем и идеальным театром. Погружают зрителя в транс, заставляют его медитировать, раствориться, обещая за это приобщение к несбыточному. Элитарность здесь называется ритуальное поведение во имя идеи (опять — идеи!) нездешнего, безмянного, несказуемого, некое коллективное послушничество, жертвенный обряд, в центре которого — мистик, шаман, пророк, алхимик от театра. Претензии на элитарность, стремление быть элитой осуществляются посредством успокоения в чужой догме и ценой фактического отказа от неготовой, неуспокоенной и, в некотором роде, неутолимой самостоятельной мысли — отказа, строго говоря, от прямых функций элиты (этакое добровольное «самопожертвование разума»). Система ценностей представляет культуру с большой буквы, с русской театральной традицией в центре, с верой в озарение и трагизмом в душе. Происходящее на улице, в жизни и сознании зрителя вытесняется как несущественное во имя экзистенциального переживания уникальности театра и своего самочувствия счастливого избранника, приобщенного к этой уникальности, верящего в нее, пожертвовавшего собой ради подобной веры.

---

<sup>1</sup> Агишева Н. Рукопожатье командора // Культура, 1999, № 8, 28 февраля — 7 марта.

# Наблюдатель

рецензии

## Страдающее эхо

**С. Липкин. Семь десятилетий. Стихотворения и поэмы. — М.: «Возвращение», 2000. — 592 с.**

В шестисотстраничный огромный том поэзии Липкина уходишь, как в поход. Не зная, когда вернешься. Поразительна длительность этого творческого процесса. Причем хорошие стихи были у Липкина и на третьем, и на девятом десятке («Неопалимовская бэль», «Якиманка»), что также, согласитесь, случается нечасто.

Так упорно растут столетние деревья. Чтобы осознать эту протяженность, привлекать банальный, может быть, образ векового дерева с годовыми кольцами ствола. Липкин, кажется, и сам склонен к таким метафорам-стихотворениям. Образ — метафора судьбы:

*Его я помню малым деревцом,  
Потом красивым тоненьким юнцом  
(...)  
Теперь он стар и слаб.*

*Но мысль тверда.  
Какая же страшит его беда?  
Бунт, буйство, кровь,  
огонь побоищ дикий?  
Иль видит то, чего не видим мы:  
Движение миродержавной тьмы —  
Небытия владычицы безликой.*

(«Клен», 1993)

А судьба его отчасти похожа на судьбы других многочисленных выходцев с черноморского юга в русской литературе XX века. В чем-то же — явно своя, единственная. Родиться в 1911-м в Одессе. Всю жизнь обитать в Москве, вспоминая в стихах о южной родине, о море, о молодости.

Юг — вечный полюс притяжения. А Москва для Липкина — просто место, где он живет. В стихах Москва входит редко. Нет в них ничего ни про Ордынку, ни про Полянку. А если есть, то лишь в связи с замечательными встречами, которые случались у поэта то там, то здесь.

Бывать на азиатских задворках империи, переводить тамошние сказания. А свои стихи прятать в стол от властей, от

цензуры. Писать для себя, для узкого круга друзей. (Читателей у Липкина и сейчас, наверное, немного. И роль критиков часто берут на себя друзья.)

Личное начало в стихах Липкина опознается не без труда. Он не ищет личного ритма, интонаций, особых слов. Не стремится к исчерпывающему самовыражению, к нащупыванию и воплощению в слове собственной сложности, неоднозначности, переменчивости... Это неромантическая поэзия. В ней мало пристрастного, амбициозно-спекулятивного, захлебывающегося исповедального. Немного и актуального, сиюминутного, очень опосредованно входят в стихи текущие обстоятельства: беглым упоминанием, параболой, притчей, афоризмом, ассоциативным ходом мысли. Поэт тяготеет к объективному рассказу о событиях, чаще размышляет о жизни в целом, а не о себе. Событийный ряд восстанавливается в воспоминаниях, апостериори и обобщенно.

*...В тот год  
(я не нуждаюсь в датах),  
Был голод. Шёл к тебе твой дед,  
И на его пальто в заплатках  
Ложился полдня серый свет.  
(...)  
Он упадёт. Угрюмый дворник  
Сердиться будет лишь на то,  
Что, убегая, беспризорник  
Уносит с мёртвого пальто.*  
(«Серый полдень», 1991)

Переводы — еще одна форма отвлечения от личного. Особенно если вспомнить, что Липкин переводит не европейских, скажем, романтиков, а «Джангар», «Манас» и «Махабхарату», Фирдоуси и Навои. Чем-то архаичный эпический мир похож на новую действительность XX века. Там еще дремлет личность, тут уже ей нет места.

Но поэзия Липкина — не дискурс личной капитуляции. В одном из последних стихотворений он вернулся к метафоре дерева, чтобы сказать: «я (...) не дерево, а птица». У Липкина действительно есть то, чего не знает дерево. Тайная свобода. Стихи писались вопреки костоломной давящей эпохи, как вызов ей.

Личное словно было отодвинуто эпическим потрясением от гекатомбы холокоста и большого террора. От «газового смрада печей» и «острожной тревоги таежных ночей». Из стихов не уходит век, омраченный огромным злом и страданием, сравнительно с которыми личная судьба с ее перипетиями кажется поэту второстепенной и несущественной.

Где в жестоком мире место для слова? Цель творчества неясна.

*...какая шаманская мистика  
Успокоит сердца  
Там, где жутко от каждого листика,  
От полёта птенца.*  
(«Колочсе кружево», 1961)

Но сомнительно и «счастье» бессловесного бытия, это, по Липкину, — «бес-таланная вина»:

*Жить, не зная своего названья,  
Жить и ничего не называть,  
Разумей смысл существования  
Только в радости существовать.*  
(«Чипара», 1993)

Липкин избирает роль свидетеля. Он «называет». (Как называл вещи и существ Адам в его раннем стихотворении «Имена».) «Я видел», — такова его позиция относительно мистерий века... Роль свидетеля достойна, но она задает жесткие границы для самореализации. И у Липкина подчас возникает сожаление о том, как мало было уделено ему судьбы, как бедна оказалась жизнь. У него нет чувства значительности собственной жизни. Может быть, поэт и не совсем прав. Участвия в войне целому поколению хватило, чтобы сознавать, что жизнь прожита не зря. Но Липкину, хоть к военным сюжетам он возвращается часто, этого не хватает. Возможно, потому, что едва ли он воспринимает себя солдатом. Была война, на которой он воевал, но не было войны, из которой он вышел победителем. Он видит себя поэтом, который не смог сказать до конца. Как сказать правду — вот что его тревожило большую часть долгой жизни. Об этом — стихотворение «Сад на краю пустыни» (1956):

*...Только я вот, на каждом шагу  
Должен мыслью обманывать гибкой,  
Откровенностью, выдумкой зыбкой,  
А бывает, — слезой и улыбкой,  
Даже болью сердечною лгу.  
Как нужна эта горькая смелость,  
Эта чаша, что пьётся до дна,*

*Для которой и жить бы хотелось,  
Для которой и песня бы пелась,  
Для которой и ложь не нужна!*

Его забота: у эдемских врат на вопросы будет «ответить мне нечего. А как я хотел говорить!». Подобные строки о чувстве личной вины за свое молчание мы найдем у многим близкой Липкину Марии Петровых.

Его поэзия — часто поэзия перетекающих друг в друга эпических форм (легенда, поэма, историческая баллада, притча, случай из жизни). Пожалуй, правомерно даже утверждать, что лучшее из написанного Липкиным, — это поэмы, дающие социокультурный срез эпохи, где главной стала тюремно-лагерная тема страдания и неволи (прежде всего «Техник-интендант», «Тбилиси в апреле 1956 года», «Соликамск в августе 1962 года» и «Вячеславу. Жизнь перedelкинская»). Но и в поэмах Липкин вписывает себя в явленный читателю мир. Иногда как свидетеля и сопереживателя (как сострадательно и беспощадно преподнесен, например, перedelкинский миф!), иногда как рядового участника событий. Иногда выводит себя в центр — но тогда уж смотрит и на себя со стороны, как на героя давней, хотя и правдоподобной истории. В мире, который умеет обходиться без личности, личность все-таки находит возможность осознать себя и определить свое место. Заявить о своем *лице*. Слово в липкинском стихе звучит скупое, фиксирует нередко лишь факт существования автора, стоическую его позу и эмоцию страдания близкому. И какая пронзительная это нога! Как много она скажет каждому, кто хоть отчасти наделен этим страшным и великим опытом, каждому из этого братства потерпевших кораблекрушение, но выживших.

Липкин остро чувствует боль человека, попавшего в историю. В «Историю». Лиризм у него идет не столько от личных признаний, сколько от задетости чужим горем. Горем монашек-богомолок, евреев в гетто, узников тюрем и лагерей... Это лирика сочувственных слов о других, далеких и близких, чьи страдальческая участь и смертная истома пережиты как свои. Лирика узнавания того, что именно тебя «касается всей земли печаль живая».

Он прошел пустыней эпохи, забывшей Бога. Лишь старушечье бормотанье да пустота в сердце напоминали о Нем. Однажды Липкин сказал, что родился в одну из двух ночей между смертью Бога и воскресением Его («И ужас в том, что в эти

ночи Никто, никто не замечал, Как становился мир жесточе И как, ожесточась, мельчал» (1962). Но, кажется, не жил без веры. И вера его вроде бы проста. Вера в Бога-мальчика, а не в Бога-царя. Вера в нежное и мягкое, а не в твердое и суровое.

*...Только мальчик в стираном хитоне  
Слез с верблюда на песок сожженный,  
И его прохладные ладони  
Ласково коснулись прокажённой.*

*Он сказал: «Не камню истукана —  
Это Мне слова её молений».  
И пред Богом люди каравана  
Радостно упали на колени.*

(«Возвращение из Египта»)

Вот этот безотчетный жест радости — чисто липкинское. То, что трудно дается волхвам и легко — простецам. Свобода веры вне формы. Свободная религиозность, замешанная на гуманизме и практическом человеколюбии. Экуменизм Липкина безграничен. Колодцы разные, вода одна. «Будем в мечети молчать с бодисатвами И о Христе вспоминать в синагоге».

Бог — везде, но преимущественно, если верить Липкину, «там, где рождаются люди, Любят, чахнут и грезят в бреде». «Стены Нового Иерусалима» в одноименном стихотворении — не дворцы и скипетры, не развалины церквей и монастырей, «А лесов зеленые соборы, А за проволоком просторы Концентрационных лагерей, Никому не слышные укоры И ночные слезы матерей». Вот эти формулы заставляют уже задуматься и осознать, что в религиозности Липкина есть скрытый драматизм.

Два слова о смысле страдания. Страдание в падшем мире есть способ участия человека в искупительной жертве Христа. Огромное страдание человека в XX веке участвовало в искуплении вековых грехов. И масштаб зла и греха соотносится с масштабом страдания. Липкину же осталась чужда идея Бога-искупителя и искупления грехов многих. И потому страдание человека, по Липкину, не есть искупительное страдание. Оно у него бессмысленно. Вот почему он снова и снова возвращается к Освенциму и стоит перед ним как перед глухой стеной. Он не видит в нем никакого смысла.

Его Бог участвует в страданиях человека и поддерживает его. Липкинский Христос сродни бодхисатве. Приходит, как Кришна, как Будда, и помогает людям в клоаке бытия. Он загадочным образом являет себя в страданиях человека, но почему это так? Только чтоб не оста-

вить человека одного. И это все. Отсюда некоторая подспудная грусть — и паразитические видения Бога-страстотерпца. В стихотворении «Моисей» представлен пророк в аду, идущий дорогой мытарств и в бездне адской увидевший Бога.

*Тропою концентрационной,  
Где ночь бессонна, как тюрьма,  
Трубой канализационной,  
Среди помоев и дерьма,*

*По всем немецким и советским,  
И польским, и иным путям,  
По всем печам, по всем мертвецким,  
По всем страстям,  
по всем смертям, —*

*Я шёл. И грозен и духовен  
Впервые Бог открылся мне,  
Пылая пламенем газовен  
В неопалимой купине.*

В 1987 году в стихотворении «Когда мне в городе родном...» прояснится мысль о том, что Бог и Богоматерь являют Себя в страдании и в страдальцах («Почудилось, что ты пришла Из украинского села С ребенком, в голоде зачатом (...) Вы оба — ты и мальчик твой — Блокадный хлеб делили с нами». Откровение Бога происходит в страдающем и сострадающем человеке. Это определяет смысловые ориентиры жизни и творчества. Вот духовная основа той готовности к страданию, которая проявилась в судьбоносном решении 1980 года — порвать с советским истеблишментом, стать изгоем, парией. Пострадать.

Это был яркий жест противостояния разврату в отношениях художника и власти, их «сговору по умолчанию» в брежневское безвременье. Нарушение конвенции тотального лицемерия. Это был пример, знак, что не все разменялись, что есть чем жертвовать и есть во имя чего. Я помню, как глубоко тогда запал этот поступок Липкина и Лиснянской в душу.

С этого времени острота религиозного чувства у Липкина сопутствовала смежным переживаниям: отверженности, отринутости, изгнанности за правду. Гонения, возможно, дали то, чего не давала пресная повседневность, — смысл и волю к жизни. Силу жить долго. Он купил на страдание жизнь. Определилось настоящее, правильное место человека в мире. Полная преданность Богу обеспечила неуязвимость.

*В телефоне спрятан сыщик,  
И подслушивает он:*

*Может, вслух я согрешу.  
Я же только переписчик  
Завещавшего закон:  
Он слагает, я пишу.*

(«Огнь связующий и жаркий...», 1981)

Остро был пережит Липкиным культурный слом века, надрыв европейско-русской христианско-гуманистической культуры. Культура — вещь хрупкая и эфемерная. Недостаток заботы и труда влечет за собой одичание мира.

*Один лишь поворот,  
один лишь краткий миг, —  
Летят ко всем чертям  
законы умных книг,  
И вновь закон —  
тайга: канон лесоповалов,  
Евангелье волков, симпозиум шакалов.*  
(«Соликамск в августе 1962 года», 1963)

Известное стихотворение начинается описанием прогулки тайного советника Гете с дамами по роще, а заканчивается изображением лагеря уничтожения, который уже словно бы существует в час этой вечерней прогулки.

*Ямы в Большом Эттерсберге  
копают,  
Всюду столбы с электричеством  
ставят;  
В роще бензином живых обливают  
И кислотою синильною травят.*  
(«В часе ходьбы от Веймара», 1985)

Однажды размышления о кризисе культуры получили форму, навеянную встречей с молдавским (собственно, как теперь выяснилось, румынским) языком, «сотворенным каторжанами»; но стихотворение-то не о молдавском языке, а о судьбе русского, о судьбе русской культуры.

*Отгрел, отблестал Капитолий,  
И не стало победных святынь,  
Только ветер днестровских раздолий  
Ломовую гоняет латынь.*

*Точно так же блатная музыка,  
Со словесной порвав чистотой,  
Сочиняется вольно и дико  
В стане варваров за Воркутой.  
(...)*

*Что мы знаем, поющие в бездне,  
О грядущем своём далеке?  
Будут изданы речи и песни  
На когда-то блатном языке.*

(«Молдавский язык», 1962)

Само это стихотворение написано на странном новоязе, где слова связываются друг с другом вопреки законам стилистического подобия. Гибнет Третий Рим. Что-то придет и ему на смену, и для этого «чего-то» варвары за Воркутой сочиняют новый язык. Липкин смиряется, но, кажется, утешает себя тем, что он-то еще хоть краешком застал благословенные классические времена. Он не готов и не хочет меняться. Не желает уподобиться хаосу. Что можно противопоставить одичанию? Труд слова. Традиционный гармонический стих. Есть русская культура с ее подпором, русская поэзия («Куда как ликующей мнимости Слабей непреложность твоя, А все ж норовишь ты упрочиться, То плакальщица, то пророчица, То ангел из дома терпимости, То девственный сон бытия»). Есть инерция ее великих смыслов, хотя и слабеющая.

В стихах Липкина запечатлен опыт сопротивления и выживания, опыт стойкого неприятия лжи и зла. Липкин — Иван Денисович русской поэзии. Открыто не бунтует, кладет себе кирпичи переводного эпоса — но сквозь него фальшь не проходит. Каждое слово его стиха равно самому себе. Не претендуя на большее, не означает ничего меньшего, фальшивого и мнимого, что связано с идеологическими фикциями. Это поставангардная простота, в духе поздних Заболоцкого и Пастернака, пришедших в 50-е годы к подобной аскезе слова. Примерно в то же время Липкин отказывается от словесных излишеств.

*...Там, в дальнем углу, — завсегда таи,  
И это видать по всему.  
Как рады, худые, усатые,  
Соседу они своему!*

*Он смотрит глазами блестящими,  
Издёрганный, смуглый, седой.  
Поднимет руками дрожащими  
То кофе, то чашку с водой,*

*Поднимет — и в жгуеч волнении  
На столк поставит опять.*

*«...Я сделал им там заявление:  
— А что, если смогут узнать,  
О нашей проведатю гибели  
Бойцы Белояниса вдруг?  
За это и зубы мне выбили».*  
«А много ли?» — «Тридцать на круг».

(«Грек», 1956)

Характерное для, скажем, Заболоцкого сочувствие к человеку трудной судьбы сочетается здесь с печальным еврейским

юмором в рассказе о греке, который и в чекашном застенке заботится о греческих повстанцах-коммунистах.

Влечение к простоте, нагоде слова достигает своего края в стихах последнего десятилетия. Вот разговор старика с Богом:

*Сказано всё, — что же мне говорить?  
Роздано всё, —  
что же мне раздарить?*

*Пройдено всё, — так зачем же иду?  
Явлено всё, — так чего же я жду?*

*Дай мне приют,  
чтоб добраться к себе,  
Дай немому, чтоб сказать о Тебе.*

*Дай мне оглохнуть,  
чтоб слушать Тебя,  
Дай мне ослепнуть,  
чтоб видеть Тебя.  
(«Сказано все...», 1994)*

Ломая девятый десяток, он как будто устал дорожить жизнью. Пресытился жизнью, как Авраам или Исаак. Но не совсем все-таки так. Точнее будет сказать: он так много раз умирал с каждым, кому страдал в его гибельном пути, что собственная смерть уже нимало не страшит. Не угнетает. Тем более что она так долго задержалась, дав время для всего, что только можно было совершить.

*Тяжело умирать, хорошо умереть,  
Хорошо посмотреть  
На последнюю ночь,  
на последний рассвет,  
На ненужный предмет,*

*На стакан молока, на снежинки  
в окне,*

*На себя в глубине  
Уходящей души и постыдных примет  
Глухо прожитых лет.*

*Ранним утром зимой  
хорошо понимать,  
Что не надо опять  
Подниматься, вставать.  
Хорошо умереть,*

*Тяжело умирать.  
(«Тяжело умирать, хорошо умереть...»,  
1994)*

Эпоха прошла под знаком смерти. Смерть была сильнее жизни. Ее миазмы в

воздухе эпохи. Запах смерти от печей и рвов. Зачарованность мертвым от Освенцима и Колымы. Затем жизнь человечества взяла, кажется, свое. Поздняя лирика — хроника медленного ухода и ежедневной готовности к последнему переходу.

В пустыне ползут пески, и в их дыханье слышно: «Вы тоже станете песками». На прогулке «о чем же мысль пришла? (...) О том, что, мир в себя приняв, Мы в нем исчезнем». «Как весело в окно больницы Глядит бульвар Страстной! (...) А здесь для нас приуготован Уже удел другой».

Сегодняшние его наблюдения — из посмертья. Оттуда. Это пристально-суховатый ясный и трезвый взгляд. Иногда почти безличная зрячесть, обращенная в сегодня и во вчера. Может быть, и с влагой? Но влаги самая малость.

*Кости мои кости, косточки мои,  
Гробик, ты мой гробик, досточки мои!*

*Знал ли,  
как порвётся жизни долгой нить,  
На каком придётся кладбище  
мне гнить?*

*Думал околеть я там ли,  
где пришлось?  
Два тысячелетья думать довелось.*

*На могилы птички смотрят  
с высоты,  
У ворот москвички продают цветы.  
(«Кости мои кости, косточки мои...», 1998)*

Жизнь, так строго направленная к финалу, исполняется простоты и определяется относительно самых главных вещей. К ним относится чувство вины за преступления века, в котором пришлось жить. Зло вошло в нас. Век кончается, а итоги его не подведены. Опыт не освоен, не осмыслен. В духовном отношении век, можно сказать, кончился ничем. У него нет осмысленной завершенности. Развязка отложена в будущее. И все-таки мир жив памятью и раскаянием. Так по Липкину.

Достойная жизнь в литературе — по нынешним временам случай не такой уж банальный. Удачная долгая жизнь.

*Как я царствовал, раболепствуя,  
Как я бедствовал на пиру!  
Я принёс вам свои молебствия,  
Спойте их, когда я умру.*

(«Я принёс вам свои раздумия...», 1982)

Евгений Ермолин



## Лишний человек нашего времени

Александр Мелихов. Нам целый мир чужбина. — «Новый мир», 2000, № № 7–8.

...но утратил навеки  
пыль благодородных  
стремлений —  
лучший цвет жизни.

Михаил Лермонтов

Скептические интеллектуальные эксперименты в жанре романа, которые Александр Мелихов проводит с неуклонным соблюдением чистоты условий, призваны доказать, что ничего нельзя доказать, что истина множественна, жизнь трагична, а сам автор — блестящий и коварный парадоксалист.

Новый роман Мелихова «Нам целый мир чужбина» строится принципиально так же, как и три предыдущих: в центре страдающий герой-идеолог, занятый интеллектуальной эквилибристикой и жалобами на незадавшуюся жизнь, а также некая глобальная философско-экзистенциальная оппозиция, от романа к роману иная. В «Исповеди еврея» — независимая личность и сплоченный народ-коллектив, от которого летят пух и перья, так решительно расправляется с ним герой. В «Горбатых атлантах» та же оппозиция рассматривается под другим углом зрения, и перья летят уже от личности, которая движется напрямик к самоубийству, если выключает себя из сферы общественной сплоченности. В «Романе с простатитом» на первый план выходит намеченная уже в «Горбатых атлантах» оппозиция духа и тела, причем телу приходится так же плохо, как прежде народу и личности. Наконец, в последнем романе, оттолкнувшись от духа и тела, автор ставит на обсуждение оппозицию реальности и воображения.

Во всех романах герой-идеолог разделяется тремя неперенными характеристиками, взятыми непосредственно от автора-человека: жестокий опыт детства в какой-то дикой глуши, исполненная надежд и возвышенных устремлений юность на славном матмехе Ленинградского университета, страстная погруженность в науку и блестящие математические открытия молодых лет. В последнем романе, как в «Исповеди еврея», герой наделяется также еврейством и, как в «Горбатых атлантах», — мучительными проблемами с повзрослевшими детьми.

В композиционном плане роман

представляет собой сплошной поток воспоминаний-размышлений героя. Каким образом этот поток притекает к читателю? Данный момент автором не отрефлексирован. Герой, собственно, «ничего не делает»: выходит из метро, сидит на лавочке, глядя на Адмиралтейскую иглу, переходит по Дворцовому мосту к «любимым двенадцати коллегиям», заходит в «особняк Пашки Ягужинского», где располагается научный институт, в котором он когда-то работал, — и т.д. То, что он при этом думает, каким-то образом становится текстом перед глазами читателя. Прежде всего, едва герой на лавочку присел, задается его понимание центральной оппозиции: читатель «слышит» гневную филиппику против индивидуализма, гуманизма, лирики и «утешительных сказочек» вроде «торжества духа над материей»: «Долгий дрейф от эпоса к лирике сегодня завершается стремительным спуртом от индивидуализма к героину. Алкаш, торчок, шизофреник — окончательное торжество духа над материей, мира внутренне над вульгарным внешним. Что общего у наркомана с романтическим лириком? И тот и другой считают высшей ценностью переживания, а не презренную пользу». Все это вместе герой обзывает «мастурбационными» тенденциями современной культуры, «самоулаженчеством» и провозглашает приоритет «дела», «реальности»: «Нет, я уже больше не искал того, чего нет, мне нужна только реальность».

Остается выяснить, что же такое реальность и чего, собственно, нет? Тут и начинается эквилибристика. Но прежде, чем мы попробуем с ней разобраться, давайте уточним, что думает о сущности воображения и реальности сам Мелихов. Это нетрудно сделать: Мелихов выступает не только как романист, но и как публицист и критик, а в этом качестве считает допустимым только «повышенную эмоциональность в раскрытии некоей подлинности», («Знамя», 1999, № 9), но ни в коей мере не стремление повиртуознее ошарашить собеседника парадоксами. Так вот: воображение, фантазию Мелихов считает конститутивным признаком человека и полагает, что отличие человека от животного заключается в его способности относиться к плодам своей фантазии так же серьезно, как и к реальности: «Человека разумного было бы правильнее называть человеком фантазирующим. ... Но человек может еще больше — он может создать образ себя, который временами способен почти

полностью заслонить от него самого себя как реальный предмет.» («Знамя», 1999, № 9). Что такое человек как «реальный предмет», не уточняется, но ясно, что его статус для Мелихова невысок: предпочтение *себя-фантазии* и *фантазии в себе* оказывается решающим «для всех людей с высоким чувством собственного достоинства» (там же).

Итак, герой всячески ругает «мастурбационную» культуру, или «М-культуру», и требует «дела» и «результата», то есть реальности. При ближайшем рассмотрении реальность оказывается невероятной гадостью, и, отказываясь от своих «М-фантомов» (жажды научной истины, творчества, восхищения от искусства, возвышенного взаимопонимания...), герой отказывается от лучшего в себе. Он утверждает, что мириться с *неизбежным*, то есть с *нормальным*, то есть с *ужасной правдой*, то есть с *реальностью*, — для него вопрос чести.

Гадость и ужас не в том, что реальность сурова, требует в поте лица добывать хлеб свой и вообще обречена смерти. Нет, *реальность* отвратительна потому, что это система таких отношений, когда все решается ответом на вопрос «кто тут хозяин?», а не «в чем истина, красота, благородство?». Реальность требует не служить истине, а прислуживаться хозяину (ибо только это ведет к *результату*), а те, кому это тошно, и есть мастурбаторы, самоулаженцы, — иначе говоря, бескорыстные идеалисты.

Собственно, реальность — это система обманов, установленная в каждом случае неким хозяином положения в корыстных целях. Герой *не хочет жить*, ибо «везде правит какая-то своя сила, какая-то своя выгода...».

Но не всегда реальность понимает именно так. Иногда в ней явственно иное, исконное значение, и тогда «мастурбаторы» противопоставляются «людям результата» не как бескорыстные идеалисты корыстным прислужникам, а как болтуны — деятелям: «Так что, все творения человеческого духа — вся поэзия, все идеалы — не более чем мастурбация? Нет, мастурбация только то, что не ведет к делу».

Реальность в первом значении и честность, интеллектуальная добросовестность несовместимы, по мнению героя. В «лучшие свои годы» он придерживался честности. Перейдя на сторону реальности, он стал использовать приемы, которые преж-

де презирал: на аргумент отвечать пафосом или насмешкой, недоказанное объявлять доказанным, делать безответственные, но грандиозные обобщения. Плоды этих приемчиков посыпались, как яблоки из корзинки: «Всякая любовь начинается с предательства», «Все и везде рассыпается в пыль, когда каждый становится сам себе высшим судьей», «Мастурбационные тенденции нашей культуры неотвратимы», и многое подобное.

Герой утверждает «мастурбация, мастурбация» так долго, что слово это вообще лишается всякого значения. К концу романа становится понятно, что «принять» реальность и отказаться от «М-фантомов» он так и не смог. То есть, изменив «делу чести», сохранил честность.

В каждом романе-эксперименте Мелихова герой-идеолог гнет свою линию, а сам автор помогает ему тем, что очищает эксперимент от персонажей-оппонентов (герой никогда ни с кем не спорит) и от событий, которые противоречили бы ходу рассуждений. А вот пусть бы герои собрались вместе и побеседовали для пользы дела: Лева Каценеленбоген из «Исповеди еврея» объяснил бы Сабурову-младшему из «Горбатых атлантов», что невключенность в коллектив вовсе не обязательно ведет к самоубийству; Сабуров-старший из вставной повести «Горбатых атлантов» открыл бы герою «Чужбины», насколько иллюзии и мечты важны и реальны в человеческой жизни; герой «Чужбины» растолковал бы герою «Романа с простатитом», как следует относиться к телу — не с дрожью омерзения на каждый чих, а с восхищением, жалостью и снисходительной иронией. Но чем энергичнее герои утверждают что-либо, тем с большим основанием мы можем предполагать, что в следующем романе следующий герой поставит его истину под сомнение.

Но вот в счастливой студенческой юности герой с друзьями вышел из университета: «Все вокруг сверкает синью, золотом, малахитом, но все-таки и Нева с ее кораблями, и Академия с ее художествами, и Исаакий с его солнцем в куполе, и университет с его науками были только декорациями главного спектакля — нашей жизни. Мы вечно будем шагать и смеяться среди наук, художеств, красот и кораблей». Это переживание было реальностью или воображением, сутью дела или «М-фантомом»?

Елена Иванецкая

**Гадание по огню  
в антракте и во время  
философского семинара**

Бахыт Кенжеев. В тесноте отступающих лет... Из книги «Невидимые». — «Октябрь», 2000, № 5; Осенний лед. — «Новый мир», 2000, № 8; Свобода печали. — «Знамя», 2000, № 8.

Только у этого поэта священник с физиком могут сидеть в саду на лавочке, обсуждая мировые проблемы (и в самом деле, что не подвластно физике, то — религия), только этот поэт может позволить персонажу очаровательно ругнуться: «Ну и Брюсов с тобой!». Только у него всегда — время года — между временами года, где строчка отделяет осень от весны, лето от зимы, а может, не отделять, а соединять — в единое время — между временами. Он завидует великим, не завидуя никому. У Невы — венецианская вода (казалось бы, после Бродского никто не коснется ни тех, ни других струй, просто не посмеет — однако!..). Пифия, Персефона, Зевс, Аполлон. Мифологическая координатная сетка накладывается на среднерусский пейзаж, который превращается при этом, может быть, в среднемировой. Хотя интонация местами — почти рубцовская.

*Туман сжимается плотней  
на низменных и неизменных  
равнинах родины моей...*

Город (Москва, Петербург, та же Венеция — хотя она тут больше для сравнения) разомкнут в мир, в ландшафт. Город есть ландшафт, доведенный человеком — социально и эстетически — до бытового абсурда и тем самым упорядоченный.

Пейзажная неопределенность (при способности этого автора выражаться определенно) вообще открывает простор художеству. Из города можно выбежать, выскочить, вылететь, дабы предстать перед всевидящим оком и не испугаться, а обрадоваться ему.

*На стину ляжешь,  
посмотришь наверх — а там  
та же безгласность,  
по тем же кружат местам  
звезды немытые.  
Холодно, дивно, грустно.  
В наших краях,  
где смертелен напор времён,*

*всадник не верит,  
что сгинет в пустыне он.  
Падает беркут,  
потоки меняют русло.*

Урбанист в пейзаже! Немытые звезды рифмуются с городской неотмытостью. Молчаливый до поры до времени Бог заставляет мысль поэта облететь шарик в поисках опоры. Вот и появляются «наши края», вот и появляется «напор времен». Всадник явно скачет поперек часового хода. Пустыня — большие песочные часы. Пустыня — исчезновение ландшафта. Параллельные потоки пересекаются, то, что было на западе, оказывается на востоке, восточные мотивы становятся преобладающими в чисто западных вариациях.

Берусь утверждать, что в русской поэзии нет такого второго голоса. Кенжееву, кажется, наплевать на все эти искусственные дихотомии: запад — восток. Может быть, он даже несколько забавляется, наблюдая попытки теоретиков расчленить корпус его стихов, может быть, специально запускает всех этих беркутов... Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!.. Тут совершенно другая боль. Тут, скорее, жажда синтеза. Хорошо быть (бывать?) сразу и там, и тут. Но как встроить свой западно-восточный инструмент в общемировой оркестр? Чтобы и там, и тут края опознавались как «наши» и нигде не было ненаших...

«Это очень важно, иначе мотивчик меняется»\*, — говоря о своей переводческой работе, сказал Виктор Гольшев. У Кенжеева в его стремительных переходах с запада на восток и с востока на запад мотивчик и меняется, и сливается с другим, и остается прежним, то есть становится мотивом.

*Готова чистая рубаха.  
Вздохну, умоюсь, кроткий вид  
приму, чтоб тихо слушать Баха,  
поскольку сам зовусь Бахыт.  
Ты скажешь —*

*что за скучный случай!  
Но жарко взразит поэт,  
что в мире сумрачных созвучий  
случайных совпадений нет.*

Бытовая подробность (чистая рубаха), как очень часто в этих стихах, снимает, помогает разрешить сущностную дихотомию.

Ведь в слове *рубаха* тоже содержится *Бах*. Это, конечно, снижение великого

\* «Вопросы литературы», 2000, № 4, с. 240.

имени (вслед за ним уже должно следовать — Бог), но цель тут уменьшить дистанцию до казахского имени поэта. И расстояние почти исчезает — так же, как перестаем мы различать ориентальное и не-ориентальное в этих стихах. Там становится ненужным это различие. Органные трубы Йоганна Себастьяна — такой инструмент, рядом с которым находится место любому другому. Главное — не способ звукоизвлечения, но музыка. Сумрачность созвучий — некоторый наговор, слишком жаркое возражение. Не столько на Баха «поклеп», сколько на самого себя, автора. Рубцовские мотивы изживаются — они не звучат за пределами средней полосы. Чем шире мир — тем больше Баха. Полифоничность звука требует полиглотства, космополитичности. Язык этих русских стихов подразумевает знание других наречий. Ибо только в таком случае возможно постоянное присутствие лирического в эпическом — часто в пространстве одного стихотворения, но уж в пространстве всей этой поэзии — точно.

*Мятежный дух,  
где прежний голос твой?  
Молчи, не веруй,  
только не заглядывай  
в глаза прохожим  
в вымокших плащах.  
Слетает дождь  
в чернеющие лужицы.  
Мир говорливый съёжился, зачах,  
охваченный своею долей ужаса.*

Вспоминается гетевское: «Ты звал меня?» А тут и звать не нужно. Это можно назвать широтой, а можно и раздвоенностью (или все же контрапунктивностью?) мировосприятия...

*Кружка в доме всего одна,  
а стакан — два.  
Словно мокрый хворост,  
лежат на полу слова,  
дожидаясь свиданья  
с бодрствующим огнём.  
Кочергу железную пополам согнём,  
чтобы нечем было угли разбить  
в печи.*

Может, я все же преувеличил значение города для Кенжеева-поэта? Разве ж это занятие для урбаниста — кормить огонь поэзии мокрыми поленьями слов? Любимый Бахытом Кенжеевым Заболот-

кий (есть переключки) не приближался к огню, в котором может сгореть Вселенная, так близко! А наш автор (точнее, его лирический герой) еще и удаль молодецкую демонстрирует, сгибая кочергу пополам. Можно было бы и в узел завязать — любимое развлечение русских. Все доли ужаса вышли дымом. А дальше еще чуднее — персонаж принимается сличать пламя с языком змеиным, с любовью по гроб... Древнее гадание по огню! Попытка прозреть в словесном горении сразу — и прошлое, и настоящее, и особенно будущее. И перед этим совершенно лишенным мистики процессом уже равны рассветная и закатная стороны света. Западно-восточный костер посредством русской поэзии соединяет языки и представления. И что мы такое толковали о контрапункте? Это все музыковедческие глупости. «Одной музыке только уступает...» Одной — то есть единой, не разделимой по темам (тема любви — тема беды), аккордам, звукам и призывам. Вот такой синтез, обретаемый в огне, в дожде, в снегопаде, в натурфилософских построениях без натуральной же натуги... Оркестр, где могут быть рядом кобыз и виолончель. И какова акустика музыки сфер? И не об этом ли толкуют физик и священник, сидя рядом на садовой скамейке?

Симфонизм здесь замысловатый: сразу и ваххическая песня, и заблудившийся псалом (нет, это отзвук заблудившийся). Библия всегда подразумевается, а иногда цитируется. Пушкин — тоже. И, конечно, Грибоедов — дым отечества всенепременно тут. И философия, служанка богословия, посредничает между наукой и религией, сама будучи наукой. Или искусством.

Три подборки Кенжеева в трех журналах\* — трехчастный какой-то там семинар. И как ни скажи, какой именно, все получится неправильно. Я все-таки склонен считать его художественно-философским — с естественной поправкой на то, что художник философствует на свой лад, вовсе не так, как маляр возле окрашиваемого забора (что ему за дело до слов, которые начертаны на длинном заборе жизни?), совсем иначе, чем Кант в Кенигсберге. Не побоясь отдающего деканатом слово «семинар». Кенжеев часто пишет так, как будто ему кто-то возражает. То ли жизнь, то ли степь, то ли Россия. Семинары как раз и предназначены для ведения споров, которые в стихах Кенжеева нико-

\* Еще «Арион» объявил, что опубликует подборку, но, к сожалению, журнал до меня еще не дошел.

да не кончатся. Споры — то есть диалоги. Диалогические монологи. Муза риторики здесь встречается с просто музой.

И в этих звучных текстах важно, чтобы присутствовали банальности. Потому что при всей культурности Кенжеева он, кажется, согласен поменять ее на фольклорность. Ну, не то чтобы поменять... Античная традиция, идущая от античности, но бегущая от Бродского — к нам, — где-то тут встречается с фольклорной. И вот уже иногда кажется, что последняя и представляет собой античные времена, ибо у нас-то, славян и тюрков, в это время только складывалась странная ритуальная обрядность.

*Меняют в моём народе  
Смарагд на двенадцать коней,  
До страсти,  
до старости рвутся к свободе  
И не знают, что делать с ней.  
Облаков в небе глубоко —  
Что перекаати-поля в степи,  
И недаром своим пророкам  
Господь завещал: терпи.*

Орнамент, автор которого уже давно умер и в котором уже давно умер автор (чистый постмодернизм!), — всегда кажется банальным. Фольклор — набор словесных банальностей. Что испытано временем, то фольклорно. В степи, считает поэт, до сих можно найти парочку акынов. И здесь не столь важна сама по себе «позитива слова», сколь — происхождение слова. Самое точное слово — банально, но оно — от бога.

Мне хотелось назвать поэзию Кенжеева — славянотюркизм. Но если перечить строчки, где есть ориентальный набор (беркут высоко парит в небе, конь устал; его надо перековать), в общем-то немного. И все-таки нет здесь никакого, прости Господи, евразийства, взыскующего особого пути этого странного многонационального народа (какие слова забытые на язык просыпаются!). А есть желание собрать в один поток разные речки...

*У двери порог. На дворе пророк —  
неопрятный тип, отставной козы  
барабанищик, мямлит, да всё не впрок,  
и за кадром показывает язык  
подворотням, воронам, облакам  
белокаменным, за которыми  
ангел, как зверок, молоко лакал  
из лазурной миски. Ау! Возьми  
пять рублей, заика, на вытывон.  
У тебя яичница в бороде.*

*«Я зовусь Никто, — отвечает он, —  
я зовусь Никто и живу нигде.»*

Тут уж мы доходим почти что до дзэн-философии. В этом самом Никто — все и всё. Жить нигде равнозначно — везде. И весь предшествующий почти что ярмарочный антураж, белокаменное (православное?) небо — это просто широкие горизонты родины, где антисоветская власть сменила советскую, где одна шестая поделилась на части, где народ горюет над избирательным бюллетенем, как над письмом с фронта, а над письмом с фронта необъявленной войны печалится, как над сообщением какой-нибудь газетенки о досрочном разводе кинодивы... Все смешалось в нашей актуальной мифологии. И Кенжеев перешивает все это в своей поэзии еще сильнее, замешивает тесто круче. Прибавляя к этому еще некое ощущение отчуждения персонажа (себя?) от родной сторонюшки. Никчемный отставной козы барабаник — не эмигрант ли это бывший?..

Хотя не будем трогать этого. Чаше эмиграции внешней здесь говорится о внутренней. Иначе говоря, о неполном совпадении человеческих биоритмов с ритмами историческими (= псевдоисторическими). На наших глазах прикидываются, что творят историю, а что в результате они натворяют! И тут есть, кроме инвективы, как ни странно, лирика. Люблю отчизну я, но странную любовью. Эту странную любовь дано прочувствовать и описать человеку, подбрасывающему в костер поэзии мокрые поленья слов. На дворе — трава. На траве — дрова. Вот промелькнула тень Евгения Баратынского, вот старого Тарковского...

Ах, отчизна, дура душой, с детской скрипкой в руке...

Пожалуй, это посильнее эротических ножек Пушкина будет! Родина — девочка (мне почему-то кажется, что девочка: взрослой тете зачем детская скрипочка, для смеха? — и нищая) со скрипкой, а не та меченосица, изваянная Вучетичем... И какой там березовый сок, и какой там кумыс от степных кобылиц, когда есть вещи посерьезнее. Родина или смерть? А поэт отвечает: родина (земная, но и небесная) и искусство. Священник и физик оказываются просто двумя ролями-ипостасями одного поэта. И наружу выходит внутренний монолог.

Вот и все. Материалы семинара прочитаны. А костер не гаснет и вода не иссякает. Чудо!

*Александр Касымов*

## О законе уничтожения иностраных тел

Яков Гордин. Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб, Изд-во «Пушкинского фонда», 2000. — 229 с.

Героями книги известного историка и литератора стали поэты, в исторической перспективе, может быть, даже после своего физического существования — здесь, на земле — преодолевшие последствия той закономерности, о которой писал Иосиф Бродский в эссе 1977 года, посвященном Мандельштаму: «Как только человек создает свой внутренний мир, он становится иностраным телом, в которое метят все законы: тяготения, сжатия, отторжения, уничтожения». Каждый из них создал свой мир, и каждый в полной мере ощутил на себе действительные пережитые перемены.

Яков Гордин писал эту книгу в конце 80-х, дописал же ее к нашим дням — и в предисловии задается вопросом, не устарела ли ее публицистическая задача — понять технологию расставания общества с собственным прошлым.

Надо сказать, что публицистичности как таковой в книге практически нет, — есть намерение, и удавшееся, через внятное и ясное изложение донести до читателя причинно-следственные связи, сопоставляя стихи (медленно и внимательно проанализированные «на просвет») и события, кропиво воссозданные. Такой метод оказывается в высшей степени плодотворным.

Нет нужды доказывать, что каждый из великих поэтов — персонажей книги — создал свой мир. Однако законы «сжатия и уничтожения» на судьбе каждого отразились по-своему. Мандельштам был множественно и долгосрочно травмирован морально и затем уничтожен физически. Ахматова, вынесшая трагические перипетии существования, физически уцелела. Пастернак заплатил за видимость благополучия свою цену — в конце жизни самостоятельно и намеренно обрушив ложную легенду о собственной защищенности. Бродский был отторгнут от отечества и жил в изгнании.

Гордин исследует — и дешифрует и время, и поэзию, отражая их друг от друга, сопоставляя не заметные обычному глазу трещины и пятна, слова и даты. И тогда естественным предстает, например, путь Бориса Пастернака к «Доктору Живаго» — исходя из анализа центрального по положению в книге любовной лирики лета 1917 года «Сестра моя — жизнь» стихотворения «Распад». Стихи, полные «страш-

ной тревоги», «экологическое ощущение происходящего», «масштаб ... на уровне природных катастроф», а к ним еще и эпиграф из «Страшной мести» Гоголя — «Вдруг стало видимо далеко во все концы света». Эпиграф, поставленный Пастернаком в первом, 1922 года, издании книги, как заметил Гордин, исчез в однотомнике 1933 года, а в 1935-м исчезло и само стихотворение со столь говорящим названием «Распад». Гордин проясняет, почему же, собственно говоря, это случилось: слова из повести Гоголя говорят о том, что пастернаковский «портрет любви на фоне бури» имеет особую интертекстуальную оболочку — так же, как и стихи 1918 года, написанные Пастернаком после расстрела большевиками заложников, стихи, отчаянно взывающие к высшей силе:

*Где Ты? На чьи небеса перешёл Ты?  
Здесь, над русскими, здесь Тебя нет.*

Летом 17-го, тогда же, когда Пастернак пишет «Распад», «Душную ночь», «Еще более душный рассвет», Ахматова «инстинктом большого поэта» тоже предупреждает катастрофу:

*Не ласки жду я, не любовной лестии  
В предчувствии  
неотвратимой тьмы...*

Вернемся к Пастернаку лета 1917-го:

*Там — гул, ни лечь, ни прикорнуть.  
По площадям летает трут.*

Ахматова лета 1917-го:

*И целый день, своих пугаясь стонов,  
В тоске смертельной  
мечется толпа...*

...Мне сердце разорвали пополам...

Гордин берет строку Ахматовой весны 1918 года — «Когда в тоске самоубийства...» — и сопоставляет ее с записями Бунина и размышлениями Георгия Федотова, чтобы показать общность восприятия ими действительности как катастрофы. Оппозиционные новой власти стихи Мандельштама о Керенском, опубликованные 15 ноября 1917 года в «Воле России», противопоставляют народ (как ахматовскую толпу, пастернаковскую площадь) — России:

*И если для других  
восторженный народ  
Венки свивает золотые —*

*Благословить тебя  
в глубокий ад сойдёт  
Стопою лёгкою Россия.*

Поэты — отнюдь не иллюстраторы, а особые и хрупкие чувствлища будущего России: вот к какому выводу приводит сопоставление поэзии с широким историческим контекстом, исследуемым в книге в связи с текстами С. Мельгурнова, Ф. Степуна, Н. Бердяева, Н. Лосского, Г. Федотова, Б. Зайцева, Н. Оцупа, Сергея и Евгения Трубецких. Переключки строк Ахматовой («Я спросила у кукушки, сколько лет я проживу», 1919) и Мандельштама («Только злой мотор во тьме промчится / И кукушкой прокричит», 1920), блоковского «Пролетает, брызнув в ночь огнями / Черный, тихий, как сова, мотор» и бунинского «Грузовик — каким страшным символом остался он для нас» вынимают из истории цепь за цепью связь идей и событий.

И особым, в том числе очень современным, смыслом наполняются — из 1918 года донесшиеся слова Г. Федотова: «Нас мало, и глухая ночь кругом, но мы вышли искать новый путь. Наша слабость нас не пугает. Мы видим, что кругом нас, в темноте, не видя друг друга, тысячи одиноких искателей блуждают в поисках той же цели. <...> У нас разные мысли, разные веры. Но мы не спорим, а ищем вместе. Голоса перекликаются во мраке...»

Здесь еще присутствует «мы» во всей своей *слабой, но силе*; вторую часть книги Гордин назовет «Гибель хора» и предпшет ей эпитафией слова Бродского из «Нобелевской лекции» — «В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор».

Хор — это и общее богатство культуры и цивилизации на границе 20-х годов; хор — и дружеский круг 50–60-х годов в Ленинграде. Нам как-то привычнее ассоциировать Бродского с «четверкой», включившей поэтов (Рейна, Наймана, Бобышева), чем понять погруженность его в интеллектуальную среду: именно этот пробел и восполняет Гордин. Это не воспоминания — хотя и воспоминания тоже; это действительно «я говорю про всю среду». Для меня было важнее всего — в результате чтения книги — восстановить тот бродящий, концентрированный, умственный в самом лучшем смысле слова раствор, из которого рос интеллект Бродского. Потому что природные данные — высокий поэтический талант — должны были соединиться с тем, что стало длительным импульсом для непрекращающегося интеллектуального движения Бродского (в чем

я вижу одну из загадок его личности; ведь многие — большинство? почти все? останавливаются на определенном рубеже). Конечно, эмиграция, другая среда тоже вынудили его к интенсивному развитию, но ведь — увы — не секрет, отнюдь не со всеми эмигрантами это происходит, иные так и застывают на точке своего отбытия.

Гордин показывает, как оттачивался этот интеллект, порою неприятный для окружающих своим высокомерием. Так, он приводит примечательное письмо, отправленное автору книги Бродским из ссылки 13 июня 1965 года. Здесь Бродский учит — как делать стихи, подробно излагает свое понимание композиции. Тон его терпелив и введлив. Ведь Бродский «был значительно моложе большинства своих друзей — на пять — шесть лет. Но очень скоро разница эта перестала быть заметной», он «никогда не стремился к духовному вождизму, но возможности и место свое понял достаточно рано».

Бродский на давление извне отвечал усилением, увеличением — в том числе напором множества строк в больших стихотворениях: этим, например, автор книги объясняет жанр как конденсат энергии высвобождения, жанр, не имеющий аналогов в русской поэзии (разве что «Осень» Баратынского).

У книги «Переключка во мраке» есть подзаголовок — «Иосиф Бродский и его собеседники». Собеседниками Бродского были не только его современники, питерские друзья и московские приятели, — с ним беседовали и герои первой части книги. Ахматова, как известно, — лично. Ахматова, кстати, при всей человеческой близости меньше других была *востребована* Бродским как поэт: Цветаева с ее яростным *московским текстом* восхищала его бесконечно. Но если говорить о подсознательном и не отрефлексированном Бродским влиянии на поэтику и этику, на стратегию творческого поведения, то ахматовское — значительно.

Единство книги и определяется тем, что все вместе эти поэты (которых, по Гордину, объединяет не только красота дара) и их собеседники составляют особый круг в русской культуре.

Отношения внутри круга были разными, порою нервными и напряженными, о чем не устают напоминать новые публикации — в частности, стихотворение Александра Кушнера «Альпинист» в №7 «Знамени». Есть особая высота, продлевающая и преодолевающая споры, даже посмертно. Книга Якова Гордина — тому свидетельство.

*Наталья Иванова*

### Границы свободы

**Наше положение: Образ настоящего / О.А. Седакова, В.В. Биbihин, А.И. Шмаина-Великанова, А.В. Ахутин и др. — М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000. — 304 с.**

Один из основных мотивов сборника — тревога, что «спасители России» действуют в рамках примитивных представлений, «один уверен, что России не хватает теперь только правового сознания, добавить его и все уладится, другому нужнее научная рациональность, а третьему строгая мораль... Не хватает прежде всего догадки о том, что последние вещи не обязательно должны быть и даже не всегда могут быть прозрачны» (В. Биbihин). Что дорогу национал-коммунизму прокладывает само государство — «госмафиозной трансформацией, идеологией державности, социал-демагогией, чеченской бойней» (А. Ахутин). И нет большой разницы, каким мифом создается «логика осадного положения»: мировая буржуазия, осаждающая родину победившего пролетариата, или потребительский Запад, растлевающий духовную Россию. Причем «именно представители советской интеллигенции — а вовсе не «народные массы» — охвачены ныне эпидемией фашизоидного национал-патриотизма» (А. Ахутин). Авторы сборника тревожат, что одним из инструментов подобной деятельности оказалась религия. О. Седакова говорит о пугающих глазах нового благочестия, в которых фанатизм покрепче комсомольского.

Религию употребляют «в целях наведения всеобщего нравственного порядка», причем делают это именно «недавние «инженеры человеческих душ», самоchinно присвоившие себе ныне пастырский сан.» (А. Ахутин).

Католичество делает шаг навстречу православию, «хочет видеть различия Церквей не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие» (О. Седакова), убеждает католиков в необходимости знакомства с другим духовным путем. Но православные идеологи держатся за свое не хуже марксистских. «Такая же хвала Западной традиции: столь же открытая, почтительная и внимательная — и сложенная лицом, авторитетно представляющим Православную Церковь», в настоящее время невозможна (О. Седакова). Седакова стремится сложить эту благодарность Западу, «свету вечернему», начиная ее словом «свобода». «Но, к сожалению, для рутинного церковного мнения и для многих православных публицистов

наших дней свобода остается чуждым и даже враждебным понятием, ... это некий антипод «соборности», в свою очередь понимаемой как агрессивный, антиличностный и антитворческий коллективизм.» (О. Седакова) Из религии делают «уютную духовную нишу, где в тишине и душевном комфорте можно, наконец, отделаться от самого себя, откупиться от мира «добрыми делами» и «службами», умиленно дремать в сладких песнопениях и навсегда закрыть уши от Бога, спрашивающего: «Где ты, Адам?!» (А. Ахутин) «Новый верующий» в России «ждет упрощения сложных вещей», привык «передоверять свою личную ответственность идеологическим структурам» (О. Седакова).

Один из способов противодействия этому — взаимопроникновение религии и искусства, которое стремится «выводить не понятие, а образ, смысл, который не отменяет родной темноты и глубины» (О. Седакова). Потому что в результате вычитания искусства из религии остается «мораль», действительно похожая на то, «от чего мрут: ну палка, дубинка» (О. Седакова). Морализм как требование исполнения определенных правил, а не личного решения. Седакова напоминает о словах Д. Бонхеффера, писавшего, как «сужение «добродетельности» и «праведности» до скупого исполнения некоторых простейших и одних на все случаи требований... оказалось ответственным за то, что нацистские акции могли осуществлять люди с сознанием собственной моральной безупречности.» Мораль отнимает: «Басня, которую мы прочли, с удовольствием вникая в подробности происшествий, слога и характеров, вдруг целиком отбирается у нас: оказывается, все это что-то «значило» и само по себе не важно» (О. Седакова). Человек выбирает морализм, защищаясь от непредсказуемого, от свободы, от ответственности за себя, и «беспечная, тоскующая об огне, безмерная, печальная, внимательная жизнь не перестает навешать человека до последних дней — и на каждый ее приход приходится отвечать с большей и большей беспощадностью» (О. Седакова). Морализм равнодушен к единичному и уникальному, оставляет человеку вместо счастья — осознанную необходимость несчастья. Искусство бережет это вернее. А. Шмаина-Великанова пишет о «двух богословиях»: «Одно, самый яркий представитель его — Борис Пастернак, утверждает, что христианство — это дар жизни.

Другое... ненависть к культуре спокойно выдает за любовь к истинно-христианскому искусству».



Седакова говорит, что новое христианское искусство должно говорить не о Смерти, Суде, Загробье — но о Творении, Исцелении, Жизни.

Но в текстах позднего Пастернака, на которого ссылаются и Седакова, и Шмайна-Великанова, проповеднические интонации и повелительное наклонение присутствуют в немалом количестве. «Не спи, не спи, художник!...» Не все согласится с тем, что «стремление к «неслыханной простоте» ... в крови у поэзии» (О. Седакова), еще в 20-е годы Цветаева прямо обвиняла Пастернака в предательстве себя раннего. «Главный дефект интеллигентского сознания... идеологизм, сам идеологизм, а не его содержание. Сращение рассудочной ясности всеразрешающей идеи с этическим пафосом всеспасения.» (А. Ахутин) И нельзя сказать, что сами авторы сборника вполне свободны от критикуемого ими идеологизма. В. Биbihин справедливо напоминает, что «самое фатальное в затяжной кампании с Азией... это что победитель, каким пока большей частью оказывалась Россия, не проводит свое собственное мировое и культурное начало... а проникается силами восточной несвободы и непрямоты. Процесс, превративший Московское княжество в христианизированное татарское царство (Бердяев) до сих пор окрашивает жесты московских сильных людей в тон того же терроризма, против которого они объявляют борьбу». Однако «восточную несвободу и непрямоту» можно увидеть не только в монголах, но раньше — в Византии. Этот вопрос Биbihин не поднимает — потому что под вопросом оказалась бы и православная традиция. Для большинства авторов сборника человек без помощи Божьей и церкви не может ничего («Мы ничего не можем. Помогите!» — О. Седакова), «радикальное требование индивидуальной независимости» рассматривается как тупик. «Только в храме нам открыто делает шаг навстречу Кто-то никогда не изменяющий...» (В. Биbihин) Это «только» независимо от желания говорящего обесценивает весь остальной мир, и после этого уже поздно говорить, что христианство «призвано не отнять от мира, а прибавить к нему».

В статьях О. Седаковой много интересного о поэзии как «осуществлении человека у предела его «меры», «опыте человека невероятного, homo impossibilis», причем произведение не описывает и не пересказывает этот опыт, а непосредственно являет его. Седакова снова и снова напоминает, что стремление считать все только объектом иронии и пародии неплототвор-

но, что ненапряженно-необязательные тексты утомляют скукой. Что божественная жизнь, болезнь или преступление не вдохновляют, а втягивают человека в очень монотонное психическое состояние. Что необходимо не противопоставление «разумного духа» и внеморальной «иррациональной жизни», а напряженный поиск меры их взаимоотношения. Но постмодернизм, исключающий возможность «единственно правильной», в том числе и христианской, точки зрения, неприемлем для Седаковой и по идеологическим соображениям — и упрощается до «Полых людей» Элиота, гаммельнских граждан Цветаевой и пошляков Набокова.

Видимо, в наибольшей степени среди авторов сборника захвачен риторикой В. Биbihин. «Власть в России остается все время по-настоящему одна: власть молодых Бориса и Глеба, никуда от них не ушедшая... только им принадлежащая по праву.» Увы, из этого не следует ничего — царство святых не от мира сего. У Франции Святой Денис, у Британии — Святой Георгий. «В терпении ее (России. — А. У.) правда», «Конец терпения и конец молчания ... означал бы конец русского мира» — но, может быть, такому «русскому миру» уже давно пора кончиться?

Биbihин с явным любованием говорит, что «заботы о разумном внешнем и внутреннем обустройстве нам скучны именно потому, что не требуют пьянящего напряжения сверхсил», что «Россия не нация. Это всемирно-историческая миссия, сплетенная с судьбой человечества». Но это опять та же мессианская риторика, от которой России не раз приходилось очень плохо. Сколько уже говорили, что швед работает, а не говорит о всемирно-исторической миссии Швеции. И в сборнике есть трезвый голос Седаковой: «В России все, не только ученые и поэты, но и монахи-затворники, служили России... И что же: там, где философ занят истиной, а не Германией, или живописец — светогеневыми эффектами, а не Францией... там и страна получается покрепче и поопрятнее... Господа! друзья! Вы не заметили? что-то не так вышло у нас с этим служением...» Но Биbihин продолжает: «Почва веры уводит к врожденному, с раннего младенчества живому в человеке благочестию» — такие слова странно слышать от философа. Он безапелляционно судит: «Теперешнее объединение Европы не имеет настоящей экономической или политической необходимости» (наверное, потому, что нерелигиозно?). Одобрительно пишет о «загадочном вдохновении августа 1914 в Германии» (о котором большая часть вдохновившихся вспоминала с

великим стыдом) и прочих «настроениях опьянения». Бибихину по-прежнему хочется государства как отца, а идея общества как баланса противонаправленных сил для него неприемлема. Для благополучия мира необходима монархия, а «всего совершеннее род человеческий уподобляется Богу, когда подчиняется единому началу...»

А. Шмайна-Великанова напоминает, что Церковь в Иудее исчезла именно из-за уверенности в своей святости. «Для нас актуально видение Церкви как образа бытия в отношениях между людьми... Церковь, понимаемая не как здание, учреждение или убеждение, а как динамическое состояние воспроизведения своего начала...» — но тогда от догматики и организации уже мало что останется. В. Бибихин справедливо замечает, что «в мире, где церковное христианство давно упустило свою былую культурную инициативу, частное воссоединение церквей и не имело бы большого смысла». Но, может быть, более радикальной реформой было бы объединение Церкви с миром?

«Бог, в которого я верю, — Бог деталей и подробностей... Абсолют, в котором все истории, эпохи, лица, трагедии, поражения и победы сливаются в безразличное единство, — для меня — мертвый метафизический призрак... антипатично мне все, в чем самостоятельная жизнь звука, цвета, формы, слова, мысли уступает место какой бы то ни было, пусть и самой доброй, самой благочестивой идеологии.» (А. Ахутин) С этим согласится любой неверующий. И возникает предположение: стоит ли христианству так настаивать на своей монополии, на том, что без помощи Бога и Церкви никакая духовная и достойная жизнь невозможна? И такое ли решающее значение имеет вера?

И, может быть, если Бог существует, Ему важно то, что человек может сделать сам, ведь Он наделил его свободой воли? Даже понятие святости становится внеконфессиональным — А. Шмайна-Великанова говорит о мучениках XX века, убитых не за действие (исповедание веры, отказ принести жертву), а потому, что кто-то решил, что их не должно быть. Для них «так же не важна конфессиональная принадлежность, как не имеет значения расовая или классовая... Святой XX века — это живой человек, которого власти не удалось расчеловечить, и она его насмерть замучила».

Неудивительно, что авторы сборника, для которых в советские времена вера была личным выбором, проявлением ответственности, находятся в конфликте с со-

временным православием, ставшим проявлением конформизма и чуть ли не государственной идеологией. Но оно было таковой всегда, начиная с Византии. И участники сборника будут неприемлемы для православных идеологов и любой претендующей на монополию организации — потому что слишком свободны и слишком сложны.

«Всякая национализация христианства есть его кощунственная паганизация, чтобы не сказать испоганание.» (А. Ахутин) Но ведь слов апостола «нести ни эллина, ни иудея» «новые православные» тоже не слышат — потому что не хотят слышать. Может быть, дело не столько в том, чтобы объяснять не желающим слушать, сколько в содействии человеку, верующему или неверующему, но способному за себя отвечать, способному сомневаться, поднимать свой голос (даже если он одинок) и действовать (не теряя сомнений). И в этом стихи и проза Седаковой участвуют в тысячу раз успешнее, чем ее публицистика на нехудожественные темы.

Пусть Седакова говорит, что воля человеческая только в том, чтобы просить у Бога — на соседней странице она же скажет, что «искусство бежит как огня любых наперед заданных форм знания, любых окончательно выясненных доктрин». Седакова, к счастью, противоречива. Ее увлекают люди вроде «учителя музыки» В.И. Хвостина, постоянно ощущающие себя в начале пути. Пусть ее самые последние стихи обнажены до проповеди, теряют многозначность, это не отменяет ни огромного смыслового богатства прежних стихов, ни проницательности ее эссеистики, ни художественности ее прозы (в сборник включены «Путешествие в Тарту и обратно», «Учитель музыки», «Маруся Смагина»).

Вот молитва: «Она выговаривает каждую букву непонятных мне слов и останавливается внутри каждого слова, прислушиваясь как будто к ответу и если не слышит, тревожится и поджидает, а услышав, кивает или крестится — это как будто одно и то же, знак согласия — и как будто слезы у нее бегут по щекам, но никаких слез точно нет, и как будто сильный ветер раскачивает перед ней какой-то свет...» Седакова знает, что такое свобода. «Вот что я в конце концов назову свободой: возможность предпочесть чистоту всему прочему. Не поставить никакого эпитета, если единственно правильный не приходит на ум.»

И заканчивается сборник стихотворением Седаковой о дожде, который можно воспринимать как проявление Бога — но можно и просто как дождь, почему бы нет?

*Александр Уланов*

**Все неверно**

Мария Галина. Из книжных лавок. — «Арион», 2000, № 2.

Отрицательная рецензия, — скажу я вам, — это вещь! Это то, чего может жаждавать понимающий толк в литературных баталиях автор. Ведь такая рецензия неопровержимо доказывает, что ты еще жив, существуешь, что твои опусы кого-то подвигли на сильные и яростные чувства, вызвали поток мыслей, взрыв язвительности, оттачивающей словесные периоды и заостряющей фразу. Это я о «хорошей» отрицательной рецензии, написанной аргументированно, живо и умно. Одним из примеров такой рецензии могут служить, как мне кажется, заметки Александра Солженицына о поэзии Иосифа Бродского. У меня об этой поэзии совсем другое мнение. Но читать было интересно. Автор возбуждал мысль, заставлял искать противоположные аргументы, то, что называется «заводил». Такого рода полемика полезна, потому что искусство и в самом деле занятие не «тихое», а взрывоопасное, оно задевает, будоражит.

В сущности, «хорошую» отрицательную рецензию можно написать и на самое классическое (для будущих поколений) произведение, потому что всегда есть возможность подойти к нему с какого-то иного хода, найти странности, нелепости, разного рода просчеты. Так, Набоков «развенчивал» прозу гениального Лермонтова, одновременно понимая масштаб этой прозы.

Бог, сотворяя мир, считал, что делает это «хорошо», а мы с вами готовы написать на этот «лучший из миров» сколько угодно отрицательных рецензий!

Меня в этой заметке занимает феномен «дурной» отрицательной рецензии, к сожалению, сильно распространившейся и вызывающей ощущение страшного дефицита «критически мыслящих» личностей. «Дурная» отрицательная рецензия, как правило, пишется тогда, когда рецензенту нечто в авторе решительно не нравится — это может быть его пол, возраст, мнимый или реальный успех, манера держаться, порой даже и литературный текст, чем-то необъяснимо неприятный. У бедняги-рецензента накапливается раздражение, с которым надо же что-то делать! И вот является на свет рецензия, как правило, лишенная какой-то внятной логики и аргументации. К чему логика? Ведь этот автор мне так сильно не нравится! (Как в басне — «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».)

Прошу прощения, что приведу пример

из собственной литературной практики, да уж очень он выразителен. Сразу возникает образ некой предельно редуцированной «дурной» отрицательной рецензии.

Когда-то давно я делала доклад в кругу литераторов. Не успела я проговорить последнее слово как сидящий в президиуме литератор встал и важно произнес, что все мною сказанное — неверно. Я не без любопытства ожидала продолжения, — но его не последовало. Видимо, место председателяствующего казалось литератору самым веским аргументом в споре. И еще один характерный эпизод. Как-то случай забросил меня на научный семинар, где делал доклад молодой ученый-физик. Он увлеченно доказывал свою концепцию и писал на доске формулы. Не успел он закончить, вперед бодренько вышел маститый член-корреспондент, взял в руки тряпку, стер все формулы и сел на место.

В самом деле, аргументированно критиковать чужие идеи (в особенности новые и нетривиальные) сложно. Гораздо легче сказать, что «все неверно», или стереть с доски формулы, которые ты не в силах опровергнуть научным путем.

Вот это для меня классический пример «дурной» отрицательной рецензии, демонстрирующей только раздражение рецензента. Они различны по форме, но едины по сути.

Недавно я столкнулась с такой рецензией в солидном поэтическом альманахе «Арион». Рецензент разбирает поэтический сборник московской поэтессы Ларисы Миллер «Между облаком и ямой» (М., 1999). Аргументированная и внятная отрицательная рецензия меня бы не возмутила. Напротив, она дает пищу для размышлений. Лучше понимаешь, на каких тонких интуициях, прозрениях, предпочтениях держится «ткань» искусства. Но тут рецензенту явно захотелось «вынести приговор», подвести, как говорится, «окончательный итог» поэзии Л. Миллер. Многим ведь до сих пор кажется, что критик призван выносить такой приговор. Сказал, что «все неверно», и читатели почтительно притихли. А аргументы? Логика? Поэтический вкус и слух? К чему так мелочиться! М. Галина, насколько я поняла, пытается обвинить поэзию Л. Миллер в декларативности и абстрактности. Между тем, рецензент не слышит музыки стиха, не чувствует ритма, не видит юмора и иронии, в особенности самоиронии, которыми насыщены стихи поэтессы.

Рецензент считает, что поэтесса в стихах прибегает к «простейшим антиномиям», строит «дихотомический мир», что

почему-то предосудительно. Но ведь в том же мы можем упрекнуть и Евгения Баратынского:

*Дало две доли провидение  
На выбор мудрости людской  
Или надежду и волнение,  
Иль безнадежность и покой.*

(«Две доли»)

и Федора Тютчева с его знаменитым программным стихотворением «Два голоса»! Кстати, именно метафизическую линию обоих поэтов-философов и продолжает в своих стихах Л. Миллер, до предела доводя полярности человеческого восприятия жизни и смерти, быта и бытия, хаоса и гармонии.

Рецензент упрекает Миллера в том, что она отказывается изображать то, что «недоступно вербализации». Иными «внятыми» словами, это, кажется, пресловутое «невыразимое». На чем же основано подобное утверждение? Оказывается, сама поэтесса сетует на свое «поэтическое бессилие»:

*Говорю и тихо плачу:  
Что не вымолвят уста  
Все сплошная неудача.  
Только общие места.*

Да можно ль столь наивно читать поэзию! Вспомним, что тот же Баратынский жаловался на «убогость» своего дара! Нужно же уметь слышать стихи! А что если рецензент этого не умеет? Не обучен, так сказать?

В этом меня убеждает упрек в «грамматической необязательности», усмотренной в следующей строке:

*Каких бы струн ты ни задел  
Своей эклогой,  
какой бы речью ни владел,  
Полей не трогай.*

(Кстати, как прекрасно звучит строфа).

Вы тут замечаете какие-нибудь грамматические погрешности? Я — нет! А рецензент сомневается, можно ли «задеть этих струн». Да то ли он слышит? Можно ли так передергивать?

И итогом этой краткой рецензии является не больше, не меньше, как подведение итога «всей поэзии Миллер». Оказывается, это поэзия поколения, эксплуатирующего «регулярный рифмованный стих». Бог мой, как страшно! А нужно было перейти на верлибр или писать фразы на карточках? И тогда все было бы в порядке? При чем тут вообще громкие «словеса» о поколении? Поэтесса сама отвечает за свою поэзию. Ее поиски единичны и уникальны.

Я столь подробно на всем этом останавливаюсь, чтобы показать голословность авторских утверждений, поверхностность найденных соответствий (чего стоит соотношение поэзии Л. Миллер с выхваченными строчками абсолютно тут постороннего Ю. Кузнецова!). Но тут все произвольно и необязательно, вне целостного поэтического контекста, культурных традиций, авторских внутренних задач...

Да что я, в сущности, так волнуюсь? Ну, выкрикнул рецензент, что «все неверно». Остается читатель, который сам разберется. На чувство юмора у Миллера я тоже очень надеюсь. А вот стоит ли без поэтического слуха заниматься столь тонкими материями? Но это вопрос с давней историей.

*Вера Чайковская*

## незнакомый журнал

### **Время собирать и связывать**

**«Интеллектуальный форум» (№1, май 2000)**

**Учредитель:** Русский Институт, Москва. **Гл. редакторы** Елена Пенская (Москва), Марк Печерский (США) **Планируемый выход:** раз в три месяца.

Начнем с того, что появление новых периодических изданий сегодня мало кого радует и мало кем замечается. Даже выход нового глянцевого журнала не становится

событием, поскольку от глянца на прилавках уже рябит в глазах. А уж если это скромная и академически оформленная журнальная книжка, то ей вообще ничего не светит. Стартовый номер журнала «Интеллектуальный форум» оформлен именно так, и на первый взгляд место ему — на полках научных библиотек. Но если заглянуть на заднюю — рекламную — сторону обложки, то это мнение поколеблется. Тут написано: «Журнал адресован любому думающему человеку, уважающему сложность мира — своего и чужого». То есть адресо-

ван не сугубо научному сообществу, а достаточно демократичной аудитории — все-таки думающие люди у нас пока не в роли вымирающих мамонтов.

Правда, если заглянуть на первую страницу, то мнение может поколебаться еще раз, потому что кого-то наверняка смутит фамилия издателя Глеба Павловского. Это фигура известная, утвердившаяся в области политических технологий, из-за чего к его инициативам относиться со вполне понятным подозрением. Активнейший политдеятель, Павловский проявляет не меньшую активность и в области гуманитарной, свидетельство чему — уже исчезнувший журнал «Пушкин», издававшийся совместно с Маратом Гельманом. Эклектичный и на первый взгляд — непрограммный, «Пушкин» тем не менее использовался и как «журнал влияния» (в частности, помещал на своих страницах манифесты некой теневой структуры под названием «Комитет третьего тысячелетия»). Так что, обнаружив в роли издателя знакомую персону, поневоле задаешься вопросом: какой же тут у господина Павловского *интерес*? Какой профит желает получить прагматичный «пиарщик», издавая международный журнал с таким громким названием? Как ни странно, ответа не находишь, и закрадывается противоположенная мысль о бескорыстной основе нового проекта.

На Форуме сегодня пусто. То есть жизнь идет, где-то в кулуарах слышны возбужденные голоса, но сама площадь не пестрит желающими что-то огласить, равно как и любителями послушать. А тогда «зачем плодить издания, которым не найдется места на прилавке? К чему сеять новые зерна в поле, где годами стоят несжатыми «Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Химия и жизнь»? Спросив об этом саму себя, редакция отвечает так: «Чтобы сделать многообразие специальных «Вопросов...» частью культурного пространства и способствовать воссоединению специальных знаний с нашими заботами и проблемами». Что ж, стремление вполне благородное. Забот у российского интеллигента (или, если угодно, интеллектуала) — хоть отбавляй, но он еще как-то ухитряется держаться на плаву и живет не только хлебом единым. Вопрос — о качестве продукта, который не является насущным, а подкармливает душу. А он то черствый, так что в горло не лезет, то с такой начинкой, что с души воротит. Говоря же другими словами: культурный продукт либо примитивен и апеллирует ко вчерашнему дню, либо специфичен настолько, что простому смертному недоступен. Уйдя с Форума в кулуары,

многие производители культурных ценностей перешли на «птичий язык», понятный лишь узкому сообществу профессионалов, в то время как подобное положение — патовое. Не то чтобы все гениальное было просто; и профанацией, разумеется, заниматься не стоит. Но, по нашему глубокому убеждению, обо всем в подлунном мире можно сказать настолько внятно и вменяемо, что человек с минимальной подготовкой если не полностью вас поймет, то хотя бы заинтересуется сутью.

Этим и занялась редколлегия нового журнала. Авторы здесь характеризуют как людей, «занятых поиском универсального уровня, на котором их идеи и проблемы соединяются с идеями и проблемами других людей, специалистов и неспециалистов». Издатели убеждены, что такой уровень можно найти, перебросив мостик через пропасть, отделяющую массовое от элитарного. На страницах преобладает толковый и умный разговор не в варианте «сверху вниз», а с позиции доброжелательного партнерства, когда автор с готовностью делает свой шаг навстречу читателю и ждет в ответ того же. Большинство материалов — переводы из «The New Republic», «London Review of Books» и других авторитетных западных изданий. Как правило, статьи являются развернутыми рецензиями на вышедшие на Западе книги: Тим Паркс, например, отвечает на книгу Яна Бурумы, а Иегуда Мирский рецензирует Аллана Нэдлера. И в этом тоже видна заявленная стратегия «воссоединения специальных знаний с нашими проблемами», поскольку на читателя не обрушивают весь материал, а корректно предлагают ознакомиться с тем-то или тем-то. Нельзя «объять необъятное», каждый выбирает книгу по себе и для первого знакомства старается прочесть «дайджест» книги. А уже далее желающий — если владеет языками — может разыскать заинтересовавшее его издание, а нет — так дожидаться перевода.

Следует уточнить, что рецензии в «ИФ» — не совсем то, к чему привык русский читатель. Это не отписка и не «литинформация», а вдумчивое исследование, своего рода портрет книги, временами переходящий в диалог и сдержанную полемику с автором. Для русского читателя журнал интересен и в другом отношении. Оказывается, на Западе далеко не все озабочены уничтожением «фаллоцентризма», и не для всех ключевой фигурой в объяснении наших проблем видится незабвенный маркиз де Сад. Западная мысль гораздо многообразней и интересней, в чем можно убедиться с первых же страниц нового из-

дания. Оно не поделено на разделы (редакция убеждена: культура не имеет перегородок), но структура все же намечается. Открываясь материалом об истории парижской канализации (книга Дональда Рейда), журнал продолжает «тему цивилизации» и в следующих двух статьях, где Марк Белкин исследует феномен туризма-путешествия, а Тим Паркс — возможность сопряжения чужих политических систем с конкретным национальным характером. Следующая тема, когда Мишель Андре Бернстайн пытается разобраться в непростой судьбе философа Вальтера Беньямина, уводит нас с поверхности вглубь, после чего вполне естественно воспринимается переход к творчеству Исая Берлина. Уэнди Донигер погружает читателя еще глубже, в область индуистского эпоса; а Стивен Оуэн раскрывает метаморфозы тибетского буддизма в современном мире.

Хочется подчеркнуть: все это не праздные вопросы, которыми ученые мужи занимаются от нечего делать. Возьмем хотя бы статью Алекса Росса «Непрощеный» (перевод из «The New Yorker») о творчестве Рихарда Вагнера. Почему его правнук Готтфрид Вагнер уже не один год ведет тязбу с великим предком, считая его пророком фашизма? Почему в Израиле существует неофициальный запрет на исполнение произведений неистового немецкого гения? Начиная с биографически-музыкального подхода, автор старается вывести проблему на философско-этический уровень и, удерживаясь от прокурорского тона, дает весьма точную оценку данному феномену. В частности, Алекс Росс пишет: «Следует ли судить художника за то, что его идеи вдохновили безумца, родившегося через шесть лет после его смерти? Нет. Но просто отметить, что Гитлер был поклонником Вагнера, тоже недостаточно. Их связывали какие-то тайные нити: Гитлер мыслил себя служителем, учеником, душеприказчиком Вагнера». Из этой оперы, добавим мы — ни аккорда, ни слова не выкинешь, благо, разыгралась она не на подмостках, а в реальной истории. И дело тут не в приговоре, а в том, чтобы не пренебрегать связями между первой — жизненно-исторической — и второй — культурной — реальностями.

Или вот еще материал, о книге Дональда Лопеса младшего, посвященной анализу легенды о Тибете. «Очарованность Запада Тибетом, — замечает рецензент, — одна из самых удивительных загадок в истории отношений Европы и Аме-

рики с внезападными цивилизациями...» В основе этой легенды — размышления о недостижимом источнике внезападной мудрости, причем образ этого источника складывался весьма хаотично, ненаучно и в итоге далеко ушел от первоисточника. В 50-х годах произошла китайская колонизация Тибета, в западных странах появилась тибетская диаспора, и вот тут началось самое любопытное. А именно: настоящий Тибет столкнулся с фантомным Тибетом, с образом, существующим в сознании западных людей. А образ подчас, как ни странно, сильнее реальности, из-за чего коренные жители Гималаев вынуждены были подстраиваться под миф и фактически стать той культурой, представлением о которой сложилось на Западе. Такое положение остается и сейчас: вопреки усилиям ученых правда о Тибете имеет меньший вес, нежели вымысел. И подобные случаи, подчеркнем, далеко не единичны в нашем мире, где правят средства массовых коммуникаций, умножающие реальности и продуцирующие мифы.

Задаются здесь и другие вопросы, например: отчего либерала Исая Берлина так интересовали оппоненты Просвещения Гаман и Жозеф де Местр? С чем в хасидском учении были не согласны так называемые *митангдим*? На первый взгляд специфически гуманитарные, эти вопросы в определенных исторических обстоятельствах становятся всеобщими, и, не имея на них внятных ответов, мы рискуем, что называется, наступить на те же грабли. Отдаленность гуманитарной мысли от жизни вообще не стоит преувеличивать, тем более — углублять этот разрыв искусственно.

Еще надо отметить связность, перекличку журнальных материалов, которые взаимодействуют между собой иногда весьма парадоксально, выявляя скрытые связи и параллели. Можно ведь предложить и иную структуру, не столь последовательную, когда будут «аукаться» мифологии Вагнера и древних индусов или статья Сергея Земляного о Борхесе с Исией Берлиным. Редакция предлагает разные принципы взаимодействия, подчеркивая, что новый журнал посвящен «поискам бесконечных связей всего со всем, собирающую обращающихся в мировом интеллектуальном сообществе идей, восстановление нормального кровообращения в культуре». Трудно с этим не согласиться. Похоже, релятивистский мир, распавшийся на мозаичные фрагменты, уходит в прошлое. Наступает время собирать и связывать.

Владимир Шпаков

Уважаемые читатели!

**Вы можете подписаться на журнал «Знамя»:**

- ▶ по Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России» в любом отделении связи России и СНГ (подписной индекс — 70331);
- ▶ непосредственно в редакции: ул. Никольская, 8/1 (921-3272 т/ф);
- ▶ через распространителей журнала:

<u>ООО «Интер-Почта»</u>	<u>Категории подписчиков</u>	<u>Регион охвата подписчиков</u>
<i>Тел./факс</i> 925-0794 т/ф, 025-2206 т/ф, 925-1606 т/ф, 925-3760 т/ф, 921-1142, 921-0834, 921-1138 т/ф <i>e-mail</i> inter-post@mtu-net.ru	Индивид. подписчики, а также организации и предприятия	Москва
<u>ООО «Сотра-МН»</u> <i>Тел./факс</i> 160-5848 т/ф, 160-5847 т/ф 160-5856 т/ф <i>e-mail</i> artos-gal@dol.ru	Библиотеки	Москва и Московская область
<u>ООО «Вся пресса»</u> <i>Тел./факс</i> 257-9980, 285-8985 <i>e-mail</i> press@dateline.ru	Организации и предприятия	Россия
<u>ООО «АПД «Прессвести»</u> <i>Тел./факс</i> 214-9524, 214-5381, 214-5396, 214-2505, 214-5162 т/ф <i>e-mail</i> pressvesti@mtu-net.ru	Индивид. подписчики	Россия.
<u>ЗАО НПО «Информ-система»</u> <i>Тел./факс</i> 127-9147, 124-9938 т/ф <i>e-mail</i> info@informsystema.ru <i>Сайт</i> www.informsystema.ru	Индивид. подписчики  Организации и предприятия	Страны дальнего зарубежья  Россия и страны дальнего зарубежья.
<u>Фирма «Ист Вью Пабליкейшнс» (East View Publications)</u> <i>Тел./факс</i> В Москве: 777-6557, 777-6558, 318-0937, 318-0881 ф В США: +1(763) 550-0961, 559-2931 fax <i>e-mail</i> sales@mosinfo.ru, eastview@eastview.com <i>Сайт</i> www.eastview.com	Индивид. подписчики, а также организации и предприятия	СНГ и страны дальнего зарубежья

**ЗАО «МК-Периодика»**

*Тел./факс* 238-4967 т/ф  
*e-mail* info@mkniga.msk.su  
*Сайт* www.periodicals.ru

Индивид.  
подписчики,  
а также  
организации  
и предприятия

СНГ  
и страны дальнего  
зарубежья

**Внешнеторговая фирма «Наука-Экспорт»**

*Тел./факс* 334-7140 т/ф,  
334-7479 т/ф  
*e-mail* nauka@naukae.mst.ru

Индивид.  
подписчики,  
а также  
организации  
и предприятия

СНГ  
и страны дальнего  
зарубежья

*Международные фирмы, которые осуществляют подписку для фирмы «Наука-Экспорт»*

**БОЛГАРИЯ**

**«Index»**  
ul. Shipka, 34  
1504 Sofia, Bulgaria  
tel / fax 943 34 69

**ГЕРМАНИЯ**

**Buchhandlung  
«Raduga»**  
Inh. Nina Gebhardt  
Wilhelmstrasse 89  
10117 Berlin  
Deutschland

**Kubon & Sagner  
Buchexport-Import  
GmbH**

D-80328 Munchen, BRD  
tel 089 54218-0  
fax 089 54218-218

**Presse-Service**

**Hamburg GmbH**  
Postfach 30 13 73  
D-50783 Koln. BRD  
tel 0221/95 44 47-11  
fax 0221/6166 1301

**ДАНИЯ**

**G.E.C. GAD  
Stakbogluden**  
Slavisk afd.  
Ndr.Ringgade 3  
DK 8000 Arhus, Denmark  
tel 45 86 19 45 22  
fax 45 86 20 91 02

**КИТАЙ**

**China Book  
Import Centre**  
35, Chegongzhuang Xilu  
P.O.Box 2825  
Beijing, China  
Postal Zone 100044

tel 68416126 68412035  
fax 68412023

**ПОЛЬША**

**«Орган»**  
Palas Kultury i nauki  
00-901 Warszawa, Poland  
fax 48-22 26-86-70

**СЛОВАКИЯ**

**Slovart-G.T.G.**  
P.O.B. 152  
852-99 Bratislava  
Slovak Republik  
tel / fax 783 94 85

**СЛОВЕНИЯ**

**«D.Z.S.» d.d.  
Import-Export**  
ul. Slovenska, 55  
61000 Ljubljana, Slovenija  
fax 61 310 737

**США**

**Russian House LTD.**  
253 Fifth Ave.,  
New York, NY 10016, USA  
tel 212 685-10-10  
fax 212 685-10-46

**ФРАНЦИЯ**

**Maxima Sarl**  
45 rue Raymond Simon  
94310 Orly, France  
fax 33/1/48 43 13 17

**ЧЕХИЯ**

**P.N.S. a.s.**  
Hvozdsanska 5-7  
148 31 Praha, 4,  
Czech. Republic  
tel / fax 79 34 601

**Dovoz Tisku Praha**

**«Suweco» szo**  
Na zerlvach, 24  
180 00 Praha, 8  
Czech. Republic  
fax 683 30 42

**ШВЕЙЦАРИЯ**

**Pinkus Genossenschaft  
Zurich**  
Froschaugasse 7  
Postfach  
CH-8025 Zurich, Schweiz  
tel 01/251 26 47  
fax 01/251 26 82

**ЯПОНИЯ**

**Nauka LTD.**  
2-3-19, Minami-Ikebukuro,  
Toshima-ku,  
Tokyo, 171 Japan  
tel 03 3981-5266  
fax 03 3981-5313

**Отдельные экземпляры журнала можно купить**

▶ в редакции

▶ в магазинах Москвы:

- «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6),
- «Мир печати» (ул. 2-я Тверская-Ямская, 54),
- магазин РИК «Согласие» (ул. Бахрушина, 28).

Редакция с интересом рассмотрит новые предложения по распространению журнала  
(921-3272 т/ф).



## главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

## редколлегия

Александр АГЕЕВ  
Ольга ЕРМОЛАЕВА  
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*  
Карен СТЕПАНЯН  
Елена ХОЛМОГорова *ответственный секретарь*

## редакция

Ольга Трунова, Елена Хомутова, Александр Шиндель

## общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,  
Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер, Евгения Кацева,  
Владимир Маканин, Марк Масарский,  
Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

**Из общего тиража журнала Институт «Открытое общество»  
выписал и направляет в российские библиотеки  
и библиотеки ряда стран СНГ  
3850 экземпляров журнала «Знамя».**

Электронная версия журнала: [www.infoart.ru/magazine/znamia](http://www.infoart.ru/magazine/znamia)

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921·24·30,  
первый зам. главного редактора — 921·08·09,  
ответственный секретарь — 928·22·78, отдел прозы — 923·72·82,  
отдел публицистики — 923·76·33, отдел критики — 928·94·45,  
отдел библиографии — 923·62·61, отдел поэзии — 921·59·67,  
производственный отдел и отдел распространения — 921·32·72,  
для справок — 924·13·46, факс — (095) 921·32·72,  
E-mail: [znamlit@dialup.ptt.ru](mailto:znamlit@dialup.ptt.ru)

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.  
Рукописи, поступившие по e-mail, не рассматриваются.

Корректор Елизавета Полукеева.  
Компьютерная верстка: Елена Кот.  
Художник Татьяна Вахлина.

Сдано в набор 6.09.2000. Подписано к печати 11.10.2000. Заказ № 2865.  
Тираж 10000 экз. Формат 70х108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.  
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в  
полиграфической фирме «Красный пролетарий».  
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».  
© Журнал «Знамя», 2000.

**"ПЕРСОНА"** – журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью

раскрытие качеств, которые формируют персону. У нас это личность, обремененная

культурными традициями. Герои журнала – те, кто определяет лицо России в XXI веке.

Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры,

в частности. Наша задача – напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся

современниках и уже вошедших в историю персонах.

# ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Подписной индекс **38678**.  
Объединенный каталог «Подписка-2001».

**Адрес редакции:**

121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

Телефоны 290-19-85, 291-20-05.

Журнал современной литературы и общественной мысли “Знамя”  
во второй половине 2000 и первой половине 2001 года —

романы и повести

Беллы Ахмадулиной “За весь род воробьиный”,  
Георгия Владимова “Долог путь до Типшерэри”,  
Владимира Войновича “Замысел” (книга вторая),  
Андрея Дмитриева “Аполлония”,  
Леонида Зорина “Трезвенник”,  
Александра Кабакова “Поздний гость”,  
Виктора Конецкого “Последний рейс”,  
Нины Садур “И тогда я прыгну”,  
Владимира Рецептера “Ностальгия по Японии”,  
Феликса Светова “Мое открытие музея”,  
Владимира Шарова “Воскрешение Лазаря”,

новые произведения

Анатолия Азольского, Василия Аксенова, Дмитрия Бакина,  
Григория Бакланова, Андрея Волоса, Олега Ермакова,  
Фазиля Искандера, Валерия Исхакова, Инны Лиснянской,  
Владимира Маканина, Людмилы Петрушевской,  
Вячеслава Пьецуха, Виктории Фоминой,  
Николая Шмелева, Асара Эппеля.

“Знамя” — месяц за месяцем, год за годом создаваемая  
на журнальных страницах галерея русской поэзии.

“Знамя” — продолжение рабочих тетрадей Александра Твардовского,  
дневники Константина Паустовского,  
воспоминания о Сергее Есенине, Юлии Даниэле,  
Генрихе Сапгире, Борисе Чичибабине,  
мемуары Алексея Кондратовича, Виталия Сырокомского.

“Знамя” — публицистика, эссеистика, экспертизы,  
культурология, критика, разговор о роли России  
и российской культуры в современном мире.

И, наконец, “Знамя” — развернутая панорама сегодняшней  
литературной и общекультурной жизни.